



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРЬОВСКИЙ,
Т. В. ДОРЕНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УВОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Проза

Андрей АНТИПИН
Дядька. Повесть 9

Ким БАЛКОВ
Тропа отчуждения. Рассказ 51

Александр ПРОХАНОВ
Крым. Роман (окончание) 67

Поэзия

Валентина СИДОРЕНКО
Душа пред Богом восстаёт... 3

Владимир СКИФ
Я проснулся
и вышел к Байкалу... 47

Сергей КОРБУТ
Кружит ангарское течение... 60

Татьяна ЯСНИКОВА
Это я и огромный простор... 64

Дмитрий МИЗГУЛИН
Всё тебе отмерено сполна 134

Память

Станислав КУНЯЕВ
"И бездны мрачной
на краю..." 139

Очерк и публицистика

Николай РЫЖКОВ
Культура
и национальная идея 196

Игорь ЦЫБУЛЬСКИЙ
"Наш народ благодарен Вам" 209

Анатолий БАЙБОРОДИН
Крестьяне и дворяне 248

Наша Москва

Владимир РУГА,
Андрей КОКОРЕВ
Барышни 219

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
*зав. отделом критики,
отдел поэзии* —
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Александр БАВИЛЬЦИН
Управлять городом вместе 237

Слово читателя

Русское слово
и русское дело 257

Критика

Александр ВОДОЛАГИН
Четвёртый бастион 276

Александр БОБРОВ
Русский Лель
(к 100-летию
Виктора Бокова) 280

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 02.09.14. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №3113. Тираж 7500 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: n-sovrem@yandex.ru

(Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Отпечатано в ОАО "Красная Звезда", 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 www.redstarph.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО



ДУША ПРЕД БОГОМ ВОССТАЁТ...

* * *

Что это было? Туман над болотами,
Домик с крыльцом, старый кот,
Угол с иконой, и ласковый кто-то
Тихую песню поёт!

Что это, что же?.. Далёкое, вешнее,
Райски-родное житьё!
Детство твоё, золотое, безгрешное,
Милое детство твоё!

Что это было? Пустое, свирепое,
Мглой без дорог и тепла,
Жизнь ли годами и днями, как вепрями,
Мимо меня пронеслась!

Жизнь ли — бесценнейший дар
иль пародия,
Злая издёвка над всем, что мне мило,

Иль искажённый Небесной прародины
Образ бесценный?.. О, что это было?!

СИДОРЕНКО Валентина Васильевна — поэт, живущий и работающий в Иркутске, автор трёх стихотворных и четырёх прозаических книг, состоит в СП России. В 90-х годах прошлого века главный редактор легендарного патриотического издания "Литературный Иркутск".

Что же теперь вопрошать без стеснения
В детских слезах над разверстой могилою...

Было ль погибелью всё иль спасением —
Всё, что мне мило,
И всё, что мне было.
Но что это было?!

* * *

Я осень позднюю любила, как сестру...
Трав увяданье, изморозь на поле,
Шальных ветров неистовая воля
И зарево холодное к утру

На долгом горизонте, у леска,
Где солнце, чуть проклюнувшись к обеду,
Недолгою порадует беседой
И скроется опять за облака.

А к вечеру предснежьем тянет. Лист
Раскрошенный обдаст грибную прелью,
Прощальной изойдутся птицы трелью,
Но луч последний будет остр и чист...

Сердечный повечерья у печи,
Где уголья — малиной, чай с малиной,
И ковш Медведицы концом недлинным
В окно засветит искрами свечи.

И под дыханьем свежим снегопада,
Под первой белизною у леска
Смиреннейшим ты обозначишь взглядом,
Что эта осень отошла в века...

Ещё одна. Последняя ли, нет;
Простыл уж след её лохмотьев рваных,
Где вызвездил судьбинный твой билет
По Млечному Пути в страну избранных...

* * *

Словно нищий хлеба, Христа ради
Слова я заветного прошу.
Я пишу осенние тетради,
Я октябрьским воздухом дышу.
Солнца свет ещё лучист и кроток,
Утренняя изморозь бодрит,
Тон беседы нашей прекороткой
О любви прошедшей не гласит.
Я ещё вздохну от волглой прели,
Листьями земными пошуршу...
Были ли другими мы в апреле —
Я о том у Бога не спрошу.
Для того ли иней тронул пряди,
Чтоб пред небом плакать и роптать!
Я творю осенние тетради,

Я творцу судьбы своей подстать.
В них нет мест быломu неурядью,
Лишь лучей последних благодать...

* * *

Перед рассветом тать встаёт,
И соловейко песнь поёт.
Душа пред Богом восстаёт
Перед рассветом.

Перед рассветом сны легки,
Нет ничего страшной тоски,
А расставания горьки
Перед рассветом...

* * *

Успокойся, женщина! На место
Во своё издревле бытиё:
Детская тебе, квашня да тесто,
И душа, что рвётся и поёт,

Плачет неизбывными ночами,
Мечется, надеется и ждёт...
Что ты светишь древними очами,
Что стоишь в раздумье у ворот?!

Жребий уж такой тебе и долю
За грехи определил Господь:
Нет в судьбе ни света, ни раздоля,
Тяготит межрёберная плоть.

Что ты запечалилась, невеста,
Что вестит твой ангел вестовой?
Колыбельную! Ступай на место —
Песню колыбельную пропой!

Пой её негромко, пой светло,
Внятно пой, чтоб слышалось по свету,
А не то — воинственное зло
Разнесёт беспечную планету.

На него другой управы нет,
Как молитва матери над сыном.
Оттого из всех возможных мест
Твоё место, женщина, едино!
Сила мудрая непостижима,
Как высокий православный крест!

ЗИМА

Зима, зима. Впервые мной любим
И пухлый снег, и серебро утрянок,
Когда над тихим лесом спозаранок
Легчайше стынть плывёт, как Херувим.
Когда из труб колдуньей-бородой

В покое сытом дремлет счастье наше.
Мы проживём так сотню добрых лет,
Не вспоминая ни о ком”. — “О нет!..”

* * *

Прочсть сквозь зеркальные трещины
В магически вспыхнувшей мгле —
Какие красивые женщины
Ходили по нашей земле!

С какой простотою и статью,
И взглядом, и жестом слепых
Укоры укромных объятий
Остались в скрижалях земных.

Почувствовать в быстрой девчонке,
Стригущей рысцой листопад,
Их свет невечерний и тонкий,
Таинственный их аромат!

И свежую сенью воскресной,
Покоем просторным полей
Понять, что следы их небесные
Не стынут на Русской земле!

Следы их цветами на скатерти,
Нетленность в веках испросив,
Заветным стежком Богоматери
Мерцают в глубинах Руси!

* * *

Отошло, отцвело, отлюбила,
Страсть земная сгорела дотла,
И глубокая грозная сила
С русским словом мне в душу вошла.

Стало ясно, как перед снегами,
И смотрю я без вздохов и слёз:
Отходящими берегами
Жизнь отходит без бури и гроз.

Всё мне ясно в ней. Всё в ней далёко,
Чуждо, словно с нездешних планет...
Кто-то горестный, и одинокий,
И единственный шлёт мне привет.

Я гляжу на него без улыбки,
Ни добра не желая, ни зла...
Наша встреча была бы ошибкой,
Если б горькой такой не была!

И вглядевшись в черты отдалённые
И разрушенный временем лик,
Вижу дворик с опавшими клёнами,
Слышу ворона смертный крик.

АНДРЕЙ АНТИПИН



ДЯДЬКА

ПОВЕСТЬ

I

Когда они жили-были, небо коптели, горькую пили, а пуще робили, любили горько, пред сильным робели, но врагу не спускали, правды стыдились, над кривдой скорбели, а уж пели от сердца — гармошки рвали, а в сердцах тужили — волосы рвали; так вот и были, лихо хлебали не за полушку, не за получку пахали, на семь ртов подмогу растили; словом, не шибко жили, стариков гневил, кресты топтали, под крестик державу крепили, а себя — забывали... Однажды уходили, меркли, мёрли, мёрзли, таяли, затухали, зати-хали, падали в могилы, засеивались безвестными костями от Непрядвы до обглоданного рейхстага, да так, что и до сего, уже пожатые, стоят у ворога в горле и не дают хищникам покоя... Но вот вышел срок, и они почти все исеякли, измелели, испелись, испились, извелись на Руси, исчезли в клубящемся прахе и глубинной горечи земли... И, пустив шапку по кругу, изы-щем ли нынче верные слова, чтобы поведать о них? что им сказать? да и ус-лышат ли? и надо ли им?..

Молчат.

АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публикуется в журналах "Наш современник", "Москва", "Юность", "Сибирь", лауреат журнала "Наш современник" (2010). Живет в Иркутской области.

II

Отец, мой дед, заклеил его “Февралём”:

— Февраль-то нага летает по деревне в одной стежёночке без пуговок, в валеночках дырявых, шапочка-п.душка на одно ушко, верхночки потерял... Мороз сорок пять градусов, а он летает... Февра-аль!

Мать, моя бабушка, называла его “Тот” или “Большой”:

— Того-то не видал?

— Какого?!

— Большого-то?! Утром глаза продрал, хлеба булку умял с жареными картошками, накурился у печки до посиненья; ну, подался огородчик полоть — и с концами! А я, главно дело, пошла воротники за ним заложить, а стрижи-то над амбаром кружат, только шубёнки заворачиваются, голову-то я кверху задрала, а жёлоба-то, парень, нету... И в какую пору успел свинтить?

Мужики окрестили его “Длинным”:

— Дак вот же Длинный на лавочке сидел! С похмела мокрый, как мышь, руки ходуном — полкоробка спичек исчиркал, пока подкуривался... Ведро сухих груздей у него, правда. Ну, Шурка-Щукарь сбежал до Хохла, загнал это ведро за пузырь, раздавили у Петрована в дровянике... Скуснотишша-а-а!

Шпана, прокурившая чинариками пальцы, и вовсе бросала ему “Миха”:

— Миха-а, помоги дырчик* дёрнуть!

Или:

— Миха-а, слей малёхо соляры — “козу”* поджечь...

Он вообще много прозвищ поносил на своём веку, словно подгадывая, какое ему впору, кем прожить и каким однажды аукнуться в устном присловье, которое вдруг, спустя годы и поколенья, щедро вытолкнет из своих тесных глубин некое забытое, но вполне легендарное, на семь рядов отсеянное из десятков и сотен славных других, отлежавшееся в ледниках времён и отслоившее земную шелуху имя и, сообщив им что-то сокровенное, указующее всем заплутавшим свечной огонь в их горестях и поражениях, тут же, чтоб не раскричать высокое звучание этого имени понапрасну, мудро заберёт его обратно, в усыпальницу истории, где оно до скончания рода людского пребудет нетленное и священное, канонизированное памятью, совестью и языком народа. Кроме надежды на случайное поминанье, чем ещё утешиться человеку, какое продолжение себе отсудить у смерти? Так, десятко-другой черно-белых фотографий, чиненую-распочиненную совковую лопату с отверстиями — черпать из проруби лёд, два грубо сшитых из кирзовых голенищ патронташа да самих оксидно-зелёных гильз латунный звон в тряпичном кульке, пахнущем сумраком и тленом.

Но не исцвели, не изломались, не износились до дыр и не истрелялись только клички!

В молодости его уважительно величали Медведкой — за силу. Он без помощи перебирал на морозе “ДТ-75”, любовно вынимая из его механического нутра тяжёлые части, коротким тупым ударом колуна разваливал до земли сучкастую листовую чурину, намертво спаянную смолой, или с бронзовым напряжением на лице гнул в руке двухсотграммовую кружку — эмалировка лопалась и откалывалась кусками, а звук был такой, словно с мороза занесли в тепло заиндевевшее цинковое ведро. На селе жил только один мужик могучее — дядя Саня Кабан. Этот брал на спор банку сгущёнки и, небрежно покатав её в обычной, а вовсе не богатырской ладони, вдруг зажимал в страшно побелевших кулаках — жёсть вспучивалась, а наружу победно капало сладкое и тягучее. Ещё дядя Саня двумя пальцами — указательным и большим — плющил стальную суповую ложку. О нём и Медведке до сего слышится вот какая история. Однажды тракторную бригаду сплавили с баржой вниз по Лене, на таюрские пашни. Ну, наловили корчагами щук и сорог, выжгли ведро из-под бензина и сварганили уху, выпили “за первый

* Мотоцикл. — Здесь и далее прим. автора.

** Держатель огня для лучения рыбы с лодки.

день”. Потом “за второй”, “за третий”... Сидели, гудели в колхозной избе. Медведка крушил эмалированные кружки, дядя Саня сводил счёты с ложками, а Кетрован — безвредный усатый мужичок, помощник капитана “эскашки”, благополучно храпевшего на голой панцирной сетке, — оценил мутным глазом порчу социалистического имущества, прикинул кое-что к носу да от греха умыкнул ножи-топоры и долой на баржу, монтировкой заложил дверь в капитанскую рубку: “А то, — говорит, — как раз пойдёт поножовщина!” Драться, впрочем, Медведка не умел. Не успевал воротиться от удара. И руки его как будто не были приспособлены для этих суетливых дел. Сила — и всё! Сгрелал по-медвежьи и держал — рубаха расплзлась на спине противника...

В юности был у него друг, тоже Мишка. Этот — Короткий. Мишка Длинный да Мишка Короткий! Потом Короткий куда-то уехал, сравнить стало не с кем, но Длинный остался, а с ним осталась и кличка...

Племяши, мы окликали его просто:

— Дядька, ты опять гуляешь?! О, горе твоей матке! — науськанные бабкой, пропесочивали его смешным баском, а он, высясь корявым большим деревом, лукаво шурился — дескать, всё ему трын-трава! — и словно пытался распознать в шумном подлеске, обступившем его, что-то значительное и стоящее, что можно было бы наградить ответом, а не шутануть тут же шутивым притопом сапога.

— Фу-у, так и есть, водкой прёт за километр! — кипело от возмущенья да подтягивало колготки сопливое собрание, о постановлении которого Дядька уведомлялся незамедлительно: — Щас бабушка тебя скалкой-то!..

Наконец Дядька выслушивал в бойкой мелюзге то, что искал, и, кривясь улыбочкой, посверкивал глазами, а голос его густел, бархатный и студёный:

— Пошёл по тридцать третьей! Только — цыц! — деду не говорите...

— Сам цыц!!!

— Смотрите у меня! Эх вы-ы, варнаки-и-и!..

Это были его излюбленные выражения: варнак (к детям), заутлан (к собакам), недобиток (к злым людям)... Вообще всё старинное, меткое, цельное, основательное интересовало его.

Есть красивая ложь в словах “часами смотрел”, “подолгу сидел на завалинке”, “мог полдня простоять” и в подобной ерунде, но Дядька именно так и жил. Да и во всём он, по бабушкиному определению, “тянул волюну”: обтаптывал ли босыми ногами грядки, гусиными шагками маршируя по вскопанному огороду, исходящему стальным холодком от каждого переворачиваемого комка с глянцевой нутряной чернотой; торчал ли с удочкой возле реки, не ломая голову над разными хитростями и предоставив рыбам право вестись на ужасную глупость в виде толстой лески и ржавого крючка; выстраивал ли Дядька, словно маленькое государство, скотный двор, а потом самозабвенно чинил его, если боров разваливал корыто или прогрызал низ у ворот; или полол Дядька картошки, выковыривая пырей и амарант заострённой щепкой, а в перерывах покуривая на опрокинутом ведре с той старательностью, с какой можно было заломать все эти работы разом... В этих-то перекурах между делом и умещалась, кажется, Дядькина жизнь, тогда как сами эти дела были точно долгим, в несколько утомительных партий, распеваньем её. Так, несколько дней он латал чердачную лестницу, сгнившую на одну ногу, на которую сочилось с крыши. Первый день ходил в лес, до обеда искал годную ёлку (на черенки, на лодочные шесты, на прожилины для забора берут ёлки, ровные и прогонистые), потом ещё полдня волок ёлку до дома, обязательно отдыхая на всякой кочке-колоде, шкурил жердину за избы штыковой лопатой с обрубленным плоским концом, сушил заготовку на лёжках, вырезал сучки, стамеской выбивал пазы под перекладины... “Скоро уж белые мухи полетят!” — регулярно объявляясь на крыльце, как бы между прочим замечала бабушка и через перильце плескала из тазика жирную посудную воду, а Дядька, отойдя в другой угол двора, тем усерднее пристреливал глазом возводимую лестницу. Он словно упрямо постигал в любом, даже самом некорыстном деле некую высшую правду, в обход и напролом шёл к этой правде, а когда эта правда, взвихряясь хвостом, ускользала из рук,

работа и жизнь теряли для Дядьки смысл. Тогда он всё бросал к чертям, садился молча курить и мозговать над тем, почему всё это отлаженное, приточенное под руку и дыхание, вдруг накренилось и дало течь, и если в этих поисках тоже не было удачи, Дядька вконец отчаивался и на неделю-другую зашивал. Зато уж если что-то озарялось в нём и, шаркнув о рёбра, высекало короткую искру, то всё в Дядьке схватывалось единым стихийным порывом, трудно и гулко нарастало и, двигаясь к выходу деятельным добром, мощным зарядом ударяло в руки, как молния в дерево, и жизнь сама собой билась в пульсации некой свыше отворённой жилы, пёрла в руки, словно рыба в крупные сети, а разная мелочь и чепуха существования проплывали насквозь, не задевая Дядькиной души. Вязло тогда в Дядьке, в его мыслях и сердце, всё большое и тяжёлое: пахота, покос, постройка бани, налимья рыбалка...

Ретивых, подгонявших его осаживал:

— Сдуру можно хрен сломать!

Впрочем, всё вольное и широкое, что уживалось в Дядьке, то вдохновляя его, а то втыкая палки в колёса, никогда не было размашисто — кузнечья прыть, бабочкин порх и птичья щебетливость не распяливались на колдую, по которой Дядька был скроен. Наоборот, эта врождённая бедовость и славянский шаг зачались или вырезали со временем во что-то литое и грубое, давшее, в конце концов, типично русский крен Дядькиной судьбе, а многослойность и запутанность его характера можно было бы объяснить мужичьим хитрованством, когда бы сам Дядька скоробчил себе хотя бы на ширпотребовский костюм. Нет, этому, казалось бы, кичливому несоответствию в Дядьке, этому царапающемуся зазору между тем, чем и как он жил и что думал о жизни за выкуриваемой сигаретой или выпиваемой стопкой водки, было и есть одно чистейшее объяснение — укорот. Он жил с укоротом — во всём, что касалось быта; но в делах душевных ничуть не стреножил себя. Размузыкивания и смирения не терпел только в застольях! На крохотные рюмки смотрел с недоумением и, принимая их в себя, по выучке глубоко и объёмно раскрывал рот, как будто намеривался приветить что-то огромное, и когда по этому логову для огромного растекался малюсенький глоток, слегка увлажняя губы и жёлоб языка, но оставляя пасть болезненно сухой, всё в Дядьке вскипало обидой за его слоновость, которую на посмеях продёргивали в иголочное ушко:

— Опять эти “утятницы” выставили?!

Жаловался, необоримо трезвым уходя из таких гостей:

— Выпьют утиную дозу и разгова-аривают, разгова-а-аривают!

Глубокая дума исчезала с лица, и Дядька шёл “догоняться”. Лесной зверь, он называл это — копытить.

— Копытит, копытить надо идти!

И была это уже не дума, а думка — поспешная, некрасивая, жалкая. В этой слабенькой думке, как в обмелевшей реке, зияли рельефно и зримо все камни, все коряги и повороты Дядькиной иссушенной души: где занять, найти, добыть, выпросить, украсть...

III

Дядька поднялся в обычной крестьянской семье. Бабушка рассказывала о нём: “Он ведь последний у нас с дедом из мальчишек: Санька, Колька, а уж Миша за ними... Дехчонки, Галька с Валькой, после...” В детстве он с кружкой в руке приходил в хлев, где мать на рассвете доила коровушку, объясняться-то ещё ладом не умел, а уже облагал животину налогом. Стоял сонный и хмурый в одной намятой распашонке, неловко почёсываясь от укулов больших коричневых комаров. И мать почерпывала ему парное молоко, тёплое, как отворённая кровь, и ещё не отцеженное через марлю от желтоватой пенки и круживших под выменем мошек, сбитых Майкиным хвостом в подойник. Пил, пока живот не набрякнет самоваром, а изо рта не прорастут до подбородка два белых уса. “Голый иман встанет стручком, комар сядет на него. “Бежи, Мишка, в избу, а то проклятый продрозвёрщик всё

хозяйство разорит!” Ну, бежи-ит, только пятки в сраньдю втыкаются! И смех и грех с ём...” Потом, когда стал большеенький, его брали по ягоды на Заборье: “На Заборье бугры: на одном бугре черника, на другом брусника!” И пока не замажет рот до шелушащейся мякоти на дёснах, до сладчайшей тошноты и того протекающего в душу и мозг блаженства, когда на всякий невинный потяг молодым чувственным волком взывает всё яростно-здоровое тело, — ни ягодки в берестяной туес! Будет, распластавшись под выворотнем, разумеется — у звенящего прохладного ручейка, пыхать махорочным дымом на комарью орду, обступившую со всех флангов, да вслед за выдохом жёстко стискивать зубы, чтоб навязавший на языке гудящий шар не закатился в горло, а между тем смотреть и слушать, как в закате лимонные плывут облака, и северный вертолёт, заворачивая на аэродром Усть-Кута, стрекочет над сопкой, раздувая, как волосы, деревья, под которыми обнаруживается замшелая плешь скальников, а бабы с кулацкой жадностью сопят на ягодном курене¹, и эту сказочную лесную успокоенность не колеблет ни крик, ни ветер, ни треснувший под сапогом сучок, ни частый и дробный стукоток первых ягод, высыпаемых из совка в пустой горбовик²... И ещё — думать! Это были его корневые занятия: думать, но не походя, лишь бы о чём, а — прицельно, заглябно, оттирая локтями всё прочее и зряшное, с хребтиной погружаясь в это рвущее душу и сигаретные пачки дело, изредка то печально, то озорно хмыкая, да искренне улыбаться своим мыслям, да — курить...

Курить он выучился мальцом: коллективизировали с братьями пачку “Казбека” у дяди Пети, отца брата, приезжавшего в отпуск из Москвы. Нырнули в огород, за баню, чтобы мать не чухнула. Братья раз-другой затынулись да сплюнули папиросы под ноги — и на всю жизнь. Дядька свою аккуратнo докурил и, кажется, сразу постиг в этом деле — в курьбе — что-то крайне ему пригoжее, отвечавшее его натуре, тоже медленное, задумчивое, мужицкое. Он потом, отправляясь со всеми в лес, умышленно волокся в хвосте и, нащипав в газетку сухой мох, воровато шабил этот острый, царапающийся в горле, горький, как сама жизнь, и отравно горящий терпкий порошок. Или шнырял из колхозной избы, где мужики с утра получали разнарядку, и мастерил из подобранных окурков громадную козью ножку, утекал в сосняк за пашней, чтобы там, на воле, хлебнуть этого запретного дыма, этой огненной свободой не таясь, с босицкой отмашкой руки. А то он, как старик, повадился сосать трубку. Отец день-деньской пропадал на тракторных работах, мать тоже надолго отлучалась из избы то в лес на пилку дров, то на зерносклад, то на жатву в поле; словом, от зари дотемна на подхвате, с чужой головой на плечах, изредка навевывали своё хозяйство. Водиться с маленькими за божью плату призывали со стороны бабу Агафью. Эта Агафья бездетно-безмужно куковала в зимовье по Дресвяному ручью. От реколома по ледостав она служила от киренского тухачастка бакенщиком, а зимой промышляла плашками белок и соболей, пастями давила в распадке зайцев и кабарог, крупное же мясо — изюбров и лосей — добывала пулями из грубого аккумуляторного свинца, сбитого молотком в угловатый злобный шарик, который старуха прокатывала через ружейный ствол на предмет проходимости. Весь год, кошачья душа, она изымала из реки рыбу капроновыми сетками домашней вязки и посадки, кидая их по открытой воде в вадиги³, а зимой из ёлок и пихт нагораживая под вырубленным льдом запруду — поленски “заездок”. Старуха не выпускала изо рта трубку, выдолбленную из окостеневшего топляка⁴, и руки её, комкастые и шершавые, как у мужика, кроме разделки звериных туш и мялки подквашенных с кислым тестом шкур

¹ Курень, курья — редкое счастливое место в лесу или в лугу, где ягода выросла сплошь, густой полянкой. Реже так говорят о грибах, иногда — о скоплении рыбы, напр.: “налимий курень в яме”, “курья голянов в заводи”.

² Горбовик — сибирская тара (из бересты, фанеры, пищевого алюминия и др.) под ягоды или грибы с крышкой и двумя лямками для надевания на плечи, “на горб”.

³ Вадига — заводь на Лене, образующаяся за преградами течения, например, за брустверами, мысами и т. п.

⁴ Топляк — дерево, несомое рекой.

не знали иной работы. Собаки, едва старуха объявлялась в селе, гремющей сворой облаживали её в проулке, с вздыбленными холками чужа животную смерть, пропитавшую суконные штаны, в которых старуха проделывала свои чёрные делишки и вообще форсила в охотничьей одежде круглый год, и старуха, забаррикадировавшись зимой камусными лыжами, а в другое время — чем ни попадя, отстреливалась от собак палкой и жутко, смущая мужиков, ругалась: “У-у, сучье племя! Поразвелось вас в Рассеи, недобитков...” Детей она, вероятно по причине собачьей нелюбви к ней, обзывала щенками и всякий миг ожидала от них гадости, а посему посох всегда был у неё на вооружении. И когда она, ревя медведем и страшно качая зыбку с ребёнком, норовившим вывалиться за борт, наконец, убаюкивалась сама, кто-то подкрадывался к ней со спины и вырывал трубку. Баба-Яга, пробудившись, на кривых лесных ногах припрыгивала в огород, где бабушка со старшими сыновьями рыла картошки, и орала изо всей моченьки:

— Кла-арка-а, Кла-арка-а-а, м-м-мать твоя суч-чонка, кобель твой отец! Твой ш-ш-шенок беспортош-ш-шный опеть у меня трубку отнял!

— Да что ты, итти вашу мать! — ругалась бабушка, разгибаясь до помутнения в глазах, до ломоты в пояснице. — Ми-ишка-а! Кому говорю?! Чё залез на повети? Поди-ка сюда, рожа бесстыжка!

В школе Дядька петрил (понимал) в точных науках, был старательным, упорным, рисовал бодрые стенгазеты в честь красных советских дат. Но и ко всякому баловству был отзывчив, с уроков срывался с друзьями на реку, стрелял из ольхового лука по птицам и пёк в костре картошку, а то зорил в гнилом березняке вороны гнёзда. Или вешал портфель на воротчики, приходил к отцу в поле и катался с ним в тракторе, а если случалась поломка, спокойно и деловито прочищал от нагоревшего масла свечки, железным щупом измерял уровень масла или подавал нужные ключи, без прицелки разбираясь в их номерах и почти никогда не ошибаясь. Сердечная привязанность к тракторам, к земляной работе и определила Дядькину судьбу. После школы, как нарочно, он попал в танковые войска под Читой. И тоже крепко и основательно служил, с той нерасшатываемостью в мыслях и действиях, с какой присягают Родине и верят в необходимость своей солдатской жизни, своего священного отлучения от земли простые крестьянские мальчишки. С любовью к технике, к её сложнейшим механизмам, могучим и надёжным, дослужился до старшего сержанта. Оставляли при части: учись, работай! Он дал согласие, а весной 1974 года поехал в отпуск. Носился по селу, как сорвавшийся с цепи, справлял дембель, в кровь и клочья дрался с парнями возле клуба. До кучи утащил из амбара курковую одностволку двадцать восьмого калибра, записанную на отца, и через раскисшую пашню полез к уткам, которые плавали в болотине за магазином. По недогляду черпанул стволон земли, уток вспугнул, с ружьём шурум-бурумом очутился в Старых Казарках, не разделит чью-то точку зрения, его тоже не поняли, и он ради утверждения своей позиции понужнул дробью в потолок... Когда оклемался и схоронил порванное ружьё, мать восстала облаком и уж с той поры не выпускала сына из-под своей власти, сильничала над любым его своевоьем и, куда бы ни шёл, тут же налаживала слежку. Первым делом облако слетало на почту, пошущукалось с почтарками, и в воинскую часть отписали: “Не могу выехать по семейным обстоятельствам”. Дядька разгадал, швырнул в горящую печь обтянутый шинельным сукном армейский альбом с фотографиями...

Была у него после армии высокая чистая любовь — молодая приезжая учителька, которая захаживала к ним в баню. Они раз или два стояли на дебаркадере... Облако среагировало, провело разъяснительную работу:

— Зачем тебе долговязая?!

Любовь векоре вышла за местного парня, нарожала ему детей, а Дядька и эту материну обиду засёк на сердце.

Когда старшие братья женились, и этот шумный медовый пир ещё ютился в одной избе, Дядька холостячки спал в поварке¹, а летом и ранней осе-

¹ Поварка — надворная кухня с печкой.

ню — на раскладушке под небом. Придёт вечером пыльный, как придорожный куст (он работал механизатором в совхозе), скинет грязное шмотье на лавку, намоется после всех в протопленной бане — волосы огромно-пышные, ворохи смолёвых кудрей! Лицо медно-красное, надранное капроновой вехоткой. Голубые глаза тем яснее. Нежнее мягкость узких губ. В белой и свежей, как первый снег, рубашке бродит по избе да исподлобья посматривает на тонкую задергушку, расчеркнувшую горницу на две семейные половины, на две пьющие душу тайны, по ночам раздувающие ноздри и скрипящие пружинами кроватей. Через всю столешню, боясь разбрызгать, несёт глубокую деревянную ложку с охлаждённой в яме окрошкой из домашнего хлебного кваса, хрусткой редиски, зелёного перистого лука и яичных белков, сдобренную укропом и напревшей в тепле жирной сметаной, заедает этот яркий праздник во рту высаженным из печи дымчатым караваем, стараясь не заперхаться от молодого большегорлого голода. Он робеет в присутствии невесток, к которым никак не может привыкнуть, и всякий раз идёт в дом, как в черёмуховый сад, где юно и пьяно и качаются сарафанные ветки, а от грубых и нарочно громких замечаний братьев не знает, под какую половицу запасть. Отшучивается полным ртом и до ушей заливается банным жаром, когда невестки окликают его, как маленького:

— Мишенька, тебе ещё окрошки подать?

Перед сном, разбоковавшись до майки и трусов, сидит на чурбаке у варки, выщеживая из табака загадочный, одному ему ведомый цимус. Частый огонёк алеет в черноте, а Дядька, скосив глаза, поглядывает на истлевающую сигаретную бумагу и с суеверной грустью, неожиданной в сильном и носком теле, стряхивает серебристо-серый пепелок. И думает, улыбается. И кричит в глухом ельнике кукушка. Запоздавший “Крым” рыбинспекции мчит по Лене, размерен и тягуч шмелиный гуд его мотора. А то нахлынет жёлтый свет в маленькие окошки веранды, поморгает в ночи четырьмя сокращающимися пятнами, но вдруг разорвётся одним золотым прямоугольником и, подождав в чьей-то руке укрошённым пламенем, погаснет со стуком притворённой двери. С высокого крыльца через двор шмыгнёт ночнушка, огибая угольный рисунок амбара и поджимая ноги от стылости травы, кажется, пролезшей в щели тротуара лишь затем, чтобы лизнуть голые икры и окропить росой удаляющиеся циколотки. И Дядька, спешно заплевав окурок, с трепетом посмотрит на это вольное и бегущее, на распущенные взвётренны волосы и kloкотание грудей, вставших остро, как две вымоленные у Бога церковки на грешной земле, а пуще того со стыдобою вперится на заворотившийся сзади подол, да отведёт глаза и снова закурит. Но уже порывисто и нервно, сломав подряд несколько спичек. Опрокинется в нежилую без этого промчавшего призрака раскладушку, как в пропасть, от окончательного падения в которую его удержат брезентовый полог да дожина-другая пружин. И что-то увидит за прищуренными веками, чему-то парящему кивнёт. И откроет глаза, чуть искрящиеся, и увидит над собой одно небо, резкие и холодные звёзды. “Завтра опять день будет?” — скажет себе, и в душе его воссияет нерукотворная радость. Завтра будет сухая погода, мать спозаранку выпечет хлеб и выйдет в огородчик, чтобы накопать к обеду первые картошки со слабой розовой кожурой. Отец уже, наверное, придёт с электроподстанции, где с вечера гоняет движок, и, разматывая на крыльце длинные портянки, спросит с той неотвязчивой и кровной заинтересованностью в предмете, с какой лишь на промозглом Севере и цедят редкие слова, отведённые на душу человека в бесценном ограничении:

— Убираете?

— Убираем... — отчеканит Дядька, а спустя некоторое время с копотью и свистом заведёт своего “казаха”, которого каждый вечер стреноживает на полевом стане, чтобы истошным визгом пускача не колыхнуть рассветное дыхание невесток. И вот он везёт в поле тепло и сытость домашнего хлеба, шатание парного молока в отпихтой бутылке. На ходу жадно закуривает у золотого леса и вспоминает: “Скоро уж дым из ушей повалит!” — и хмыкает над словами матери. И в глазах его, и в сердце долго и хрупко, как мальчишеская мечта, стоит женская парящая белизна...

IV

Пахотному ремеслу натаскал Дядьку отец, “на газогенераторе заработавший геморрой и слепоту”.

Было в старике что-то былинное, легендарное по нынешним временам. В молодости он, например, один на своём “Натике” — первом на селе тракторе с зубатыми колёсами, — топившемся берёзовыми чурками, управлялся с колхозными пашнями по эту сторону Лены. По другую на такой же ледащей технике казаковал его друг-товарищ и однофамилец, а пуще всегдашний противник Пётр Григорьевич. Оба парни горячие, до всякой работы хватчие. В полдень съедутся у разных берегов реки — обмыть лицо, крикнет один: “Ну, как, Петро?” “Да так, — ответит Пётр, если слова первого не отнесёт ветром, — мало-мало кручусь”. “Я-то тебя нынешний год в запятках оставлю!” — задерётся первый. Пётр же уточнит: “Это баба с перепоя лягнула, а ты варежку раззявил!” И оба, закипев, скорее за рычаги, от зари до зари — давать план. А это много гектаров промёрзлых северных земель. Вдвоём-то скоро ли поспеешь? Мужиков же — отцов и старших братьев — поколотило на войне... Как-то попевали, хоть вкладьши на коленвале у этого “Натика” были из алюминия, а не из баббита, как теперь, и меняли их по три раза на дно: расплавлялись. Так-то жизнь и шла, словно по борозде. Скоро пахарь обабился. Пока поля по пояс в снегу, чин чинарём хозяйевал: где воды натаскать, где стайку проконопатить, а где воротчики наладить, но едва мягчала и обывивала земля, всё бросал на произвол судьбы и подцеплял плуг. И тут уж его нишчём не выпрячь: то земли пашут, то хлысты из леса тягают, а то иная колхозная обуза. В сентябре жена с ребятами наступали на огород, корявыми деревянными лопатками копали свои трудные полета соток и стаскивали под перебранку красивые мешки с картошкой, сами сушили её на последнем осеннем сутревке, шерудя грязные локанья словыми граблями, и сами через окошко в полу засыпали в погребе три сусека: на еду, скотью и на посадку. Он же и дома в эти дни бывал затемно, исчезал со светом.

Но вот подросла смена, и отец садил за рычаги младшего, когда он приносил в поле хлеб и варёные картошки. Сам уходил под черёмуху — обедать на посланном рушнике. Строго следил, чтобы помощник не макнул носом в чирку да во сне не съехал под угор. Это уже были сравнительно манёвренные, гусеничные кони, загонишь такого — уже не вышка, но небо в тесную клеточку. И если горе-пахарь потрошил землю дуром или гнал полоску сикось-накось, а то зарывал плуг со всем ударным энтузиазмом добровольца-целинника и дбыл трактор, отец кидал чашку-ложку и трусцой человека, понюхавшего жизнь сзади и спереди, бежал через поле с крепко просоленной руганью на устах: “Каки-и-их только полоротая не нарожает!” Фирменная фуражка тракториста, по внутреннему ободку нашарканная лбом до светло-коричневой шершавости, от возмущенья срывалась с головы. И волосы на маковке были в бисере пота, а седые виски неожиданно сухие. Однако и передовой пахарь был начеку. На полном ходу он соскакивал на землю и давал дёру, а отец настигал трактор возле леса и, боясь угодить под гусеницы, с подножки вспрыгивал в кабину, первым делом вминая кирзачом лапку тормоза...

Ещё Дядька ездил на косилке, на граблях. И тоже отец переживал, как бы мальцу не напекло голову, не брякнулся бы под ножницы или острые зубья.

С тех-то давних пор в Дядьке прорезалось и прозрело это редкое чувствование земли.

Он всегда знал, какое поле как вспахать. Земля за его плугом поднималась в медленном величье, расплзаясь босяцки, как рубаха на груди, а сухое жнивье рвалось созревшими швами, и там, где по осени выжгли недожатки, дымно стлался золистый шлейф и послушно волочился живым прахом. Но вдруг намертво заклинивало плуг, топя стрелки в счётчиках топливной системы, и гусеницы раз и другой проворачивались вхолостую, и если траками не перекусывало стальной палец, разувая трактор на одну ногу, и не откалывался лемех, то в глубине земли сламывалась ледниковая осада, а са-

ма земля со стоном отплёвывала в этом месте кусковую мерзлоту. На вольном духу мерзлота стремительно чернела, точно разбрызгивая внутри себя тёмную жирную кровь, которую пахарь отворил плугом. И с этим отпотевающим дыханием земли, всны, России Дядька тоже покрывался испариной. Как в школе, рисуя стенгазету, он боялся смазать краски, проколоть лист карандашом или, того хуже, разлить гуашь на чистый ватман, так и бороздки он выводил с трепетом, но сразу набело, без нервного черканья, ровно и вдумчиво, и это была самая великая и нужная книга, которую творил человек. Вспашку узнавали, как почерк стилиста, и восхищались:

— У них старик пахал на совесть, Колька ихний может... а Миша вообще красиво пишет!

По весне скворцы слетались на поле. Они кружили над остервенело-собренным Дядькой, над его мелко, а то крупно и знобко дышащим трактором, бросались на распарываемый гребень. Пока он ещё не сомкнулся в длинную прямую строчку, не заштриховался зубьями подвески, а лишь показывал свою земную силу и плодящую утробу, и черви, сонные и нерасторопные, не успевали схорониться под комками, скворцы сочинывали бледно-розовые ребристые выползки и несли в клювах через пашню к селу. Там над сеновалами и амбарами на высоких ошкуренных жердях покачивались от ветра и собственной внутренней жизни скворечники из пустотелых осиновых чурок. Сев на струганный нос или на ольховую ветку, пригвождённую к теремку, скворцы исчезали в выдолбленной дыре. Оттуда с раннего утра кричали и в распахнутые клювы змеились узкими альми языками голодные скворчата, но радостно замолкали, едва окошко накрывала тень, и тогда теремок заходил в писке, клёкоте и щебете. И в том, что пахарь, сам того не ведая, и эту небесную тварь накормил, и эту гудящую над крышами крохоту обратил к солнцу, а не одному только человеку дал хлеб и помощь, была особая праведность и ширь крестьянской судьбы.

Каждое лето проводился конкурс пахарей. Со всех районных хозяйств ополчались первые механизаторы, в установленный день съезжаясь на поле брани. Спозарани взбодренный и деловитый, Дядька действовал грамотно и без суеты, и лишь бритвенная сечка на скуле, прижжённая тройным одеколоном, обнажала его мальчишеское волнение. Он не бузил и не терял головы, когда роковая бумажка из шапки выдавала неудобный участок, а мысленно квадратыл его, как шахматную доску, кумекая, пахать ему в свал или, наоборот, в развал¹, и едва над судейским столиком вспыхивал красный сигнальный флажок, сильно и требовательно, словно земную ось, гнул рычаг на себя, врезая плуг прирученным движением. И всё шло по-заведённому. Снова копоть, пыль, рычанье моторов, развеваемый прах земли и, наконец, пузырящийся свист главного судьи... Отмашка! Трактора на исходную позицию! Комиссия при галстуках и в кожаных ботиночках измеряет глубину вспашки, поочерёдно суя в бороздки деревянные клювы линейки, с шумом совещается и что-то помечает в блокнотике. Оборвав борозду рядом с лесом не абы как, а каллиграфическим почерком лемехов, изящно вынутых на всём пылу, Дядька отпिनывает дверцу и, словно космонавт, долго не видевший землю, шалеет от дарового воздуха и света. Встав на тугую гусеницу, на ветру и вешнем солнце закуривает дрожащими руками. Глядит на свою поэму, тревожно ищет изъяны. Почти всегда вычитывает какую-нибудь одному ему видимо затёртость оборотов или небрежную рифмовку борозд. Но уже не переписать, не перепеть. И, стараясь не помять борозды, он идёт в прохладный березняк за соком. Сок в трёхлитровой банке с чёрными и коричневыми муравьями, но оттого с приятной кислинкой. Как победную чашу, Дядька обеими руками подносит склянку ко рту. Ночь мигнула звездой, а склянка полнёхонька. Сок льётся через край, сверху барахтаются муравьи. И Дядька пьёт этот сок прямо с живыми муравьями, и те муравьи, которые чудом спасаются от раззявившейся воронки, мечутся по стеклянному ободку, но и они не уходят от гибели, и медведь смахивает их языком. Потом он возится в движке, зачищает от гари зазоры свечек и подтягивает пассатжами про-

¹ В свал, в развал – виды распашки земли.

волочный хомутик на шланчике топливной подачи, а больше того гремит ключами, лишь бы не слышать этой сухой учёности и нуди разговоров. Его как будто не волнует, что там решается за столом, какие циферки вписываются в судейское табло. Всё это пустяки для него! Но его обступают, трясут его мазутную лапу. Цокает фотоаппарат городского корреспондента, когда на шею медведю, вставая на цыпочки, душистая старшеклассница надевает атласную ленточку чемпиона. На полевом стане хрипят котлы. Там согнали в шеренгу столы, раскинули реквизитную скатёрку, а в автобусе с выпуклой крышей и овальными дверьми навезли из клуба ряженных артисток. Песни из журнала “Советская эстрада” за такой-то год, рассыпающаяся псыансом игра баяна и гомон торжества. В закатном солнце немым укором стоят перед глазами непочатые бутылки “Пшеничной”, а вышитые скребут душу народа и призывают к стихийному творчеству. И вот уже дремному, исплясавшему ноги директору обляпали губы и шею помадой, замышляя драму в его семейных отношениях, но наутро он провёл с мужиками воспитательную беседу, и все поняли, что кругом не сознательные граждане, а мудочёсы и свистуны, и делать бы им нечего в совхозе, космосе и Советском Союзе...

Так Дядька побеждал в отчётных конкурсах.

Но самый строгий досмотрщик и судья сидел, словно сыч, и караулил его дома. К тому времени сыч накренился и почернел, с дизельной его списали по возрасту, нарушив душу до крови, а жить без государственной установки он ещё не наладился, тычков и понуканий старухи не зачисляя на сей счёт. Обида не запекалась. Сыч, вымещая её, качал седой головой, ехидно комментируя совхозные состязания, и, как верного друга юности, павшего в великом бою, оплакивал свой газогенератор. В том смысле, что будь у него нынешний ломовой табун коняк в поводу, старик всколыхнул бы кое-кого за грудки и вообще навёл бы шороху. И что, дескать, не бахвалиться бы этой шантрапе лёгким хлебом, чёрной корки в лихой год не едавши. Однако новой технике старик не был обучен. “Натик” его давно обглодали, лишь одно колесо гнило у взвоза, да и с того колеса поганцы срезали сваркой зубья — на кодуны... Сыч был хмурый и злой. И когда от совхоза в воскресный порожний день засылали на распашку частных огородов захудалый тракторишко, беря за это сущие копейки, Сыч уличал в этом унижительную подачку для себя. Он, как привязанный, шагал за плугом с косой саженью, всё на сто раз нудно перемерял, а если, не дай Бог, замечал оплошку, с белыми глазами навывкате бежал наперёд трактора:

— Не та-ак, не та-а-ак! И куда вы, вертолобые, торопитесь?!

Неотъёмная от его первобытного существа фуражка скоробилась от по-та, а Дядька глядел на неё и на запыхавшегося человека под нею и посмеивался. Но иногда в Дядьке что-то стопорилось. Он рывком осаживал махину и, ошпаренно выпрыгнув из кабины, в качестве меры, предупреждающей свару, доказательно тыкал пальцем в борозду. Или с подножки стучал по кабине гаечным ключом самого большого номера, который только мог нашарить в железном ящике под сидушкой, и под рокот мотора и дребезжание стёкол прогонял самозваного ревизоришку с пашни. Откуда ни возьмись, наплывала бабушка, загодя причитая о своей несчастной матушке и выдёргивая из земли огородную тычку, метящую тропинку. Она порывалась увести деда в избу и даже замахивалась на него тычкой, но под руку не лезла. Да и дед всё равно не понимал, почему ему надо уйти, и по-своему, с матерком, выражал протivление.

Над заплутами восставали любопытные головы:

— Что там такое?!

— У этих, большегорлых, опять рёв! Старик с Мишкой сцепились...

Заканчивалось всё тем, что дед, шикнув на бабку, трусил в конец огорода и маячил там неприкайнным ориентиром, на который пахоруким следовало равняться. Поскору разделав огород, Дядька с позором убирался — вершить свои социалистические завоевания. Сыч, отплевавшись, плёлся по бороздам и, расшибая колотушкой непропаханные комки, с величайшей горечью бормотал: “Каки-их только полоротая не нарожает!” — молитвой этой нисколько не давая веры и почтения районной славе меньшого сына...

И всё же главное — трудовое, будничное — начиналось с отъездом пришлых людей. Тогда меркли блики чёрно-белых “Зенитов” и “Рекордов”, увозили лавки и столы, а флаг соревнований — рыжее выходящее пламя — задували до будущего года. В поле воцарялась одна рабочая тишина. Плотное сопенье тракторов и машин звучало в этой тишине просто и внятно. Голодно лязгали на сеялках крышки бункеров. Грохотали кузова. Пестрели руки и охали тяжёлые, как роженицы, мешки. Всё сливалось в одно: шёпот семян, широкий — механизменный — крап на пашни, новый круг, дожидание осколков... Посевная! Что-то крестное, рождающее. Шёл дождь с градом, клевал первые всходы. Но жизнь выкрикивала своё — некиношное, бьющееся в виске. И вот под круглым серебром — нежная зелень. Потом, с теплом, густая звень. Золото. Трепет нивы и стрепетов над жнивьем. И за всем этим — обрывом крестьянскому небу — шагнувшие под комбайны солнца... И много лет, и много лет одно и то же! Поздней осенью, когда Дядька пахал зяби на Затоне или Перевесе, пролётный снег садился на вздыбленные валы и не таял: в природе уже не было дыхания. Плуг, надраный о землю, был зеркальным. Захватив из дома бритву и помазок, Дядька по утрам скоблил стантовую колкую щетину, попеременно глядя то в тракторное зеркальце, то в мёртвое свечение металла. Но и там, и тут видел с мучением и болью своё старение, глубину нарвавших на лбу морщин и вялую бледность глаз. На комках блестели даже не срезы, а мёрзлые сколы от плуга. В этой стылости, в умении земли, отрожавши, по-женски уединиться, прибрать и почистить себя, сохраняя лоно в заповедной святости, было какое-то грустное, неизъяснимое великолепье. И когда земля, расчёрсанная, закутывалась с ногами в гудящий ветрами октябрьский студень, уходила, приговорённая, под снег, в холод и звёзды, вместе с ней, исчезнувшей, иссякала, со снегом истаявала в горячих ладонях и кухонных котлах, с прощальными звёздами масла и некая волшебная тайна бытия. И Дядька становился печальным, как эти несомые над Россией чёрные ненастные облака. Он вдрызг, на вред себе запивал, неся остроту и неотперхиваемость своей нутряной боли, и руками, к сорока годам распятыми на рычагах, всё чаще и всё злее душил гранёные стаканы, как чьи-то короткие гнусные шеи. Водка, казалось, сама выдавливалась в него из стаканов, из чужевшей, чужбинной и злобной к нему жизни, вообще круга немилостивых обстоятельств, в котором один за другим, как в плашке, погибали в эту жуткую пору мужики...

Трактор его пусто и одиноко стоял в поле. Бабушка обзванивала посёлок:

— Где он?

— Кто?

— Ну, кто-о?! Долговязый-то! Вы там его не видали?

Дядька, узнав о слежке, орал, размыкая рот огромным рупором.

V

В нём уже тогда случился надлом, так мучительно и полнокровно — побратски — совпавший с гибелью самой державы, с её выпятившим красный язык задыханием в удавках трёхцветных флагов, вздёнутых над победившей Москвой. Имперская власть отступала из провинции, отхаркивая кровь и шерсть. Это со скользких от плевков столичных улиц её вышибли в двадцать четыре часа. Её центровая рабочая жила впилелась в сердце крестьянской жизни — без разрывания кожи и мяса не разойтись. И только шебутной, ровнивший на пикники и в секунд-хенды город разом пустил по ветру своё промышленное, по уши, по маковку, по душу наливаясь пепси-колой и разной мразью. Из архипелага ГУЛага державу, её усталый народ этапировали в архипелаг бумаг, которыми обложили росса картавые хищники, и губили в них, в асфиксии даровой свободы. И Дядька — как все они, простые крестьяне! — вместе со всеми бежал, умирал без пуль, без верёвки болтался голыми ногами над четвергованным полем. Руки его, оттолкнув рычаги, повисли плетьми. Покатилась закатным солнцем голова. Сердце возилось в груди, аукая ответное колотенье в рёберной клетке радио, но даже “Маяк” — утренний бесменный позывной — попал в расстрельные списки. Иные спасали себя и де-

тей, запирались от быстрого угасания сначала в арендаторстве, потом в фермерстве. Этих тоже гнобили в архипелаге бумаг, брали налоговой пятью за горло, глотки — чтобы молчали! — запаивали оловом реформ. Настигнутые в последнем убежище, эти иные тоже погибали, а кто-то сдавался в полон. Но те и другие, наконец, уронили или сложили на остывшей груди руки — трудовые флаги державы. Только Дядька, кажется, так до конца и не понял вселенскую бездомность, мусорную ненужность и пададь своего теперешнего существования, бывшего вчера моторной тягой. Против природной удали и таланта он утвердил обратное действие: наградные сувениры — холодные цапки эпохи — мял трактором в проулке, грамоты с тиснением под золото свернул трубочкой и сунул в огненную печь, швырнул туда же красную — ещё с Лениным — пачку премиальных денег, на которые можно было купить холодильник “Бирюса”, и бабушка с воем оползла на ведро, в котором намывала картошку... Он быстро хирел и утихал, утекая, как первый снег в обеденную землю. Братья его скачовали с родовой избы, жили детными семьями в посёлке. Сёстры обмужели. Только он, боббель, томился со стариками. Бродил по гладким плахам, как зверь в осаде, грызся с отцом из-за пустяка. И, не веря глазам, до полночи не вырубал телевизор, а утром без души шёл на работу. Душа оставалась дома и, провожая его за дверь ехидным взглядом, напояла по первой: “Пошёл?” — дескать. — “Пошёл”. — “Ну, катись!”

На замороженном Севере всё коченело не сразу, а как в замедленной киносёмке, но тем страшнее и нагляднее. Если не умирало, то самочинно загоралось чахоточным румянцем в ночи и, неохотно укрощаемое из кишок запоздавших “пожарок”, день-другой дьявольски скапилось и хохотало дымом, пеплом и головешками, выедавая глаза и сердца простых людей небывалостью страховых выплат, которые отстёгивали сметливому владельцу пострадавшего госучреждения, днями ранее скупленного за копейки. Берили и ждали, что в этой кошмарной банной выпарке красный петух отмоется добела или взовьётся через печную трубу и навсегда исчезнет, а посему всё терпели и прощали. Но на смену пришёл индюк в звездастых джинсах и склевал зёрнышки пятиконечных звёзд КПСС. И уже ничего не хотели, лишь бы оба они скрылись с глаз долой с родной земли. Она-то от вспашки до вспашки, от сева до сева жалась в смертельном обруче, как будто сама душа земли напоследок сгребалась в худом теле, чтобы вот-вот изойти из него, уколется о башенный шпиль Кремля и кануть в небесах. Народный дух всё не мог оклематься, хоть жиденько, но молились о нём, шурали над ним газетами и плескали плакатами, а он, как слепой, мотылялся по миру с протянутой рукой. В городе высиделись церковки и, проклонув золотую скорлупу колоколов, похристовались в братском единстве. В деревне, как тыщу лет назад, из всех оберегов от ворогов и напастей паялил пустые глаза побелевший от дождей коровий череп на изгороди, да и его с досады прострелил охотник, пропудявивший на овсах копалуху. Однако и рогатый череп без височной кости, вынесенной дробью, не мог прободать тьму, которая слетелась на мир после проигранного сражения. На гаражном дворе ржавели остовы гусеничных и колёсных тракторов, комбайнов и грузовух, а с ними сеялки, грабли, плуги и пресовальные машины, как большие и маленькие скелеты расклёванных животных. Перед снегом с летних пастбищ стогнали скот, мычащей бучей переправляли на барже через Лену, наглотавшуюся осеннего свинца, и крешкого здоровья была немогутная с виду доярка в облинявшей болоньевой раздергайке и с остуженным сиплым горлом, которая в зимнее туманное утро отворяла, как в ад, грохочущие ворота коровника. Мужики, с утра явившись в контору за разрядкой, роптали на плохо освещённой лестнице, потерявшиеся и бесцельные, и стеснительно пользовали чужую “Приму”, если она оказывалась в чьём-нибудь кармане. Директор, большелюбый и короткорукый, грузно прошествовав по узкому проходу между людьми, рывал на всякого, кто переступал порог его кабинета:

— Где я тебе новый радиатор возьму?! Чо ты, ё-моё, совсем дурачок?! Выйди отсюда-а!!!

Потом, откричавшись по телефону, сам выходил к мужикам, бледный, но с победной мыслью на лице. Из пачки “Родоши”, словно патроны из обой-

мы, торчали жёлтые фильтры сигарет, которыми директор вооружал особенно активных мужиков, чтоб они жгли порох и не совершали подсудных движений, а между тем с жаром говорил:

— Надо, ё-моё, выкручиваться из положения самим — за счёт укрупнения арендных бригад. С техникой сейчас... сами понимаете, а так будут двенадцать-тринадцать единиц — маневренность!..

Из последней мощи укрупнялись, наскребали какие-то крохи, снова сказочно пахали и сеяли, перепрыгивали планку по мясу и молочку, по зерновым брали никому не нужные обязательства, чего-то вершили, зазывали из газеты корреспондентов и после уборочной ездили в район за дежурной премией по случаю праздника сельхозработника, на обратном пути накрывали скромную полянку там, где недавно гуляли миром. Но выяснялось, что это так стелили соломку, когда всё опрокидывалось навзничь, и на другой год укрупнение не спасало. Уже были назначены перевыборы на главную совхозную должность, словно в директоре и была основная течь, давшая роковой крен державе. Бабы городили чепуху, подговаривали очередь в магазине и собирали подписи, а мужики болели от войн и революций и порожняком шатались по улицам, да губы нажираясь палёным пойлом...

Когда в будний день Дядька оставался дома и садился за жареные картошки, и в лихую годину не выводившиеся у бабушки из твёрдого оборота, дед, проверив корчаги и нанося воды, а также сварив корм скотью и перелопатив иную, смотря по времени года, работу, с притворным кряканьем заваливал в кухню и окапывался за столом напротив сына, будто хитрый мышь, таскающий из вазы баранки, а сам иронически наблюдал, как хвалёный, возвеличенный до небес механизатор с ножом в огромной руке сверх плана боронит в небольшой студнице свиной холодец, застывший белой жирной плёнкой. Время от времени, угадывая, впрочем, момент, когда вилка вознесётся с тряским куском и последует по маршруту тарелка—рот, дед поднимал на обсуждение какой-нибудь подлый вопрос, вроде:

— Вы снег-то стортали?

Снег на поля сталкивали тракторами в малоснежные зимы для весеннего водозадержания. Но так было в пропащие годы, не жалевшие народных душ, а нынешние эти души и этот народ берегли, как зеницу ока, для какой-то своей надобности, не пересекавшейся, правда, с чаяниями самого народа, и потому сразу ликвидировали всё, что чинило этому народу препятствия на пути его полного и безоговорочного саморасходования ради чужой корысти.

— Где солярка-то? — баском отвечал Дядька, делая вид, что не замечает издёвки. С вилки-таки соскальзывало на стол, и оба они, отец и сын, смотрели за прыгающим студнем с неравным отношением к произошедшему. — Лопатами кидать?!

— Привозили же перед Новым годом.

— Хэ, несколько бочек... А сено выдёргивали с Кукуя?!

Деду только этого и надо было; он даже привставал с табуретки:

— А вы не солярку загнали Мишке Островскому?

— Кто загнал? Ты меня видел?!

— Врать не буду — не видал, ага... — охотно соглашался дед, но терпеть эту шашечную перестрелку уже не мог и напролом лез в дамки, а иногда просто лез через стол: — А что вы, я спрашиваю, насеете со своими реформами?!

— У тебя возьмём!

— У нас с баушкой нечего брать. Нас и самих скоро прикончат! Пока вы, февраль, кружите по деревне, нам тут другую жизнь... устанавливают.

— Завёл панихиду! — бросал вилку Дядька: есть уже не хотелось. — Кто устанавливает-то?

— Поселенцы из правительства — вот кто! И американцы ещё, — минутой позже вспоминал дед.

Залетала с улицы бабушка, вся в банной распаренности и с хлопьями мыла на фартуке, и лишь нос картошкой был сухой, словно не он сопел над шайкой с постирушками. Она сразу оценивала ситуацию и в целях погашения очага конфликта гусиными щипками гнала старика в комнату, отпечатывая на полу влажные запятыя от косолапых тапок:

— Будешь телевизор слушать?

— На хрен он мне нужен!

Дед нехотя отступал и в недобром молчании сидел на кровати, сцепив руки на коленях, а едва бабушка отлучалась из избы или начинала строчить пулемётной очередью, с характерным хруском зуба о зуб перекусывая нитку на игле швейной машинки и ничего не видя и не слыша, он благодушно привлекал курившего в печку сына:

— Я что хотел спросить у тебя, Михаил... Ты, никак, отстал?

— От кого?

— От баржи-то?

— От какой баржи? — Дядька поворачивает лобастую голову. — Что ты опять городишь?!

Старик тоненько смеётся:

— Ездили же сёдни на полуторке по деревне, алкашей загружали в кузов. Потом, говрят, посадим на баржу и отправим в Ледовитый океан — лёд долбить!

— Но-о! Смотри, как бы тебя не сослали, политикана!

— Меня не сошпют! — срываясь на визг, реваншировал дед. — А тебя, Гаврош, обязательно!

Наступал заветный час, и Дядька не выдохивал, уходил из дома и водился в шальных избах. Он падал в полдороги, его, как труп, приносили на закорках. Чеченец Косыгин, злобный убиец и вдовец, тайно живший с дурочкой-дочкой, стряхнул ему голову корытом. И уже — как вычёркивали из жизни — не раз вышнывали из совхоза, а затем с поражением в правах восстанавливали. И только жизнь больше не признавала его. Как-то схлестнулся с Гулихиной-разведённой. Медовал с ней в двухкомнатной клетушке, чинил забор и крыльцо, а перед работой — бритый и сытый — на цыпочках подкрадывался к спящей... Спустя неделю-другую мать толкнула дверь плечом:

— Зачем она тебе — бывшая?!

Гулихина связала вещи и уехала...

В ту красную жаркую весну бодались в Логу у ельника. В последний раз. И Дядька что-то запорол, уступил ленту чемпиона залётному пахарю из Карпово. Стоял на общем фото сбоку. На голову выше всех. Коротко стриженный, улыбка простецкая, белый свёрток под мышкой. Рубашка в клеточку... Всё трын-трава! Вечером застонали ведра в сенцах. Роем слепой рукой в кармане. Нашёл. Рот до ушей. В глазах мокрый блеск. Купил детские механические часики. Что-то копейное, пустышное. Клюётся в кулаке маленькая птичка. Маленькое сердце страны. Подарил племяшке, заплакав громко и некрасиво:

— Смотри, дурёха, чтоб этот варнак не сломал! На память это тебе от Дядьки!..

Но потом премию просадил, часы с холодными глазами вытребовал назад и пропил.

VI

Вообще в своей жизни Дядька справил одно-единственное дорогое приобретение: на премиальные взял со станка колясочный “Урал”, синий-синий, как мечта деревенского мальчишки о небе. Высокое рокотание мотора, льдистое отражение зеркал, захлёбывающееся стремление спиц в колесе... Гонял Дядька по посёлку, ища смерти, и на ревущем ходу сквозь слёзы и восторг полёта поплёвывал на близко шагнувшие к дороге телефонные столбы, восклицавшие мотыльку о хрупкости существования. О том же, только более весомо и грубо, толковала ему бабушка, когда — “рубашка нараспашку, коляска кверху, в ж... дым!” — он подкатывал к воротам, натрёпанный, и чумовой вихрь, не останавливаясь с Дядькой, с его железным зверем, пронёсился дальше по проулку:

— Ты, чурка, башку свернёшь на своей мотоциклетке! Кто чинить будет?! Лонин подался с семьёй в Иркутска, Наталья Анатольевна тоже вот-вот ухнет от такой жизни, карета поломатая стоит...

Но ему, должно быть, горела звезда, кручинилась о нём, озаряла его беды и горечи и вела, вела, вела... К чему? Куда?.. Однажды (это были ещё громкие годы) он разворотил колхозную избу, в которой становались трактористы. Много бригад повидала изба, широченные нары, сработанные по принципу всеобщего равенства и братства, кого только не привечали. И вот как-то утром сидели мужики, чифирили и зевали. Кто-то, шоркая себя по спине, сказал: “Как посплю в этой избе, потом неделю чешусь!” Дядька то-сковал в отстранении, придавленный вчерашним безобразием с уничтожением кружек и борением на руках, и подумывал о жизни всерьёз, озирая вонючую берлогу, стиснувшую его молодость. И вдруг весь встрепенулся, поднял (рас-сказывают) голову. “Чешешься?” — спросил тихо и быстро вышел. Открыл дверь: “Ну-ка все!” — а когда мужики выскочили, гарценол на тракторе к избе, поддел плугом нижний венец и, продымив гарью, спятился... На ту пору ехали с проверкой директор и главный агроном. Пospели на Перевес — стояла изба. Съездили к соседней бригаде, на Дресвяный ручей, вернулись через десять минут — нет избы. Где изба? Сошли под угор — брёвна у реки.

— Кто?!

— Мишка Длинный...

Грозил Дядьке срок. Бабка бегала, хватала за руки, клянчила и кланялась, просила за дурака...

А то он унырнул с трактором под лёд. Командировали их с Кетрованом за сеном в Борисово — местечко на другом берегу Лены, где распахали старое кладбище. Дело было в начале декабря, лёд ещё не выковался на морозах в полутораметровую сталь, протяжно томился под гусеничным лягом, но переправу держал. И вдруг на фарватере клацнул челюстью, сглотнув добычу. Кетрован ехал на саях. В печальный миг он скакнул на лёд, отполз от полыньи на расстояние выстрела, а уж там боязливо поднялся... Дядька отдыхал на дне. Тут выручили тяжёлые сани, которые не дали трактору завалиться на бок. И ещё спасла соображаловка. Дверцу с водительской стороны заблокировало течением, Дядька, едва брызнула вода, плотно закрыл стекло, а уж потом пнул вторую дверцу и, держась за раму, выскребся на кабину, весь мокрый и без шапки, которую река унесла на память. На льду Кетрован с доской, руки от страха ходуном, глядит, как на утопленника...

— Если бы Длинный не закрутил стекло, а сразу бы открыл вторую дверку, дак его бы течением под лёд! — рядили мужики, обмывая в гараже второе рождение товарища.

Но заканчивали едино:

— В рубашке, бляха, родился!

Он и верно родился в рубашке и, будто подслушав тайный разговор и разнюхав, что в верхах при любом раскладе его не кинут, всё-то гнул судьбу через колено, а когда она чудесно не ломалась, хохотал всей глоткой, усыпляя в близких боль и волненье. Струхнув после неприятностей с утоплением техники и людей, директор нарисовал Дядьке путёвку в областной санаторий, но утопленник не к месту загулял, путёвку порвал на самокрутку, грозился также порвать директорскую гузку на британский флаг, да мужики оттащили. И так-то у него пошло, пошло, пошло! Как-то на Крещенье Дядька упал в ночи, но его подобрали и — серебряного — занесли в котельную, докрасна надраили шершавым снегом... Это был словно далёкий грозный окрик ему, всем нам, однако ни он, ни мы не услышали. Откромсали по пальцу на руке и ноге, а Дядька всё хорохорился, дезертировал из палаты и опять шараялся по заугольям. Легко было летом, прикорнёт где-нибудь и спит, как младенец. И золотая осень ему нипочём! Но после картошек барабанили в дождевые бочки первые заморозки, белые мухи порхали над огородами, ярко-чёрными от пролившихся дождей, и тогда становилось тревожно за Дядьку, за его переменчивую звезду.

И бабушка, с рассвета до ночи крутясь колобком из избы в поварку, которую топили до холодов, и обратно, вся занятая поздними солениями и утеплением окон, нет-нет, а поглядывала с высокого крыльца на осьмушку поля, да к той поре с зябями уже управились. В свободную минуту она катилась на угор и, перематывая на лбу шёлковый узел платка, бормотала

что-то слабыми губами. И если это была молитва, то ткалась она не из слов, а из шарканья сухой руки по сырым глазам, из хлопанья маленького носа, из глубокого и шаткого выдоха, а может быть, из равнодушного бряканья лодок, от волнения шербатовых волн ударявшихся друг о друга. Огоньки осени, как много лет назад, горели на реке. Это рано вечером зажигались электрические лампочки сосновых плотиков, каждую осень заменявших железные бакены и каждый ледостав уносимых с шугой в море Лаптевых. Их заренье было унылым, прощальным, и видеть это могли лишь старый уходящий человек или иная светлая душа. Огоньки напоминали старухе о грядущих вьюгах, о долгих вечерах, о надсадной чахотке дыма над простуженной землёй, но больше о непутёвом последыше. И, чем бы ни была занята бабушка — меси́ла ли она в ступе тесто или хлопала половики, а то спускала в подпол морковки и свёклы — всё-то она выслушивала стук воротной щеколды, но когда и жд́ать было невмочь, ковыляла к соседке, ковыряла диск телефона...

VII

После седьмого ноября Лену замуровывало неровным льдом, нагромождённым у брустверов, и вместе с рекой, курающейся от полыней, замерзали скошенные шугой кусты, обломки досок и разный хлам, накопившийся вдоль берегов с весны, и всё это в последнюю гремящую ночь с приморозом дыби́лось, опутывалось серебряной проволокой и к утру причудливо напоминало крестовые ограждения на минном поле. К тому дню лежащие на камнях “Оби”, “Казанки”, “Крымы” и “Прогрессы” муравьиной гурьбой стаскивали на угор или свозили на самодельных тележках, перевёртывали под заплутами, и октябрьский поздний дождь или переплонувшая борт волна, пристывшие к днищу с зеленью водорослей и рыбьей шероховатой чешуёй, от удара лодки оземь или от колотеня в неё концом шеста осыпались оловянными кусками. Под острыми носами лодок, пропахавшими снег, курчавилась изумрудная осенняя трава, а отстранённо от общего следа ползли, как змеи, цепи с примкнутыми замками, чертя на снегу рыхлые зыби. Когда после обеда скот гнали на водопой к разёму во льду, продольно берегу открывавшему Лену журчащей полоской, то животные, как намагниченные, шли по этим потаскам от лодок и, на ходу то опуская, то поднимая головы, рвали жёсткую скудость, и то, что трава тоже проморожена, узнавалось хотя бы по звонкому хрумканью, с каким она перемалывалась на шербатовых зубах. К избам же прикатывали с берега лавни¹ на кованых колёсах, трелевали тракторами пойманный ещё по большой воде лес и зубатыми шинами бензопил “Дружба” и “Урал” запорашивали валенки жёлтыми опилками, сладко пахшими на морозе отворённым смолевым деревом, столетия напролет хранившим в себе лесную тайну. Вдоль заборов парадным единством выстраивались длинные поленницы, скреплённые против расшатывания и распада широкими плащинами², выложенными мудрым образом — клетями. Но в тех избах, где хозяин был плохим, топились щепками и речным хламом, а то пилили старые стайки и дырявые бани или в темноте одалживали дрова у соседей, и обледенелые окошки в этих избах только в погожие дни вылизывались размытыми кругами, да и то не от движения огня в печи, а от разгоравшегося в небе солнца. К вечеру его скрадывала иссиня-чёрная туча, уносила в заплечном мешке, из которого нет-нет, а протекало ртутью. На землю крошилось косыми ученическими мелками, и вскоре алое мерцание над сопкой угасало. Ночью взлаивало шумной сворой, сквозь щели рассохшихся рам пенило в избах оконные задергушки...

Наутро заваливала настоящая зима, отстреливалась липкими детскими снежками в автомобильные стёкла и спины прохожих, собачьими красными пастями хватала снег, пропахший ветром, дымом зимовий и соболями, щед-

¹ Лавня, лавена — широкая доска (плаха) с простейшим вращательным механизмом на конце: ось и два колеса. Выкатывается в реку колёсами и служит для полоскания белья, черпанья воды и пр.

² Плащина — плоская часть расколотой чурки, не измельчённая на поленья.

ро задаривала сугробами тайгу и село, серебрила дороги, луга, стальные провода столбов, колтыхалась фанерным бельём во дворах, трамбовалась вместе с капустой и кислым анисом в деревянные полубочья, стиснутые железными обручами. В безмерной северной простёртости цепенели поля, дичая на российской воле, и этим свадебно-белым покровом, саваном смертным затаивая от глаз свою непочатость, своё нутряное бабье, не взятое, не рожавшее нынче. После первых шёлковых метелей с низовий Лены завивал жестокий хиус, шатал рыжий бурьян с насевшими на него снегирами и овсянками, в два-три дня притаптывал снег на открытых местах, особенно под угором и на реке, и этот закоревший наст под лыжами или валенками ломался молочно-вафельными лафтакми, образуя полость, тут же засыпаемую выкристаллизовавшимся к той поре снегом из внутренних слоев сугроба. Ни скатать из этого зыбучего материала снаряд, ни вылепить развязную бабу с полоумными глазами из пяточков разрезанной свёклы и голыми неровными грудями с отпечатками потных пальцев лещика, а после позёмки, раздувшей в небе кемаривший уголёк, вообще перебарывало на мороз.

Над селом флагами сибирской зимы выросли густые рокочущие думы, золисто-жёлтые от сращенья утренней темноты и рано воспалённых окошек, трепыхались на ветру и на больший холод, к четырёх часам вечера уже синевший над крышами, сверлили небо высоко и прямо, вылетая из труб с хлопьями отхарканной сажи. Лёд на реке к той поре начинал с оханьем оседать, но если всё же держался выпуклым пузырьём, из которого ушла вода, то с ударом пешни, проклонувшей прорубь, он словно отставал от берегов всеми незримыми жилами и потрясающе обрывался под ногами. Шум был такой, словно с крыши скинули на землю лязгающий лист кровельного железа, но крепкий воздух и коридор реки, защемлённой тайгой, долгим и продолжным отзвуком усиливали это грохотанье. Иногда ледяной панцирь ухал вдоль берега сразу на десяток-другой метров, а из тёмно-синей оскаленной трещины выдавливалась река и толкалась частыми сокращающимися кругами. В лесу в самую стынь зайцы торили тропы, в пугачёвском дырявом тулупчике выбегая на бывшее совхозное поле, где Аржаев-фермер год или два разводил капусту. Здесь они поедали светло-зелёный лыч, проколевший до громкого хруста и мягкой сладости. Пацаны в это славное времечко студили сопли и до красноты нашаркивали носы пушистыми варежками, лазая по охрипшему от мороза ольшанику. Они перекрещивали заячьи пути нихромовыми петлями, против запаха металла и рук натёртыми об ёлку, и через день-два высвобождали из удавки плоского, уже вмятого в снег другими зайцами, растопырившего лапы ушкана с капроновыми глазами. Скоро все узнавали о зайцах, об их кормном месте. И Дядька, заглушив трактор в проулке и слив воду из радиатора, чтобы его не распёрло по швам, отжигал в поварке обрубок стального троса, сначала чёрный и липкий от мазута, а из печи вынутый алой гадушкой, которую Дядька остужал и разделял на пряди, а те на проволоки. Проволоки были кривые, Дядька обеими руками выпрямлял их в струну, пропустив через дверную ручку, а потом до блеска зачищал суконкой или мелкой наждачкой, наматывал на бутылку и сцарапывал ногтями аккуратные связки, прятал в кармане телогрейки. От счастья и возникшего смысла жизни он весь светился:

— Ездил на Тетереву гору по дрова, видал там в осиннике тропы — куда к чёрту! Не перешагнёшь! После Нового года, Бог даст, опять поеду...

И никогда не ездил, запивал задолго до Нового года, тратил петли на разную подвязку, бросал куда-нибудь и забывал!

Когда прижимало на неделю, а то и на другую, под навесами индевели колёса лавен и банные ямы перемерзали до лета, а опрокидывала вечерняя хозяйка ведро помоев на снег — шипела, ворочалась вода и, проковыряв мёртвую глыбу чуть-чуть, лопалась всей своей стеклянной шкурой. Звёзды на небе блестели тусклые и крохотные, не больше проколов от канцелярских кнопок. Но и без них всё в мире было полно яростной синевы, и тем зримее над электрическими столбами возносились вертикальные тени, на фоне зажжённой лампочки искрясь мельчащей изморозью. В такие ясные пронзённые ночи было громко в посёлке, словно в пустом концертном зале. Кто-

то — может быть, за пакость спроваженный на улицу кот — наступал на клавишу тротуара, тот, напряжняясь от одной лёжки до другой, сухо и коротко стрелял, и за этим звуком неуверенно ударяло раз-другой в цинковое ведро, вздетое на штaketник, а затем всё молкло, вернее, воцарилось говорящей тишиной, в которой резко слышалось, как корова в стайке с шорохом лижет заледеневшее стекло. Так-то до утра мороз никак не мог подобрать мелодию, чтобы заиграть во всю мощь, и то потрескивал крыльечком, то поскрипывал снегом, то дудел в трубу, а чаще нервно поламывал в палисаднике ветки рябин, словно дирижёрские палочки. Однако за чёрным ельником уже закипала великая зимняя песня. То хребтовая речка Казариха выставляла до дна, на лёд выпрастывалась оловянная, с зеленой, вода, шла шевелящимся током в Лену, барским жестом замешивая сугробы и полоня береговую дорогу, а следом, в шелесте пара и под перебранку воронья, двигался тяжёлый и плотный занавес. От тумана было густо и сизо, и если прибывшие на городском автобусе шли вечером из Казарок в Подымахино, то огни его редких фонарей расплзались вдаль, как по бутылочному стеклу капельки подсолнечного масла. В посёлке без конца латали теплограссу, горячий воздух дунил из колодезцев, как из гейзеров, и тоже воплощался туманом, одевал рыхлым желтоватым инеем бурьян в овраге, ключья выпотрошенной стекловаты и сырые телогрейки мужиков, согнанных на прорыв в клятую стужу. Вместе с отворённой бетонной плитой, под которой, как в гробнице кости, лежали гнилые трубы, дыхание замыкало ледяной пробкой, а от частого сморканья в носсах у мужиков обрывалась какая-то жила и хлестала яркой кровью на снег. Грохот иступившего зубы трактора и стенанья ломов напластывались, множились в воздухе, и съехавшаяся из города высокая комиссия не могла услышать саму себя, и только пропитые мужики, согнувшись над голубым цветком электросварки, знали своё дело без понуканий. Печи до локализации утечки топили утром и вечером, красно гудели и размётывались поленья, которые на ночь бросали в кухне звенящей горкой. Тогда и собачьи будки утепляли снегом, завешивая входы двойными мешковинами, и над берлогами, где живой дух нашаривал лазейку, закручивались куржаки, похожие на шарообразные осиные гнёзда. И даже брови у зябко скулящих собак, неохотно вываливающихся к дымным чашкам, были серебряные, а цепи, тоже почти серебро, гремели на снегу, и если на цепь угадывала каша или картошка и собака от жадности или сдуру кидалась поднять жратву, калёное звено прилипало к губам и отпадало с кожей. И в это жгучее время гибло много мужиков. Одни умирали в снегу, а других резали и штопали в районной больнице, кроили из живых желтушно-синих существ, и культяпы мотались по свету, опять пили, мёрзли, мёрли, вешались, стрелялись, уходили под лёд, и горько было от знания, что не только в отпетом посёлке так, но и по всей снеговой и продрогшей на сквозняке России...

Смерти мужиков Дядька, словно глашатай улицы, приносил в дом наравне с заныканной в рукаве водкой и клубами воздуха, врывавшегося наперёд человека в открытые двери. Но если белое дымление, холод Дядькиных валежек и пороша, лежавшая в рукавных складках телогрейки солевыми отложениями, обывали в тепле и в худшем случае стекали сероватыми лужицами на пол, а водка тайком изымалась из рукава и с волнением кадыка заглывалась прямо из бутылки, то смерти растворялись в воздухе, становясь его живой народной частью.

О смертях рядили полушёпотом, образуемым самой темой разговора. И только Дядька говорил о сгинувших громко и просто:

— Володька Кислицын крикнул!

— Да ты что?! Чё с ним?

— А я откуда знаю! С вечера понужал с мужиками на барже; ну, остался спать, утром пришли мужики — а он крикнул...

Или:

— Валерку Логинова откопали! Подался перед Новым годом на рыбалку и недалеко от зимовья упал в снег. Сыновья после праздников пошли по его лыжне; ну, наткнулись где-то возле Таюры...

— Замёрз?!

— Конечно!!! Что за глупые вопросы?! Сразу крикнул...

Как и многие мужики, Дядька был ведённый, словно выношенный паводком балан¹. Такой до осени морится на берегу под солнцем и дождём, весь пересыпанный песком, и к нему ещё нужно подобрать и, распилив, меняя изувеченные цепи, поставить на попа, высчитать, образно говоря, все его слои, сучья и янтарные наплывы, а уж из них вообразить картину некой общей жизни деревьев этой породы, и, осмыслив эту картину, в сумме понять их характер и узнать, под каким углом они будут колоться, под каким нет, и только потом взмахнуть колуном. Но и в случае этого особого понимания балан не расколоть одним ударом: уж слишком много в нём, природном, естественной силы! Вот так и Дядька не раскряжёвывался под чужим горем так-то просто, не расщеплялся сразу, не отворял могиле и печали своё глубинное, но не потому, что чужое несчастье не выжимало из него слезу, а оттого, что своё бедовое закалило его изнутри. Он точно пребывал на двух пунктах обороны себя, своей больной большой души, которую нужно было защитить и от внешних, и от внутренних трещин, к тому времени обложивших его цепко и смертно. О смерти он говорил без любви и нечасто. Никогда не завлекал её красным словцом. Никто даже в суровые моменты его жизни не слышал, чтобы Дядька в сердцах призвал на себя смерть как единственное и близкое спасение. Никогда не было этого! Зато было другое, тоже витое, витиеватое, суеверное, почтенное и плёвое одновременно: о смерти он рассуждал намёками. Он словно петлял, пряча от смерти душу, как волчиха хоронит от охотника волчат в логове под корнями, и больше всего, наверное, боялся, что сухопарая всё равно вытропит добычу и, посветив фонариком в темноту под рёбрами, вынет — захлёбывающуюся в удавке — из груди. На деле было так: дескать, Владик Назаров не сам выпал из комбайна на плуг, отцепленный на полевом стане... “Помогли-и-и!” — намекал Дядька, обнажая в этой несчастной гибели скрытые повороты, в которые никто во всём мире не вписался, и лишь он один сумел. Проноса над его сократьей головой горячую сковороду (Дядька по своему обыкновению сидел у раскрытой печки и сплёвывал на огонь похмельную, рвущуюся на языке слону) и укрощая в себе великое желание стукнуть его этой сковородой, бабушка через губу шипела:

— Опять выпятил язык! Или мало тебе тот раз навалили, всю башку продолбили железяками?!

Старик, наоборот, внимал с интересом, и это были, наверное, те редкие часы, когда он терпел праздношатающегося с охотой.

VIII

Было Дядьке уже сорок три. К той поре он сговорился с бывшей дояркой, вдовой, старше его на пятнадцать лет. Квартировал в её благоустроенной в посёлке. Он утром запускал свой трактор, постаревший на пару с ним, и уезжал иногда на весь день, медленно, словно продлевая себе удовольствие, пахал игрушечные площади и таскал сеялку, а на кого или на что гнул горб, на то и сам не смог бы ответить, ибо совхоз прибрали в частную лавочку и дали ему мудрёное название, но все упрямо именовали его по-прежнему. Она же, его последняя зазноба, сильная и бойкая, тоже не сидела сложа руки, со свету дотемна вошкалась по хозяйству, а заработок свой кроме выслуженной пенсии составляла тем, что выпекала хлеб и торговала им из дома...

Бабке и это не понравилось:

— Взял, бестолочь, старуху за себя! Спикуюланку, алкашку!

Она опять бегала, звонила, контролировала, проводила свою политику, срамила невестку на всю Ивановскую... Потом и Дядька, расшибая пьяными ногами дверь, звал тётю Любу без почтения:

— Старуха-а-а?! Откр-рой!

¹ Балан — древесный ствол без сучьев. Ведённый — то есть витой, неудобный для расколки.

Бывая в поселковой аптеке, захаживал “погреться” дед. На краешке стола угощался жаркими пирожками и булками, которые тётя Люба со всем радушием, свойственным полным женщинам, настряпывала румяные горы. Ел вятно, сытно, много. Не боясь столкнуться глазами, высматривал невестку, вынимавшую из духовки горячие формы с хлебом, накрытым фольгой.

Похикивал, представляя, как дома, на допросе, скажет со значеньем:

— Ну, баушка, невестка у нас до-о-обрая! Стала хлеб в печку садить, ж-ж-жопищей своей крутанула — я в одну сторону, холодильник в другую! — и старуха, скорее всего, сплунет, и дай-то Бог, чтобы помимо.

Обмакнув промасленные губы платком, старик поднимал слепнущие глаза на сына, когда он, например, приезжал на обед и, встав как вкопанный, с ухмылкой наблюдал за грозным отцом, который пришёл на разборки, но вот покорно сидит и трескает шаньги.

— Что, я спрашиваю, дуракам не живётся?! — задавал дед коронный вопрос.

Тётя Люба проворно забеляла молоком чай для свёкра.

— Дак вот... — приговаривала она.

И Дядька сгибался под наступлением с разных фронтов! Но, может быть, главную-то победу над ним завоёвывало то неведомое, что заламывало его из глубин и держало душу в клинче, сберегая её от расшатывания. Он сцеплял зубы и не пил, пунктуально ходил на работу, а в свободное время перестилал полы в стайке, пилил и колол дрова в проулке, возился в огороде и строил то цыплятник, то баню, то крыльцо... И в такие мгновения казалось, что вот сейчас Дядька отложит молоток, утихомирит пилу, воткнёт в землю лопату, сядет на чурку или перевёрнутое ведро и, закрыв лицо руками, вдруг заплачет навзрыд: так хорошо! Но в один чёрный день счастье, не сказавшись, уходило со двора, а звезда изменяла Дядьке, склоняясь над какой-то другой угрюмой судьбой, и он вырывался, исчезал, чудил...

Однажды кололи борова у Ковальчука — тяжёлого, центнера на два. Серёга-сам залез с мелкашкой на забор и оттуда несколько раз смазал хряка в лоб. Боров отчаянно кровил, с визгом и прострелянной башкой набрасывался на забор, с которого щёлкали пульки, и едва не разнёс двор. Ну, напали всем миром, повалили на бочину и, обнажив дрожащую подмышку, сунули в сердце нож... Домой Дядька заявился с размытым пониманием произошедшего. Стёганка, брюки, приبلуда — в крови. Сел на корточки у порога. Молчал, громко сопя прокуренным горлом, да с сокрушением поглядывал на руки, на забрызганные красным сапоги, на приبلуду с рукояткой из сохатиного рога, на пышную Старуху, заводившую на завтра тесто...

— У нас никого нет, Люба? — наконец спросил страшным шёпотом.

Тётя Люба, озиравшая его с испугом (она не знала про борова), тоже шёпотом ответила:

— Не-ет... А чо?!

Бросил приبلуду на пол, из пачки “Луча”, помявшейся в кармане, нервно выскреб плоскую сигарету, обратил розовым колечком от себя, закурил, огненно стрельнув серником, а сгоревшую спичку поспешно втолкнул под выдвижной пенал коробка, где уже было несколько, и даже шаркнул туда-сюда распухшим пеналом, проверяя ход.

— Человека убили...

Старуха заорала во всю челюсть и вон из дома в тапочках на босу ногу, а убиец отомкнул секретер, с утратой запасного ключа переставший быть таковым, и небрежным движением горсти присвоил дневную выручку за хлеб...

— Она, Старуха-то, виноватая, раньше ведь он так не гулеванил, а теперь — погляди-ка! — какие номера откальывает! — на другой день жалилась бабушка. — А ей хрена ли, толстомясой? Зазовёт всю родову на праздник, утром встанут и пойдут на работу, а этот сорвётся и жучит её, и жучит, проклятью! А не собирала бы столы, не водила бы компаний — и жили бы, как люди...

В ту памятную ночь Дядька впервые кантовался в бане, нажёванным обрывком газеты залепив бровь. Старуха, прибежав от Ковальчука просвещённая и настроенная к атаке, напрыгнула на него с мешалкой. Она потом

часто поколачивала его, когда он врывался с бунтом в дом, — то поленом башку расколлет, то кастрюлей навернёт, но если и это не смиряло сожителя, призывала на помощь златозубого, побывавшего в отсидке зятя и ногастую дочь. И, однако же, совсем из своей жизни не упразднила, может быть, пуше Дядькиных выходов пугаясь своей вдовьей доли. Вскоре она прощала ему всё и снова отворяла дверь, а Дядька и подавно примёрз к тётке Любе всей душой и, вытолканный с крыльца, крутился на глазах, а то, встав на завалинку, с бездомным видом заглядывал в окно. И так-то они жили: от покаянья до пьянки, от замирения до новой драки. Однако если Старуха почти не несла внешних потерь, а наоборот, лишь хитрела и матерела, помалу выкорчёвывая из себя мягкое, женское и материнское, то Дядька в борении с ней изменился невыразимо. Нос у него хрястнул посередине, сплющился, скосился нижней перебитой частью, лицо разлезлось шрамами, на голове часто пульсировала кровь, засыхая комками в волосах, а под глазами было синё от свежих и жёлто от выдохнувшихся синяков.

— Терминатор идёт! — кричала ребятня и с хохотом пряталась по углам, а то преграждала дорогу с автоматами из ножек разобранных стульев и с татаканьем расстреливала человека.

— Умирай, мужик! Ну, чо ты не умираешь?!

Но он всё шёл, всё не умирал, и ребятня, став постарше, настигала его в проулке тупым пинком под зад.

— Кого это?! Меня-то?! Ха-а, пальцем деланные... — бубнил Дядька, горбато стоя под небом, и перебором раскисших губ считал кусачую стаю: — Раз, и два, и три... Всё, запомнил недобитков!

Он уже так выкрепился в этой жизни, всё в нём столь притёрлось и притерпелось к её щипкам, зуботычинам и ударам под дых, что Дядька, кажется, и не чувствовал боли, и не было на нём такого живого места, ткнув в которое, всяк ткнувший не карябал бы омертвевший рубец. Ночью, не морщась, анестезированный спиртом, смородиновой брагой или тройным одеколоном, он рвал пассатижками бородавки или состригал их ножницами, а утром, шаткой рукой бреясь перед осколком банного зеркала, долго гадал, отчего на лице запёкшаяся кровь. Доняли зубные корни, Дядька вылакал пол-литра в сенцах амбулатории и без наркоза сел в стоматологическое кресло, послушно раскрыл пасть. Он только протяжно и тихо стонал, когда свинцовые ноги оставались позади, колени, дрогнув, загребали в эту найденную слабинку, а на лицо с бешеной силой налетала земля. И Дядька падал беспомощно, не успевая выпятить рук, словно калека на костылях, и только слегка отворачивал голову, и все камни, все дорожные колдобины и бугры чудом миновали его открытые виски, на которых колотились голубые вены, текли голубые реки его грустной жизни.

Вокруг смеялись:

— Бортовая развалилась!

А если Дядька всё-таки брёл, и ноги то бежали впереди, то передыхали, и он парил для балансира руками, со знанием дела сообщали:

— Идёт на посадку!

IX

У Дядьки была удача в жизни, он часто ловил руками то неуловимое, что в сибирских сказках и легендах выковалось в одно короткое слово “фарт”. Он, скажем, нюхом чуял разные полезные штуки, незримо окружавшие нас, будь то лопошайка от дюралевого весла или ржавый медвежий капкан, банка с коркастой краской, которую Дядька разводил бензином, или топор старинного производства, за товарное клеймо ценимый в народе как особенно бриткий, а то он среди бела дня поднимал на лобном месте деньги... Однажды по утреннему холодку шёл в Казарки из Подымахино, где после ругани со Старухой отлёживался у родителей, и похмельная сухость зуда-дела во рту, а в кармане — пыль да дыра... И вдруг увидел на дороге пять рублей, потом ещё пятак, и дальше россыпью. Когда всю мелочь пересчитал, оказалось ровно на бутылку “катанки” (“Катюша”, “Катюха” — так он ла-

сково называл её; она стояла тогда двадцать рублей)! Или нанялся к Снегирю косить и ставить сено на той стороне Лены; с другими мужиками шибал сочную пену июля, словно выбирал веслом зелёную реку, и скоро измалхался в мыло, но вдруг встрепенулся, точно поймал жаркий запах дичи, за каким-то бесом полез в ольховник, нагнулся и, разорвав корешки трав, по-звериному стал рыть мягкую землю руками... Из кустов вышел с курковой двустволкой шестнадцатого калибра! Водит пальцем по отсыревшему прикладу, в котором жучки проделали ходы, скребёт ногтем по гнилым стволам с осыпными раковинами внутри, показывает, где и сколько отпилит.

— Ну, Длинный на большую дорогу собрался! — с восхищением качали головами мужики.

В другой раз Дядька с утра пораньше пошёл на свой покос. К обеду, когда припекло и траву точно присыпало песком, а вчерашняя кошенина ещё обдувалась в валках, косарь наловил кузнечиков, настроил сосновую удочку и, закатав штаны, босиком забрёл в реку. Светлая мальчишья мечта, за которой он гнался всю жизнь, но вот изноровился, прихлопнул её горстью и насадил, длинноногую и прыгучую, на крючок! И было так: паутинный блеск лески, чуткое колебание пробочного поплавка под стрекозой, присевшей на миг передохнуть, затем глубокий чмок, и вот с литым ворочающимся свистом сорога вываливается из воды на берег, а стрекоза висит в воздухе на одном месте, слепя бирюзовыми крыльями, и ждёт, когда на воду снова упадёт поплавок, чтобы тут же его оседлать... Но в эту чудную пору: жёлтое плавленье солнца, стеклянное течение реки и шорох поспевающего сена, а хрустящий домашний хлеб с малосольными огурцами и утреннее молоко в бутылке — в прохладной осоке у ручья! — проклятая нога возьми и споткнись на чём-то скользком, как налим... Откинул удочку, вышер из реки добычу — лодочный мотор “Ветерок-12”. Как он там оказался?! Его напрочь затёрло илом и песком, ни разобрать поршневою, ни провернуть заклинивший винт, и Дядька разгромил находку кувалдой, сдал по частям скупщику металлов и под завязку затарился водкой. От покоса он сразу устал, и ливни, зарохотавшие в августе, поморили валки, они “проросли” — как волосы на своей непутёвой голове, уже осенью отрывал Дядька граблями от молодой отавы созревшее чёрное сено...

Косил он каждый год до самых картошек, а иногда пластался и по листопаду. Траву не нужно было поднимать в валки — она стояла сухой на корню, коси да копни под вечер, только от её мёртвой шершавости быстро тупились косы, и через час-два Дядька меткими кивками молотка оттягивал свою “девятку”, щупал пальцем кривое лезвие и оно, нашлифованное до трудового блеска, едва слышно звенело от ногтяного щелчка. Комсомольской спешки на сенокосе Дядька не любил и не терпел больше, чем при любой другой работе. Метая сено, он долго кружил подле заложенной копны, подыскивая навильнику “самое место”, и над ним, над его включенными волосами и неприбранным сеном посверкивали тучи, полные ливня и голубого электричества. Его поторапливали: “Солнце к закату идёт!” или: “Дождь закрапал!” — а он лишь гнал наружу кончик языка, взмахнув над головой вилами на длинном черенке, будто вершил какую-то свою революцию, и сено, как живой флаг, трепалось на ветру, разлетаясь травинками, зато когда наконец обретало своё гнездо, все вдруг видели, что так-то и вправду лучше... Ещё Дядька сгородил навес из жердочек и целлофана, дощатый столик и лавку. С утра он кипятил на костре смородиновый чай, хлебал, обжигаясь об эмалированную кружку, с которой уже не мог совладать и обеими руками, и заедал подвяленной на солнце земляникой, на коленях отыскивал её — расплзающуюся на пальцах — в лугу. И, может быть, в эти блаженные минуты думал о том, что вот ещё лет десять-пятнадцать — и он уйдёт за Орлом-столяром, Лёхой-кузнецом, Венькой с Береговой и другими забуддыгами, а навес так и будет стоять, лишь столик с лавкой потрескаются и побуреют, но в лиственничной чурке будет по-прежнему виден трёхгранный прокол от стальной “бабки”. И всё здесь сохранится как при нём! Даже бутылки с питьём будут днеть в траве, а от них — вернись он облаком и открути пробку! — прямо в ноздри пахнёт кислым квасом из жжёных корок.

Только лес, надвинув зелёные шеломы, грозно наступит на дуг, и сосны с ёлками, берёзы с осинами через много лет подкрадутся к навесу, а там вздыбятся над ним, втопчут в землю деревянными копытами, обратят в прах и пыль, и навес, и дуг, и луговую Россию, и судьбу самого Дядьки, и землянику, как самую неизвестную жизнь! И бегущий спешный подлесок уже не вспомнит ни косаря, ни его шепчущей косы, ни однообразного дымка “Примы” в то священное время, когда Дядька, забыв про литовку, сидел, отрешённый, на лавке и мастерил пилотку из старой газеты, сплюнявив уголки языком, а то глядел на скошенную поляну, на солнышко, умиравшее в консервной банке вместе с огоньком окурка, на алмазную после грибного дождя дрожь листвы...

С ним стало твориться что-то невообразимое, чего и мы не ожидали от него.

За год до своей смерти он кинул в бабушку поленом. Было это сухой золотой осенью, все копали картошки, а Дядька, плюнув на всё, кочегарил в поварке печь, выпаривая из горсти макарон нечто обильное и склизкое, чтобы сразу заткнуть глотку. Бабушка крутилась рядом, налаживая оперативную работу, беспричинно отворяла дверь и запускала в поварку последних злых мух. И злые мухи кусали Дядьку, и с этими укусами Дядька сам злел, припадая к бутылке жёстким ртом и забывая прикрыть дверцу. Из печи выпрыгивали угольки, потухая на полу, прижатые бабушкиным суконным ботом, и старуха боялась, что Дядька спалит поварку, а потом и село. Наконец слезка опостылела, а ядовитые замечания костровыми искрами выстрелили в душу, где и так всё насторожилось в порох, и Дядька вспыхнул, с диким рёвом схватил полено и, когда мать сиганула через двор в сенцы, со всей нагноившейся в сердце яростью метнул в неё убойный снаряд. Бабушка, поймав рукой коленку, загремела на крыльце... С огорода прибежали на гортанный крик, сцапали пропойцу за руки-ноги и под бабушкины слёзы, под скорбный причет и мольбу пожалеть “зайца глупого” выбросили, как мразь, в проулок. Дядька, со стоном упав на спину и от боли закатив глаза, валялся у всех под ногами, распластанный и расхристанный, и вдруг тихо засмеялся! И страшен был этот осмысленный трезвый смех в поверженном, и kloхтал он в Дядькином горле, словно горящая свечка на окне, когда во дворе буран и в доме качает занавески, но вот раму толкнут настежь, и смертельный воздух нахлынет разом...

— Чего ты — как дурак-то?!.. — спросили Дядьку.

— Мамку жалко...

И уже не только он ведал о себе всё, но и бабушка, на хромо́й ноге провозжая проспавшегося, смотрела в сутуленную спину и горевала о нём, в известном до запретного знания, и тоже смиренно ждала восковую жуть и прозревала, что печаль эту не обойдёшь, не объедешь по бревенчатому мостику. Она лишь глуше охала, уже не веря ни в свои, ни в небесные силы, которые обуздали бы разрушение на земле, и только заклинала подкрылка не шляться в мороз и не мчать на мотике, как скаженный, и когда Старуха благоприятно заболела, понадобился длинный рубль и Дядька свёл коняшку со двора, а вернулся пёхом, бабушка вздохнула вольготнее:

— Слава те, Господи, сплавили заразу с рук! Как бы ишо уследить, чтоб не замёрз в дороге...

Однако это она помечтала, что с продажей мотоцикла беду отвадили от ворот. Теперь, как на танке, Дядька патрулировал из села в посёлок и обратно на тракторе, нигде не встречая преграды. В метельную белую непогоду, когда воровски притащил из леса тяжёлые баланы и сбыл их Сане Снегирию, он сокрушил у Катанаевых палисадник с той убеждённости в своей правоте, с какой устраняют на исторической дороге лишнюю огорожку, зловредных врагов и вообще всяческие предубеждения. Соседка Катанаевых, бабка Зоя, в одном потёртом платишке и в обрезанных валенках выбежав за ограду, от возмущения трясла головёнкой и стучала кулачком в дребезжащую дверцу, словно та вела в кабинет райкомовского начальства, и, не допустившись, с подскока плевала за приспускаемое стекло, норовя поразить открывавшийся её гневному взору неясный силуэт лихача:

— Да как ты, моэть, в избу ко мне заедешь?! А то давай, ё-ё-ёп т-твою мать!!!

Но Дядька чего-то не заехал, газанул через проулок, обчихав бабку Зою копотью, на повороте у почты зацепил гусянкой и расщепил основание электрического столба, и так-то, бывало, до утра бледный свет фары без подфарника роился в ненастной зге, как спятивший мотылёк, отображая петлистое Дядькино настроение. И только вспашка была по-прежнему изящная и ровная, словно прочерченная по ниточке. Но управлялись с пахотой, севом и уборкой рано. В зимнее бессезонье, обострявшее в людях чувство общего безвременья и осовелую тоску, кроме вывозки сена-дров и ремонта техники, не было мужикам зачина. Кто-то уезжал в город на автобазу или в лес готовить вагоностойки, кто-то занимал в банке и обрастал подобным хозяйством, на облупленном, но безотказном в службе “Жигулёнке” мотался по районным школам, детсадам и конторам, пристраивая за бесценку картошку с капустой да мясо с молочкой, и скоро вылетал в трубу, на выходе из которой его уже караулили рассерженные кредиторы и наряд милиции, а кто-то ничего не хотел и со страстью глушил водку, наклоняясь головой в могилу, но были и такие, которые хомутали себя охотой или рыбалкой.

О рыбалке нужно рассказать подробно.

Х

Глубокой осенью под забереги, а с замерзанием реки под окрепший лёд на Лене ставят уды. Это древесная, чаще ольховая, вешка около двух метров в длину, заострённая с кобля. С этого конца, на некотором расстоянии от него, высекают ножом бороздку и опоясывают её капроновым поводком в 35–45 сантиметров с крючком крупного номера, на который насаживается живая рыбка. Наживляют чаще за хвост, причём ищут такую заветную точку между малым задним плавником и хвостом, где нет позвонков, или же продевают крючок со спины и тоже норовят подцепить за мясо, не повредив костей, иначе рыбка быстро погибнет. Уду с живцом поскорее в прорубь, а чтобы та не промёрзла, накрывают её льдиной или дощечками и утепляют снегом. Рыбка плавает на поводке у самого дна, и налимы, в зимнее время наведываясь из илистых ям к берегу, заглатывают наживку с крючком. Лунки дырявят на отмелях возле брустверов, на вытеке из омутов и в местах впадения боковых речек и не выдвигаются на глубину, как на некоторых других реках, а, наоборот, жмутся к берегу, и бывает, что расстояние от дна до льда — кулак пролезает со скрипом, а вот здесь-то и колобродят самые огромные налимы! Там, где издавна пролегают их пути, от вешек тесно и некуда лишнюю приткнуть, а если рыбалка на этом участке реки не ахти, их совсем жидко. И в калёный, ядрёный, опаляющий дыхание мороз, когда туманом завешен мир, и чёрная, с серебряной подпушью заиндевелых лиственниц и горловой желтизной сосен, изгибается в хребтах тайга, стекая к реке рваными распадками и сумасшедшей гонкой заячьих троп, а на угоре в белом ужасе жмутся друг к другу избы, и напористые дымы зримо просверливают небо, даруя надежду на тепло и уют в холодной России, нужно смотреть уды. В противном случае лунки возьмутся полуметровой голубизной, и уж тогда отвоюй уду с налимом у реки, у мороза, у жестокой рыбацкой судьбы!

В такие дни, собираясь на реку, надевают всё тёплое, спасительное, лучше вязаное, в чём запутались бы мороз и хуе ещё на дальних подступах к телу. Обувают обычно бахилы или валенки с прорезиненной подошвой; штаны суконные или ватные, чтоб не процеживали ветер; куртка суконная, стёганка или полушубок; и две пары рукавиц: шерстяные или из тонкого сукна, а в запас — однопальные верхонки из овчины. На голову шапку с ушами, которые тесёмками завязывают под подбородком, и обязательно из натурального материала — синтетика на улице встанет коробом. На лицо — пуховый шарф, глядят одни глаза. Вот на еловых голицах¹ приходят на реку, проступаясь на задую лыжне, которую зоркий рыбак определяет по едва видимой

¹ Голицы — лыжи без камуса.

тени или по волнистой снежной зыби, и первым делом убирают лопатой снег возле вешки. Иногда под дощечкой покажется гладкий и тёмный, в змеиных полосах лёд, и это значит, что прорубь взялась скорлупой чуть-чуть, можно провалить её ногой. Однако чаще лёд бывает ноздреватый и слоистый, грязно-голубого оттенка, и бьёшь такой, раз за разом отчерпывая сухую крошку совковой лопатой с множеством отверстий, а уж только потом в малый прокол с шипением брызнет вода. Но вот и снег откидан, и в бой идёт четырёхгранная пешня с берёзовым черенком, округло утолщенным на конце. Ниже этого головастого стопора имеется верёвочная петля под руку. И утолщение и петля для того, чтобы пешня, внезапно выскользнув, не юркнула на дно. Прорубь долбят с краёв по кругу. Первый зимний лёд, ещё не давший осадку, под ударами пешни содрогается, лопается и падает с жестяным грохотом, и кажется, что обледенелая пешня — в масштабах реки иголке ровня — прободает и растерзает на сверкающие нутряной солью куски весь промороженный мир, или сама, как стеклянная, рассыплется с очередным взмахом и мощным вонзанием в лёд. В самый мороз, который жмёт за сорок и обжёвывает мочки ушей, шарф от дыхания куржавеет и надирает лицо забралом, и стареет от инея всё: потная чёлка, вылезшая из-под шапки, брови и ресницы, жёсткая щетина на скулах, воротник свитера, суконный ворс на куртке и штанах, пушок на голых руках, которыми извлекаешь из налимья крючок или меняешь гольяна, выловив его из капронового котелка с водой...

Ледяная крошка на глазах тускнеет, куртка на спине и боках белеет от изморози. Скинешь такую с пылу с жару — через миг совершенно жёсть, раскорячится на льду сама по себе, словно кулачный боец, согнув рукава. Застынув в свитере, потянешь, будто с чужого плеча, — хрустит, распяливается на заданных руках, трескается всей своей льдистостью. И тогда погоди, когда тело обживётся в одежде, и она задышит с тобой. И вот последний укол, угловатый нос пешни, раскалённый в банной печи и выкованный молотком до комарьей жалящей остроты, прорывается в журчащую лёгкость, и пешенная сталь, ухнув в реку на миг и уже вынырнув, осажённая спасительной уздой, по мере выхода из воды покрывается студёной полудой. Лопата тоже серебрееет, накатанный верхонками и оттого точно глянецвый черенок скользит обмылком, а мокрая крошка, искрясь на солнце, трепещет голубой чешуйчатой рыбёшкой, и сквозь отверстия лопаты бежит вода, капает на валенки, на снег, пока эти отверстия не заклепает ледьшками.

Когда прорубь очищена от крошки, острые края иступлены, а вешка скелота вместе с куском льда, начинается самое интересное, и сердце, как впервые, трясётся в груди, и даже мороз не царапает подушки пальцев. Становишься на колени и, как в первобытное, языческое таинство, заглядываешь в прорубь, хищно рыщешь глазами по дну, рябому от течения, ничего не видишь, а поэтому, замирая дыхалами, возвращаешься к некоей точке отсчёта и уже медленно идёшь взглядом от конца вешки, утопленного в грунт, по поводку к крючку. И если обнаруживаешь его голым, лежащим на дне нерешённым знаком вопроса, или с гольяном, который играет на течении или уже уткнулся в камни, а то с пучком болотно-серой няши¹, всё в тебя в единый миг проваливается сумраком реки, неблагодарностью жизни, суровой правдой рыбалки, всем тем, о чём ты в азарте промысла даже не думал, а вот сейчас, с этой маленькой неудачей, сник от одной только мысли о ней и сразу пропал. Зато уж если взгляд твой, как на обломок склизкого топняка, наткнётся на разботевшую от икры рыбину, принявшую форму реки, её фарватерной силы и стремления, а на фоне жёлтых и чёрных камешков всю пятнистую и потому едва различимую, из сплюснутого рта которой вьётся капроновый ус, всё в тебе взведётся в мощную, изготовленную к прыжку пружину. Ты сбросишь горячие рукавицы и, примерзая мокрыми пальцами к металлически холодной вешке, провернёшь уду несколько раз, пока поводок не выберется весь и рыба не упрётся мордой в вешку, лишаясь простора для рывка, затем ловко подёрнешь уду косым движением вверх и, встречая тугое, секущееся в лунке сопротивление, вынешь на лёд красивое речное

¹ Няша (эвенкийское) — мёртвые водоросли, которые несёт течение.

тело. Тут же со сноровкой оглоушишь налима и, грубо отомкнув его плоскую пасть, вырежешь крючок, заякорившийся далеко в бледно-розовом, ребристом, предсмертно сокращающемся нутре. Потом, когда добыча немеет у проруби, а из жабр течёт густая, как гуашь, кровь и, смешанная со снегом, марает нож, руки, заскорузлый от слизи рюкзак, сырыми шлепками металла по живому мясу обойдёшь всю налимышью тушу лопатой, старательнее колотя по напряжённым бокам, и с этими отбивными ударами печень в налиме чудовищно набухает и дома выпрастывается из брюшины молочно-серыми продолговатыми кусками, а с ней горсть-другая песчано-жёлтой жирной икры.

Эта-то печень, макса, да ещё икра и составляют в налиме самую сласть, несмотря на то, что налима справедливо считают сосальщиком утопленников и мясом его многие брезгуют, и по вешней воде, когда он сослепу сгребает на себя сеть, городские хватуны вспарывают ему живот ради максы, а пустую тушу вымётывают за борт.

Промышляют налимов с ноября до конца марта, иногда и до грунтовой воды; но самый клёв, известно, — по первому льду, а потом с середины декабря и в феврале. Рыбаки из местных, закореневшие на добыче налимов, делают реку в строжайшем порядке, отвоёвывая каждый участок, ругаются с хрипом и матом, если кто-то покусится на чужие угодья. С давних времён места поставок уд известны: вдоль брустверов, что напротив Старых Казарок, и до устья Казарихи настораживает свои крючки Витя Никанорыч, чуть выше закрысил полтора-два метра реки Толя Подымахин, Таюрские отец с сыновьями нагородили вешек далеко за Глубокий ручей, а по другую сторону реки лениво смотрит дюжину крючков Плотников, где-то там снова втыкаются Таюрские, напротив Никанорыча на другом берегу — Валентин Ильич, сюда тоже напором лезет неуёмный Никанорыч, ниже Чупров и дядя Милентий, иногда встрянут братья Логиновы, а уж дядя Володя Петрович неизменно рыбачит у Заостровки — и это ещё не все удочки, кто-то уехал, состарился или умер, а кому-то стало не до того... Все давно знают границы без карт и схем! Но в ноябре, едва река отропщит шугой и ещё не оцепенеют снаи между льдинами, рыбаки уже застолбляют своё мелководье частоколом из вешек, прокалывая одним клевком пешни тонкий лёд, от азарта и лихости нарочно залезают на соседнюю территорию и снова орут с пеной у рта, доказывая законность притязаний. Они подрезают друг друга, лепят свои вешки между чужими, единолича свои тем, что вырубают в ольховнике какие-нибудь “не такие”, например, с рогаткой на конце или кривые с сучками, но чаще просто окунают уду в прорубь не комлем, а вершиной. Словом, мудрят!

...И вместе со всеми бегал, застолблял реку, ругался и мудрил Дядька.

XI

И вот она снова наступала — очарованная пора! С вечера шло-ехало в реке, загоняя рыбу в бестечье у брустверов, и в ночь перед ледоставом ямы закипали от живого серебра, рвущего зелёные тетивы китайских сеток, а вдоль береговых припаев маячили огоньки и стучали деревянные колотушки, которыми глушили под перволёдкой налимов, замороженных светом фонарика или игрой колокольчика. Утром белым-белым простором полыхала река, где стекольно-гладкая, где являющая напластование одних льдин на другие, иначе — торосы, и улово кочевало по отшумевшей реке, так что на другой день сети приходили пустыми, а рыбаки с бурами и самодельными ящиками на строяных ремнях теснились у польней, которые щерились на морозе и лакали ледяной воздух голубыми языками, пар от их силового дыхания длинно и чудно разматывался над смиренной Леной. У Дядьки к тому первородному часу всё было готово: пешня оттянута, лопата починена, крючки с проржавелыми от давнего пользования ушками наколоты на пенопластовый прямоугольник от спасательного жилета и поводки подвязаны за цевьё, а гольяны тучищей до двух сотен плещутся в эмалированной кастрюле и, вертикально всплыв, молитвенно разевают сизые рты. Был у Дядьки под водой счастливый камень, возле которого лежала налимышья тропа. Каж-

дый год после ледостава он искал этот валун, выстекливая одну лунку за другой, а если долго не мог наткнуться, психовал и даже швырял верхонки: а ну как свернуло весенним льдом или путейцы загребли железными сетями, когда чистили речное дно от коряг? Но едва древневековый и щербатый, с зеленцой тины и весь в бурой слизи камень открывался в очередной прорубке, Дядька радовался по-детски, будто нашёл медячок, и тут же блаженно успокаивался, неспешно ставил здесь уду с самым жирным гольяном на самом ловком крючке и даже в самое бесклёвье добывал возле этого камня налимов. Также Дядька узнал от стариков, сам ли смикитил, что налим охотнее изымается с жёлтых камушков. Тоже, как заведённый, искал их, без устали колотил лёд, утоплял, а после поддевал проволочной петлёй пешню, сокрушал и весь вечер латал лопату, курил с азартом, наживлял, а через день передвигал вешки на новые места, и всё-таки находил драгоценные золотые, дрожащими руками запускал в прорубку живца и весь затаивался в предчувствии удачи, добычи, победы...

Зимой 1993 года налим пёр на Лене как чумовой. Пуще, до визга и дражной шерсти, воевали из-за реки, крестили уды одну на другую, бомбили лёд с яростью, и лёд сверкал на вымороженном солнце пригоршней серебра, и нищата деревня, ничего более не имея, богата была этой щедростью зимы, Сибири, Лены. Из лунок фонтанами лупила вода, распозалась вдоль берега и отрезала сухой подступ к удам. Тогда соревновались в прыгании по торосам, занятии тем более несерьёзном, что дед не хотел и не умел хотеть скакать по-жабьи, а посему напяливал на валенки кособокие галоши, с давних и будто бы сказочно дешёвых пор водившиеся у него в смешном избытке, или кропотливым муравьём тащил с угора и стелил на лёд мостки из досок. Отец в азарте утопил в проруби очки, которые тут же слизало течением по жёлтым Дядькиным камушкам, и старик, не сразу пережив разор, выдал окуляры из своего пенсионерского запаса, намертво примотав к дужкам что-то вроде уздечки, и потом нет-нет, да и присматривал за сыном, чтобы тот не уронил его очки вместе со своей головой. В ту трагическую зиму Лена словно провожала народ невиданным пиром, последним накануне чёрного затишья России и скорого безрыбья в реке! Налимы тогда были огромны, каких, казалось, не было и уже не будет, а щуки изумрудны и острозубы, так что если при снятии их с крючка пальцы соскальзывали под светло-алые, почти розовые жабры, выскребались они как из тёрка в глубоких, до мяса, порезах, невозможно болезненных на столкновении мороза, крови и щучьей смазки. Зато прогонистые серебряно-фиолетовые ленки с восхищающими радужными хвостами и плавниками цвета февральской синевы и остывающей меди клевали, слегка загубив крючок, впрочем, едва уздавших красно-тёмных тайменей с кирпичной челюстью и атомоходным напором в поведении, которые заламывали вешки с такой изуверской силой, что по одному косому положению уды было ясно, кто сидит на крючке или уже разогнул его, как солонинку. Глухих, как поленья, рыб складывали штабелем в тёмной кладовке, предварительно помячкав в снегу, чтоб не забыгали¹. Белая рыба, которой было не так уж много, солилась в бачке, а налимов едва ли не каждое утро дед шилил ножовкой на пороге. Бабушка жарила-парила на двух сковородах, обваливая рыбные пятаки в подсолённой муке и запашисто, с золотистой корочкой, запекая максу, которую мы, ребятишки, тут же приватизировали воровским способом. Или она варила в большой кастрюле уху, к вечеру разбухавшую рисом так, что ложка ради научного эксперимента стояла торчком, неизменно распаляя воображение деда сытостью блюда и нашим неумением есть рыбу всякий день. Но больше того удивляло деда слабоволье наших животов, ибо только в кишках у старика резьба была крупная и нерушимая, а наши гайки срывало от любой ерунды, и бабушка в качестве закрепителя прописывала горсть-другую сушёной черёмухи. По праздникам или именинам бабушка варганила в русской печке пироги, пахнущие головешковым

¹ Быгать — примерно то же, что и сохнуть. В случае с рыбой, мясом значение слова полнится такими смысловыми оттенками, как “принять несвежий вид”, “потерять вкусовые качества”.

дымом, но налимы к Новому году приедались настолько, что, выбегая с куском пирога во двор, мы тайком скармливали рыбную прослойку собакам, пользуясь только рис и пышный мякиш с манной посыпкой. В собачью столовую, которой командовал дед, шли также налимы головы, и комбикорм от этих голов был жирный и клейкий, а собаки жадно хапали его из чашек, брели после по двору шатаясь и, будто с великого похмелья, опухали в своих будках, лишь по неотложной нужде задирая лапу на огородный столбик...

В это фартовое лёгкое времечко Дядька шалел, а терпенье его источалось на проверке дюжины уд, после чего он затаптывал лопату и пешню в сугроб и прямо с реки убежал “в одно место”. Оглушённые налимы, выкупанные в снегу, копались у него за пазухой, и от их залоснившейся слизи телогрейка была “хромированная”, как с усмешкой говорил сам Дядька. Когда он запивал на долгие дни и ночи, смыкавшиеся в сплошную горелую полосу, как будто Дядька выжигал один отрезок жизни, чтобы через него зараза не переметнулась на другой, светлый и незапятнанный, на который Дядька всё надеялся и какой несмотря ни на что искал, он освобождал из вольера черно-белого Тарзана, мясистого дворнягу до мозга костей, и этому действительно вверял какой-то особый, вящий смысл. После отсидки в загоне кобель, словно сама Дядькина душа, утомлённая постоянством рёберной клетки, дурил от свободы и уличного многолюдства, с бабьим визгом обнимался и любовно слюнявил лицо языком, а то, ударив лапами в грудь, для полноты ощущения ронял на спину и, завихрившись, срывал шапку как ненавистный знак их с хозяином основного различия. С шапкой в зубах разбойник улётывал в переулочек, чтобы растерзать добычу в закутке, откуда Дядька манил кобеля коркой, а тот довольно урчал и вопреки логике не вёлся на дешёвку. Все запойные дни хозяина кобель следовал за ним по заутольям, готовый схлестнуться со всяким, кто перейдёт им дорогу. Оставаясь на стрёме у чужих ворот, пёс ожидал, иногда всю ночь, когда милый человек, запинаясь, покажется из шумной и угарной избы, в которую собакам не было хода, а смрадный сброд привечали без разбора, и, облапив штакетник, что-нибудь промычит. От этого голоса Тарзан, будь он человеком, непременно разрыдался бы солёными слезами или, высморкавшись на снег, сказал бы: “Да-а, печально вообще-то!” Но он лишь тёр лапой за ухом и чихал, как если бы к носу прилепился тополиный пух, да заглядывал голодными глазами в пустые руки хозяина. Или тихо поскуливал, тычась мордой в коленку, может быть, от жалости к дорожному существу, так ласково теревившему его затылок и тоже едва не плакавшему от любви к своему верному другу:

— Что-о-о, Тарзанка?! Только ты, бедолага, и ждёшь Длинного...

К середине зимы Дядька забрасывал свой промысел, замораживал с удами поймавшихся налимов, а складированных в сарае пропивал. Но и это не могло его остепенить, и он отчерпывал в склянку живцов и вскоре переводил на водку. В апреле, когда синели снега, он, словно проснувшись, выползал на реку бескрылой букашкой и колебал вешки, потому что солнце нагревало дерево, вокруг которого лёд вытаивал воронкой, и если удавалось вызволить крючки из-под льда, это как-то, наверное, утишало его горе и ненадолго окапывало чёрную полосу, всё разрастающуюся безо всякого ей сопротивления. Однако чаще снасть зацемяляло льдинами, а с нею и надежды, которые Дядька возлагал на рыбалку. Вешки словно в укор качались на тронувшейся реке, к Первомаю убиравшей от берега все ледяные сходни, и всё бесконечно, губительно, замкнуто повторялось из года в год...

Бабушка однажды подковырнула:

— Налимов ловишь, а всех пропивашь! Хоть бы рукавички мало-мальские справил себе, а то ходишь как пролетарий: ни ва-а-режек, ни ша-апки путной! Всё как есть дедово потаскал-сносил, ютишься по норам...

Дед (он к тому времени ослеп, возили в область покупать хрустальные глаза, однако было поздно) всё слышал, но неожиданно не закричал, не полез в перепалку, а мужественно выждал конца разговора и коротко, да весело бросил из-за тряпичной задержушки, отделявшей кухню от спальни, незнакомое, по-своему понятое им слово, услышанное от городского человека, который на крытой грузовухе брал по осени картошку:

— Бо-омж!

Дядька, загремев табуреткой, взмыл сумасшедший и вполне способный на убийство.

— Кто-о бо-о-омж?!.. — после чего спикировал на тракторе к реке и, светя фарами в ночь, с ожесточённой радостью смолотил гусеницами все свои вешки...

Потом с рыбалкой стало глухо, а тракторным ремеслом без топлива не разжиться, и Дядька то и дело являлся с реки порожним и трезвым, стеснительно обедал и в задумчивости ломал спички в зубной дыре. Он, как раньше, иногда ночевал у родителей, может быть, казнясь тем, что нужно возвращаться к Старухе ни с чем. Воду голянам, жившим в двухведёрной кастрюле под полом, он забывал менять, а Старуха не делала этого ему назло, и рыбки всплывали животами вверх и хрустели на зубах у кошака, караулившего маленькие смерти на проволочной крышке. В это лихолетье Дядька перемогался случайным хлебом, грузил навоз на телеги, возил снег из оград, колол дрова и носил воду, а иногда просто набирался “катюхи” под какие-то будущие дела и пропадал бесследно и бесславно. На радость загульному племени вызграла лихорадка с цветными, а потом и с чёрными металлами, и в посёлке заработала приёмная точка, слатывая в капроновые зобы мешков сковородки, провода, самовары, топоры, шестерни, медные патрубки, “сапоги” и винты лодочных моторов, радиаторы, катушки электрообмотки... Но всё это были пустяки, а вот когда по весне затопили паром, разом оборвав связь с соседним берегом, где летняя дойка, пашни и сенокосные луга, и льдом откусило рубку, то-то было потехи: дизельную распотрошили автогенном, а уж останки расковыряли ломиками! И Дядька тоже подеустился, смял сапогами и сдал корчаги, которыми запасал живцов. Кажется, никакой булавкой он уже не крепился на белом свете, однажды найдя этот опасный люфт жизни и смерти, эту неосязаемую младенческую хрупкость бытия, эту пустоту себя в себе, эту разверзшуюся в его судьбе воронку, в которую можно пихать и пихать кровоточащую душу, пока, отлетая, не ушибётся о могильный камень. За корчагами он вынес через бабушкин огород алюминиевые желоба, отвалил выдергой амбарную половицу и конфисковал все медные и латунные чайники с отгнившими носиками, запчасти от “Ветерков” и бензопил, а потом и вовсе волок приёмщику — молодому и цельному двухметровому мужику, уже медленному и плешивому, никогда не ручкавшемуся с клиентурой и вообще равнодушному к чужой гибели, — всё, что найдёт, украдёт, разроет, будь то канистра под воду или обломок весла. Но когда все овраги и ямы прошерстили, а трактор, который Дядька подтачивал на пропой, с волнением видя нехватный объём работы, отняли с позором, он за стакан водки и несвежую горбушку сбаврил Хохлу грохочущие в кармане гачечные ключи. Это было как будто последнее земное, ещё державшее его здесь, и наутро он сам, должно быть, удивился освобождённости от тягла непроданных вещей...

Однако не всё ещё было потеряно, и едва по весне подтекал снег, вымывая залежи полезных предметов, Дядька бродил по посёлку и собирал в мешок алюминиевые консервные банки, раздавливал камнем на пустыре, дабы придать товару требуемый габарит и способность к удобной транспортировке, плющил заодно и жестяные, но обман рано или поздно раскрывался и поставщика учили, стараясь не повредить телесную подробность рук и рёбер.

— Ну, Бомжара где-то чего-то надыбал целый куль! — злословили вчерашние мальчишки, с деревянными автоматами окружавшие в проулке, и эта грязная недеревенская кликуха вилаась и каркала над Дядькой до его смерти.

Она, шпана, выслеживала его в проулке и месила без почтения, или сзади ради смеха роняла лицом в землю, когда, один-одинёшенек, он сидел на теплотрассе и вышелушивал в обрывок газетки найденные окурки. Теперь они облаживали, чтобы завладеть водкой, впинывали шапку в снег или грязь, и уже до того Дядька был немощен, что и лопата с пешней, которыми он проверял уды, не спасали его, и даже силы, чтобы взмахнуть чем-нибудь, простереть над расклёванной головой руку и оборонить себя, не водилось в нём.

Всё изощло, истаяло, иссякло! Одна прежняя крохотная слава землепашца пылилась с районными газетами в могильных склепах библиотек...

С землёй Дядьку связывало ныне лишь картофельное поле, после вспашки разделяемое тычками на две половины — его и Старухину. Свою картошку он ещё в августе прямо с куста разбазаривал горожанам, рыскавшим по деревням дармовщину, к осени корыстился Старухиной долей, и Старуха проводила мобилизацию между ближайшими родственниками. Те пробовали скрутить, возились с Дядькой, как тараканы с немытой поварёшкой, а поскольку обуздать не получалось, Старуха вырубала нарушителя границ чем-нибудь не подеудным, но действенным.

Когда и с огорода вытравили, Дядька стал кормиться возле Хохла.

ХП

Хохол торчал на пенсии, опутанный вчерашними тайнами и нынешними заботушками. За прошлые подвиги он уже отсидел, и с юридической точки зрения они его не волновали, а вот с настоящим была определённая нервность, поскольку почти всё, чем бы Хохол ни промышлял, попадало под статью. Осенью он мышковал по опустевшим дачам, экспроприировал железные печки, лопаты, грабли или тепличные рамы со стеклом. Он учил своих мальцов жизни, и они воровали с огородов молодую картошку и капусту, меняли у киргизов на шмотки. Зимой караулили на трассе желанные фуры, идущие дальше на Север. На поворотах и затяжных подъёмах длинные неуклюжие фуры спотыкались, плелись черепашим шагом. Здесь-то шныри и вспрыгивали на подножку, запархивали внутрь фургона и выпрастывали на дорогу всё, на что ляжет рука. Сам Хохол ехал сзади на старенькой, но ходкой “Ниве” с выключенными фарами и открытым багажником, который тем более увеличивался в объёме, что заднее сиденье за ненадобностью вынимали. На всякий случай в такие ночные маршруты Хохол возил обрез — две смерти в стволах. Впрочем, это лихое занятие вскоре отпало само собой: выученные горем водители стали запирают фургоны на замок. Но Хохол не отчаивался, справедливо считая уныние смертным грехом, и завёл торговлю разбавленным спиртом, из коммерческих соображений получая его в городе от знакомого врача, то есть действуя по предварительномуговору, а чтобы придать продукци особый знак качества, который выгодно отличал бы его спирт от суррогата других барыг, Хохол примешивал к пойлу димедрол. Как человек, Хохол был прост в общении, а душою широк невероятно, и потому, не задирая норку, скунал за спирт всё. Нощно и дённо его хозяйскому оку представляли кули с картошкой, комбикормом и овсом, трудоспособные и временно безработные бензопилы, рыба и свинина, ковры, канистры с бензином и без, рубли и гвозди, метлы, ягоды, живые кролики и обезглавленные, кровившие в мешке петухи и куры, черенки для вил и берёзовые топорщица, которые были тем необходимее в хозяйстве, что сам Хохол был на редкость пахоруким. Всё это богатство складывали Хохлу под замок и отбывали, удалые и возбуждённые, под поминальный звон бутылок, затыкаемых газетными пробками. Бутылки Хохол тоже принимал, мыл, поднятые с помоек, в цинковой ванне с мутной водой, разумея, что спирт сам выжжет заразу. Потом он даже перехватил по дешёвке станок для закатки пробок, резиновый шланчик и спиртомер, короче, составил своё производство на крепкую ногу.

Зависела от Хохла вся местная бражка. Жёны пропойц чехвостили проклятого скупщика, жалобили детскими слезами, а он пропускал мимо ушей. Тогда капали в районную газету, и реденько, ради служебной галочки, Хохла ловили на продаже палёной водки. После этих проверок Хохол резал бычка или корову, мазал кого надо парным мясом по губам, но самообладания и личного достоинства не терял и, выждав неделю-другую, вновь бесшумно открывал лавочку. И уже не просто везли на санках или в тележке стиральную машинку “Малютка” или несли в кармане цепь от “Урала” и свечи зажигания, не просто брали на детские выплаты “пузырь” или два, а со всеми потрохами, однажды и до гробовой доски, сдавались в рабский наём. Наплевав на горькое своё, иногда всей забубённой семьёй, от мала до велика, ко-

пошились у Хохла в огороде, ограде и стайке, пилили и кололи дрова, разгребали хлам и по зловещей указке хозяина закрепляли колючую проволоку над забором, через который детвора общипывала ранетки, а в обед ели на крыльце то, что им выставляли в тарелке за дверь, и к окончанию рабочего дня отчаливали на неверных ногах, но с прекрасным и радостным чувством трудовой занятости.

Наступал час, когда прогнивала некая важная пружина и этот сложнейший аппарат, налаженный Хохлом до послушности механических часов, вдруг начинал сбивать. Такое случалось, если кто-то из человеческого конвейера валялся мёртвым в дороге, распался печенью, загибался в пьяной драке или захлёбывался сонной тошнотой, вообще однажды уезжал в красном рубище на погост. Вскоре святое место занимал другой батрак. Так, словно передёргивая затвор, Хохол расстрелил обойму из мужичков ближнего околотка. Ездил на машине, тихонько агитировал дальних поселковых. И эти тоже рано или поздно исчезали, а Хохол, бывая в настроении, с бодрым свистыванием осведомлялся:

— Чё-то Васю Шевелёва не видно! Занял у меня тридцать рублей и сматался... Уехал, что ли, куда-то?

— Уехал, ага, — отвечали Хохлу. — В микрорайоне “Осиновый” поселился!

— Вот козёл! — искренне восхищался Хохол.

На вынос, тем паче на кладбище, Хохол при всякой погоде не ходил. “Он такие мероприятия не любит!” — охотно говорила его жена. Он и сыновей приучил “не любить” и вообще не разбрасываться по мелочам, а строго идти к одной высокой и светлой цели. И они шли: до свадьбы косили от армии и осваивали модные профессии, шерстили технические книги, а художественные называли хренотой на вате, кошили тити-мити на городскую хату, на крутую тачку, на отпуск в Таиланде и, озирая красноречивый идеал отца, ни тушить поселковые пожары, ни зарывать алкашей тоже отроду не ходили. Пожалуй, только злой и обидный смех над теми, кого пошили на другую колодку, был единственной бессмысленной тратой, которую дети Хохла позволяли себе. И жил-был Хохол счастливый и сытый сам, и вся его семейка жила-была счастливая и сытая. По праздникам дети приезжали из города на отменно дорогих иномарках, ради пущего форса легонько подтыкая бамперами многострадальную “Ниву” главы семейства, который с упорством, удивительным в данном случае, не менял отечественный мотор на заграничный, подразумевая, что блатных дружков не сдают. Хохол, к своей чести, не делал ни для кого уступок в лексике и, как со всеми, объяснялся с отпрысками ёмко и демократично: “Вы чё, козлы?!” — а они со своим пустым смехом и с полезными покупками шествовали в дом, в упор не замечая голодных людей, сидевших у калитки...

Вместе со всеми и Дядька с раннего утра отправлялся к Хохлу за разнарядкой. Он перетаскивал ему останки себя, но по-прежнему упорно шёл за водкой. По дороге Дядька выдумывал повод, за чем бы он мог нынче появиться у Хохла.

— Маркыч, дай-ка молоток: дверь-то в берлоге осела, гвозди вылезли! — через высокий штакетник, как сквозь решётку, и не здороваясь — Хохол всё равно ни с кем из поселковых не кланялся — начинал врать Дядька. — Пробовал кирпичом подколотить, да кирпич-то печной, сгоревший — рассыпа-а-атся...

Он вежливо тряс калитку, не умея поддеть хитро спрятанный по ту сторону крючок, которым Хохол пользовался в качестве заградительной меры от ночных воров и отслуживших, а стало быть, более не нужных ему человек.

— Где я тебе, козлу, возьму?! — скрываясь на крыльце, хрипло и неохотно отзывался Хохол и скрипел дверью, уже размышляя в рабочем порядке, что надо из медицинского шприца нынче же пролить все шарниры машинным маслом.

Но совсем Хохол не уходил, а, скрываясь на веранде за оконным тюлем, высматривал сквозь стекло, когда существу наскучит ждать и оно изыдет, бормоча:

— Ну, Хохляра поганая, скупердя-а-ай же ты! Я тебе столько молотков пожертвовал, а ты: “Где-е возму-у-у?!..”

ХШ

Это Хохол и растолковал Дядьке нынешнюю безнадёгу, тщетность выживания крестьянской Руси, и за холопскую терпимость премировал даровым советом, а Дядька ретиво связался с лесом, в золотые дни, кормившие год, собирая грибы и ягоды, которые Хохол транспортировал по своим каналам. Утром Дядька клянчил в дорогу пойло, а если удача была за ним, то ловил ещё хлеба горбушку, коробушку спичек и пакушку дешёвых сигарет, которые он с голодухи смолил неустанно. Наконец под кучевыми облаками, на противоходе ему летевшими в посёлок, плёлся в перелесок. Луговой ветер шевелил волосы, а кузнечики, вспрыгивая за голенища кирзух, изминались с едва слышным хрустом, и от мальков безумно закипало под мостом, с которого Дядька, свесившись через перила, плевал на воду или крошил изгрязнившийся в кармане мякиш. Оказавшись в лесу и первым делом выпил водку из горла, Дядька сразу наполнялся нездешней слабостью и упал на мох без звука, как будто ему нечего было сказать миру. Так-то он, труп трупом, часто лежал в молодом осиннике против кладбища. Здесь ещё недавно стонала и металась под его плугом земля, раздувала, жаркогубая, пыльные поздри, по осени рождая вечное своё, ржаное и пшеничное, а к зиме рядилась в серебро и, белопростынная, вешним дыханием проталин и горловым кровопусканием ручьёв просыпалась лишь под апрельскими метелями. Но вот и лесок возрос, понёс глянцевою зелень, а потом затрясся красной чахоткой и даже — всё на Дядькином веку! — лист уже отболел и осыпался. Осинник стал сквозным, отверстым ветрам, как изба в ранние холода осени, когда, промывая стёкла, распахнут рамы в палисад, сырой после расветного дождя со снегом, и вдруг поперхнутся студёной свежестью, нахлынувшей от мокрых листьев и запотевшего под ними тротуара. И в том, что Дядька — свидетель этому всему, соглядатай и участник действия, называемого вертушкой времени, был свой восторг близкого края! И Дядька словно ждал, когда он сам вымерзнет до доньшка и оборвётся наземь, как со случайно задетой ветки пожжённый заморозком, весь в ребристых прожилках изумрудный лист. Но всё-то не сдавался, месил кирзухами октябрьскую непогоду, рукавом сметая с лица заплесневелые паутины.

До снега Дядька дожинал последние недожатки лета, краем уха слушая голодный хрип журавлей, когда они по старой памяти навещали бывшие совхозные посева и, длинноногие и красивые, колготились в разбогатевшем на полях бурьяне, а потом, поднятые сторонним шумом проехавшего трактора или пробредшего на подойку коровьего стада, распарывали воздух живым трепетом пернатых тел и, нервно и неровно промелькнув напоследок за боровыми соснами, рубиновыми от закатного солнца, наконец, чудесно складывались под облаками в остро отточенный клин, направляясь на богоданный юг из этого отторгаемого края, и тогда не было, наверное, для Дядьки, для оставшегося на земле бескрылого человека большей грусти и печали. Нёс человек рыжики и волнушки, маслухи и сыроежки, иногда подберёзовики с подосиновиками, которые своей огромностью проворно заполняли ведро, но быстро синели, а через час-два чернели ножками и не представляли для Хохла рыночной ценности. Едва эти грибы отходили, как человек срезал под листьями хрустящие, словно ушные хрящи, грузди, налитые вчерашним дождём и опушенные ярко-жёлтой кухтой. Но ещё чаще нащипывал на заброшенной просеке, спутавшей телефонные провода, ведро поздней чёрной смородины, которая от малого тиснения пальцев распалась сладчайшей и бархатной, как арбузное мясо, мякотью с переплетением зелёных и кровяно-коричневых волокон. Приёмщик ныне расквитывался лосьоном “Боярышник”, сменившим медицинский спирт ввиду гораздо большей своей прибыльности и простоты в обращении. С фанфуриками Дядька затворялся в бане и жил там беззаботно всё то время, что ему требовалось для уничтожения добытого, а также для выработки нового дерзкого плана, который снискал

бы ему скорый барыш. Затем, как весенний зверь из берлоги, худой и облезлый, выходил на промысел. Иногда подбегал при людях на улице, дыша смрадом и псиной, с гнойными потёками из покрасневших глаз, под которыми обсохла от слёз на ветру и шелушилась кожа, и всё, помнится, оцетинивалось в душе:

— Ступай, ступай, Дядька!!!

— Ну, ладно, ладно... — понятиливо глянув на девчонку, на её вечернюю смуглость черёмухи, которую ещё не ломали за рекой, едва заметно улыбаясь Дядька чужому зелёному счастью, разбивая в кровь своим комментарием: — А надушился-то, надушился-то!..

— Это чё — твой кореш?! — с издёвкой спрашивала черёмуха, грациозно поправляя на шее белый шарфик.

— Дя-ядька!.. — с болью за него, за звёздный холод его судьбы, тихо тихо шептал в ответ.

Прогнанный Дядька мотался по улице, в неразберихе шагнувшего к погостам посёлка, как запущенный кем-то маховик, чья механическая работа уже никому не надобна, и вообще ему уже найдена замена, да он-то не может этого принять в своё мазутное сердце, и всё-то мается, неуёмностью своей гнетёт и раздражает утомившихся и повязавших руки других, марает чернотой своего присутствия на одной земле с ними голубую плакатную радость их быта. Не оттого ли он теперь так часто плакал? Грустно, когда слёзы льёт здоровый лоб, и почти всегда подозреваешь себя в чём-то виноватым. Какая же должна быть червоточина на сердце, чтобы грубый мужик завыл чувствительной бабой, рассыпал табак из газетной свёртки и обмяк, будто разваренный, на майском крыльце всего лишь облапив племяша, вернувшегося из армии, а пьяный язык с язвенно-белым налётом извился бы в бесвязной просьбе, и было бы это так, как если бы та, другая жизнь, которую Дядька являл, немым горлом кричала бы этой, весенней жизни, о себе любимой, гибнущей, осенней! И не было понятно: то ли он простодушно рад встрече, которой, может быть, и не чаял дожидаться, то ли, снизу вверх озирая хмельного дембеля, на чьей груди, под расстёгнутым кителем, расплескалось морским прибоем на снег, рябя у Дядьки в глазах голубыми и белыми полосками, и он, Дядька, сам в эти мгновения как будто переметнулся в свою далёкую службу и в ту, тоже светлую, весну, когда он был другой, чужой себе теперешнему, или же он, тленная плоть, со священной корыстью этой уже отцветшей плоти, нестерпимо жалеет, что нет у него детей, огненным палом прокатился по земле, никого и ничего не посеяв живой и животворящей памятью...

Когда дед был ещё жив, — круглый и неуклюжий от больничных порошков, от изморного спанья на кровати за жаркой печкой, вообще от неподвижного стариковского прозябания, он, если бабушки не было дома, всякий раз откликнулся из спаленки на Дядькины шаги: “Это ты, бом?” — щупал впереди себя слепыми, уже лоснящимися руками, и, обнаружив сына по сопению над чашкой с консервной ухой, неожиданно лупил посохом по столу так, что железо ложек-вилок выплясывало в пенале:

— А ты на чьи средства питаешься, Февраль?!

На удар посоха Дядька вскакивал, шатаясь от возмущенья, а из глотки высекался, рос в избе и, толкнувшись в двери, потянутые за скобку запыхавшейся бабушкой, бежал на улицу крик. Вдогон дедов рот рвался истошно:

— Удди, удди отсюда! Удди от греха-а-а!

И они с ненавистью, со склочной кобелиной яростью смотрели друг на друга, отец и сын, и в глазах первого было много пустоты, за которой один лишь край всему, скорый и неотложный, а в глазах второго не было и маленького смысла, чтобы удержаться на этом краю, над глиняным кладбищенским яром, схватившись обеими руками за выползшие корневища, и оба они, сын и отец, были не отзывные для чувств, для мирного существования над одной бездной.

В феврале пятого года дед умер и, жёлтый, как закапанный воском подсвечник, лежал, остывая, укрытый с головой белой простыней, откинув оцепеневшую в какой-то не услышанной прощальной воле руку, похожую на

сухую ветку дерева, надломившуюся во время ночной бури. Дядька, вернувшись с темнотой из посёлка, уперся лбом в русскую печку и захныкал:

— Я следующий!

Бабушка ела его поедом:

— Водка — она, родимая, полилась! Пожучь-ка её!

Он исподлобья окатывал мокрым взглядом старуху, съёжившуюся с уходом старика и ставшую ещё меньше, всю беззащитную и ранимую, как последняя осенняя лужа, которую от утренника до утренника душил капроновая удавка льда, а затем косой Дядькин рот размыкался двумя неровными, одинаково непробритыми частями, и звенело даже в вёдрах, перевёрнутых на лавке у окна.

XIV

Новый век вытряхнул Дядьку из седла. Долго живя “баш на баш”, он терялся в деньгах и космически занижал стоимость паяльной лампы или стартера от “Дружбы”. Рассекретив точную цену товару, вставал поражённым в самое сердце: “Не может быть!” — переминался с ноги на ногу и шелвелил губами, а потом со стеснением сообщал, на сколько бутылок он пролетел. И ещё долго переживал, но без особой жалости, без жадности итожил незадачливую куплю-продажу:

— Да бес с ними, с баксами вашими! В крайнем случае, хрен на пятки порежу...

Часто вспоминал своё любимое, то, что всякий раз выпарывал, словно нить, из души, к концу жизни распустив её, наверное, до плеч. В нём дрожало, а в глазах смеркалось, когда он, точно заповедую, чеканил слова, которые пронзила безрадостная доказанность этих слов судьбой пропойцы:

— “Деньги — это грязь, которая пристаёт к рукам!” Кто-о сказал?!

— Толстой?

Гордо хмыкал: дескать, не совсем он ещё ханыга и кое в чём шарабанит:

— Остро-о-о-вский!!!

И — презрительно к общему невежеству — шмяк об стол коробок, в котором от удара щелбеляли спички, как будто он был полон кузнечиков.

— Ему чё не говреть-то? — стревала бабушка, услышав разговор по-своему. — Когда водярой торгует, вас, дуракох, поит!

— Ты на какого Островского думаешь?! — восклицал Дядька. — Из посёлка который?! А это писатель, мамка. Николай Остро-о-овский! “Как калялась сталь”.

— Гляди-и, у-умный! — обижалась бабушка. — Лектор вшивый! Тебе не лекции читать — глотку лужёную заткнуть нужно! Вон, пробку от корчаги забить...

Один раз Дядька скоммуниздил у Старухи пульт от японского телевизора, бродил с ним по посёлку:

— Возьми радиотелефон! Возьми радиотелефон!

В математике он и бухой варил отлично! Разбирался в русском языке и неизменно поправлял нас, когда мы “чёкали”:

— Не “чё”, а “што-о”! “Чё” — по-китайски... хм. В школе вас не учат?!

И было в этом жёсткое — и тем удивительное в Дядьке — недовольство нашим разгильдяйством в науке и неуважением к старшим: “Раньше мы здоровались с учительницей через улицу, а после уроков прибежим: дров на колом, воды натаскаем — и никаких нам денег не надо было! Ну, даст присок — дак всё! А сейчас пройдут молчком и посмеются в спину, за всякое... это самое... цену назначают, а колун-то в руках держать не могут!” Зато когда я в сентябре не пошёл с другими в кедровник на Каю, Дядька (он боронил вдоль Мельничной дороги и приехал на реку помыть лицо) никак не мог этого принять.

— Дак школа-то?! — сидя в его грохочущем тракторе, чуть не со слезами кричал я.

Дядька решил мою проблему просто:

— Тыфу на неё!

Он всё ещё чётко, грамотно рисовал. Под его рукой, как под плугом, подробно и резко чернели карандашными черками река, лес, путейский створ, с веткой черёмухи девушка на дебаркадере... Дядька сопел от старания, по своему обыкновению высовывал кончик языка, и похмельный пот, как сок на разрезанной редьке, переночевавшей в русской печи, выдавливался у него на лбу.

— Но-о, выпятил язык на два метра! — походя ворчала бабушка. — Хоть бы шмель, чё ли, сел на него да шарахнул бы покрепче, чтоб месяц гулеванить не мог!

Месяц Дядькиной трезвости в его последние годы казался заоблачным, неземным сроком.

Иногда Дядька останавливался по дороге куда-нибудь, а чаще в никуда, с подлинным участием человека, которому прожить бы день, следил через новый зелёный штaketник, как я вожусь во дворе и, уперев колено в железные рога бензопилы, раз за разом без успеха дёргаю стартёр. Он ревниво критиковал свежую плотницкую работу:

— Какой дурак так прожилыны кладёт?! Надо ж было утопить в столбик! Или говорил:

— Я-то знаю, как дедовскую, — ну, моего отца! — “Дружбу” завести, да не скажу...

Лайчата, объявившиеся на белом свете в Дядькино отсутствие и уже отожравшиеся на молоке и рыбе в двух беспримерно пухлых обалдуев, с утра до вечера спарринговали со шваброй, прислонённой к крыльцу, или наперегонки носились по двору за осенними листиками, первыми в их щенячьей жизни. Но вдруг они бросали свои обычные занятия и, бдитительно завернув хвосты, спешили с групповой разборкой на чей-то неизвестный громкий голос. Едва нанюхав того, кто басил, они со всей пролетарской прямоотой гавкали на этого человека и немедленно сходили с ума, если чужак обеими руками хватался за хлипкий штaketник. Тогда щенки с пузырившейся во рту слюной, ощерив пасти и впусшив загривки, насакивали передними лапами на забор, норовя откусить нос бродяге, а он энергично отдёргивал голову и, взмахивая руками, распялял в комиссарах классовую ненависть. И когда они застреляли лапами между штaketин и пронзительно взывали, прозревая свою близкую смерть, человек снисходил до их крохотного горя и освобождал из ловушки. Они, свиньи неблагодарные, снова кидались на него в клыкостой атаке и, пользуясь тем, что человек замешкался, пытались непременно что-нибудь оторвать от него, но, на свою беду, опять попадались. Так повторялось до тех пор, пока лицо человека не принимало серьёзный вид, а блеск в его глазах не потухал:

— Кобеля-то у меня кто-то порешил! Не знаю, я на Уткина-старика грешу...

И сыпался вповалку с рябиновыми и берёзовыми листьями первый снег, когда в другой раз Дядька сидел на досках у палисадника на фоне этого падающего багряно-жёлтого и однообразно-белого. На оголённой чёрной земле эти смежающиеся в воздухе тона тем структурней и предметней обретали свои личные очертания, что под ненастными облаками, между небом и землёй, в стеклянном коридоре осени человек вместе с затихающей природой тоже напоследок становился выпуклым и рельефным, как оголённый куст, вписанный в общий пейзаж умирания. Нынче шумные комки с потешным соперничеством отгалкивали друг друга, в неразрывном братстве всех живых существ хомутая человека лапами, и от полноты душевной лизали вчерашнего врага в губы, в уши, в лоб, в затылок щекотными языками, пахнувшими парным молоком и нажёванным мякишем. Человек защемлял остроухих лакомщиков руками, притягивая их тепло и лесную свежесть, и, абсолютно трезвый, просвищенный ветром октября, плакал над этой нежностью к нему, проклятому и гонимому. Или он грубо хапал щенка за морду, так что тот тончайше вскрикивал и, напрягаясь взъершённой шеей, как из капкана, стремился поскорее вынуть голову из Дядькиной клешни и скрёб лапами, медленно пятясь от оказавшегося жестоким человека, а тот невозмутимо во-

дил пальцем по собачьему черепу, по эвенкийскому обычаю выщупывая между ушей острую костьку — признак редкого охотничьего дара.

— Бельчишек-то ещё не добываешь? — из-за сигающих у его грязного лица лап, хвостов, дурашливо рычащих морд, вообще из-за всей этой беспорядочной суеты вокруг его персоны, счастливо скалился Дядька, а то толкал в бок бойко рвавшего его рукав щенка с дворняжьим хвостом и такой же дворняжьей кличкой и вопрошал над ним: “Ну, что, варна-ак, будем решать с тобой, а?!” Шарик, дурак дураком, грохался на пол и, развалив задние лапы, в знак обожания и покорности демонстрировал предмет своей растущей мужской гордости. — А то я промышлял на нижней ферме алюминьку, слышу: собака залаяла в ельнике, кто-то понужнул из ружья, потом собака замолчала... Думал — ты-ы!..

О, мы глупо и злобно шутили, когда Дядька тихо отворял дверь и, топчась у порога, подбирал на деревянных клавишах такую верную мелодию, которая без слов сыграла бы его одинокое сердце! И вот в этом-то гнетущем молчании, в котором прокатывался по горлу голодный комок, мы на всю катушку врубали из детской песенку “Ласкового мая”:

*Дядя Миша, дядя Миша,
Ты мой дядя дорогой,
Неужели ты не слышишь,
Как ругают нас с тобой?!..*

Выждав первый куплет, с треском нажатой на “стоп” кнопки, когда на плёнку, словно на саму песню, наезжало резиновое колесо тормоза, Дядька негромко, но строго говорил:

— Опять эту бодягу завели?! Вроде большевики уже...

Зато когда включали на весь двор Высоцкого, подсоединив магнитофон к банной розетке, Дядька, сидя на крыльце, даже забывал курить, может быть, без особой любви слушая, как бард ревет и стонет над посёлком, живёт, уже мёртвый, в этом мире, в скупой памяти людей, всё и всех скоро хоронящих и отвергающих. Но в оконцовке, едва хрипота оседала, уползала обратно в серый от пыли динамик “Рекорда-92” и уже там шелестела дождём по сухим листьям, отображая ход тупой иглы по шелестящей пластинке, с которой мы списывали песни “по звуку”, Дядька поднимал мокрые глаза и уточнял:

— Это же он пел: “Я коней напою, я куплет допою!”? Помню... — Видно было, что эта песня жила с ним, шагала с Дядькой в ногу, на пару, под одной дугой, стремилась в прах, парила над пропастью *по самому по краю*. Но до самой гибели Дядька верил, что ещё немного — и кони вынесут его, и не будет утренней дороги, и саней на белом снегу не будет, и ни колокольчиков, ни нагайки, ни ангелов с Господом, да ничего — не будет, не будет, не будет!

Нет, снег был — белый-белый снег Дядькиной жизни, Дядькиной смерти. Он пошёл с вечера, и к утру заштриховал лес, луг, крыши, красный яр, щербатые берега реки, опустевший Дядькин осинник с неотысканными грибами, кладбищенские памятники и оградки, которые священной рукой дорисовались в поле за селом. Всё вокруг обросло кружевным и праздничным, как детский сад с весёлыми криками и ножничным клацаньем украшают перед Новым годом салфеточным инеем. И даже воздух, казалось, почистился и прозрел с выпавшим снегом. Белый-белый мир! Чётче следы человека, чернее шарк метлы и две полосы отпотевшей дороги, чутче рожденье, большее уход. Скакнёт синица на рябиновую ветку — белый пепел, качнёт ветер телефонный провод — белый прах. Потом белый саван, белая Дядькина рубашка, белый рис куты и впалая, ещё нетронутая снегом чернота могилы, всё разметающей под этим небом, кроме груды ломов и лопат, кочующих с мест последних погребений в печальной эстафете.

XV

Накануне Дядька торговал две старые косы, вырученные за какую-то шабашку. Его скоробило, как бересту на огне: вечером пожарил на свином сале картошку, а недоедки на ночь вынес со сковородкой в предбанник; ут-

ром сглотал, оцепленную вязкой плёнкой, и сдуру запил из бочки. Всё в нём встало колом и ничего, кроме горячего чая, не принимало. Самого Дядьку, наоборот, безобразно выгнуло: голова и плечи подались вперёд, а живот прикипел к позвоночнику. Руки упали, не нужные более ни для чего, кроме сворачивания бутылочных пробок и шарханья по карманам: ни курева, ни денег у Дядьки теперь никогда не было. Ноги, точно перебитые, подогнулись, упёрлись коленками одна в другую: сыграй с этой костлявой громадой в лапту — и рассыплется человек, как спичечный, у которого деревянные суставы приварены сгоревшими серниками. И так-то он семенил, сгорбленный, на окривевших ногах, руками, будто ветками, нависая над землёй. Жил он по-прежнему в бане, которую строил года два, и сладил что-то сказочное, милое, с окошком на восход. Старуха, измотанная им за эти годы до нервной трясушки, выгнала сожителя бесповоротно: “Иди в свою берлогу!” — а дверь в дом даже днём держала на замочке. Банную лавку Дядька превратил в стол. Ночью спал на полу, подстелив матрас, под которым у него лежало в сборе ружьё, найденное на сенокосе, но уже с отпиленными прикладом и стволами. Днём шатался в поисках работы, быстро угасал, сидел на бетонной плите у магазина, протянув ладонь. Действо это, эта пустая рука резали взор деревенских, и так это, правда, было дико, что среда земного богатства сидит не старик, не калека и ждёт милостыньку. И Дядьку никто не жалел. Женщины плевались: “Всем трудно живётся, чё, ты один такой?!” , а мужики материли: “Да ты совсем, Мишка, придурел!” — и, дав закурить, без оглядки уходили, боясь, что начнёт кланчить на водку. Мы прятались от него в проулке, если нас отправляли за хлебом, и тоже шутились этого прилюдного позора. Но ещё одно, Господи, оправдывало его, когда и обелить-то, казалось, было нечем: выпитив горстку, он всё ж таки отводил голову и закрывал виноватые глаза, как будто хотел убедить всех и сам увериться в том, что рука-то хотя и его, а вот просит-то она помимо его воли... Об удах он в ту осень даже не помышлял; пешню, которую выковал покойничек Лёха-кузнец, не то утопил, не то пропил; лопату где-то бросил, и лёд, на махах ломящий в Лене, уже зажавший в узкую твёрдость берега, ничуть не волновал Дядьку. Да и места его поставов уже застолбили за собой расторопные мужички, сразу исключив этим Дядьку из оборота. Он и сам погнался из жизни очертя голову, и давно преступил заповедную крайность. Ел, торопясь, из чашки с отколупанной эмалировкой, которую Старуха наполняла вчерашними кислыми шами и выставляла на крыльцо, а собачонку, приближившуюся к еде, рвал нещадно. Но и этой даровой манне не нарадовался: Старуха стала кормить щенка в сенцах...

И вот он стоял с косами на плече, как сама смерть, в осеннем вечере с дождём и ветром. За косы он получил на водку, а на закусь булку хлеба, которую поспешно затолкал за пазуху, и уже повернулся на своих косоньких ногах.

— Ты опять загулял, Дядька?!

Мотыляет головой, ищет этот голос в черноте вокруг себя и сопит. На небритом лице, притемнённом крыльечным козырьком, лучится улыбка, общее человеческое довольство за трепет к его судьбе.

— Ничё, шас баню направлять пойду! Веник у меня есть: оклямываться надо... — отзывается, уже просветлённый и оттого какой-то весь поздний, предзимний, и в его голосе много выюги и прощальной хрипоты. — Это... — шмыгнув шингалетом калитки, оттуда, из своего сумрака, сверкая глазами, Дядька под конец разгадывает секрет. Он передаёт его, наследованный от отца, племяннику, далёким приветом от деда внуку, служа меж ними живым переходником, потому что самому Дядьке, замкнутому на себе, не на кого переложить это круговое поручительство, некому посвятить брэнное земное знание, которое вот-вот исчезнет с ним: — Вот, помни Дядьку-то! “Дружбу” дедовскую так заведи: выкрути свечку, зачисти шкуркой контакт или прожги в бане на печке, потом капни на головку бензином или солярккой — и снова закрути... Она, искра-то, так злее кусается!..

Ночью ударил мороз, Дядька топил печку щепками, а потом сунул волглый матрас. Он залез наполовину, сразу зачадил, и Дядька, уснув на корточ-

ках перед раскрытой дверцей, захлебнулся чёрным едким дымом, прилетевшим за ним. Обрез его исчез. Хлопья крови краснели на молодом снегу, и бабушка, убиваясь, говорила, что это Старуха оглоушила его поленом и устроила ему такую нелепую погибель. Только Дядьке было уже всё равно. Он лежал в гробу посреди дедовой избы — дремучий, лесной, косопалый, — и за окнами шёл первый без него снег, и мы, как этот нежный снег, приняли Дядькину смерть с отдохновением, вроде нас мучила духота, досадная мокрота в глотке, но вот мы её отперхали, отхаркали, и вздохнулось нам свежее и чище. Но отчего-то с кончиной его, с уходом Дядьки в другой мир не рассветло на этом. И сами мы не стали хоть чуточку добрее к нищим и пропащим, горьким и заблудшим, не сделались хоть самую малость зрячее к этой пьяной, гулёвой, беспутной гольтыбе, которая и до сего толчётся между нами, стынет и стонет на холоде и ветру, мается под грозовым небом. И уже не было в Дядьке никакой былинной мощи, а был он, пожалуй, слаб и шаток в своей смерти. Но и в мёртвом ещё сидело, не покидало гнезда то истерзанное, чем дышала ещё Россия, что дыбило её рвущей губы уздой. И не был он, этот пахотный мужик, её сердцем — её сердце давно нашли и растоптали, потому что оно было слишком большим и красным, — а был он осколком этого поруганного сердца. Уж этот-то осколок не могли найти и растоптать, хотя, оступившись на горле России, всё чудом живой, уже занесли ногу для решающего удара, и она, огромная, пряталась в этих маленьких осколках, в этих мужиках, и каждый из этих осколков, этих мужиков был сам по себе Россией, и пока жили они, была жива и Россия — страна с блуждающим, раздробленным сердцем, которое смертельно опасно хранить в одной груди...

В Дядьке, при всём его пещерном быте, поражала ещё его природная аккуратность.

По зиме, отметав сено с волокуши, он вытрясал труху из валенок и карманов, выколачивал об угол шапку и стёганку, а уж потом шёл в дом. Встав из-за стола или проснувшись поутру — трезвый ли, похмельный ли, — он дотошно разглаживал брюки по складкам и с маниакальной прилежностью заправлял за сапожные голенища, рубаху ошпиывал от хлебных крошек и кошачьей шерсти, пластмассовым бабушкиным гребешком разгребал перед зеркалом поваленные на сторону волосы. Вопрос внешнего и внутреннего порядка всегда волновал его! Торчало что-то в душе, будто чёрная доска испода выломилась от некоего удара и заворотилась крестом, — Дядька искал мира и склада в одежде, пусть расхристанной и жалкой, а принимая за калым кирзовые сапоги, цокал языком, глядя на железные гвоздики в подошве: — Быстро сгниют! Латунные лучше.

Он как будто хотел пережить железо! Или, может быть, его крестьянская основательность, мужицкая вековечность требовали от всех и всего всяческого долготлетия, терпения и пушей крепи для жизни на земле...

Сапоги он не пережил, лишь нашаркал плоские головки гвоздей.

И теперь, когда кирзухи опрокинуты на штакетник, нашлифованные шляпки серебрятся из земной черноты подошв, как звёзды из ночной глубинной темноты неба. Я всё чего-то жду, не решаюсь шагнуть в огромность Дядькиной обуви, чтобы пройти по полю, по жизни, макая эти звёзды-гвозди в грязь, в слякоть, в пепел и боль осиротевшего русского мира.

ВЛАДИМИР СКИФ



Я ПРОСНУЛСЯ И ВЫШЕЛ К БАЙКАЛУ...

* * *

Какое лето! Царственное лето!
В Байкал алмазов ссыпали откос.
По небу золочёная карета
Провозит солнца золотого воз.

Тайга, на небе свет перенимая,
Желтеет сочным золотом сосны.
Бежит волна, песок перемывая,
И слитками сияют валуны.

Ютятся деревушки по распадкам:
Дворов по тридцать, кое-где — по пять...
Летим на лодке по хрустальным складкам,
И вот она — Молчановская падь!

Цветное лето. Травостой — примета,
Что нынче будет ранний сенокос.
У дяди Коли — моего соседа —
Не сенокос, а серебряные кос.

СКИФ Владимир Петрович (Смирнов) родился в 1945 году на ст. Куйтун Иркутской области. Автор 19 книг. Член Союза писателей России, председатель Иркутского регионального отделения Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России. Лауреат Международной литературной премии им. П. П. Ершова и премии «Имперская культура». Постоянный автор журнала "Наш современник". Живёт в Иркутске.

По травам косы вихрем пронесутся
И отзвенят, и загустеет день.
На кошенине лошади пасутся,
Внизу Байкал томится, как тюлень.

Сверкнули чайки и в лучах погасли.
Я помогал соседу, а потом
Мы с ним сига зажаривали в масле,
Серебряного — в масле золотом.

* * *

Как спится у Распутиных на даче!
День закатился, словно медный грош.
Мой сон, как пух небесный, не иначе,
Мой сон на детство давнее похож.

Настой черёмух и настой сирени,
И хвойный воздух с млеком тишины
Мне кажутся божественным твореньем,
Вдыхаются до самой глубины.

Не слышатся ни ангельские плачи,
Ни гомоны вечерних городов.
Как спится у Распутиных на даче —
Как будто в поле посреди цветов!

В шитье живых черёмуховых кружев,
Ночь зыбкою летит берестяной.
А Мирозданье каруселью кружит
И выпрямляет сосны надо мной.

Как будто в кокон — в одеяло прячусь
И улетаю по ночной тропе.
Как спится у Распутиных на даче —
Как в раннем детстве в маминой избе...

* * *

Сбились в стаю мои
перелётные птицы,
Покидают прозрачную тихую Русь.
Только чечеты, галки,
клевсты и синицы
Над землёю разносят осеннюю грусть.

Только чечеты, галки,
клевсты и синицы
Запекаются в утро румяной зарёй.
Я к рябине приду,
чтобы с нею проститься,
Светом душу промыть над рекой Ангарой.

А рябина красна.
Небосвод аж багрится
От рябиновых ягод — от горьких огней.
Вьются чечеты, галки,
клевсты и синицы
Над печальной и гордой рябиной моей.

Наш Байкал замерзает на святки...
Я подумал: “А знает Байкал,
Где находится древняя Вятка?” —
И наполнил шампанским бокал.

Выпил за снегирей, за побудку,
За байкальский бессмертный рассвет
И, конечно, за “Белую дудку”,
Что прислала мне русский поэт!

Снегири среди белого света
Не убавили яркий накал.
Я сказал: “Вот и Сырнева Света
Увидала наш зимний Байкал”.

* * *

Русь, ты вся — поцелуй на морозе!
Велимир Хлебников

Нет подобного выклика в прозе,
Чтоб вокруг зазвенело, как пир...
“Русь, ты вся — поцелуй на морозе!” —
Боже мой, Боже мой, Велимир!

Как суметь так влюбиться в Россию,
Так её ощутить и понять,
Чтобы горечь и згу пересилить,
Нежным сердцем Россию обнять?!

Обыватель пройдёт мимо мира,
Не услышит ни хруста снегов,
Ни стихов, ни любви Велимира,
Что взвихрился на стыке веков.

Он, имевший всеилие дара
Так со словом, как с небом, играть,
Был ещё Председателем Шара
Всей Земли! И не смел умирать...

Но смело полземли от пожара,
И сквозь смрад угасающий мир
Полз к ногам Председателя Шара,
Но спасти мир не смог Велимир.

Лишь услышал речение Бога:
“Высота упадёт до земли —
И поднимется в небо дорога,
Чтоб себя мои агнцы спасли...”

...И почивший, как сказано, в Бозе,
Наш поэт нам оставил слова:
“Русь, ты вся — поцелуй на морозе!”
Слава Богу! Теперь ты жива!

КИМ БАЛКОВ



ТРОПА ОТЧУЖДЕНИЯ

РАССКАЗ

Агния сидела на высокой ржавой завалинке низкой покосившейся избы с маленькими, тускло-серыми ввечеру окошками и тоскливо глядела на узкую просёлочную дорогу, которая при въезде в посёлье подкатывала к её дому и, уж obeжавши его, круто выворачивала вправо, после чего спускалась в низинку, плотно заставленную деревенскими домами, многие из которых пришли нынче в запустенье.

Низинку обволакивал лёгкий, скользящий туман. Агния ждала сына. Обещался побродить по ближнему околотку, а потом пойти в лесок и заняться заготовкой дров. Дни-то уж сделались короче, а рыжее солнце, вяло опускавшееся за островерхие черномордые гольцы, поослабло в своём желании одаривать землю небесным теплом. Но было ли у него такое желание?.. Что-то Агния прежде не замечала и малой страсти, которую проявляло бы небесное светило. Иной раз промелькивала мысль, что солнце обиделось на неё. Она кожей чувствовала, хотя и не без смущения, что так оно и есть, но старалась поменьше думать об этом. Зачем смущать душу попусту?.. В незна-нье-то и живётся легче.

Третьеводни по совету соседки-старухи, правда, не сказать, чтоб с большим желанием, Агния сходила в посельскую церковку, поставила свечки за упокой ближних, отошедших в иной мир, опять же и во здравие сына. Ну, и, конечно, кое-что, по малости, раздала нищевродам. Может, повременила бы с церковкой-то, погодила бы до воскресенья, если бы сын был дома. Но он, привычно впад в тягостное недоумение, с утра ушёл с отчего подворья. Она

Балков Ким Николаевич родился в 1937 г. в станице Большая Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия. Окончил Иркутский государственный университет. Член Союза писателей России с 1971 года. Автор более двадцати книг прозы. Лауреат Государственной премии Бурятии. Живет в Иркутске.

крадучись, прячась за палисадами, ловча, чтоб сын не заметил её, потянулась следом за ним, тогда-то и увидела, как он забрёл в худосочный березовый колок, зависший над морем, где было посельское кладбище, и сел на поваленное ветром дерево, а потом тихонько, по-щелячьи визгливо, зависнув над ближней могилкой, заплакал. У Агнии защемило на сердце, и она привычно подумала о своей вине перед сыном. В последние три года, отойдя от прежней заблудыжной жизни, она не расставалась с этой виною. И, когда та наваливалась, а случалось это часто, в последнее время особенно часто, делалось ей не по себе, как если бы намеренно обманывала кого-то. Впрочем, почему же — кого-то? Скорей всего — себя. Мнилось, что она сознательно уходила от того, что толкалось в душе и было способно поломать её в сердечном напряге. И когда напряг усиливался, Агния видела покойную Нюру и спрашивала:

— Ну, и где ты нынче? Чем зымаешься?..

— А чё я?.. — отвечала Нюра. — Подобно птичке, летаю с одного края небушка до другого, слушаю тишину. Тут, промеж других теней, ни к чему не влекуще и никуда не поспешаще. Это меня устраивает. Придёт время, и ты окунешься в небесную круговерть, и твоей души коснётся Божий свет.

— Но пока-то в моей душе токо смута. И вина перед сыном, про её ты знаешь не понаслышке, делается порой и вовсе нестерпимой.

Время спустя тень Нюры, а это и была тень, слабая и колеблемая, повторяющая очертания её тела, каким Агния помнила его, исчезла. И тут же она увидела, как сын, прихрамывая, — у него была давнишняя хромота, вызванная детским параличом, — вышел из колка и потянулся к высокому в здешних местах, сплошь в камнях, байкальскому берегу. И там пребывал долго, сидя на мшистом валуне и глядя, как весело и поспешно, чуть ли не вперегонки, накатывали на берег среброликие волны. А потом новость что привиделось Агнии, будто-де в какой-то момент к сыну подсел некто опять-таки похожий не на человека, а, скорее, на тень его. Помешкав, тень заговорила с сыном. Агния не разобрала слов, а жаль. Как выяснилось потом, тот никого не разглядел подле себя и удивился, когда она сказала ему об этом. Он удивился и тому, что она пошла за ним... Зачем?.. “А если б кто-то увидел, что сказал бы?” В свою очередь, и она удивилась: да какое ей дело до кого-то ещё, кроме сына?.. Она и прежде не хотела знать, что говорили про неё в поселье. Уж так повелось, что вроде бы жила рядом со всеми, а вместе с тем далеко отсюда. Всё-то мнилось, что недолюбливают её в поселье и посмеиваются над ней. Ну да, было время, когда она дала волю чувствам. Те гнали её с места на место, сталкивались, переплетались, и не скажешь, отчего пришло это чувство, а не другое, и отчего они, несхожие, делались надобны ей. Но только до поры, пока не наскучивали. А потом она прогоняла их и устремлялась в погоню за новым чувством. И ей едва ли не всегда удавалось добиться своего, хотя она и не прилагала к этому особенных усилий, и можно было подумать, что они все жили в её сердце и охотно подчинялись ей. Наверное, так. Как же ещё-то?..

Агния многого не понимала в сыне, как, впрочем, кажется, и он в ней. А не то почему бы, когда она возилась на малом огородец, который в своё время вскопала Нюра, и просила его что-нибудь сделать, сын удивлённо округлял глаза. А порой и того хуже: как бы не услышав, продолжал сидеть на старом щербатом крыльце и ловко перебирал длинными жёлтыми пальцами круглые бусы, нанизанные на толстую чёрную нитку. Эти бусы достались ему от Нюры, которая при жизни редко когда расставалась с ними, разве что когда возилась в огородец или брала в руки тяжёлый колун и, зайдя в дровяник и поставив на попа толстое суковатое полено, норовила расколоть его. У Нюры редко когда выпадала свободная минута. Когда б Агния не приехала, та была занята делом. Видать, потому в своё время и пришлась она Агнии по душе, что ничего для себя не требовала и терпеливо сносила всё, что ни выкинула бы хозяйка избы, баба своенравная и крутая. Ну да, да, такой она стала после смерти мужа, смерти никем не ожидаемой, случайной. Был Игнат мужик крепкий, ни на что никогда не жаловался, казалось, сносу ему не будет. Ан нет... Пришёл как-то из лесу, пуще свычного смурной и вроде бы смущённый чем-то. А и впрямь — смущённый. Про то и поведал Агнии, а ещё

про то, что повстречал на лесосечной делянке маленького голощёкого старичка, и тот, помахивая перед своим востреньким белым лицом цветущей черёмуховой веточкой, что само по себе было удивительно, — на дворе-то стоял октябрь, а не конец мая, когда зацветает черёмуха, — сказал:

— А тебя, Гнат, заждались в другом свете. Просили передать, чтоб не задерживался, на седмице чтоб был...

Сказал и исчез, так что Игнат попервости подумал, что и не было его вовсе. Но что-то в душе подсказало: был он... Непонятно только, кем засланный? Но, надо полагать, силой властной и никому не подчиняемой.

Агния, было, переполошилась, но после ахов да вздохов взяла себя в руки и мужу велела не раскисать. Но тут же и засмушалась: сроду не указывала она ему, как вести себя. Кажется, и он удивился, но промолчал и, хмыкнув в толстый рыжий ус, завалился на диван.

После смерти мужа Агния, справно несшая выпавшую на её долю ношу, вроде как сошла с рельсов. Забросила огородец, который через месяц зарос польнь-травой и разной дурниной, коей и названия-то не сыщешь. И в избе чуть только и помашет венчиком, а уж половую тряпку и вовсе перестала брать в руки. Когда же те из соседских баб, с кем прежде зналась, пытались вразумить её, отвечала:

— А зачем?..

— Ну, как же так? Ведь ты не одна, у тебя сын, и за ём родительский догляд требуется.

Агния не сразу могла понять, о чём хлопочут бабы, смотрела на них едва ли не с живым интересом в потускневших в последнее время тёмно-синих глазах, спрашивала:

— Сын? Какой сын?..

Но тут до неё доходило, о чём они, она опускала глаза, как если бы засмушалась, и долго стояла так. В конце концов, говорила:

— Да, конечно... Тут не всё просто.

Скрывалась в словах Агнии какая-то неприятно щекочущая нервы загадочность, и это оттолкнуло баб от неё. Они почти что все одновременно перестали общаться с ней. Она не сразу обратила на это внимание, но когда поняла, в чём тут дело, в её глазах зажглось что-то смутное и что-то охлаждающее шевельнулось в душе. Она как бы хотела сказать: “Ах, вы так? Ну, тогда я этак!” Да, что-то сломалось в ней. Когда же на сердце сделалось и вовсе щемяще, почувствовала в себе перемену, которая не обрадовала, но, впрочем, и не огорчила. Мало-помалу стали приходить мысли и вовсе не свойственные ей, как бы даже привнесённые извне, про то, что она ещё молодая, и, даст Бог, у неё ещё всё наладится. Привыкши во всём полагаться на человека, который был много лет рядом с нею и которого она если и не любила, то уважала, Агния, оставшись одна, растерялась. Но однажды повстречала в райцентре, куда в последнее время стала часто наезжать, маленькую женщину лет сорока пяти, и та чем-то поглянулась ей. Может, робостью, что никак не исчезала из её больших серых глаз и лёгкими скользящими тенями падала на смуглое длинное лицо. И она решительно, с некоторой даже домовитостью в голосе заговорила с нею. Тогда и узнала, что женщина было родом с Урала и долгое время работала при монастыре прачкой, но как-то батюшка, понаблюдав за нею, велел повечёру, после службы, зайти к нему. И она пришла, и батюшка сказал, что не дело это — жить при монастыре и не быть монашкой.

— Я думаю, — сказал он, — тебе лучше пожить в миру. Приглядеться к людям, поискать в душе. А там видно будет.

И Нюра, а ту женщину так и звали, согласилась с ним. Она и сама чувствовала себя неловко рядом с монашками, как если бы без спросу влезла в чужую семью и теперь живёт другой, вроде бы и не принадлежащей ей жизнью. А и в самом-то деле, если монашки дни напролёт посвящали себя служению Господу, то она нет-нет, да и задумывалась о мирской жизни, хотя, правду сказать, немного чего, проведя десять лет на монастырском подворье, помнила из неё. Разве только то, что было связано с сыном, которого потеряла, когда ему исполнилось три года. Лечащий врач тогда сказал Нюре, что у сына врождённый порок сердца и что она поздно обратилась

к доктору, и теперь он бессилён что-либо поправить. Ребёнок умер, и Нюра впала в отчаяние. Сумеречное, отвращающее от людей. Впрочем, винила она во всём только себя. Уж так вышло, что забеременела она не от мужа, которого у неё никогда не было, а от прохожего молодца, про которого ничего не знала и даже имени его не запомнила. Думала, что, поддавшись страсти, она согрешила против Господа, за что и наказана была столь жестоко. И ей нет места среди людей. И, кто знает, чем бы всё закончилось, если бы ноги сами собой не привели её на монастырский двор.

— Как я понимаю, тебе некуда идти?.. — спросила Агния. Она не знала, почему так сказала. Наверное, потому, что женщина в чёрном с головы до пят одетая выглядела уж очень потерянной, жалкой. — А дорога в монастырь, как я понимаю, для тебя пока закрыта. Иль не так?

— Так, — вздохнула Нюра, смутившись. На круглом, с остро выступающими скулами, смуглом лице её выступил лёгкий румянец. Но, может, это был не румянец, а что-то другое, к примеру, светлая тень, павшая на её лицо с высоченного гольца, зависшего над сибирским морем? Во всяком случае, так хотелось думать Агнии. А почему, она и не сказала бы. Да и отчего бы стала она говорить это? У неё возникло чувство, что она давно знала эту женщину. Странно...

— Я вот чём хочу предложить: ежели некуда идти, поживи у меня. А то мне скучно одной. — Про сына она и не вспомнила, как если бы его и вовсе не было. Чудно! Хотя чего уж тут, и раньше-то едва замечала его. А почему? Попробуй, пойми!..

Нюра не возражала. Ей и впрямь некуда было идти. Да и находилась она после того, как покинула монастырь. Куда только не заносила её нелёгкая!.. Кажется, в Подлеморье не сыщешь посёлка, где бы она не бывала. И она охотно, прихватив небольшой узелок с вещичками, пошла следом за женщиной, которая назвалась Агнией и выглядела не сказать, чтоб молодо, как не сказать, чтоб старше своих тридцати с небольшим. У неё было длинное сухое лицо с большими, зелено отсвечивающими глазами и с прямым, тонким, чуть вздёрнутым носом. Лицо из-за нанесённого на него слоя пудры утратило прежний свой окрас, надо быть, смугловатый, с малой рыжиной, столь характерный для здешних женщин. Длинные, слегка припухлые губы тоже меняли окрас из-за яркой жёлтой помады.

“Ну, зачем она так? — подумала Нюра. — Только портит себя”.

Нюра ещё не успела отойти от этой мысли, когда услышала с лёгким раздражением произнесённое Агнией:

— А ты не удивляйся. Не удивляйся. Чего ж мне ишо остаётся, одинокой да свободной?.. Самое время заняться своей внешностью и хоть немного пожить для себя.

— Это как?.. — не поняла Нюра.

Агния вдруг вспыхнула, подле глаз, растолкав слой пудры, выступили тонкие острые морщинки. Сказала жёстко:

— Не строй из себя дурочку-то!

Слава Богу, к этому времени подошла “Матаня” — поезд местного назначения, привычно неприбранный, дивно похожий на бомжа в рваных штанах и в замасленной куртке, случайно оказавшегося в подвыпившей компании рыночных торговцев, одетых с иголочки во всё импортное. Разве что носки у них были местного производства и страшно воняли.

Нюра не без труда, оттесняя тех, кто был послабей, и оттого страшно смущаясь, пролезла в вагон следом за Агнией. Та оказалась энергичней, чем она, сумела занять место в дальнем купе и поманила к себе Нюру. Но Нюра не могла и рукой пошевелить, а потому так и простояла всю дорогу в проходе. Боялась, что задохнётся: уж больно душно было в вагоне. Но, слава Богу, обошлось. Вылезла на каком-то полустанке, пошла следом за Агнией по узкой улочке, зажатой серыми избами, нередко нежилыми, с заколоченными крест-накрест окнами. Пройдя коротким, заваленным мусором переулком, близ которого кружило чёрное воронье, Нюра, сама того не ожидая от себя, поднесла руку ко лбу и перекрестилась. А потом она упёрлась в низкие, зависшие набок воротца и не знала, куда идти дальше: на какое-то время по-

теряла из виду Агнию. Но недолго пребывала она в смущении — увидела Агнию на пороге низкорослого дома, утопающего в дурнотравье и смотрящего парой круглых глазастых окошек на чёрный угрюмый голец, зависший над долиной, где раскинулось поселё. Агния стояла, распахнув дверь, и с досадой поглядывала на неё. Невесть почему в её сердце родилась досада. Но, может статься, и оттого, что новая знакомая проявляла робость даже там, где её, по мнению Агнию, не должно было быть. К примеру, с чего бы Нюра — так, кажется, её зовут? — когда шла по улочке, увидев, как накренился соседский дом, сказала с испугом:

— А изба-то не завалится? Ить в ограде ребятишки возюта. Как бы не придавило...

Агния обронила с лёгким раздражением:

— Ничё не случится. Уж скоко лет стоит этот дом мордой в землю и не падает. А кавды упадёт, дык чё?.. Тебе-то како дело?

— Дык ребятишки... — неуверенно сказала Нюра. — Жалко ж!..

Потом она зашла в избу с низким крашеным потолком и с широкой печкой посередине кухни, с круглым столом, заставленным немытой посудой. Это вызвало у неё недоумение. Впрочем, скоро от него не осталось и малюго следа. На кухню из горницы вышел худотельый длинноногий паренёк лет четырнадцати и остановился напротив неё. У Нюры зашлось сердце, она вдруг почувствовала в ногах невероятную слабость и упала бы, если б паренёк не поддержал её. Но, слава Богу, тот не растерялся и спросил не без участия осипшим, видать, застуженным голосом:

— Что с вами?..

Лицо у него было светлое, чуть только тронутое загаром, а губы тонкие и синие. Подле них, ближе к острому подбородку, Нюра заметила маленькую родинку, тоже синюю и слегка припухлую. У её сына была такая же родинка, и Нюра, случалось, взяв ребёнка на руки, подолгу разглядывала её. Чудно, Нюра не хотела бы этого, но так получалось, вроде бы кто-то подталкивал её со стороны. Хотя это, конечно же, было не так, и она понимала, что так быть не могло, но никак с собой ей было не сладить. Иной раз в голову невесть что приходило, но чаще — волнительное и сулящее надежду, и тогда на сердце делалось томяще-сладостно, и она, качая на руках ребёнка, говорила взахлёб, боясь остудить радость, которая так и жгла её:

— Ты будешь удачлив в жизни, Ваньча. Вон и родинка у тебя подле губ. Люди сказывают, это к счастью. Токо не пойму, пошто она синяя-то? Иль воздуху ей не хватает? Да отчего бы?.. Я ж с тобой и на улочке гуляю, и в парк опять же вожу.

Она тогда жила на окраине одного захиревшего волжского городка в рабочем бараке, который власти всё грозились снести, а людей переселить в новые квартиры. Но так и не снесли... Может, позже и снесли, только она это уже не увидела — далеко была.

Нюра во все глаза смотрела на паренёка и в какой-то момент заметила, что и у него синяя родинка подле губ. Чудно. И у её сына была такая же, и это смущало её. Бывало, спрашивала: “Может, тебе не хватает молока? Иль то, которо беру у соседки, не нравится? А оно и вправду жидкое, похоже на обрат. Хошь, буду брать молоко у Парескевы? У её коза — у-у, кака здоровуша, вымя прям по земле ташшит. Хошь?..”

Она смотрела в глаза мальцу, точно ждала от него чего-то. Но что он мог ответить ей? Ему тогда и трёх лет не было. А потом... О, Господи, отчего он вдруг захворал, да так шибко, что и в больничке, куда его отвезли, не смогли ему помочь? А ведь вроде бы ещё вчера бегал по комнате, бормоча что-то под нос и раскидывая игрушки. Их, впрочем, у него было не так уж много, и чаще были они вырезаны из дерева. Спасибо старику-соседу — прикипел сердцем к малышу и, захаживая к ним раз в месяц после пенсии, непременно приносил какую ни то поделку. А больше-то к ним никто и не ходил.

Нюра какое-то время после похорон сына пожила в пустой комнате, перекладывая с места на место игрушки, а потом, проведя сороковины, собрала узел кое с какими вещичками и ближе к вечеру села в поезд, который шёл на восток. Она не знала, куда ехала и зачем. Но чувствовала: тут, где всё напо-

минает о сыне, ей нельзя оставаться, ещё немного, и она тронется умом, и уж тогда точно больше никогда не увидит сына. А так ещё есть надежда, что ему наскучит лежать в сырой земле, и он встанет и снова увидит бел-свет, а вместе с ним и свою маму, и протянет к ней ручонки, и скажет... Тут она обыкновенно терялась и не могла придумать: что же он ей скажет?.. Хотя, по правде говоря, это не шибко волновало её. Важно, что он опять будет рядом с ней, хотя бы это произошло далеко отсюда, в краю холодном и неизвестном, куда она решила поехать. Не зря ж говорят: для людских душ вся земля — как на ладони, сын непременно отыщет её среди множества других людей.

Нюра всю Сибирь исходила вдоль и поперёк. И, наверно, до сей поры не сошла бы с тропы странствий, если бы однажды не повстречала в голой, измученной шальными ветрами степи старую монахиню. Та и привела её, худотелую и душевно ослабленную, на обширное монастырское подворье. Тут она вроде бы опамятавалась и уж говорила не только об умершем сыне, а и о чём-то ещё, что касалось её проживания в монастыре, а потом, пообвыкнув, стала помогать монашкам по хозяйству.

Нюра стояла и напряжённо смотрела на паренька. То, что совершалось нынче душе у неё, мало-помалу передалось и Агнии, и её сыну. Они тоже почувствовали нечто сходное с душевной тревогой. И отнеслись к этому поразному: Агния — со злым недоумением, а сын её — со смущением, в котором было немало жалости к гостье, что стояла потерянная у них на пороге. В какой-то момент невесть почему, но, скорей, от сердечного неуютя, и прежде приходившего к нему, когда он надолго оставался в избе один, показалось ему, что он виноват перед этой женщиной, хотя не мог вспомнить, чтобы встречался с нею. Да, он прежде не встречался с нею, но отчего-то ему не хотелось так думать. Что-то родственное уловил он в её широко распахнутых на мир глазах, в том, с какой откровенной радостью она смотрела на него. Он мог бы и расплакаться — никто ещё так не смотрел на него! — когда б не знал, что это не понравилось бы матери.

Меж тем Нюра протянула к нему худые, в розовых цыпках руки и спросила слабым дрожащим голосом:

— Ваньча, это ты?..

— Да, — сказал паренёк, смутившись. — Я Иван... Но откуда вы знаете, как меня зовут?

— А пошто я не должна знать о своём сыне? Я, правда, не видала тебя десять лет. Но всё это время ты жил в моём сердце. И я часто мысленно говорила с тобой, заметно повзрослевшим, однако всё с тою же родинкой подле губ и с тихой грустью в глазах. И откель бы ей взяться? — спросила она и усмехнулась устало: — Да, поди, всё оттуда же. От меня, стало быть. Мне монашенки говорили при расставанье: “В миру надо быть другой, понастырней, чё ли?.. А не то растопчут... Там, в миру-то, иной раз жуть как страшно”. Я слушала, но думала о другом, о том, стало быть, что стану делать, когда встречусь с сыном? И вот встрелась, и... все слова куда-то подевались. А ить скоко раз повторяла их, другая наизусть выучила бы, а я...

Женщина говорила поспешно, надо думать, опасалась, что вдруг да прервут её, и она не успеет сказать всего, о чём намеревалась сказать. Паренёк заметил это, и ему стало не по себе, и он, чтоб заглушить то, что подымалось из нутра и напоминало смущение, однако ж не было смущением, но чувством более глубоким и сильным, спросил:

— Так вы были в монастыре?..

— И там тоже после того, как ты... — Она замолчала, испуганно глядя на него. И не сразу пришла в себя. Всё стягивала с головы косынку, да так и не смогла снять. Руки не слушались, а пальцы сделались как деревянные, порой улавливала, как они беспомощно трутся друг о дружку, словно бы норовя согреться и не умея этого сделать. Вот напасть-то!..

Агния стояла рядом с Нюрой в тесной кухонке у маленького круглого окошка — рослая, с наброшенным на сильные загорелые плечи жёлтым, с кисточками, платком, — и загораживала дневной свет.

Паренёк, преодолев чувство, которое вдруг посетило его, сказал, с участием поглядев на рыжеволосую женщину, которая переминалась с ноги на

ногу и жалостливо взмахивала смуглыми руками, поскольку не могла найти нужное слово:

— Давайте пройдем в горницу. Чего мы тут стоим?

— Нет, погодите! — сказала Агния. По правде-то, она не поняла, о чём говорил её сын с этой женщиной, которую она подобрала в райцентре. Она так и подумала: “подбрала”, как кем-то за ненадобностью выброшенную вещь. И не потому же, что та была одета, как монахиня, во всё чёрное, хотя, судя по всему, не была ею, — Агнию не обманешь, глаз у неё намётанный, — для полного сходства с монахиней Нюре не хватало душевного спокойствия, — безропотно потянулась следом за нею?.. Агнию раздражало, хотя и не шибко, что Нюра смотрела на Ивана так, как если бы раньше виделась с ним. Но откуда?.. Уж она-то знала бы об этом! Час-другой назад она думала, что встреченная ею женщина желала бы только, чтобы у неё была крыша над головой да на столе кусок хлеба. Она и теперь, хотя на сердце скребло, и надо было приложить усилия, чтоб снять с души неладное, считала, что не прогадала, пригласив незнакомку пожить в отчем доме. Агнию устраивала эта женщина: приехала издалека, ни с кем из местного люда не зналась, была тихая и какая-то не уверенная в себе. То есть такая, какая и нужна была Агнии, вознамерившейся поменять свою жизнь. Она уже давно подыскивала человека, кто следил бы за избой, вёл бы немудрящее хозяйство, да и за сыном приглядывал бы, когда её самой не было дома.

Да, она так думала, но, понаблюдав за гостьей, вдруг засомневалась: “Может, поискать кого другого?..” Но тут же оборвала себя: “Э, где наша не пропадала! А бабёнка никак с приветом? Не то пошто бы она решила, что Иван — её сын? Хотя... пущай так считает. Зато у меня будут развязаны руки. Иль не этого я хотела?..”

— А чего ждать?.. — сказал паренёк. Агния, привыкнув к тому, что сын и в малом не перечил ей, удивилась, что он проявил такую прыть. Но промолчала.

На сердце у неё что-то стронулось, и спустя немного времени, сама того не ожидая от себя, сказала:

— А и то...

Ближе к вечеру Агния провела Нюру по двору, показала, где что лежит и что надо делать, а от чего лучше держаться подальше.

И пошло, и поехало. И через какое-то время стало не узнать Агнию. Она, как если бы вселился в неё окаянный, сделалась не похожа на себя. Во всякую пору приметная, и не то, чтоб с виду, тут мало кто из баб на поселье мог сравниться с нею, с её укладистой статью да с яркой выпуклостью розовых губ, чуть подрагивающих в уголках круглого, в тонких морщинках, рта, когда она улыбалась, хотя улыбалась она редко, точно бы робела чего-то в себе ли самой, в ближнем ли окружении, а и тем, что сохраняла в душе терпеливо и надёжно. Многие хотели бы понять, что она там сохраняла, но никто не мог дознаться. Да и кто бы откровенно мог проявить такое желание, коли она каждодневно находилась под присмотром строгого мужа и ни с кем не общалась. Впрочем, кое-кто понастырней пытался поговорить с Агнией, но всякий раз, стоило лишь уловить нечто, промелькнувшее у неё в глазах, и не сказать, чтоб путающее, как не сказать, чтоб притягивающее к себе, замолкал, осекшись, и лишь спустя день-другой со смущением говорил, что Агния-то, видать, не в себе, и в глазах у неё муть какая-то... “А не то пошто бы, чуть только отойдя от меня, остановилась бы она посреди улицы и, задрав голову, долго глядела окаянно большими глазами, на доньшке которых чтой-то всё плавало, вроде бы как отражение небесного облачка, в смурное небо и криво улыбалась чему-то? Чему бы?..” Но сама-то Агния знала ли, чему?.. Может статься, Боженьке, про Которого она думала, что Он добрый и не обидит? А может, и не Боженьке, ещё кому-то, но тоже сильному и властному над её душой? Иной раз она смущалась своих мыслей и хотела бы избавиться от них, порой жутко настырных и дерзких. И не всегда это удавалось. Подчас накатившее на Агнию держалось долго. Всё ж лишь до тех пор, пока муж привычно насмешливо не спрашивал у неё:

— Ну, чё там опять в душе-то у тебя, кака заковыка? Чё, опять крутит? Слухаю!..

И она, зябко поёживаясь, порой переступала через робость перед мужем и говорила про то, отчего остановилась нынче посреди улицы и долго глядела в небо, и чего увидела там, а ещё про то, что хотела бы увидеть. И говорила обыкновенно негромко и ни к чему не влекуще, понимая, что мужу вовсе не хочется знать про то, о чём она сказывала, да он и не слушает её вовсе и смотрит куда-то в сторону.

Агния так свыклась со своим положением, что и помыслить не могла, что однажды всё поменяется, и она делается свободна и ни от кого не зависима, и не надо будет пытаться угодить человеку, который жил рядом с нею и пользовался её телом, когда ему вздумается, и ни разу за те годы, что прожила с ним под одной крышей, не спросил: “А сама-то ты хочешь ли этого?..”

В избу, мастеровито складенную, стоящую на косогоре, на выходе из поселка, зная про нелюдимый характер хозяина, никто не захаживал. Попервости Агния удивлялась: ну, как же можно всё одному-то?.. Выросши в райцентре в семье работяги, она и представить себе такого не могла. Но то и забавно, что через малое время сделалась и она похожа на мужа, и если кто-то подтягивался к их подворью, настораживалась и спрашивала озабоченно у мужа:

— Ну, чём ему надо? Чё он тут потерял?..

Всё так и было. Но однажды муж, придя с работы, не сел привычно за кухонный стол, а сразу прошёл в горницу и завалился, едва стгнув с себя мокрую брезентуху, на кровать, застеленную лёгким шёлковым покрывалом. Агния удивилась, но ни о чём его не спросила. Подвинула к кровати стул, готовая в любую минуту вскочить на ноги, если он попросит чего-либо подать. Но он молчал, и лицо у него было белое-белое, как если бы и вовсе не тронутое загаром. Но вот он повернул к ней голову, хмуро поглядел на неё и сказал задыхливо:

— Кажись, я надорвал жилы на лесоповале. Вальщик-мудила сделал худой надрез, и дерево пошло не туда... Там люди... палатка... Я подбежал к дереву, навалился на его, пытаюсь отвести в сторону. И тут чегой-то треснуло во мне. Худо!

Когда бы только худо... Но он, кажется, и сам не знал этого. А ночью... Мда, ночью он вдруг застонал, заскрипел зубами... Агния сделалась сама не своя, побежала к соседям. Но, когда те пришли, муж был уже мёртв.

После похорон Агнию всё чаще стали посещать разные мысли, может, свои, но, может, чьи-то ещё, к примеру, нашёптываемые нечистой силой. И вот однажды она почувствовала на сердце нечто, освобождающее от прежних уз, нечто, сулящее не то, чтоб радость, вроде бы неоткуда той взяться, но что-то сходное с нею, шальной и дерзкой, и — невольно улыбнулась. И тут увидела рыжекудрого мальчугана, понуро склонившегося над кухонным столом, и долго не могла понять, кто это и что ему тут понадобилось?.. Всё же чуть позже до неё дошло, что это её сын. Она намеревалась подойти к нему и прикоснуться рукой к его рыжеволосой голове, но только подумала об этом. Её остановило то, что прежде она никогда так не делала. А почему? Кто знает! Никто от неё этого не требовал, а она не испытывала к сыну никаких чувств. Всё в её существовании в ту пору было занято мужем: чтобы ещё такое сделать, чтоб он одобрительно крикнул, а то и сказал бы:

— Ну и ну...

Агния провела девятины. На них пришли мужики с лесоповала во главе с густобровым широкоскулым бригадиром да пара-другая соседок, коим до всего есть дело. А днём позже Агния наказала сыну вести себя примерно и уехала в райцентр.

Теперь её часто можно было увидеть на пыльных, задыхающихся от гниющего мусора, сызмала памятных ей улочках. Мало-помалу она стала приходить в себя. Но, может, и не так вовсе, а как-то по-другому. Отойдя от прежней своей жизни, дивясь ей, а пуще всего тому, какой покорной мужу она была, она поменялась: в ней постепенно верх стало брать то, что искони обитало в душе её, но о чём она и подумать не смела, задавленная чужой властью. Это сердечное состояние, сказавшее ей, что нынче она другая, укрепилось, когда повстречала она подружек своей юности. Она не узнала их, зато они узнали её. Разбитные и весёлые, кому всё трын-трава, они взяли её

под своё крыло. И спустя немного времени она уж ничем не отличалась от них. При случае могла выпить рюмку-другую водки, а то и прошвырнуться по грязным дощатым тротуаром с забулдыжного толку мужиком, а при случае, ничего в себе не страгивая, и переспать с ним. И почти не вспоминала о рыжеголовом пацане, которого оставила в поселке с малоознакомой женщиной. Впрочем, раз в месяц Агния, к тому времени сыскавшее себе жильё в уездном городке, а потом и какую ни то работёнку — деньги-то, которые оставил супруг, закончились, а жить-то надо было, да так, чтоб не больно-то зажимать себя в расходах, — навещивалась в поселке. С сыном она не говорила. Сдерживало её то, как он смотрел на неё, подчас испуганно, но чаще отстранённо, как на что-то чуждое его духу. Отчего так происходило, она не знала и не хотела знать. Она видела, как сын при всякой надобности подходил к Нюре и говорил с нею, кажется, обо всём, что его волновало, без какой бы то ни было робости и, кажется, тяготился присутствием матери. Впрочем, ей тоже не больно-то глянулось в мужнином доме, и она не задерживалась в поселке. И только когда садилась в вагон, облегчённо вздыхала.

Так всё и было. И, кажется, это её устраивало. Но однажды случилась беда: Нюра заболела и померла. Фельдшерница, приехавшая из райцентра по вызову, сказала, что у неё было больное сердце. И то, что случилось с нею, рано или поздно должно было случиться. Удивительно, как она прожила столько лет с надорванным сердцем. Агния тогда приехала в поселке, занялась похоронами и сразу обратила внимание на то, как сильно изменился сын. Он вроде бы уже вовсе не замечал её, а когда пришли на кладбище и опустили в яму чёрный гроб с Нюриным телом, он вдруг упал на землю и забился в истерике и всё время выкрикивал:

— Мама... Мамочка, как же я? Что же я без тебя стану делать? Пропаду некоесь!..

Она пыталась утешить его, но он так глянул на неё, что всё внутри у Агнии похолодело. И она поспешила уехать из поселка. Но через неделю, вдруг ощутив в душе пустоту и уж ничему не радуясь, подталкиваемая постоянной щемотой на сердце, вернулась. С тех пор уж и никуда не уезжала из поселка.

Агния сидела на высокой ржавой завалинке и ждала сына. Это теперь стало её единственным занятием, которому она предавалась с охотой. Нет, она, конечно же, прибирала в избе, а то и возилась в огороде, но как-то вяло, не проявляя интереса к тому, чем были заняты её руки. Но когда приходил сын, она делалась как бы сама не своя и всё что-то бормотала себе под нос, иной раз тянула к рыжеголовому пацану руки, но он точно бы не замечал её и проходил мимо. Он никак не называл её, однако жить в одной избе и хотя бы изредка не общаться друг с другом было трудно, и в случае надобности он, подойдя к Агнии, ронял холодно, как это было нынче поутру:

— Я договорился с дядей Монеёй, нашим соседом. Он возьмёт меня в лес. А пошто бы и не взять? Чай, у него и лошадь есть. Может, и мне перепадёт дровишек. В прошлом-то годе, когда мама была жива, я ездил с ним. Так он не поскупился, и мы тогда горя не знали с дровишками-то...

А не далее как третьеводни сын сказал, не глядя на Агнию:

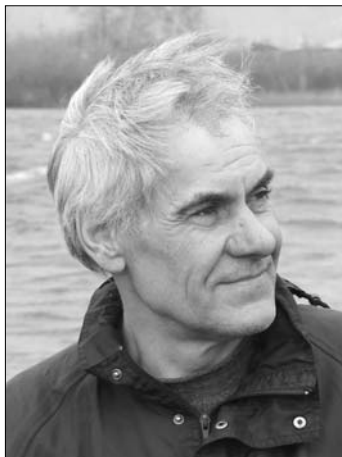
— Мама хотела, чтоб я побывал в том городке на Урале, где она раньше жила. И я, когда подрасту, обязательно туда съезжу.

Он сказал это, подойдя к иконке, которая стояла на полочке в горничном углу. Её в своё время привезла Нюра. И Агния всё собиралась сказать, чтоб она убрала её с глаз долой. Отчего-то невзлюбила она эту старенькую полувывцветшую иконку Божьей Матери, казалось, Она смотрит на Агнию с досадой. “Да пошто бы? Иль я в чём-то виновата?..” — думала иногда Агния. Но, видать, запоматовала, а может, ещё почему, но так и не сказала. Она теперь могла бы сделать по-своему. Кто ей помешает-то? Но отчего-то уже была не способна подвинуть себя к этому.

— Да, я съезжу-таки в тот городок. Отвезу иконку и передам в местную церковку. Мама прислала.

“Господи, что же это такое? — смятенно думала Агния, сидя на высокой ржавой завалинке. — Неужто я так и не найду дороги к сердцу сына?.. И что же тогда будет с ним, со мной? Куда ещё заведёт нас тропа отчужденья?.. Господи!”

СЕРГЕЙ КОРБУТ



КРУЖИТ
АНГАРСКОЕ ТЕЧЕНИЕ...

* * *

Затянулась остуда декабрьских морозов,
И до срока сковали Байкал холода,
Но пока он был в силе, настроил торосов —
За волною волна, за грядую гряда.

Он разламывал гнёт, сколько мощи хватало,
И теснил к берегам ледяные поля,
Где в расколы вода, как фонтаны, хлестала,
Создавая пещеры, творя купола.

Вырастали внутри ледяные причуды
Ряд за рядом: сосульки, капли, куржак.
А снаружи осколки в прозрачные груды
Собирала вода, перед мысом кружа.

И опять уступала крепчающей стуже
Метр за метром, на лёд намывая внахлёт
Вперемешку с шугой слой осколочных кружев,
А потом, разломив, льдины ставила в рост.

КОРБУТ Сергей Владимирович окончил отделение журналистики Иркутского государственного университета. Работал корреспондентом ряда изданий, ответственным секретарём “Народной газеты” и “АиФ в Восточной Сибири”, главным редактором областных газет “Губерния” и “Культура”, зав. отделом прозы в журнале “Сибирь”, директором издательства “Иркутский писатель”. Выпустил поэтический сборник “Все стихи, 2005”. С 2006 года — член Союза писателей России.

А когда окончательно волны смирились,
По байкальскому льду разгулялась пурга,
И торосы, как шубами, снегом укрылись...
И сияют под солнечным небом снега!

* * *

Пытается душу мою убаюкать дорога,
Колёса стучат осторожно в ночной тишине:
“Осталось немного,
осталось немного,
осталось немного...”

О чём эта песня?
Но с нею спокойнее мне.

Немного осталось, и значит — забыта усталость.
Осталось чуть-чуть — и терпимей оставшийся путь.
И мысли уже о покое — осталась-то малость.
И меньше желания с дальней дороги свернуть.

Я знаю, конечно, я знаю: дорога обманет,
Устроит привал ненадолго, а после опять
Каким-нибудь чудом в закатные дали поманит,
Усадит на поезд, в котором не грех и поспать,

Глаза открывая на каждом ночном перегоне
И вновь отключаясь под песню вагонных колёс.
О чём эта песня?

Когда-то копытами кони
Её настучали, а поезд по стыкам понёс.

Любые слова на дорожную тему ложатся.
Пока тебе машут прощально рукою с крыльца,
Ты слышишь, как в душу зазывные звуки стучатся:
“Ещё далеко, далеко, далеко до конца”.

* * *

В этом доме не жил Трубецкой
И Волконские не были зваными.
Отчего же смотрю я с тоской
На подпаленные развалины.

Чей-то офис появится тут,
Бизнес-центр с рестораном и сауны?
Для того “деревяшки” и жгут
Нувориши — моральные дауны.

Может, был этот дом неказист,
Не трудились над образом зодчие,
Но истории вырванный лист
Был не хуже, чем многие прочие.

Под кленовым навесом скамья
Приглашает присесть в размышлении.
В этом доме простая семья
Прожила не одно поколение.

Было дело: лет сорок назад
В этот дом я студентом заглядывал.
Помню: снимки повешены в ряд —
Родова, начиная от прадедов.

Помню медный большой самовар,
Этажерку, машинку от Зингера,
Сундуки, утюги, кружева,
Балалайку — хозяин наигрывал...

Мой сокурсник водил, как в музей,
В дом, где снял комнатёнку удачливо,
Любопытствующих друзей.
Нас хозяин, подпив, озадачивал

То легендами о Ермаке:
Как за Камень пошёл со товарищи,
Как тонул на Вагае-реке,
Не дождавшись победы решающей...

То картинами жутких страстей
Из эпохи раскола церковного;
Как горел Аввакум на костре,
В многопудные цепи закованный...

Что откуда он брал, не скажу,
И рассказов его не записывал.
А теперь у развалин сижу,
Будто кто-то из прошлого выставил.

Может, нет и причины такой,
Чтоб страдать, как от происка вражьего?
Ведь не здесь проживал Трубецкой,
И Волконский сюда не захаживал...

* * *

На Ангаре морозным вечером
Мы ночь крещенскую встречаем.
Течением потока Млечного
Кораблик месяца качает.

Кружит ангарское течение
Обломки льда в потоке быстром:
Небес крещенское свечение
На них отбрасывает искры.

Ложусь, скольжу к воде по настыли,
Почти прозрачной в свете лунном,
И отзвук льда лова опасливо,
В закрае вырубаю лунку,

Чтоб воду ковшиком начёрпывать
Удобней было, да и страшно
Нависнуть над волнами чёрными
На тонкой кромочке вчерашней.

Всё ж, оградив лицо ладонями,
Взор вглубь стремнины погружаю,

Где чуть приметно камни донные
Свечение неба отражают.

Благословясь крещенской полночью,
Передавая ковш по кругу,
Мы наливаем флягу полную
И улыбаемся друг другу.

Слов не найти — ликуем жестами,
Без слов понятными прекрасно:
Так благодатно, так торжественно
Всё поднебесное пространство!

Уже не раз мы это видели
На Ангаре и на Байкале,
Но, как впервые, удивительно,
Как будто чудо отыскали.

И снова на двенадцать месяцев,
Как откровение, запомним:
Небесный ковш Большой Медведицы
Крещенской благостью наполнен!

ТАТЬЯНА ЯСНИКОВА



ЭТО Я
И ОГРОМНЫЙ ПРОСТОР...

* * *

Не будем мы читать
О драме тех сердец,
Что канули давно,
Огнём окрасив воду.

Своё нам ниспослал
Всевидящий Творец —
Он видит даже сквозь
Туман и непогоду.

Он свежий дым принёс
В горсти ненастных дней,
И новый холодок,
И солнце золотое.

И я гляжу туда,
Где небо всё ясней,
И канут облака
В низинах за Удою.

ЯСНИКОВА Татьяна Викторовна родилась в с. Кабанск Бурятской АССР. Окончила факультет теории и истории искусства Государственной академии живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Член Союза писателей России с 2001 года. Автор статей на темы изобразительного искусства и литературы, сказок, пьес, рассказов, пяти поэтических сборников. Ответственный секретарь Иркутской областной писательской организации. Живёт в Иркутске.

НА БАЙКАЛЕ

Там, где пена волн,
Там, где ветер лют, —
Там стоит сосна,
Её вихри гнут.
Солнце светит ей
Всей Вселенною.
Тучи идут к ней —
Горы пенные.
Торжество её
 бессловесное,
Словно бурь Байкал,
Волей честное.
А падёт она,
 иссушённая,
Понесёт волна
 приручённая.
У неё родня —
 встали свечками.
Запоют ветрам
 песню вечную.
И из края в край
Не найти конца
Ни шумам долин,
Ни громам Отца.
Не найти дорог,
Не найти тревог
Там, где сила сил
Затрубила в рог.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

КРЫМ

РОМАН*

Глава девятнадцатая

День Победы был солнечный, восхитительный. Улицы — влажные, голубые. Стёкла окон — драгоценные и сияющие. Деревья — в изумрудной дымке. На бархатных клумбах пламенеют тюльпаны. В фонтанах шумят и плещут струи. Триумфальная арка великолепна в своем античном величии. Большой театр — торжественный, пышный, со своей колоннадой и чёрной квадригой. Кремлёвский дворец над алой стеной — янтарный, с белыми кружевами.

Такой видел Москву Лемехов, вольно откинувшись на мягком сиденье, в лёгком костюме, слыша нежный шелест шин по асфальту. Он был приглашён на парад. Его машина с правительственными номерами и кремлёвским пропуском преодолевала полицейские посты. Постовые любезно открывали ему путь на Красную площадь.

Он вышел на Васильевском спуске и мимо Василия Блаженного, похожего на волшебное соцветие, поднялся по брусчатке на площадь. Она распахнулась перед ним в своём великолепии — чёрно-алая, в блеске, окружённая башнями, шпилями, рубиновыми звёздами и золотыми орлами. В хрустальном перезвоне курантов, в окриках и военных командах, в шеренгах, в колыхании знамён. Лемехов был счастлив: площадь, знакомая и любимая с детства, узнавала его, принимала в свои солнечные объятия.

Его проводили на трибуну вблизи Мавзолея, где уже собрались члены правительства, командующие округов, генеральные конструкторы, главы корпораций. Лемехов раскланивался, пожимал руки, обменивался праздничными поздравлениями. Все были знакомы, встречались на заседаниях правительства, на производственных совещаниях в институтах, на полигонных испытаниях.

— Покажите товар лицом, Евгений Константинович. Какие новинки вы приготовили? — министр культуры радушно улыбался, не торопясь отпустить руку Лемехова.

— Погодка-то самая лётная, Евгений Константинович. Знай наших! — глава авиастроительной корпорации указал пальцем в синее небо, в котором понесутся сегодня над площадью серебристые гремящие вихри.

— Жаль, что не можем показать на площади подводную лодку. Колёс не предусмотрели — вот беда! — шутливо сетовал глава судостроительной корпорации, здороваясь с Лемеховым.

* Журнальный вариант. Окончание. Начало в № 8 за 2014 год.

Лемехов улыбался, шутил, чутко вслушивался, всматривался. После всех своих интервью, после выступления на съезде, после поездки в Сталинград, где толпа называла его президентом, он старался обнаружить новое к себе отношение. И казалось, что это новое, заискивающее отношение появилось.

Трибуны были полны: ветераны в орденах и медалях, военные атташе в экзотических мундирах, именитые артисты и художники — все шумели, обнимались, целовались, позировали перед телекамерами. И вдруг затихли, разом повернулись все в одну сторону, к Мавзолею, который был занавешен огромным трёхцветным полотнищем. Туда, к этому полотнищу, скрывавшему кристалл Мавзолея с мраморной инкрустацией “Ленин”, прошли президент и премьер-министр. Оба невысокие, в тёмных костюмах, улыбаясь всем общей улыбкой, окидывали взором близкую трибуну. Лемехов старался поймать взгляд Лабазова, остановить этот взгляд на себе. Но тот обвёл блуждающими глазами трибуну, одаривая своим вниманием сразу всех, и отвернулся. Ему поднесли кресло, и он сел. Рядом уселся премьер, и это вызвало на трибуне лёгкий ропот.

— Должно, не здоров, трудно стоять, — с сочувствием произнёс старый генерал-лейтенант с потускневшим золотом на советских погонах.

— А Леонид Ильич Брежнев стоял весь парад, хотя ноги едва держали, — ответил ему генерал армии, который помнил десятки прежних парадов.

Площадь дышала, переливалась. Плотно, брусками, стояли войска. В их неподвижности была жизнь, нетерпение, готовность двинуться мощным потоком, волна за волной пройти по брусчатке. Все ждали счастливой минуты, когда двинется этот рокошущий, блистающий вал.

Гулко, с мегафонным звоном, полетели над площадью команды. Линейные, вытягивая ноги, как журавли, блестя штыками, словно по струнке шли вдоль площади, и брусчатка блестела, как чёрное стекло.

Грянул марш, бодро, бравурно. Из Спасских ворот появился чёрный старомодный, великолепный в своей советской старомодности автомобиль, в котором стоял министр обороны. Навстречу ему покатился другой автомобиль, ветеран былых победных парадов. Две машины съехались в центре площади. Командующий московским гарнизоном рапортовал министру обороны, и казалось, их автомобили приветствуют друг друга, улыбаясь хромированными радиаторами, хрустальными фарами, чёрным, сверкающим на солнце лаком.

Лемехов любовался тем, как машины плывут вдоль недвижного строя. Звучал марш. Прерывался. Что-то бессловесно провозглашал министр. И ему в ответ, как эхо в горах, гремело лишённое слов приветствие и рокошущее, как камнепад, “Ура”.

Лемехову казалось, что он участвует в богослужении. Площадь была храмом, и все собравшиеся участниками таинственной литургии, которая возможна только на этой священной, намоленной площади.

Министр обороны объехал войска, вышел из машины и приблизился к президенту. Тот встал — невысокий, спокойный, — принимал рапорт министра:

— Товарищ Верховный главнокомандующий!

Лемехов вдруг остро, в счастливом предчувствии, увидел себя на месте Лабазова. Ему, статному, широкоплечему, с волевым спокойным лицом, рапортует министр. Войска, затаив дыхание, с обожанием смотрят на своего президента. Площадь, мерцающая брусчаткой, посылает ему тысячи стеклянных лучей.

Это восхитительное знание, доступное только ему, взволновало его. Он оглядывался, не угадал ли кто-нибудь в нём будущего президента. Но все внимали выступлению Лабазова. Старый генерал-лейтенант, чтобы лучше слышать, приложил ладонь к уху.

Речь Лабазова показалась Лемехову вялой и бесцветной, указывала на недостаток энергии, на болезнь. Площадь с войсками была чашей, переполненной пьянящей силой, а Лабазов казался блеклой чайнкой, случайно упавшей в этот жаркий настой.

Но уже гремел оркестр, пели трубы, грохотали барабаны, и первая “коробка”, печатающая шаг, двинулась по брусчатке во всём своём великолепии.

Шли офицеры академий, десантники, морские пехотинцы. Впереди — командиры, ладонь у виска, страстно, жадно взирали на президента. Сверканье клинков, боевые знамена, прижатые к груди автоматы. Лица трепетали в порыве воли и преданности. Лемехов чувствовал сгусток страсти и силы, в котором исчезала отдельная судьба, превращаясь в слепое стремление, в готовность умирать, ломиться сквозь ревущую сталь. Под музыку маршей эти свежие, исполненные красы и бравяды мужчины уходили на битву, и Лемехов шёл вместе с ними, обречённый на смерть под гром барабанов.

Последняя “коробка” покинула площадь, исчезла на Васильевском спуске. Музыка смолкла. В тишине несколько минут площадь оставалась пустой. Потом раздался рокот, окутанная металлической дымкой, на площади показалась техника. Лемехов смотрел, как на мягких шинах ровным строем катят бронемшины “Тигр”. Командиры в люках, плещется знамя, сияют воронёные стволы пулеметов. Лемехов помнил эти машины на испытаниях, когда они проваливались в водяные ямы, карабкались на каменистые склоны, чавкали в раскисшей глине. Он знал конструктора этих машин, знал заводы-изготовители, знал приграничные бригады, куда поступили на вооружение эти разведывательные броневики. И каждое возникавшее на площади *изделие* вызывало у Лемехова сдержанную радость, мысли о громадных производствах, лабораториях, рабочих коллективах, объединённых его волей и разумением. Он был причастен к новым образцам вооружений, которые, как миражи, появлялись на площади.

Шли новые БТРы, похожие на ящериц, способные воевать в горах, поднимая в зенит свои мощные пулемёты. Звенели и стучали, как каштанеты, боевые машины пехоты, с усиленной бронёй, с двигателем, проверенным в песках и арктических льдах. Мощные и грациозные, в синем дыму, шли танки, колыхая тяжёлыми пушками, с ребристой бронёй, зенитными пулемётами, пусковыми установками для ракет.

Лемехов испытующе, из-под бровей, смотрел на дело рук своих. В каждом БТРе, в каждом танке был и его труд, его упрямая воля. Машина, проплывая мимо, безмолвно посыпала ему знак своей признательности.

Шли тяжеловесные самоходки, сотрясая землю. Тягачи скребли гусеницами брусчатку, тянули за собой дальнобойные гаубицы. Катились установки залпового огня с трубами, из которых в адском огне вылетают свистящие вихри, плавят скалы, превращают города в пепелище.

По площади, построенная в аккуратные ряды, смиренная в своей сокрушительной мощи, двигалась война, и Лемехов был творцом этой угрюмой стихии.

Военные атташе не уставали фотографировать. Старые генералы что-то громко говорили друг другу, перекрикивая шум моторов. Министр культуры, поймав взгляд Лемехова, поднял вверх большой палец.

Лемехов был сосредоточен, исполнен сдержанного волнения, сопрягал себя с этой мощью, её порядком, размеренным неодолимым движением. Эта мощь воплощала в себе государство. Здесь, на священной площади, среди окаменевшей истории, государство было живым её продолжением. Оно было творящей силой, которая вбирала в себя урожаи минувших веков, свивало в пучок судьбы живых поколений, устремляло в туманное будущее свой невидимый стебель. Лемехов был государственным, слугой и работником. Он был избранныком, в котором Государство Российское обретало свое цветение.

На площадь, шелестя гусеницами, выкатывали зенитно-ракетные комплексы. Те, что сопровождают наступление танков, отбивают воздушные атаки, превращают в огненную пыль вертолёты противника. Следом катили ракетно-пушечные установки “Панцирь” — оружие бесконтактной войны. Когда стаи крылатых ракет, запущенные с самолётов и кораблей, несутся на города, “Панцири” перехватывают их в полёте, окружая города непробиваемой стеной обороны. Эти совершенные установки Лемехов недавно инспектировал в Туле. И теперь собирался в Сирию, где в пекле войны “Панцири” прикрывают Дамаск.

Громадные, как лежащие горизонтально заводские трубы, появились перехватчики ракет, которые могли сбивать их встречным ударом.

Казалось, площадь прогибается от непомерной тяжести, когда пошли по ней “Тополя” и “Ярсы”, похожие на железных медведей. В их коконах таились баллистические ракеты, и при их появлении все военные атташе повскакивали с мест, нацелили аппараты. Ракеты угрюмо шли мимо, туда, где ждал их стоцветный храм.

— А теперь наш черёд, — произнёс глава авиастроительной корпорации, взглянув на куранты, которые смыкали свои золотые стрелки. — Наш, говорю, черёд, Евгений Константинович.

Небо уже звенело, рассечённое стреловидными крыльями, отточенными фюзеляжами, которые возникали и тут же исчезали за кремлёвскими башнями. Трибуны ахнули, когда всё небо над площадью закрыл стратег “Белый лебедь”, а следом, почти касаясь его плоскостей, мчались прозрачные тени фронтовых бомбардировщиков, перехватчиков, истребителей.

Самолёты накрыли небо звенящим шатром и скрылись за кремлёвскими звёздами, оставив в лазури невесомую гарь.

Парад завершился. Президент и премьер покинули площадь. На трибунах вставали, обнимались. У старого генерала в глазах блестели слёзы.

— Встретимся на приёме, — министр культуры благодарно жал Лемехову руку, словно тот одарил его великолепным зрелищем. Лемехов предвкушал приём, надеясь увидеть президента и попросить о встрече.

Через несколько часов в Кремлёвском дворце состоялся приём. В банкетный зал по эскалатору густо, как в метро, поднимались званые персоны: губернаторы и министры, лидеры думских фракций и военачальники, известные артисты и художники. Кидались обниматься, трясли друг другу руки, обменивались радостными взглядами. Лемехов, улыбаясь и здороваясь, исподволь всматривался в лица, теперь подозревая в каждом члена тайного ордена “Жёлудь”, о котором накануне поведал ему Верхоустин. Но в лицах известных врачей и адвокатов, генералов и конструкторов не проглядывала их потаённая сущность. Тайна витала рядом, не давая себя обнаружить.

Стол, за которым оказался Лемехов, находился недалеко от подиума, где обычно появлялся президент, обращаясь к гостям с приветствием. Затем он спускался с подиума и обходил несколько ближних столов, держа в руке бокал шампанского. Лемехов надеялся чокнуться с Лабазовым и попросить о свидании.

Стол был уставлен закусками, бутылками, сиял хрусталём и фарфором. Собравшиеся за столом были хорошо знакомы Лемехову. Дружески здоровались, поздравляли друг друга с праздником.

— Был прекрасный парад, Евгений Константинович, — произнёс министр финансов, белокурый, с мягким, чуть ватыным лицом, — Я готов простить вам чрезмерные расходы на оборону. Хотя, конечно, траты огромны.

— Безопасность стоит любых денег, Антон Филиппович. Будем кормить свою армию, а не чужую, — Лемехов положил на тарелку министра ломоть красной рыбы.

— Я знаю, вы собираетесь в Сирию, Евгений Константинович, — замминистра иностранных дел, любезный, с утончённым усталым лицом, украсил свою тарелку сёмгой, севрюгой, говяжьим языком и креветками, словно создавал экспонат для выставки современного искусства. — Я связался с нашим послом в Дамаске. Он будет постоянно с вами, даст исчерпывающую информацию.

— Сирийцы настаивают на продлении контракта по “Панцирю”, — ответил Лемехов, наблюдая, как замминистра кладёт рядом с розовыми креветками фиолетовые маслины. — Надеюсь на вашу поддержку, Степан Трофимович.

Банкир “Промбанка”, тучный, розовощёкий, с элегантной бородкой, позволял официанту наливать в бокал золотистое, с серебряными пузырьками шампанское:

— Хочу сообщать вам, Евгений Константинович, что наш банк открывает новую кредитную линию специально для вашей оборонки. Условия льготные.

— Всегда приятно иметь друзей-банкиров. Обдерут, как липку, но дружески, — пошутил Лемехов.

— Не нападайте на банкиров, Евгений Константинович. Не ущемляйте в их лице права человека. Хотя, конечно, они не совсем люди. Скорее, боги, — мелко засмеялся седой лысоватый глава правозащитного комитета, известный своей программой десталинизации страны.

— А всё-таки быть на Волге городу Сталинграду, Андрей Евсеевич, — поддел его Лемехов и увидел, как зло заблестели маленькие глазки правозащитника.

Официанты раскладывали закуски, наливали шампанское. Лемехов, поддерживая необязательную беседу, гадал, не является ли кто-нибудь из этих именитых людей членом тайного ордена “Жёлудь”.

Голос с восторженным придыханием, пролившийся откуда-то сверху, возвестил:

— Президент Российской Федерации Юрий Ильич Лабазов!

Все потянулись на этот певучий голос, единодушно вставали, и на ярко озарённый подиум вышел президент, невысокий, ладный, точно и изящно переставлявший ноги, с лёгкой отмашкой левой руки, с выправкой офицера. Все неотрывно смотрели, как он приближается к стойке в центре подиума.

Лемехов остро следил за его движениями и обнаружил в поступи едва заметную ритмию, словно каждый чёткий шаг и безукоризненная осанка причиняли ему боль.

Президент подошёл к стойке. Появился служитель с бутылкой шампанского и бокалом. Наполнил бокал и передал президенту. Лабазов принял бокал, обвёл зал приветливым, одинаковым для всех взглядом:

— Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником Великой Победы. Эта Победа добыта нашими отцами и дедами ценой великих жертв и утрат. Она принадлежит всему человечеству. Россия гордится тем, что она является родиной Великой Победы. Будем достойны этого всемирно-исторического подвига. За Победу! — он поднёс бокал к губам и ровно, спокойно выпил.

Все воодушевленно чокались, наполняя зал стеклянным перезвоном. Банкир, чокаясь с Лемеховым, лукаво прищурил глаз и произнёс:

— За нашу Победу!

Лемехов ждал, что Лабазов спустится с подиума и направится к столам. И тогда, ударяя своим бокалом в бокал президента, Лемехов договорится с ним о встрече.

Но Лабазов опустил бокал на стойку и покинул подиум, всё с теми же едва заметными сбоями в походке, которые были вызваны болью.

Праздество продолжалось, но Лемехов потерял к нему интерес, разочарованно осматривал зал.

Министр финансов, осторожно отпив половину бокала, произнёс:

— Всё-таки наш президент умеет превратить политику в увлекательный театр. Умеет внести в обыденность искусную интригу.

— Что вы имеете в виду? — спросил банкир.

— Опубликован шорт-лист преемников на пост президента. Конечно, в нём значатся премьер-министр, глава Совета Федерации, глава Думы, глава Администрации президента. Но кроме них, заявлена ещё одна неназванная фигура. Не из титульного списка. Какой-то особо любимый президентом деятель. Вы не знаете, кто это, Евгений Константинович? — министр, лукаво улыбаясь, обратился к Лемехову.

— Даже если бы Евгений Константинович знал, то не ответил бы, — правозащитник понимающе усмехнулся.

— Я уже сказал вам, Евгений Константинович, в Дамаске вас встретит посол, и вы рассчитывайте на его всяческое содействие, — сказал замминистра иностранных дел.

Лемехов увидел, как через зал идёт генерал ФСО Дробинник, доверенное лицо президента. Он выполнял его особые поручения, формировал список визитёров. Лемехов поднялся и поспешил навстречу генералу.

— С праздником, Евгений Константинович, — Дробинник дружелюбно пожал руку Лемехова, глядя на него прозрачными глазами, в которых, как икринки, мерцали тёмные точки.

— С Великой Победой, Пётр Тихонович, — дорожа его дружелюбием, ответил Лемехов.

— Ну, как, удалось поохотиться? — спросил Дробинник. Его узкое лицо было бледным, и только пересекавший его шрам странно розовел. — Я удлучил два денька и махнул на вертолётe под Талдом. Привёз трёх гусей.

— А я, как цепями, прикован. Сам, как гусь.

— Я знаю, вы побывали в Волгограде. Призывали вернуть ему имя “Сталинград”. Я, признаться, того же мнения. Даже сказал об этом шефу. А он ответил, что ещё не время. Пусть люди созреют. Тогда, быть может, проведём референдум.

— Хотел просить вас о любезности. Мне необходимо повидаться с президентом. Обсудить неотложные проблемы космической отрасли. В нашем лунном проекте возникли заминки. Устройте мне встречу с Юрием Ильичом.

Дробинник смотрел на Лемехова спокойными, прозрачными, как талая вода, глазами, на дне которых притаились тёмные икринки.

— Я постараюсь. Когда вы вернётесь из Сирии, позвоните мне. Думаю, шеф согласится вас принять.

Они обменялись рукопожатиями, Дробинник двинулся через зал, и многие, увидев его, вставали.

Гости покидали банкет. Лемехов уходил вместе с двумя знаменитыми врачами, кардиологом и нейрохирургом. Шёл между ними, шутил:

— В таком обществе мне не страшны ни тромб в сердце, ни опухоль в мозгу.

Купола Успенского собора казались золотыми, запущенными в Космос шарами. Их резные кресты, как антенны, принимали из Мироздания священные послания.

Глава двадцатая

В тетрадах отца Лемехов обнаружил стихотворение, написанное твёрдым отцовским почерком перед его отъездом в последнюю роковую командировку:

*На сиреневой опушке,
В малахитовой воде
Бирюзовые лягушки
Мне вещали о беде.*

*И следила взглядом зорким
Воронёная беда.
И чернела за пригорком
Смоляная борода.*

*Это будет в новолунье
На неведомой войне.
Бирюзовые квакуны
Зарыдают обо мне.*

Этот отцовский стих, исполненный предчувствий, поразил его. Словно писал его не отец, а он сам, отправляясь на “неведомую войну”. Гуляя по лесной дороге с Верхоустиным, он видел эту сиреневую опушку, малахитовую воду в придорожной канаве, бирюзовых лягушек. Всё это было явлено ему перед тем, как он прочёл стихотворение отца. Судьба отца, как неотвратимая волна, наплывала на него. Вовлекала в стремнину, которая вначале их разлучила, а теперь сулила встречу. Он перечитывал вещий стих, и его, как и отца, мучили предчувствия.

Он отправлялся в Сирию инспектировать поставки бронетехники и зенитно-ракетных комплексов. Страна, ещё недавно благополучная и ухоженная, горела и разрушалась. Гибли христианские монастыри и мечети. Взрывались электростанции и гидросооружения. Исламские боевики малыми группами и большими отрядами, оснащённые стрелковым оружием и гранатомётами,

непрерывно проникали в Сирию из Ирака, Иордании, Ливии. Бородатые, опалённые пустыней, неутомимые и беспощадные, они захватывали города, устраивали казни, обвешанные взрывчаткой, ложились под танки правительственных войск. Сирийская армия, обученная для большой войны с Израилем, не справлялась с летучими боевиками, которые возникали среди цветущих селений, как призраки, и исчезали из пылающих руин, как дурные видения. Войска приходили в обезлюдевшие города и видели распухшие на солнце трупы и надписи на стенах, сулившие смерть Сирии и её союзнице России. В этой войне неявно участвовали десятки стран, и она была готова превратиться в огромную войну всего Ближнего Востока с последующим перетеканием в Мировую. Сирии грозили удары авиации и крылатыми ракетами с американских кораблей и самолётов. Русские “Панцири” прикрывали небо Дамаска, готовые сбивать атакующие цели на дальних и близких подступах.

Лемехов отправлялся в Сирию узнать истинные потребности сирийских зенитчиков и способствовать увеличению военных поставок.

Но помимо этой очевидной цели, он преследовал ещё одну. Он хотел воочию увидеть войну, хотел понять стихию, которая питала его деятельность, объясняла его нескончаемые труды, хотел оказаться среди смертей и опасностей, которые рождало оружие, оказаться целью, по которой били автоматы, сесть в боевую машину пехоты, по которой стрелял гранатомёт, оказаться на боевом вертолёте, ускользящем от инфракрасной ракеты. Как сказал Верхоустин, “услышать лязг пуль по броне”. Он хотел стать президентом России, изучившим проблемы безопасности не в бункере генштаба, а на усыпанной осколками земле, под очередями пулемётов.

Теперь, накануне поездки, его томили предчувствия. Ему казалось, что эта неведомая война издали, через моря, пустыни и горы, протягивает к нему свои огромные, жилистые руки, перевитые синими венами, влечёт к себе слепо и неуклонно, отрывает от дома, от любимого многоцветного светильника, от оранжереи с любимыми деревьями и плавающим белоснежным цветком. Эти руки не имеют туловища, а исходят прямо из разгромленных городов, сгоревших броневиков, бегущих по дорогам погорельцев. И там, среди развалин, на каком-нибудь разорванном тюфяке сидит бородач с автоматом, и в этом автомате уже находится пуля, которая сразит Лемехова. И эта далёкая неясная война будет его первой и последней войной.

Он вспомнил, как отец уезжал в свои военные командировки в Анголу, в Мозамбик, в Эфиопию. Как снаряжала его мать, и в глазах отца появлялось печальное, обречённое выражение. Мать целовала эти печальные глаза и плакала.

Теперь Лемехов понял эту печаль. Отец, как и он теперь, томился дурными предчувствиями. Одно из них сбылось у жёлтой реки Лимпопо.

Лемехов доставал из-под рубахи нательный серебряный крест, целовал, молился, чтобы пуля, дремлющая в автомате бородача, его не настигла.

Ночь перед отъездом он провёл с Ольгой. Они ужинали вдвоём. В оранжерее любовались белым цветком виктории регии, следя за скольжением тиниственных рыб. Ольга играла на флейте свой новый ноктюрн, который посвятила ему. Лемехову казалось, что музыка похожа на медленно стекающий мёд, на перламутровые переливы розовой раковины.

В спальне они растворили окно и лежали в изнеможении, глядя на туманные весенние звёзды.

— Я тебя умоляю, не уезжай. Ты можешь отменить эту ужасную поездку?

— Не могу, я должен ехать.

— Найди какой-нибудь повод. Сошлись на болезнь, на что угодно. Только не уезжай.

— Все решено, я завтра еду.

— Поверь моему предчувствию. Будет плохо. Будет ужасно. Тебя убьют.

— Я вернусь через несколько дней.

— Там война, там зверство. Там свирепые, жестокие, неумытые палачи. Убивают детей, насилюют женщин. Я видела отрезанные головы. Тот, кто тебя посылает, желает твоей смерти. Умоляю, останься.

— Не отпевай меня. Я живой. Через несколько дней мы будем так же лежать, твой локоть в темноте будет так же светиться. Под окном расцветёт твой любимый сиреневый куст.

— Ты обещал, что мы весной поедem во Францию. Будем плавать на яхте. Пить чудесное вино. Ходить на приморские рынки. На прилавках, среди кусочков льда, лежат диковинные глазастые рыбы, розовые осьминоги, пахнущие морем устрицы. Мы поедem на автомобиле в Париж, будем любоваться картинами Ренуара и Матисса. У собора Нотр-Дам на берегу Сены я сыграю тебе на флейте мой ноктюрн. Ведь ты обещал.

— Всё так и будет. Вернусь, и поедem во Францию

— Сегодня днём я ходила в церковь, поставила свечу перед образом Николая Угодника. Чтобы он тебя защитил. Ты думай обо мне. Каждую минуту думай, и эта мысль тебя сбережёт. Тебе не захватят в плен эти ужасные бородачи. Тебя минует пуля, минует болезнь. Думай обо мне.

— Я думаю о тебе каждую минуту.

— Мы должны быть вместе. Я люблю тебя. Мне кажется, я мечтала о тебе с самого детства. Ждала тебя, и ты пришёл. Хочу, чтобы мы не расставались, чтобы у нас была семья, были дети. Хочу посвятить тебе всю мою жизнь.

— Люблю тебя.

Она наклонилась над ним. Обрушила ему на лицо душистые волосы. Целовала его, а он, задыхаясь от её поцелуев, закрыл глаза и увидел тонкую свечу, которую она поставила в серебряный подсвечник, и голубей, взлетающих над Сеной у Нотр-Дам де Пари, и какую-то светлую, могучую реку, уходящую с земли в небеса.

И наутро, когда они расстались, предчувствия не оставляли его. Он испытывал необъяснимую тоску, словно кто-то не пускал его, отговаривал. Но он побеждал свою слабость, как побеждал её когда-то отец. К дому подъезжала чёрная “Волга”, они с матерью провожали отца. Видели, как за стеклом исчезает отцовское лицо.

Лемехову захотелось перед отъездом на “неведомую войну” побывать на могиле матери, получить от неё напутствие.

На могиле тянулся вверх и был готов распуснуться цветок с оранжевым бутонem. На кресте повисла упавшая хвойная веточка. Из земли пробивались папоротники, свёрнутые в мохнатые спирали, которые скоро превратятся в резные перья.

Лемехов сидел на скамеечке, и ему казалось, что мама сидит с ним рядом, и оба они смотрят на крест, где начертано её имя.

Он вдруг вспомнил, как в раннем детстве она играла с ним. Шевелила под одеялом пальцами ног, и он, как котёнок, бросался на это шевелящееся одеяло. Вспомнил, как она учила его мыть уши, проникая во все извилины ушной раковины. Вспомнил, как читала книгу о старом Петербурге, о своём любимом городе, где познакомилась с отцом. И позже, гуляя вдоль каналов, он любовался отражением фонарей, останавливался перед колоннадами и дворцовыми решётками, смотрел, как дрожит на невиской воде зыбкое золото иглы Адмиралтейства. Всегда вспоминал маму, молодую, прекрасную, читающую малиновый томик о старом Петербурге.

Здесь, у материнской могилы он успокоился, поскольку был окружён материнским теплом. И после смерти она продолжала любить его, оберегать материнским обожанием. Лемехов сделал глубокий вдох. Вдохнул светящийся воздух, запах смолы, голос одинокой птицы, тепло, исходящее от невидимой мамы. Снял с креста еловую веточку, взял с собой в дорогу, как берут талисман. Пошёл к ожидавшей машине.

В своей поездке он отказался от сопровождающих лиц, от охраны, свёл к минимуму протокольные процедуры. В аэропорту его поджидали заместитель Двудликов, “канцлер” Черкизов и Верхоустин. Все поместились за столик в vip-зале, каждый желал Лемехову удачной поездки и счастливого возвращения.

— По истребителю пятого поколения я всё подготовил, Евгений Константинович, — Двудликов не скрывал своей тревоги, провозжая Лемехо-

ва в опасную командировку. — Будут конструкторы. Будут представители завода. Будут лётчики-испытатели. Будут командиры соединений, куда мы направим первые машины. Вы вернётесь, и мы можем провести совещание.

— Если я в срок не вернусь, проводите его без меня, Леонид Яковлевич.

— Нет! Это невозможно! Без вас невозможно! И зачем вы только едете, Евгений Константинович! — его возглас был полон такой тревоги, такого искреннего нежелания отпускать Лемехова в опасное странствие, такой преданности и обожания, что Лемехов растроганно коснулся его руки:

— Лёня, друг милый, со мной ничего не случится. Я тебе так благодарен. Всё работа, работа, и день, и ночь, и пять, и десять лет. И минутки не найду сказать тебе, как я тобой дорожу!

Это признание ещё больше взволновало Двустикового. Напоминало откровение перед вечной разлукой.

— Нет! — глухо произнёс он и отвернулся, чтобы спрятать слёзы.

— У нас, Евгений Константинович, партия бурно строится, — Черкизов сказал это с нарочитой бодростью, желая сгладить неловкость. — К нам проявляют интерес представители посольств и международных организаций. Вышли на нас люди Социнтерна, атташе китайского и шведского посольства. Как вы смотрите на то, чтобы устроить встречу с дипломатами и рассказать им о партии?

— Встречу нужно тщательно готовить, чтобы она была представительной и одновременно непринуждённой. Согласитесь, это ещё не вручение верительных грамот, но первая репетиция. — Лемехов видел, как весело заиграли глаза Черкизова, похожие на чёрно-фиолетовых жужелиц.

— Я буду ждать вашего возвращения с нетерпением, — произнёс Верхоустин. — Обещанная встреча состоится, о ней оповещены её участники. Лучше всего нам собраться на яхте, подальше от посторонних глаз и ушей. Проплыть от Москвы до Углича. Там оборвалась династия Рюриковичей, а вместе с ней и великое царство. Мы будем говорить о новом царстве. Углич станет для нас исторической вехой.

— Помню, как вы своим магическим взглядом вырвали из морской пучины ракету. Надеюсь, что вы станете невидимо сопутствовать мне на войне. — С вами Пушкин, — улыбнулся Верхоустин.

Металлический голос объявлял посадку на сирийский рейс, следующий из Москвы в Дамаск. Настала пора прощаться. Микроавтобус доставил Лемехова к трапу самолёта.

Он летел в бизнес-классе, в сирийском полупустом самолёте. Российские рейсы были отменены. Аэропорт Дамаска обстреливался, и российские граждане добирались в Дамаск через Бейрут или прибегали к услугам сирийской компании. Та, невзирая на риск, продолжала совершать перелёты.

Лемехов отказался от напитков и ночного ужина. Потребовал плед и забылся под бархатный рокот двигателей. Погрузился в зыбкий сон. В этом поднебесном сне он видел московские фонтаны и цветущие клумбы, тонкие пальцы возлюбленной, перебиравшие клавиши флейты, синие, как васильки, глаза Верхоустина. Взмывала из моря ракета. Тянулась лесная дорога с бирюзовыми лягушками в малахитовой воде. Золотился жёлудь, который он извлёк из плотной чашечки, и любовался его солнечным блеском. Все это мчалось за ним, окутанное туманной тревогой, невнятной тоской.

У трапа его встречали российский посол и военный советник, представители сирийского МИДа, переводчик и несколько молодых сирийцев в тёмных костюмах и галстуках, с вьющимися проводками переговорных устройств.

— С благополучным прибытием, Евгений Константинович, — сказал посол, широколицый, с седеющим бобрком, в лёгкой рубашке, открывавшей загорелую шею. — С вашей стороны было немалым риском отправляться сирийским рейсом. Сегодня ночью аэропорт был обстрелян. Бои идут в двадцати километрах от трассы.

— Спасибо, что встретили, Махмуд Ахметович. Какие уточнения в программе?

— Мы согласовали программу с сирийской стороной, и предлагаем её на ваше усмотрение, — посол обратился к представителю сирийского МИДа,

они обменялись несколькими фразами на арабском, и посол протянул Лемехову лист бумаги. — Здесь, Евгений Константинович, учтены ваши пожелания. Едем в город, располагаемся на территории посольства, которая надёжно охраняется. Отдыхаете. Во второй половине дня вас примет президент. Вечером вы встретитесь с аппаратом военного советника и обсудите проблемы военных поставок. Так, Иван Гаврилович? — посол повернулся к военному советнику, молодому, лысоватому человеку, чьё лицо и залысины были покрыты персиковым загаром, какой привозят туристы с египетских курортов. — Завтра утром, — продолжал посол, — вас повезут на позиции “Панцирей”, и вы обсудите с сирийцами проблемы применения комплексов. Затем, как вы просили, сирийцы доставят вас в расположение бригады, которая ведёт бои в окрестностях Дамаска.

Лемехов читал программу, в то время как посол говорил о чём-то с представителем сирийского МИДа.

— Доктор Фарид предлагает вам остановиться не в резиденции посла, а в отеле “Шам”. Он утверждает, что там больше комфорта, вы будете в центре Дамаска и сможете познакомиться с жизнью города. Безопасность вам обеспечат. Добавлю от себя: я не советую принимать это предложение. В Дамаске неспокойно. Зачем рисковать?

— В городе действует агентура мятежников. О вашем прибытии станет известно, — произнёс военный советник, с осуждением взглянув в сторону сирийца.

— Я принимаю предложение доктора Фариды. Мне хочется почувствовать атмосферу Дамаска, — ответил Лемехов. Он увидел, как недоволен был его ответом посол, как дрогнули желваки на его широких скулах.

Расселись по машинам. Колонной, растягивая интервалы, мчались по пустому шоссе среди рыжих пространств, из которых веяла опасность. На обочинах попадались БТРы, в люках стояли солдаты, пулемёты указывали стволами в пустыню. Лемехов ехал в машине посла. Рядом с шофёром сидел охранник в бронежилете, с автоматом и рацией.

— Какая обстановка в стране? — Лемехов следил, как мелькают за стеклом чахлые пальмы, и жаркий ветер мотает их вялые плюмажи.

— Обстановка ухудшается. Треть страны под контролем повстанцев. К ним стало поступать тяжёлое вооружение, переносные зенитно-ракетные комплексы. В их рядах сражается турецкий спецназ и инструкторы из Иордании, — посол морщил переносицу, словно информация, которой он делился с Лемеховым, не раскрывала всю глубину трагедии.

— А как просматривается военное участие Ирана и Ливана? Они помогают президенту Асаду? — в машине было прохладно, пахло сладкими лаками, дорогой кожей. А за окном волновалась горячая степь, и хотелось опустить стекло, вдохнуть знойный ветер чужой земли.

— Иран прислал стражей исламской революции. Они охраняют некоторые государственные учреждения. “Хезболла” принимает участие в боевых действиях. Именно это позволило добиться перелома на отдельных участках фронта. Войска вновь контролируют Алеппо.

— А что из себя представляют повстанцы? В чём их идея?

— Восемьдесят тысяч головорезов, готовых убивать и умирать. Есть боевики из Ирака, есть из Ливии, из Индонезии, из Пакистана, с нашего Северного Кавказа. Исламский интернационал без единого центра, с сетевой структурой наподобие “Аль-Каиды”. Мне министр обороны рассказывал. Захватили в плен боевика из Бангладеш. У него пояс шахида и дорогое женское бельё. Спрашивают его: “Зачем тебе женское бельё?” — “А как же! — отвечает. — Когда меня убьют, попаду в рай и подарю девственнице дорогое бельё...” Посол говорил это без иронии, без презрения, мучительно растирая пальцами переносицу, словно скопившиеся в нём знания причиняли ему боль.

— Значит, армия не справляется? — спросил Лемехов. — Сводки, которые я читал в Москве, достаточно оптимистичны.

— Армия сражается на пределе возможностей, она предана Башару Асаду, но она несёт большие потери. Убыль в войсках не восполняется. К тому

же, у них устаревшая техника советских времён. Во время встречи с президентом вы услышите просьбу об увеличении поставок оружия.

— В Кремле понимают остроту ситуации. Иначе бы я не приехал.

— Если Сирия падёт, всё это разбойное полчище хлынет в Среднюю Азию и к нам, на Северный Кавказ. Борьба за Сирию — это борьба за Россию, — эти последние слова посол произнёс с тайным надрывом, будто не верил в благополучный исход войны. Не верил, что его сводки, аналитические записки, шифровки побуждают Москву действовать соразмерно опасности.

Лемехов заметил, что его дурные предчувствия рассеялись. Он больше не испытывал тоски. Слепящий свет солнца, желтизна холмов, стремительный бег машины, новые люди и новые впечатления — всё это возбуждало, веселило, обостряло чувства. Он испытывал азарт, какой бывает на охоте, когда приближаешься к неведомому лесу, к незнакомому озеру, к неоглядному полю, где таится добыча. Ты осторожно крадёшься, чутко вслушиваешься, ловишь каждую тень, готовясь к моментальному действию.

Они въехали в Дамаск, и вид горячего, благополучного города, полного машин, с многолюдными улицами, магазинами, островерхими минаретами окончательно его успокоил. Кругом была жизнь, суета, лавочки, супермаркеты, памятки на площадях, вывески и реклама. Хотелось окунуться в это восточное многолюдье, которое, казалось, не ведало о войне.

Они вышли у старомодного и респектабельного отеля “Шам”. Горячий воздух с парами бензина и запахом сладких цветов на мгновение опалил лицо. Они прошли сквозь стеклянную карусель дверей и оказались в прохладном, уходящем ввысь пространстве с ярусами этажей, с которых свисали зелёные лианы, вьющиеся растения, глянцеви́тая листва и сочные стебли. “Висящие сады Семирамиды”, — подумал Лемехов, поднимая глаза к стеклянному, пропускающему солнце куполу. Он перевёл взгляд на шелепящий фонтан с мраморной чашей.

— Ещё раз подумайте, Евгений Константинович. Может быть, всё-таки в резиденцию?

— Мы встретимся вечером, Махмуд Ахметович. Рад знакомству.

Они расстались с послом, который передал Лемехова на попечение сирийцам. Среди представителей МИДа оказался переводчик Али с хорошим русским, что объяснялось годами учёбы в Советском Союзе.

— Мне выпала большая честь работать с вами, Евгений Константинович, — Али был худощав, с длинной шеей, с влажными ласковыми глазами, какие бывают у детских поэтов и застенчивых мечтателей. — Все эти дни я буду с вами. Вы можете обращаться ко мне с любыми просьбами.

Али и представитель МИДа поднялись с Лемеховым на этаж. Здесь, в небольшом холле, отдельно от прочих, располагался номер. В резных креслицах сидели два молодых охранника, оба в чёрных пиджаках, которые будто набухли в подмышках от скрытого под ними оружия.

— Здесь вы в полной безопасности, — произнёс Али, впуская Лемехова в номер. — Вы хотите отдохнуть? Или погулять по городу? До встречи с президентом ещё много времени.

— Хочу погулять.

— Тогда через двадцать минут я жду вас внизу.

Номер был прекрасный, с мебелью, инкрустированной перламутром. На столе красовалась драгоценная ваза. Пол устилал восточный ковёр. Она выходили на островерхую мечеть, на мерцающую, как слюда, улицу и на туманные горчичные горы в слепящем солнце. Лемехов подумал, что земля, на которой он оказался, описана в священных текстах. Здесь жил Ной, совершил своё злодеяние Каин, здесь ступала нога Иисуса, и Савл стал Павлом. И если отрешиться от политики и войны, от современного шумящего города, то вдруг заструится музыка библейских времен, зазвучат исчезнувшие языки, и военный переводчик Али предстанет библейским пастухом, окружённым кроткими овцами.

Лемехов принял душ, сменил тёмный костюм на светлый, переложил из одного кармана в другой еловую веточку, ту, что снял с креста на материнской могиле. Спустился в холл, увлекая за собой двух молчаливых охранников.

Сады Семирамиды роняли вниз зелёные плети. Шелестел и плескался фонтан. На диванах, на расшитых подушках непринуждённо сидели люди, и служитель подавал на подносе чашечки чая и кофе, бережно расставляя их на узорных столиках. Слышался смех, громкая арабская речь. Ничто не напоминало о войне, которая приближалась к городу. И только в стороне, в узорных креслицах сидели два автоматчика, поглядывали на стеклянную дверь, пропускавшую посетителей.

Появился Али. Улыбаясь фиолетовыми губами, он смотрел на Лемехова глазами кроткого библейского овна.

— Евгений Константинович, может быть, вы хотите пообедать здесь, в ресторане? Или мы погуляем, и я отведу вас в ресторан с национальной арабской кухней?

— Дорогой Али, мы погуляем, а потом, перед визитом к президенту, пообедаем.

Они посетили базар — огромное торжище под стеклянной кровлей, расположенное в старом городе, — с бесчисленными лотками, лавками и витринами. В обе стороны густо валила толпа. Лемехову казалось, что его окунули в горячий вар, в вязкое накалённое месиво. Он медленно продвигался среди тюрбанов и долгополых облачений, смуглых лиц и блестящих глаз. Охранники были рядом, то пропадая, то возникая в толпе.

— Вы можете что-нибудь купить. Какой-нибудь сувенир, — произнёс Али.

— Хотел бы купить весь базар, так всё красиво и необычно.

На него вдруг нахлынуло восхитительное детское веселье, радостное обожание. Базар был разноцветным балаганом, в котором одни декорации сменялись другими, одни фокусники и затейники уступали место другим: юркие дети пускали вывес мигающих огоньками птиц, крикливые зывалы хватали покупателей за рукава и тащили к своим нарядным лавкам. Медные изделия сияли, как солнца: самовары всех мастей и размеров, чеканные чаши и чайники с грациозными шеями, ковши и котлы, в которых мог поместиться баран. Торговец в клетчатой шапочке ставил на полку медную лампу и был похож на волшебника, владеющего чудесным светильником.

Лемехов любовался музыкальными инструментами, которые, казалось, ждали музыкантов, чтобы зазвенеть, забренчать, запеть на восточной свадьбе среди ковров, босоногих танцовщиц, клубящихся благовоний. Он заглядывал в лавку с коврами, и каждый ковёр говорил о волшебных дугах, сказочных цветниках, райских садах. Хотелось улететь туда на этих коврах-самолётах. Война, которая ещё недавно тревожила, мучила страхами и предчувствиями, теперь отступила. Скрылась, занавешенная альми узорами и золотыми орнаментами. Кальяны, стоящие в ряд, были похожи на стеклянных птиц с гибкими шеями и изящными клювами. Резные табуреточки и столики, инкрустированные перламутром, ждали, когда начнётся чаепитие, и появится голубая ваза с виноградом и яблоками, зелёное эмалевое блюдо с восточными сладостями.

Базар ветвился, от него в обе стороны расходились улицы. Толпа напоминала гудящий пчелиный рой. Пламенели рулоны тканей. Тянуло дымом жаровен, ванилью, корицей, тмином.

У прилавков, где торговали драгоценностями, он купил золотое кольцо с прозрачным изумрудом. Представлял, как наденет его на гибкий, тонкий палец своей ненаглядной Ольги.

— Вам понравился базар? — спросил Али. Лемехов счастливо кивнул. Ему казалось, что мимо пронесли огромный разноцветный фонарь, и в душе осталось ликующее детское чувство.

Они покинули торговые ряды и вышли на сухую горячую площадь. Здесь возвышалась могучая мечеть. И словно ожидая их появления, на острове минарете взвился в синеву голос, рыдающий, поющий, стенающий. Один, второй, третий. Страстный вихрь, огненный жгут, факел в лазури, плач и мольба. Казалось, над минаретом растворилось небо, и в лазурь помчались незримые силы, унося с земли слезную мольбу, которая достигла Того, к кому стремилась. И в ответ на землю лилась густая пламенная синева.

— Теперь мы можем посмотреть мечеть Аммиядов. Эта святыня всего мусульманского мира. Здесь во время Второго пришествия явится Христос. Он сойдёт на землю с минарета. Здесь покоится голова Иоанна Крестителя, и Иисус встретится с ним в мечети.

Лемехов был вовлечён в этот вьющийся, пламенный вихрь. Вслед за Али, окружённый людом, переступил порог мечети.

Сбросил обувь там, где уже во множестве стояли чупяки, сандалии, стоптанные туфли. По мягкому ковру прошёл в глубину мечети. Здесь было прохладно, высокие колонны уходили ввысь, поддерживая просторный купол. Мечеть была огромной, с резными нишами в стенах, пронизанных косыми лучами солнца, с зеленоватым светящимся саркофагом, где за стеклом виднелась обёрнутая тканью отсечённая голова Иоанна.

Лемехова охватила робкая радость, тихое благоговение. Он оказался в святилище другой веры, среди святынь другого народа, который пустил его, иноверца, в свою сокровенную обитель. Переводчик Али деликатно отошёл в сторону, оставив Лемехова одного.

Люди входили в мечеть, бесшумно ступали, раскладывали молитвенные коврики. Вставали на колени, падали ниц, распрямлялись. Омывающим жестом проводили ладонями у лица и снова падали ниц.

Мечеть наполнялась. Женщины в просторных облачениях и хиджабах усаживались вдоль стены, похожие на одинаковых чёрных птиц. Дети шалили и бегали, и их никто не останавливал. И звенели, рокотали, рыдали голоса муэдзинов, созывая людей на молитву.

Лемехов сел на ковёр, прислонился спиной к колонне. Ему было хорошо. Луч, падающий с высоты, зажигал на стене арабеску. От усыпальницы Иоанна струились сладкие благовония. Фигуры молящихся колыхались, как трава под ветром.

На кафедре, окружённый толпой, возвышался проповедник в белой чалме, тучный, с седой бородой. Он рокотал, увещевал, настаивал. Его голос то улетал к лазурному своду, то ниспадал к жадно внимавшей ему толпе. Воля и сила этого голоса побудила Лемехова встать.

Подошёл переводчик Али.

— Это кто? — спросил Лемехов.

— Имам Ахмад аль Бухари, самый влиятельный имам Дамаска. Он осуждает тех, кто напал на Сирию, тех, кто разрушает сирийские города.

— О чём говорит? — спросил Лемехов, вслушиваясь в бурлящий голос.

Проповедник поднимал указующий перст, словно в подтверждение своих слов ссылаясь на высший авторитет.

— Он говорит, что мусульманин должен быть очень внимателен. Должен внимательно исследовать все события, чтобы отличать добрые дела от злых.

Имам простирали руки к тем, кто внимал его проповеди. То ладонями вниз, словно заслонял их головы берегающим покровом. То ладонями вверх, будто призывал людей оторваться от земных забот и сует и возвыситься до небес. То гневно вонзал пальцы, будто хотел пронзить ими заблудших и грешных.

— А теперь что говорит?

— Говорит, что нельзя совершать убийство. Нельзя слушать тех, кто призывает убивать людей. Говорит, что те, кто расстрелял заложников в Хомсе, это не мусульмане, а слуги шайтана.

Лемехов видел, как жадно люди внимают имаму, каким доверием светятся лица. Женщины у стены, не имея возможности приблизиться к проповеднику, тянулись к нему и были похожи на птиц, готовых взлететь.

Лемехов увидел в толпе темнолицего человека в визаной шапочке. Тот был выше остальных, словно привстал на носки, чтобы лучше внимать вещей проповеди. Из глаз его лилось фиолетовое пламя, и он хотел этим пламенем дотянуться до белой чалмы, до седой бороды, до воздетых рук.

— Нам нужно идти, — произнёс Али. — Вас ждут в резиденции президента.

Они направились к выходу, где им предстояло отыскать свою обувь.

— Вам понравилась мечеть Аммиядов? — спросил Али.

Лемехов услышал хрустящий удар. Тупой толчок в спину. Волну горячего ветра. Мгновенье тишины, словно был вышит весь воздух, и затем — стенающий вопль, крик ужаса, жалобный визг. Этот вопль и визг расшвыривали толпу, гнали её прочь от кафедры, разметали её в разные углы мечети. В открывшейся пустоте на тлеющем ковре веером лежали растерзанные люди. Одни были недвижны среди дымных огоньков, другие шевелились, ползли. Кафедра криво осела, и с неё свешивался имам, без рук, с лысой, потерявшей чалму головой, висящей на красных нитях.

Оглушённый Лемехов сквозь едкую гарь смотрел, как мечутся люди. Как женщины подхватывают детей. Как давится у выхода слепая толпа. На горящем ковре отдельно от убитых и раненых, на обрубке шеи, как на подставке, стояла чернолицая носатая голова в вязаной шапочке. Глаза у головы были открыты, и казалось, из них продолжают полыхать два фиолетовых факела.

Глава двадцать первая

Потрясённый, Лемехов вернулся в “Шам-отель”. Охрана виновато, с повышенным рвением вела его через холл к лифту и потом по коридору к номеру. Али проводил его до дверей и печально сказал:

— Ещё недавно Дамаск был самым спокойным, красивым городом на Ближнем Востоке. А теперь он может разделить судьбу Багдада и Триполи. Я жду вас, Евгений Константинович, через полчаса в холле.

Лемехов встал под горячий душ, смывая с себя гарь, едкую окалину, каменную пыль. Смерть прошла рядом с ним, пылая фиолетовыми глазами, боконогая, в просторной накидке. Белая ткань свилась в завиток у его лица, и он почувствовал, как пахнул на него ветерок смерти.

“У сиреневой опушки, в малахитовой воде”, — вспомнились ему стихи отца. Уже из других миров отец предупреждал его об опасности.

Встреча с президентом Башаром Асадом состоялась в зале, уставленном золочёной мебелью. Они сидели в креслах под государственным флагом Сирии. На стене висел портрет отца нынешнего президента. Хафез Асад смотрел на сына, словно сострадал ему и винился перед ним в том, что передал в управление сыну благоденствующую страну, которая уже была заминирована чудовищной злобой и ненавистью. Теперь эта злоба и ненависть хлынули на сына, готовые его поглотить.

Лемехов говорил с президентом на английском. Произношение президента было безупречным:

— Я знаю о сегодняшнем несчастье в мечети. Дамаск встречает вас взрывами. Рад, что вы избежали взрывной волны. Имам Ахмад аль Бухари был близким мне человеком. Я советовался с ним по государственным и религиозным вопросам. Его убили за дружбу со мной.

— Я скорблю по поводу этой смерти. Лично для вас, господин президент, это большая утрата.

Башар Асад был худощав, строен. Движения его были грациозны. Длинную шею увенчивала небольшая красивая голова с аристократическими усиками. Глаза были внимательны и спокойны. В них притаилось упорное ожидание, которое могло показаться обреченностью. Лемехов рассматривал его благородное лицо и сравнивал его судьбу с судьбой Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи — мучеников власти, которых поглотили тьма и насилие.

За окном резиденции грохнуло, задрожали стекла, глухой удар кольхнул флаг над головой президента. Лемехов вздрогнул.

— Это бьют “катушки” в районе правительственного аэродрома. Сейчас бои идут в пригороде Дамаска, в Дерайе. Бригада спецназа выбивает оттуда мятежников.

— Мы в России восхищаемся стойкостью сирийской армии. Вашей стойкостью, господин президент, — произнёс Лемехов, вся плоть которого помнила недавний взрыв в мечети, взрывную волну, толкнувшую его в спину.

— Россия для Сирии — главный союзник. Россия помогает нам выдерживать дьявольский натиск агрессии, заговор Запада и Соединенных Штатов против нашей страны. Политическая поддержка России блокирует в ООН решение Совета Безопасности начать воздушную войну против Сирии.

— Президент Лабазов прекрасно понимает проводимую Америкой “стратегию хаоса”, уже превратившую множество стран в бесформенные руины. Здесь, в Сирии, благодаря вашему мужеству, господин президент, этой “стратегии хаоса” поставлен заслон.

Лемехов, касаясь рукой золочёного кресла, глядя на маленький узорный столик, инкрустированный перламутром, чувствовал режущую волну хаоса, сметающую государства, рвущую заклёпки, на которых держатся мировые устои. Сорный ветер готов был ворваться в нарядную залу и умчатым этого изысканного человека с его флагом, шёлковым галстуком, упрямым и обречённым взглядом.

— Я вижу в президенте Лабазове верного друга и союзника. Он является мудрым руководителем, который вернул России ведущее место в мире. Народы смотрят с надеждой на президента Лабазова, признают его заслуги перед человечеством.

Лемехов вдруг подумал, что скоро, когда воссияет его звезда, и он станет президентом России, вот так же в золочёных гостиных и парадных кабинетах лидеры государств будут произносить в его адрес хвалы, называть его оплотом и надеждой народов.

Служитель на серебряном подносе принёс чашечки кофе, сласти. Бережно и бесшумно расставлял угощение на резном столике.

— В чём особенно нуждается сирийская армия, ведя упорные бои с врагом? Чем может помочь Россия? — Лемехов пригубил густой огненный кофе, ощутив его терпкую горечь.

— Мы остро нуждаемся в вертолётных двигателях. Парк вертолётов изношен, и мы, лишаясь вертолётов, теряем свои преимущества. Нам необходима бронетехника. Наши боевые машины используются с советских времён, они израсходовали свой ресурс. Кроме того, мятежники вооружены гранатометами, которые причиняют нашим машинам ощутимый урон. И, конечно, воздушная оборона. Мы не исключаем возможности бесконтактной войны, как это было в Ираке или Ливии. Нападение возможно со стороны Средиземного моря, с авианосцев Шестого американского флота, со стороны Персидского залива, с аэродромов Израиля. Ваш зенитно-ракетный комплекс “Панцирь” прикрывает Дамаск на главных направлениях, но остаются неприкрытыми несколько секторов. Нам необходимы дополнительные дивизионы “Панцирей”, которые сделают оборону Дамаска непробиваемой.

— Нам известны потребности сирийской армии. Сегодня вечером я провожу совещание с нашими специалистами и уточню количественные показатели наших оборонных поставок.

Они продолжали обсуждать положение на фронте, суть религиозного конфликта, участие в войне Турции, Иордании и Саудовской Аравии, роль Ирана и “Хезболлы”. Лемехов убеждался, что перед ним непреклонный лидер, утончённый интеллект, оригинальный стратег, сделавший свой выбор. Никакая опасность не заставит его покинуть страну. До последнего дыхания, даже окружённый врагами, он будет сражаться и героически примет смерть.

— Передайте президенту Лабазову мою искреннюю благодарность, — сказал в заключение Башар Асад. — Россия должна гордиться таким президентом и очень его беречь.

Покидая приёмный зал, Лемехов слышал, как позванивают стекла от залпов “катюш”.

Вечером в посольстве он совещался с дипломатами, военными советниками, генералами разведки, специалистами, обслуживающими боевую технику. Уточнялись потери сирийцев в вертолётах, боевых машинах и танках.

Определялся объём поставок артиллерийских снарядов и ракет для установок залпового огня. Рассматривались позиционные карты с нанесёнными на них батареями “Панцирей”, направления возможных ударов натовской авиации. Собранные специалисты казались осведомлёнными, бывали в войсках. Они делились горькими наблюдениями. И на каждом из них лежала едва заметная окалина бесконечно длящейся войны.

Утром Лемехов проснулся от сердечного перебоя, словно его клюнула невидимая птица. Полутёмный номер с восточной вазой. Ковёр с полосой солнца. Скопившийся за шторой утренний свет. Это было утро его войны, его смертельного риска, быть может, смерти. Ради этого утра он явился в стреляющую страну, чтобы искусить судьбу. Быть может, его мессианский проект является просто фантазией, которую оборвёт случайная пуля, или он пронесёт свою мечту сквозь взрывы и пули.

Лемехов отдернул шторы. Утреннее солнце хлынуло в комнату. За окном возвышались озарённая мечеть, несколько пальм, виднелась улица с шевелящимся сподяным блеском. За ними высились сиреневые горы в тени, и казалось, под мягким одеялом лежат великаны.

Лемехов смотрел на горы. Там не было дорог и строений, а только мягкие тени, в которых укрылось таинственное библейское время. Там обитали пророки, шли волхвы, случались чудеса, а теперь всё это укрылось под сиреневым пологом, недоступное для прозрения.

“Неужели это мои последние видения? И мне суждено погибнуть под чужим солнцем, в чужой земле, смешавшись с прахом исчезнувших безымянных народов?”

В холле его ждал Али, любезный и приветливый, с тихой печалью в глазах:

— Нас ждёт командир бригады. Он был очень польщён вашим желанием посетить его штаб.

— Какая обстановка в районе Дерайи?

— Идут бои с применением артиллерии и танков.

“Неужели я больше не увижу эти вьющиеся лианы, ниспадающие из купола до самой земли? И этот фонтан с шелестящими струями? И служителя, несущего на подносе фарфоровый чайник и чашечки? Ради чего я приношу эту жертву? Быть может, сослаться на нездоровье, на вчерашнюю контузию и вернуться в номер? Я уже испытал судьбу, и она меня сохранила. Я её избранник, любимец. Хватит её искушать”.

— Машины нас ждут, — произнёс Али. Лемехов вышел сквозь стеклянную карусель на солнечное пекло.

Они мчались по Дамаску на двух машинах в сопровождении охраны. Вначале город клубился толпой, теснился жилыми кварталами, мерцал автомобильным потоком. Потом жилые дома расступились, потянулись лавки, склады, ремонтные мастерские, за которыми открывалась степная пустыня с холмами. Лемехов продолжал мучиться, цеплялся взглядом за мелькавшие вывески, за велосипедиста, за двух женщин у обочины. Словно хотел задержаться, остановить слепое стремление туда, где поджидала его смерть.

Они свернули с шоссе на дорогу, изгрызенную гусеницами. Запрыгали на рытвинах. Открылось поле аэродрома с несколькими вертолётами, быть может, приготовленными для эвакуации Башара Асада.

Грохнуло так, что колыхнулась машина. В степи за аэродромом поднялась горчиная пыль. Это выпустила ракеты установка залпового огня, и ракеты улетели туда, куда продвигался Лемехов.

Впереди, сквозь слепящее солнце, возникло видение, мутно-коричневое, в едкой дымке, похожее на мираж. Город, без блеска окон, мёртвый, похожий на глиняный термитник, принял их в свои улицы, окружил дырами окон, облезлыми фасадами, проломами в стенах.

— Дерайя! — воскликнул Али, и в его возгласе было что-то птичье, то-скливое и беспомощное.

Штаб бригады размещался в разрушенном доме. Над всеми окнами фасад был испачкан жирной копотью. У подъезда стояла боевая машина пехоты, истрёпанная, запылённая, с заплатами на бортах. Она извела удары

гранатомёта и пулемётные очереди. Расхаживали солдаты. Валялись какие-то одеяла, раздавленный гусеницами велосипед, блестели осколки посуды. Сквозь развороченное окно первого этажа были видны офицеры, работала рация. Из соседних кварталов раздавались редкие выстрелы. Стреляла пушка.

Командир бригады, молодой генерал, принял их этажом выше, в квартире, сквозь которую пролетел снаряд, оставив сквозные проломы. Мебель обгорела, свисала разбитая люстра, кровать была полна обугленного тряпья.

Генерал раскрыл объятия, и они с Лемеховым дважды прижались друг к другу, щека к щеке.

— Я слышал, господин генерал, что ваша бригада особенно отмечена вниманием президента. Сражается на самом важном направлении, защищая Дамаск.

Генерал, не понимая русскую речь, улыбался мягкими губами, шевелил тёмными усиками, и его смуглое лицо обращалось попеременно то к Лемехову, то к переводчику. Али перевёл. Генерал произнёс: “Хоп”, — и стал говорить, указывая рукой в разбитое окно, за которым высились здания с зияющими окнами.

— Он говорит, — переводил Али, — что бригада выбила противника из Дерайи. Остался один укреп район на окраине, и туда подтягиваются танки.

Их окружили офицеры штаба, все молодые, все черноусые, в несвежей, закопченной униформе. Внимательно слушали их беседу.

— Генерал предлагает выйти на балкон. Там не так жарко, — сказал Али.

Они сидели на тесном балконе за столиком, у которого пуля отколола розовую щепку. Им принесли чай в чашечках, найденных среди разгромленной утвари. Дул прохладный ветерок, в котором присутствовали едкие струйки гари. С ровными промежутками, металлически чавкая, била пушка.

— Как происходят боевые действия? — повторил вопрос Лемехов.

“Хоп”, — сказал генерал и стал отвечать, поводя рукой, словно прикасался к проломленным крышам и закопченным фасадам.

— Он говорит, — Али переводил очередную порцию слов и умолкал, позволяя генералу продолжить рассказ, — говорит, что бандиты врываются в город, захватывают мэрию и расстреливают администраторов. Их расстреливают на площади, на виду у народа. Трупы подвешивают на фонарях. Народ пугается и начинает убежать из города. В него стреляют, и люди покидают город. Бандиты занимают пустые дома и устраивают опорные пункты. Сажают на перекрёстках снайперов, минируют главные улицы.

Лемехов заметил, как дрожат губы Али, и глаза наполняются слезной мукой. Рассказ генерала действовал на него ужасающе. Лемехов удивлялся ранимости этого военного переводчика, так и не привыкшего за два года войны к её ужасам и жестокостям.

Городской квартал был освещён солнцем, с прямоугольными тенями, как на картине художника-кубиста. Люди отсутствовали, оставалась жестокая геометрия смерти. Лемехов вглядывался в уступы домов, прислушивался к отдалённому лязгу пушки. В этих призмах, кубах, в изрезанных осколками фасадах таился неведомый бородач с зелёной перевязью на лбу, с потёртым автоматом, в котором застыла пуля, предназначенная Лемехову.

— Он говорит, что бои в городе протекают тяжело и стоят больших потерь. По снайперам стреляют танки, а потом здание захватывает пехота. Но мятежники успевают перебежать в соседнее здание и оттуда открывают огонь. Сейчас весь город очищен. Остался последний опорный пункт на окраине.

Лемехов знал, что в этих развалинах таится его смерть. И он не может уклониться от встречи с ней, не может остаться с генералом на этом балконе с чашечкой чая. Он явился сюда, в неизвестный город, чтобы убедиться в своей богоизбранности, в божественном предначертании. Если его мечта не безумное заблуждение, не бред воспалённой гордыни, то пуля его минует. Или достигнет, погасив и мечту, и солнце.

— Али, спросите генерала, могу ли я попасть на передний край, туда, где идёт бой?

Али перевёл, и Лемехов видел, как удивлённо взлетели тёмные брови генерала, и под ними замерли вишнёвого цвета глаза.

“Хоп”, — сказал генерал и стал говорить, обводя руками кубическую картину квартала.

— Он говорит, что это опасно. На пути следования засел снайпер и ведёт прицельный огонь. Надо передвигаться на боевой машине пехоты, под броней.

— Проверим, надёжна ли русская броня, — сказал Лемехов.

Генерал ещё раз молча, испытующе посмотрел на Лемехова и произнёс своё бодрое “Хоп”.

Они погрузились в боевую машину пехоты, в её десантный отсек: переводчик Али, генерал и Лемехов, напротив — три молодых солдата с автоматами.

“Господи, помилуй!” — подумал Лемехов, когда двери захлопнулись. Машина взревела и пошла, дёргаясь и качаясь, изрыгая дым, который залетал в полутёмный отсек. С одной стороны Лемехов чувствовал худое плечо Али, с другой на него наваливалось сильное тело генерала. Острые колени солдат упирались в его ноги. Их несло, встряхивало, качало на поворотах. Закупоренный в железном отсеке, Лемехов чувствовал, как гусеницы скребут камни, как машина проваливается в ямы, как лавирует среди невидимых препятствий. Он сжимался, ожидая удара, ожидая свистящего, пронзающего броню огня. Мысленно молился: “Господи, спаси и помилуй! Укажи мне путь! Если хочешь, убей меня! Или открой мне Свою милость и благоволение! Предаюсь Твоей воле, Господи!”

Он молился, призывая на помощь лучистую, как бриллиант, икону “Державной Богоматери”, и могилу мамы с весенним цветком, и те разноцветные стёклышки, которыми в детстве выкладывал потаённую лунку, и те негасимые карельские зори, когда плыли с женой по розовым водам, и голубую сосульку в зимнем окне.

Страшно ударило в борт, проскрежетало. Звук проник сквозь броню, ноющий, рвущий, выдирая сердце. Лемехов почувствовал, как что-то жестокое, жуткое рассекло его, крутилось в груди, наматывало жилы, сосуды, запечатывало горло лишним страхом.

Машину бросало из стороны в сторону. Она гремела гусеницами, старой броней, и через несколько минут встала. Двери отсека растворились, и солнечная пыль и едкая гарь хлынули внутрь машины.

Лемехов выбрался на волю. Кругом высились всё те же горчичного цвета дома, пустые окна, языки копоти. Толпились солдаты. Механик-водитель, белозубо улыбаясь, показывал свежие выбоины на броне, оставленные очередью. Генерал оглаживал выбоины, словно ласкал машину. Другие солдаты подходили, смеялись, хлопали друг друга по плечам.

Лемехов вдруг ощутил ликующую радость. Пули, хлестнувшие по броне, предназначались ему. Испытывали его. Испытывали его веру, его упование. Божий Промысел привёл его в сирийский разгромленный город, подверг испытанию, заставил усомниться, помог победить неверие. Усадил в боевую машину, хлестнул по машине свинцом, поместил между раскалённым свинцом и ужаснувшимся сердцем лист брони. И теперь этот Промысел окружил его молодыми солдатами, их смеющимися лицами, и от этих закопченных фасадов, от измыганной боевой машины он продолжит свой путь, своё триумфальное восхождение.

— Генерал говорит, что вы угодный Богу человек, — сказал Али. Генерал кивал, улыбался, трепал Лемехова по плечу. — Еще он говорит, что вы зовет танк и уничтожит снайпера.

Молодой солдат, один из тех, что сидел с Лемеховым в боевой машине, подошёл, пожал ему руку. Он был юношески худ, на безусом лице сияли глаза. Он был счастлив тем, что их опасный рейд окончился благополучно. Счастлив тем, что важный гость из России разделил с ним смертельную опасность. Счастлив тем, что на этой кровопролитной войне выдался ещё один день, когда можно смеяться, забросив автомат за спину.

Лемехов увидел на худой загорелой шее солдата алюминиевый крестик, висящий на простом шнурке. Указал на крестик:

— Ортодокс?

— Ортодокс, ортодокс! — закивал солдат.

Лемехов почувствовал внезапную слёзную нежность к солдату, к его почти детскому лицу, к худой беззащитной шее, к алюминиевому крестик на сером шнурке. Расстегнул на себе рубаху, под которой его серебряный крест висел на золочёной цепочке. Снял крест и протянул солдату. Тот понял, восхитился. Снял с себя крест. Они обменялись крестами. Лемехов поцеловал алюминиевое распятие, а солдат приложил к губам серебро. Они обнялись, троекратно расцеловались. Теперь в этой арабской стране, на жестокой войне, у Лемехова был брат во Христе. Он станет молиться, чтобы пули его миновали.

Генерал направился в дом, где находился штаб батальона, чтобы вызвать по радиации танк. Солдаты поспешили за ним.

— Али, почему вы печальны? — Лемехов видел, как мучительно сдвинуты у переводчика брови, как переполнены слёзным блеском глаза. — Ведь всё замечательно. Сейчас прибудет танк и уничтожит снайпера.

— Здесь, в Дерайе, я жил с семьей. Жена и две дочери. Вон мой дом, — Али указал на соседнее здание с пустыми окнами, над которыми темнели языки копоти. Они чем-то напоминали страдальческие брови Али.

— А что с семьей? — Лемехов сострадал. Ему было неловко за недавнее ликование.

— Не знаю. Вы слышали, что говорил генерал. Все жители убежали из города. Я их ищу, но их нет ни среди живых, ни среди мертвых.

Заскрипело, заскрежетало. Из-за угла выкатил танк с провисшими гусеницами, с грязной бронёй, с тяжёлым кольханием пушки. Генерал с офицерами вышел из штаба, стал что-то объяснять командиру танка. Солдаты облепили броню.

— Вы не возражаете, если я пойду и посмотрю на мой дом, — сказал Али.

— Я пойду с вами, — сказал Лемехов.

Они перешли улицу, усыпанную битым стеклом и обугленными тряпками. За их спиной скрежетал, удаляясь, танк. Они приблизились к дому.

У подъезда был маленький газон, росло ухоженное деревце с глянцевыми листьями и розовыми цветами. На ветках висели окровавленные бинты. Их шевелил ветер. Али протянул к деревцу руку и тут же отдернул, боясь коснуться бинта. У входа стояла деревянная лавочка, на которой, видимо, отдыхали жильцы. На лавочке стоял аккумулятор с разломанным корпусом, из которого вылилась жидкость. Али погладил лавочку, и Лемехов видел, как дрожат его губы.

Они поднимались по лестнице, под ногами хрустело битое стекло, и казалось, Али подпрыгивает при каждом шаге, словно осколки впивались ему в стопы. На лестничных площадках двери квартир были распахнуты, виднелась разгромленная утварь. Али вжимал голову в плечи, будто кто-то из раскрытых дверей наносил ему удары.

На третьем этаже он остановился перед распахнутыми дверями. Качался, не решаясь переступить порог, словно там, за порогом не было пола, и он боялся провалиться в бездну. Шагнул. Лемехов видел, как заметался он по комнатам, подбирая разбросанные платья, книги, упавшие с потолка люстры. Стоял, прижимая к лицу розовое платье, целовал, вдыхал, не мог надыхаться.

В спальню на распахнутой кровати валялся грязный мужской башмак, желтели стреляные автоматные гильзы. На стене чёрной копотью были выведены арабские иероглифы, и Али заслонялся от этих жестоких каракулей. Зеркало было цело. Али взял лежащий на подзеркальнике женский гребень и смотрел на него, словно видел, как льётся сквозь гребень волна душистых волос. Лемехов смотрел, как Али отражается в зеркале, прижимая гребень к губам.

За окном грохнул танковый выстрел. Зеркало задрожало, и отраженье Али задрожало. Эхо выстрела смолкло. Зеркало успокоилось, а отраженье Али продолжало дрожать. Али рыдал, сотрясаясь плечами.

Глава двадцать вторая

Лемехов возвращался в Москву через Бейрут и Стамбул. Стамбульский аэропорт был грандиозным месивом разноязычных народов, которые, сдвинувшись со своих насиженных мест, текли по миру, сталкивались, слипались, вновь распадалась, вовлечённые в кружение по континентам, словно искали и не находили заветного места.

Ночью в самолёте из Стамбула в Москву он погрузился в дремоту. Его сон напоминал мглу, в которой что-то рокотало, переливалось, струилось. Эта мгла вдруг сложилась в отчётливый образ. Он увидел купол, построенный из грубых камней, какие бывают в старинных палатах и храмах. Под этим куполом, глубоко внизу протекало действо — то ли многолюдное собрание, то ли церковная служба. Пёстрая толпа оживленных людей, огоньки, детские и женские лица. Купол над ними начинал сотрясаться, камни шевелились, крошились. Сверху на них давила чудовищная сила. Вся устойчивость кладки держалась на одном-единственном камне, помещённом в центр купола. Этот “замковый камень” дрожал, был готов упасть. И тогда вся груда камней обрушится на людей и раздавит. Он, Лемехов, подпирал руками “замковый камень”, не даёт ему упасть. Чувствует жуткое дрожанье свода, страшную силу, сокрушающую кладку. Руки его отекают кровью, жилы набрякли и рвутся. Он из последних сил удерживают “замковый камень”, чувствуя чудовищную, неземную природу этой кромешной силы.

Очнулся он от глухого толчка: самолёт выпустил шасси и снижался. За окном в утреннем свете зеленели подмосковные леса, сияли озёра и реки, переливались крыши посёлков.

В *vip*-зале он ожидал увидеть встречающих. Рукопожатия, приветливые лица, бодрые пожелания. Дорожный саквояж — в руки охранника. Беглый обмен впечатлениями. Глаза Верхоустина, которые станут подобны василькам, когда он услышит о “скрежете пуль по броне”. Уютный, с запахами лаков и кожи, салон автомобиля. По пути в Москву — несколько неотложных звонков. Голос Ольги напоминает переливы флейты. Сказать ей или нет о золотом кольце с изумрудом? И прямо с аэродрома, не заезжая домой, — на работу, проводить совещание работников космической отрасли, посвящённое “лунной программе”.

Он сидел в *vip*-зале, но встречающих не было. Он принялся звонить Двумлистикову — телефон молчал. Принялся звонить охране, но и та не откликнулась. Молчали телефоны Верхоустина и Черкизова. Он не понимал, что случилось. Встал и направился к выходу. На выходе он встретился с шофёром, который неуверенно приветствовал его.

— Что случилось? Сколько я могу ждать?

— Я не виноват, Евгений Константинович.

— Какой там “лунный проект”, если на земле сплошное разгильдяйство!

— Вот, смотрите, Евгений Константинович.

Шофер протянул ему правительственную газету, где на первой полосе, под рубрикой: “Объявления” было краткое сообщение:

“Указом Президента РФ освобождён от занимаемой должности заместитель председателя правительства РФ, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Е. К. Лемехов. Временно исполняющим его обязанности назначен Л. Я. Двумлистиков”.

Лемехов ошеломленно смотрел на заметку. Так стремительно несущийся автомобиль ударяется в бетонную стену: секунда остановки, и затем начинается крушение.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава двадцать третья

Лемехов из аэропорта помчался на работу в Дом Правительства, чтобы там найти объяснение случившемуся. Заместитель Двулистиков, верный соратник, закадычный друг Лёня откроет ему интригу, объяснит недоразумение, поможет его уладить. Ошибка прессы, ложная информация, административная путаница — всё это будет устранено и исправлено. А виновные — будь то зловредные журналисты или нерадивые чиновники — подвергнутся жестокому наказанию.

Он почти бежал по коридору, приближаясь к своему кабинету, замечая, как редкие сослуживцы, встречаясь на пути, испугано шарахаются в сторону. Он готовился увидеть Двулистикова, подыскивал первые ироничные фразы, в которых должны отсутствовать возмущение и растерянность, а, напротив, должна присутствовать свойственная ему твёрдая властность. Та, которую он проявлял в своих отношениях с заместителем. Но когда он подбежал к кабинету, на дубовых дверях висела табличка, где чёрным по золоту значилось: “Заместитель председателя правительства Российской Федерации Двулистиков Леонид Яковлевич”.

Лемехов почувствовал, как что-то лопнуло в голове, и золотое превратилось в красное. Он смотрел на траурную чёрно-красную надпись, и мозг его заливало липким и жарким, как при кровоизлиянии.

Он шагнул в приёмную, увидев ужаснувшееся лицо секретарши, пролетевшей:

— Евгений Константинович!

Толкнул дверь в кабинет. За его рабочим столом, в его кресле сидел Двулистиков. Завершая разговор по правительственному телефону, он властным жестом возвращал трубку на место. И прежде, чем сосредоточиться на Двулистикове, Лемехов успел бегло осмотреть кабинет, обнаружив перемены. Исчезла фотография, на которой Лемехов стоял рядом с президентом Лабазовым на фоне “истребителя пятого поколения”. Её заменила фотография Двулистикова на фоне баллистической ракеты, готовой к старту. Произошли изменения на маленьком столике, где Лемехов собрал несколько “фетишей”, напоминавших о крупных производственных достижениях. Там находилась лопатка турбины сверхмощного авиационного двигателя, голубоватая линза прибора звёздной навигации, “умная пуля”, не ведающая промаха. Всё это исчезло, и на столике появился лакированный древесный корень, напоминавший лесного старичка. Двулистиков был равнодушен к лесным деревьяшкам, вытаскивая из них забавные фигурки.

Исчезновение любимых “фетишей” и замена их на чужого идола сразили Лемехова. Захват его рабочего стола и кресла, хозяйский жест, которым Двулистиков держал телефонную трубку, искоренение святынь, разрушение духовных символов, связывающих Лемехова с делом всей его жизни, — всё это было чудовищно.

— А ты не поторопился прилепить своё смехотворное имя к дверям моего кабинета? Не поторопился приволоочь сюда своего дурного уродца? Своего деревянного чёрта, который мерещится тебе в каждом сучке? Не думаешь, что вся эта дурь будет сложена в мешок и выброшена на помойку? — Лемехов чувствовал, как едкая кислота жжёт горло, как разливается по жилам укусуная ирония, как презирает он сидящего в его кресле Двулистикова.

— Этот кабинет теперь мой. А ты — всего лишь посетитель, который вошёл без стука, вместо того, чтобы записаться на приём.

Двулистиков оставался сидеть, и Лемехова поразило его лицо. Всё те же маленькие, сдвинутые к переносице глазки, обведённые красной кромкой; тот же утиный нос в микроскопических каплях жира, те же плотно прижатые уши с белыми, словно отможенными хрящами. Но в этом лице не было обычной угодливости, собачьей преданности, стремления угадать малейший каприз Лемехова и кинуться его исполнять. Лицо Двулистикова было

злым и жестоким. Лемехов напоролся на это лицо, как на невидимый кол.

— Как? Это говоришь ты, который слепо выполнял все, даже самые ничтожные мои поручения? Кто клялся мне в верности и любви? Говорил, что готов кинуться и заслонить меня от пули? Что я твой кумир? Что я статуя на носу корабля, которая указывает тебе путь в океане? И теперь ты говоришь, что я должен записываться к тебе на приём?

— Нет, ты не статуя на носу корабля. Ты не мой кумир. Я не кинусь заслонять тебя от пули. И больше никогда не выполню ни одного твоего поручения. Я ждал, когда ты придёшь в этот кабинет, в котором столько раз меня унижал. Ждал, когда ты придёшь, чтобы сказать тебе, как я тебя ненавижу.

Двулистиков произносил слова длинно, чтобы они звучали дольше и причиняли Лемехову больше боли. Так мучитель отрезает у жертвы кусочки плоти, насыпая в порезы соль.

— Я ненавижу тебя! Ненавижу сейчас, ненавидел вчера, ненавидел всю мою жизнь!

— Ты ненавидел меня? Столько лет ненавидел? Твоя ненависть была растянута на десятилетия? Ты сложился как личность в поле ненависти? Твой скелет, клеточная ткань, полушария мозга формировались в поле ненависти? — Лемехов был сокрушён. Его голос напоминал вопль: — Ты источник страшной заразы, от которой страдает жизнь. От таких, как ты, выбрасываются из моря киты. Пустыня пожирает Африку. Образуются озоновые дыры. Мы бы давно погибли, если бы подобные тебе ненавистники восторжествовали. Но твоё присутствие в мире уравнивают праведники. Святые и праведники спасают мир от таких, как ты!

Двулистиков хохотал. Его маленькие глазки, красные, как у вепря, мерцали. Он потирал пальцы, и они хрустели.

— Ты-то святой и праведник? Родную жену заточил в сумасшедший дом, чтобы не мешала развлекаться с красотками! Нарушил клятву верности, которую дал президенту Лабазову, и возмечтал его свергнуть! Вот тебя и сбили. И ты, кувыркаясь, упал и разбился. Я этому рад! Ах, как я этому рад!

— Ты подлец! — Лемехов чувствовал, как пол становится мягким, не держат ноги, и он готов провалиться в какую-то зыбкую топь.

— Не стоит уж нам портить до конца отношения, — мнимо успокаивал его Двулистиков. — Я тебе ещё пригожусь. Могу предложить место в одном из отделов. Нехорошо кидать в беде старых товарищей!

Лемехов видел жёлтые зубы во рту Двулистикова, чувствовал исходящий от него запах укуса. Хотел выкрикнуть какое-то страшное слово, но забыл его. Мычал, заикаясь. Хотел ударить Двулистикова острой стальной лопаткой от сверхмощной турбины, но вместо этой изысканной, как лепесток стального цветка, лопатки на столике торчал уродливый корень.

Лемехов, словно боясь провалиться в прорубь, будто перепрыгивая через промоины, как по тонкому льду выбежал из кабинета. Побежал по коридору к лифту.

На пути у него возник всклокоченный старик с крючковатым носом, весь в морщинах и складках. Глаза его безумно сияли:

— Бог-то есть! Есть Бог! Погнали тебя грязной метлой! Как мусор, как мусор!

— Вы кто? — старался обойти его Лемехов.

— Я Саватеев! Как умолял, упрашивал: “Оставьте меня на работе!” Нет, при всех растоптал! Я “Буран” запускал. Я его гладил, тёпленького, по загривку, когда он вернулся на землю. А ты меня — как промокашку! Теперь и тебя на помойку! У павлина хвост оципали!

Старик вцепился ему в рукав, не пускал. Лемехов оттолкнул старика. Минуя лифт, побежал вниз по лестнице. И вслед ему нёсся стариковский кашель и смех:

— Павлин! Бесхвостый павлин!

Глава двадцать четвёртая

Он позвонил в Администрацию президента, желая добиться скорейшего свидания с Лабазовым. Но чиновник Администрации, всегда любезный и словоохотливый, замялся, услышав его имя, а потом, нетвёрдо, заикаясь, сказал:

— Невозможно, Евгений Константинович. Все свидания с президентом расписаны на два месяца вперед, а новые списки пока не составлялись.

Лемехов позвонил чиновнику протокола, который обычно приглашал его на встречу с президентом. Но чиновник холодно ответил:

— Видите ли, Евгений Константинович, вы теперь, как я понимаю, являетесь частным лицом. А это подразумевает совсем иную процедуру.

Он вдруг вспомнил, что есть человек, который может ему помочь. Этим человеком был генерал Дробинник, доверенное лицо президента, исполнитель его тайных поручений. Лемехов набрал номер генерала:

— Пётр Тихонович, я вернулся из Сирии. Вы сказали, что после возвращения я могу повидаться с президентом. Мне очень нужно. Помогите мне.

Дробинник некоторое время молчал. Потом произнёс:

— Вы же понимаете, Евгений Константинович, что обстоятельства изменились. В этих новых обстоятельствах президент откажется вас принять.

— Но почему, Пётр Тихонович? Это недоразумение, абсурд! Меня оговорили, какой-то враг, какой-то могущественный соперник. Уверяю вас, если президент меня выслушает, он всё поймёт, и недоразумение рассеется. Помогите встретиться с президентом, умоляю вас!

— Думаю, что это невозможно.

— Объясните, что случилось! Хоть вы-то мне объясните! Выслушайте меня и доложите о нашем разговоре президенту. Умоляю, Пётр Тихонович!

Дробинник помолчал:

— Ну, хорошо. Через час встретимся в ресторане “Боттичелли”. Вы, кажется, любите этот ресторан?

Они встретились в полупустом ресторане среди античных колонн. Бесшумно скользили официанты в облачении флорентийских дождей.

— Что случилось, Пётр Тихонович? Почему эта нелепая отставка? Это какая-то ошибка! Президента ввели в заблуждение. Меня оклеветали!

Дробинник смотрел на него прозрачными, как апрельская вода, глазами, в которых темнели две чёрных икринки. Спокойно произнёс:

— Видите ли, Евгений Константинович, наш президент очень восприимчив к вопросам чести. Как офицер, он привержен чувству долга. Он держит свои обязательства перед соратниками, заслоняет их всей силой своего авторитета, если они споткнутся или совершат неточный шаг. Но он не выносит вероломства, предательства. Его предавали те, кого он вывел в люди, наделил достатком и властью. Его предал целый класс, который вдруг повалил на Болотную площадь и потребовал для него смертной казни. Он, я знаю, относился к вам очень сердечно, рассчитывал на вас, связывал с вами далеко идущие планы. И был, Евгений Константинович, разочарован в вас.

Им принесли чай и фруктовый торт. Официант с изящным поклоном разливал в розовые чашки душистый чёрно-золотой чай. Присутствие официанта мешало им говорить. Но как только тот скрылся за колонной, Лемехов заговорил, жарко, нестройно, вонзая одну незавершенную фразу в другую:

— Я преклоняюсь перед президентом, служу ему верой и правдой!.. И правдой, и верой!.. Для меня президент — глава Государства Российского, которому я поклоняюсь, как божеству!.. Не президенту, разумеется, а Государству Российскому!.. Но и президенту, и президенту тоже!..

Дробинник смотрел на Лемехова, как смотрит естествоиспытатель на биологический вид. В глубине его прозрачных глаз трепетали дробинки.

— Вы создали партию “Победа”, которая задумана вами как президентская партия. Присутствие Патриарха на съезде многим напоминало помазание на царство. Вы не скрывали своих президентских притязаний.

— Это ошибка, ошибка!.. Неверное толкование!.. Партия “Победа” — президентская партия, да, но президента Лабазова!.. Новая идеология, новый рывок!.. О котором говорит президент!.. Гвардия инженеров!.. Алтари

и оборонные заводы!.. Я готовлю новый Большой проект, проект “Россия”!.. Я создаю образ русского будущего!.. Все устали от бессмыслицы, эгоизма!.. Я провозглашу новую философию государства!.. Философию русского будущего!.. Мессианский лидер грядет!.. Не я, конечно, не я!.. Президент Лабазов!.. Это его президентская партия!..

Дробинник спокойно слушал, как врач выслушивает пациента. Лемехов чувствовал, что не в силах убедить собеседника.

— Вы ездили по оборонным заводам, уговаривали директоров и инженеров войти в вашу партию. Говорили о своем будущем президентстве. Неуважительно отзывались о действующем президенте.

— Напротив, напротив!.. Когда спустили лодку, я говорил, что это личная победа президента Лабазова!.. Когда проводили пуск ракеты с подводного старта, я сказал на фуршете, что это салют в честь президента Лабазова!.. В честь нашего президента!.. Много злых языков, много скептиков, много недовольных!.. Они критикуют власть, критикуют президента, что, дескать, устал, даже болен!.. Не хочет больше руководить государством!.. Всё у него какие-то развлечения, прихоти!.. То журавли, то уссурийские тигры, то подводная амфора, то тайменя он поймал величиной с кита!.. И коррупция, и жену сослал в монастырь, и связи у него с певицами и балеринами!.. Я все пресекал, пресекал!.. Вырывал языки!.. Да не все, видно, вырвал!.. Один остался, который оклеветал меня в глазах президента!..

Дробинник смотрел на Лемехова, как следователь на арестанта, добиваясь признательных показаний. Слепящая лампа в лицо, бесстрастный голос перечисляет улики. И от этого ледяного голоса поднимался сжимающий сердце глубинный страх, притаившийся в памяти ужас, который достался ему от давней родни, прошедшей сквозь ночные допросы и железные язги дверей.

— Было странно наблюдать ваше зимнее плаванье по Москва-реке вдоль Кремля, когда на облаках, над Кремлёвским дворцом возник ваш портрет, как Нерукотворный Спас. Президент заметил, что подобный лик появлялся над Кремлём только в эпоху Сталина, и это был лик самого Сталина, неконованного монарха.

— Ну, это пустяки, просто шалость!.. Выдумка стилиста Самцова!.. Он искал новый образ, и с помощью лазеров, на облаках чертил его!.. Заоблачная фантазия художника Распевцева!..

— Я не могу устроить вам свидание с президентом, — сказал Дробинник. — Я не должен был вообще с вами встречаться. Но я испытываю к вам симпатию и не хочу, чтобы вы напрасно обивали пороги инстанций. На этом направлении ваша карьера завершилось. Попробуйте начать всё с начала, но от другой отправной черты. Может быть, вам следует уехать из Москвы? — он подозвал официанта и рассчитался. Поднялся и, не подавая руки Лемехову, с лёгким поклоном удалился. А тот остался сидеть, бормоча:

— Я привёз послание от Башара Асада!.. Не письменное, а на словах, из уст в уста!.. Я выдержал испытание водой у фонтана любви!.. И огнем — на сирийской войне!.. Скрежет пуль по броне! Господи, что же мне делать?..

Он поднялся и пошёл среди античных колонн туда, где тихо журчал фонтан. Ему навстречу брызнула музыка, засверкали цветные лучи. Вода в фонтане вспыхнула небесной лазурью. Божественная в своей красоте, обнажённая, прикрывая грудь и живот золотом пышных волос, на перламутровой раковине появилась Венера.

Глава двадцать пятая

Он был отвергнут Лабазовым, а Лабазов будет свергнут им. Будет им свергнут и выброшен из Кремля. Для этого существует партия, имя которой “Победа”. С помощью партии он одержит победу. В партии лучшие люди страны — оружейники, технократы, военные. Патриотичные художники и писатели. Самые виртуозные журналисты, такие как Артур Лемнон. И, конечно, священники, и сам Патриарх. И мудлы, и даже раввины. Синеглазый маг и волшебник Верхоустин. Ясновидец и конспиролог Черкизов. А также

тайный орден “Жёлудь” с огромными деньгами и связями, перед которыми бессильны все президентские ищейки, все его “прослушки” и “наружки”, вся его хитроумная, прогнившая власть.

“Хотите вторую Болотную? Вы её непременно получите! Получите вторую Болотную!.. Хотите коалицию всех антикремлёвских партий? Вы получите коалицию! Да, коалиция!.. Да, коалиция!..”

Лемехов продолжал ненавидеть, но теперь его ненависть превратилась в отточенное острие. Этим остриём, направленным в сердце Лабазова, была партия “Победа”.

Он стал набирать номер Верхоустина, а затем Черкизова. Оба телефона отзывались длинными гудками, но знакомых голосов он так и не услышал. Раздражённый, он сетовал на обоих: в трудную минуту они оказались недоступны.

Он помчался на Олимпийский проспект, в штаб-квартиру партии.

Овальная громада Олимпийского стадиона. Множество стеклянных дверей и витрин. Самодельный паровоз, “чучело паровоза”, зачем-то поставленное на пандусе. Лемехов взбежал по лестнице. Торопился к дверям, на которых висела табличка с наименованием партии, и краснел геральдический щит. Но двери штаб-квартиры оказались распахнуты, таблички не было, на полу валялся красный осколок щита с золотой буквой “П”. Рабочие выносили из апартаментов последнюю мебель. Администратор покрикивал на них:

— Легче, легче, ребята!

— Что случилось? — Лемехов пытался им помешать. — Почему вы выносите мебель? Это партийный офис!

— Ничего не знаю, — ответил администратор. — Арендаторы съехали. Освобождаем площадь для других арендаторов.

Поражённый Лемехов вновь стал набирать номера Верхоустина и Черкизова. Но теперь вместо длинных гудков жестяной женский голос сообщал: “Данный телефонный номер снят с обслуживания”.

Он стоял ошеломлённый, боясь сделать шаг. Мир, в котором он жил, ещё недавно столь прочный и зримый, теперь превращался в пустоту. Всё, к чему он приближался, на глазах разрушалось, оседало пылью. Если он коснётся стены, она оседет тихим прахом. Если шагнёт на лестницу, ступени провалятся, и нога уйдёт в пустоту. Это было похоже на бред. Реальность, которую он создавал столь упорно и яростно, — стальные машины, людские радения, могучие свершения — всё было мнимым. Великолепные машины, дерзкие замыслы, незыблемые дружбы — всё осыпалось лёгкой бесцветной пылью, едва он хотел коснуться их рукой или мыслью.

Он смотрел на рабочих, протаскивающих через дверь рабочий стол, за которым обычно восседал Черкизов. Под ногами рабочих он увидел газету. Растрёпанная, истоптанная подошвами, она была раскрыта на странице, где он увидел свою фотографию, большую, почти во всю полосу. Фотограф вырвал мгновение, когда выступавший с трибуны Лемехов раскинул руки, растопырил пальцы, раздул щеки, воздел брови и стал похож на нелепую птицу, которая собирается взлететь. Над фотографией красовалась надпись: “Павлин”, — далее следовал текст статьи.

Лемехов подобрал газету и стал читать. Статья была написана известным либеральным журналистом Артуром Лемноном, тем самым, что был приглашён на учредительный съезд партии.

Лемнон писал:

“В нашем политическом птичнике обитают пернатые, которые с определённого момента начинают вдруг раздуваться. Живёт себе никому не заметная птичка, клюёт свои зёрнышки, и то ли не то зерно склевала, то ли не на ту ветку села, как вдруг начинает раздуваться. Вырастает зоб, который яростно квохчет. Вырастает клюв, которым можно убить. Раскрывается хвост такой красоты, “что не можно глаз отвесть”. Был так себе, Воробей Воробейч, а стал Павлин Павлинич. К числу таких распушивших хвост павлинов относится Евгений Константинович Лемехов, вице-премьер, курирующий оборонную промышленность. Человек он вполне заурядный, под стать обыкновенным российским чиновникам. Но вдруг он стал раздуваться, слов-

но ему в одно место вставили насос. Он возомнил себя будущим президентом России и созвал свой партийный съезд. Партия его зовётся “Победой”, видимо, в расчёте на победу в президентской гонке. Патриарх приезжает на съезд и произносит речь, будто это Успенский собор, и он на помозанника Лемехова возлагает шапку Мономаха. Участвуют в съезде создатели танков, подводных лодок и атомных бомб, а также казаки, приходские батюшки и офицеры спецслужб.

Что нас ждёт, если Президентом станет господин Лемехов? Смесь военщины и поповщины. Танки вместо масла, казацьки нагайки вместо художественных выставок, Закон Божий в школах и дикторы телевидения в офицерских мундирах на северокорейский манер.

Каковы же человеческие качества претендента на кремлёвский кабинет господина Лемехова? Он набожен, ходит в храм и молится перед иконой Божьей Матери “Державная”, но при этом заточил жену в психиатрическую больницу и развлекается с актрисами, музыкантками и балеринами. Он уверяет нас, что из России скоро прозвучит новое “слово жизни”, а сам на охоте недавно убил медведицу и двоих её медвежат. Кстати, ружье, из которого была убита медведица, подарил Лемехову крупный западный предприниматель, поставляющий станки для российских оборонных заводов. А постоянная патриотическая проповедь господина Лемехова находится в странной связи с дорогим особняком в Ницце, куда время от времени наезжает его патриотический собственник.

Весьма сомнительны достижения господина Лемехова в создании новых видов вооружения. По оценке экспертов, танки, самолёты и подводные лодки, о которых Лемехов рапортует народу, являются безнадежно устаревшими и не способны составить конкуренцию американским аналогам. Не дай Бог, случится вооружённый конфликт, и мы узнаем об эффективности менаджера Лемехова по числу погибших лётчиков, танкистов, подводников.

Таким образом, скромный воробей, клюющий зёрнышки со стола президента Лабазова, превратился в раздутого павлина с радужным хвостом. Но он, видимо, забыл, что жареные павлины — любимое царское блюдо. И стол, с которого склёвывал зёрнышки господин Лемехов, может быть украшен искусно зажаренной радужной птицей”.

Лемехов выронил газету. То место, куда она упала, превратилось в чёрный провал. Он летел за газетой в пропасть, и ему вслед раздавался хохот Лемнона.

Глава двадцать шестая

- Это ты? — услышал он её голос, — Вернулся?
- Любимая, мне нужно тебя увидеть.
- Я сейчас не могу. У меня репетиция.
- Мне очень нужно! Где репетиция?
- В джаз-клубе “Коломбо”. На Фрунзенской набережной.
- Я к тебе еду.
- Ты сорвёшь репетицию.
- У меня срывается жизнь! Буду ждать тебя у клуба на набережной!

Москва была, как смуглый, спелый плод, переполненный терпким соком. Воздух был сладкий и приторный. Казалось, разрезали дыню, и она лежит, истекая медовой влагой. Лемехов стоял у гранитного парапета, чувствуя, как остывает дневной зной. Москва-река, тёмная, маслянистая, крутила золотые веретена огней, покачивала плавучие рестораны, стаи уток, проплывавшие мимо речные трамвайчики. Хрустальный мост, перекинутый к Нескучному саду, казался бокалом, в котором кипело шампанское. Крымский мост был похож на крылатую железную птицу, отливавшую синевой. Синева начинала розоветь, становилась изумрудной, оранжевой. Птица была готова взлететь, сжимаемая в клюве блестящую реку. За рекой в Парке культуры и отдыха шумело гулянье, гремели аттракционы: крутились карусели, раскачивались ладьи качелей, звенели “американские горки”. Лемехов, окружённый огнями, запахом

женских духов и сладкого табака, с нетерпением ждал Ольгу. Он приготовил ей изумрудное кольцо, купленное на восточном рынке. Представлял, как наденет кольцо на её нежный палец. Драгоценный камень отразит хрустальный мост, проплывающий кораблик и уток, темнеющих в золотом отражении.

“Да, да, так и будет! Только она, только с ней! Мир оторнул меня, а я оторнул мир! Скроюсь в шатре её чудных волос, душистых и восхитительных! Только я и она! Уедем прочь из этого вероломного города, где свершился мой позор, моё унижение! Забыть, забыть! В какой-нибудь тихий город! В какой-нибудь маленький русский город! В Торжок, где старые особнячки, палисадники, старинная колокольня...”

Он достал кольцо и играл драгоценным камнем. Посылал фиолетовый луч в проплывавший кораблик, где его ловила танцующая на палубе свадьба. Посылал через реку к далёкой карусели, где луч скользил по лицам влюблённых. Посылал к тёмной воде, где утки кидались к лучу, принимая его за блестящую рыбку.

Он увидел, как она идёт, и всё в нем дрогнуло и счастливо запело. Её плавная поступь, грациозные движения плеч, стройность её ног, которые она ставила так, словно шла по подиуму. Перетянутое в талии платье, которого он прежде не видел, тёмное, с вырезом на груди. И лицо, любимое лицо, которое она опустила, зная, что он видит её, неотрывно лобуетя ею, жадным взглядом торопит её приближение.

— Какое счастье видеть тебя! А где твоя флейта? Я не мог тебя не увидеть! Утром с аэродрома — и такие события! Это ошибка, дурная ошибка! Или чья-нибудь злая воля! Ты не верь! Забудем об этом! Уедем и будем только вдвоём! Ты и я! Ты и я!

— Что случилось? — она воздела золотистые брови, и её глаза показались ему того же цвета, что и кольцо, и он радовался тому, что драгоценный камень имеет цвет её глаз.

— Ты была права, нам надо уехать! Тогда я не мог — честолюбие, мнимое дело! Теперь я свободен! Мы поженимся, муж и жена, только мы, только наша семья!

— Я сама собиралась тебе звонить. Хотела с тобой объяснить, — её золотистые брови сдвинулись, потемнели, и между ними легла морщинка то ли гнева, то ли страдания. — Я ждала твоего возвращения, чтобы объяснить. Мы с тобой расстаёмся. Я выхожу замуж. За Вениамина Гольдберга. Мы завтра уезжаем в Европу. Ты мучил меня целый год, забавлялся мной. Я была для тебя игрушкой. Ты женат на другой, а я для тебя утеха. Вениамин сделал мне предложение, и я покидаю тебя. Не удерживай, не трать понапрасну слов. Между нами всё кончено!

— Эта смоляная борода и блестящие мокрые зубы! “И темнела за пригорком смоляная борода”! Эти выпуклые глаза, что смотрят на мир, как на еду, которую можно есть, будь то заводы, красивые женщины или креветки!

— Оставь меня! Не смей ко мне прикасаться! — и она побежала вдоль набережной туда, откуда явилась. Он слышал стук её каблуков. Навстречу ей выехала машина, огромная, мощная, брызгая хрустальными фарами. Остановилась. Дверь приоткрылась, и чья-то тучная рука помогла ей скрыться в салоне. Джим с мягким шелестом прошёл мимо, и за тёмными стёклами была она, её флейта и смоляная борода с блеском белых зубов.

Содрогался своим железом Крымский мост, хрустальный мост осыпался осколками. Казалось, вместе с ним погибает и плавится мир, растворяясь в раскалённой бесцветной боли.

Он раскрыл ладонь, и кольцо с изумрудом упало в реку. Мимо плыл речной трамвайчик, играла музыка, и люди на палубе махали Лемехову.

Глава двадцать седьмая

Служебная машина, которая его обслуживала, была отозвана вместе с шофёром. Лемехов пересел на “вольво” — собственный автомобиль — и рано поутру отправился под Подольск, где в дубравах располагалась клиника.

Она напоминала небольшую, хорошо оснащённую крепость. Железный глухой забор с угловыми каменными башнями, стилизованными под башни средневекового замка. Стальные ворота с камерами наблюдения, с оконцем, в котором мутно белело лицо охранника. Готическая острроверхая кровля дома едва виднелась над кромкой забора. Сходство с тюрьмой больно ранило Лемехова, и он вдруг горько подумал, что в этой тюрьме томится Вера, и это он её туда заточил.

Охранник долго рассматривал паспорт Лемехова, куда-то звонил и, наконец, бесшумно растворилась стальная калитка. Лемехов проник за ограду. Зеленели газоны, возвышались дубы и липы. Светлели посыпанные песком дорожки. Двухэтажный дом напоминал красивый особняк с чистыми окнами, на которых почти не были заметны решетки.

Доктор был чем-то похож на Чехова — благородный, изысканный, вкрадчивый, с золотым кольцом на крупном чистом пальце. Такие доктора внимательны и чутки к пациентам, бережны, как садовники, которые поднимают с земли смятые дождём цветы. Но этот благообразный и доброжелательный доктор был для Лемехова горьким укором, поскольку был нанят за большие деньги, которыми Лемехов откупился от Веры. От её страданий, от её невыносимой муки. Отгородился от них железным забором, камерами наблюдения, этим благородным доктором, в котором сквозь мягкое благодушие просвечивала жёсткая властность.

— Мне кажется, вам не нужно идти в палату. Подождите супругу в нашей уютной гостиной.

Лемехов остался один в гостиной, среди тихого солнца и зелёных растений. На столе в хрустальной вазе стояли розовые пионы, несколько лепестков упало на стол. В изящной клетке чистил свои цветные пёрышки милый щегол. На стене висели масляные пейзажи лесных опушек, холмов с белыми колокольчиками. От каждого предмета веяло покоем, детскими безмятежными воспоминаниями.

Послышались шаги, и в гостиную вошла большая женщина с сильным свежим лицом, в белых брюках и белом халате, видимо, санитарка. Крахмальный халат вкусно шуршал, поднималась высокая грудь, на крупном лице улыбались сочные губы, синели чуть выпуклые глаза. И за ней покорно, понуро опустив голову, шла Вера, словно её привели на невидимом поводке. Лемехов беззвучно ахнул, потянулся к ней, исполненный жалости, нежности и вины.

— Ну, вот, — произнесла санитарка. — Здесь вам будет уютно. Если что понадобится, позвоните, — и она удалилась, оставив на столе серебрый колокольчик.

Вера села чуть поодаль от Лемехова, и он видел, как слабо под её тяжестью прогнулась кожа дивана.

— Здравствуй, — сказал он, боясь, что его сочный звучный голос спугнет её, и она встанет и уйдёт.

— Здравствуй, — ответила она, и голос у неё был бесцветный, угасший, прозвучал, как слабое эхо его голоса.

На ней был домашний розоватый халат, висевший на худых плечах, ноги в приспущенных тёплых носках, в матерчатых шлепанцах. Волосы, когда-то чёрные, со стеклянным блеском, с пленительными завитками у висков, теперь были пепельно-серыми, коротко, по-большинному подстриженными. Виски провалились, и в них синими струйками обозначились вены. Её лицо, когда-то яркое и прекрасное, излучавшее счастье, с ликующим блеском глаз, — её лицо стало серым, безжизненным, с пепельным налётом усталости. Лемехов с болью смотрел на её приспущенные носки и матерчатые шлепанцы, вспоминая, как восхитительно она шла на высоких каблуках, и её стройные ноги, обтянутые шёлком бёдра, приоткрытая, с незагорелой ложбинкой грудь страстно трепетали, и она, зная свою неотразимость, позволяла Лемехову собой любоваться.

— Ну, как ты? — спросил он, стесняясь своей плотской силы и крепости. — Чувствуешь себя хорошо?

— Хорошо, — отозвалась она, как эхо.

— Погода такая чудесная!

— Чудесная.

Она была пустая. Звук его голоса залетал в неё и возвращался обратно, ослабленный и печальный. У неё вынули душу, вынули сердце. Пустота, которая в ней образовалась, ненадолго наполнялась звуком его слов. Вера отдавала их обратно, оставаясь безучастной.

— Доктор сказал, что тебе лучше. Мы скоро поедem домой.

— Домой, — тихо повторила она.

Перед ним сидела женщина, которую он когда-то обожал, которая дарила ему дивное счастье, чудные наслаждения, чей голос звучал для него пленительной сладостью, чьи волосы благоухали у него на губах, чьё жемчужное тело он целовал, глядя, как её плечо сверкает в свете луны. Теперь же она была словно околдована, находилась в болезненном полусне. Будто кто-то неведомый навёл на неё порчу, наслал злые чары, отделил её душу от солнечного света, от блеска вод, от стихов, которые она учила каждый раз перед пушкинским днём рождения и шла к памятнику великому поэту. Наивно и истово, как восторженная школьница, читала она “Клеветникам России” и “Цветок засохший, безуханный...” Теперь же она была погружена в мучительную дремоту, в мутные сновидения, среди которых не узнавала его, лишь возвращая обратно обращённые к ней слова.

Ему захотелось обнять её, поцеловать запавшие виски, коснуться губами мучительной морщинки на лбу, вдохнуть в неё силу и свежесть, разбудить, отвести злые чары, чтобы она поднялась с дивана на стройных ногах, в прежней ликующей красоте, и они вместе, взявшись за руки, пошли вдоль берега недвижимого озера с малиновой негасимой зарёй.

— Ты помнишь, как в Карелии по утрам мы выходили к озеру, и оно было ослепительное, расплавленное, и в лодке у мостков блестела рыба чешуя, а над крышей избы пролетала гагара?

Он увлекал её в их чудесное прошлое, когда, едва поженившись, они уехали в Карелию, и там, среди красных сосняков, фиолетовых туманов, серебряных разливов восхищенно и неумоимо узнавали друг друга. Открывали один в другом восхитительные тайны, в каждом мгновении, в каждом плеске весла, в каждом произнесённом слове находили сходство друг с другом. Праздновали свою чудесную встречу, чтобы больше никогда не расставаться.

— Ты помнишь, как летела гагара?

Вера молчала, её голова вяло клонилась, а глаза тускло смотрели мимо Лемехова.

— А помнишь, как приходили на берег кони, красный и золотой, заходили в озеро и пили? Вода была густой и синей, они пили эту синеву, и ты сказала, что запомнишь этих коней на всю жизнь.

Она молчала, и глаза её не помнили этой синевы, расходящихся по озеру кругов, серебряного пузыря у конской ноздри.

— А помнишь, как нам сделали баню, и ты ужасалась этого шипящего пара, медного ковша, тусклой керосиновой лампы? Ты вытянулась на лавке, длинная, белая, а я прикладывал к твоей спине шелестящий веник. От него оставалось розовое пятно, и прилипало несколько березовых листиков. Мы выскочили из бани и с мостков кинулись в ночное озеро. Плавали среди брызг, стенаний и хохота.

Он вдыхал в неё дух распаренных берёзовых веток, будил её шумным плеском воды, когда ловил под водой её плечи, целовал её грудь. Но она не просыпалась, оставалась среди тусклых сновидений, и её глаза отрешенно и слепо не откликались на эти виденья.

— А помнишь, как мы лежали в нашей светёлке, и оконце было полно белесого света, и в оконце танцевали и прыгали крохотные паучки, развешивали свои паутинки? Ты сказала, что это маленькие канатоходцы показывают нам своё мастерство.

Он не оставлял своих усилий. Вдыхал в неё драгоценные воспоминания, подносил к её глазам чудесные картины, на которых краснели на закатах сосняки, горсти были полны лиловой черники, перебегала тропку

пугливая, с перламутровой грудью тетёрка. Старик и старуха, блаженные, как дети, синеглазые, выйдя из бани, сидели на лавке, не стесняясь своей наготы.

Её глаза вдруг дрогнули. Она повела ими и остановила свой взгляд на Лемехове. Среди тусклого тумана задрожала блестящая каряя искра.

— Помню тетёрку.

— А помнишь, как на маленьком озере я оставил тебя одну, а сам крадся за утками? Ты стала меня звать, и утки все улетели, — он старался поймать мелькнувшую в её глазах карюю искру и не дать ей исчезнуть.

— Я сидела тогда у воды и смотрела, как бегают по ней водомерки. Тебя нет и нет, и я закричала. А ты рассердился, что я уток спугнула.

— А помнишь, как мы ночью читали стихи Пушкина: “Встаёт луна, царица ночи...” — и взошла луна, и мне захотелось уплыть на лодке в это ночное лунное озеро?

— Помню. Я смотрела на лунную дорожку, сверкающую, в таинственных вспышках, и ждала, когда твоя лодка появится на этом серебре. Загадала, что если появится, то мы проживём вместе счастливую жизнь, и у нас с тобой будут дети.

Её голос слабо дрогнул, и он испугался этого перебоя. На её горле вдруг задрожала голубая вена. Он почувствовал, как в ней поднимается волна тревоги и паники. Хотел отвлечь, выхватить её душу из тёмной воронки, куда её вновь засасывало.

— Доктор сказал, что тебе намного лучше. Скоро я заберу тебя отсюда, и мы поедem в Карелию, в наши святые места. Поселимся в том же доме, в той же светёлке. И всё то же совиное перо на стене, всё тот же томик Пушкина на столике, и в сенях стоит бочка с мочёной брусничкой, а на заборе висит ожерелье из сушёных щучьих голов. Мы будем идти по дороге, которая вся пропахла рыбой, потому что по ней рыбаки возят телеги с уловом. И губы твои будут тёмными от черники. И подол твоего разноцветного платья потемнеет от воды, когда ты присядешь и станешь пить из лесного ручья, а я буду смотреть, как вода подхватила твой разноцветный подол.

Он заговаривал её, отвлекал, уносил в чудесное прошлое, где было обожание, бережение друг друга. Но она не давалась, в ней начиналось кружение тёмных сил, открывался мутный водоворот, утягивал в свою глубину.

— Мы сидели на кровати, на пёстром лоскутном одеяле, — Вера заговорила торопливо, страстно, словно боялась лишиться дара речи. — Ты посмотрел на меня. Твой взгляд вдруг стал золотым, из твоих глаз брызнули на меня золотые лучи. И я почувствовала, что люблю тебя бесконечно, что ты мой суженый, ненаглядный, послан мне свыше, и нас не разлучат болезни, напасти, сама смерть. Я носила в себе плод — твой образ, твои золотые лучи. Но ты заставил меня убить его. Он теперь приходит ко мне. Его безрукое тельце, его изрезанное лицо. Я слышу его голос: “Мама, мама!” Я кидаюсь к нему, а вместо него открывается чёрная дыра, и из этой дыры дико смотрит твоё лицо!

— Вера! Вера! — Лемехов старался обнять её. — Всё не так! Всё будет у нас хорошо!

— Оставь меня! Ненавижу!

Он пробовал целовать её руки:

— Прости меня!

— Уходи! Ты чёрт, чёрт!

Она кричала, визжала, била его по лицу. Её глаза безумно метались, на губах показалась пена. Птица в клетке истошно верещала и билась о железные прутья. Колокольчик со звоном упал на пол.

В комнату вошла санитарка, высокая, мощная. Схватила Веру подмышки, оторвала от пола и понесла. А та визжала, билась в её могучих объятьях.

Потрясённый Лемехов смотрел, как розовеет на полу её матерчатый тапок.

Глава двадцать восьмая

Лемехов, обезумев, гнал по Москве, не замечая перекрёстков, не видя светофоров, порождая вокруг себя вихри визжащих машин. “Я — чёрт! Я — черт!” — повторял он безумно, и ему казалось, что тело его под рубашкой покрывается собачьей шерстью.

И вдруг подумал, что есть человек, способный вернуть его в потоки жизни, отпустить грехи, помолиться за него возвышенной, угодной Богу молитвой. Это Патриарх, которому он уже исповедовался, который благоволил ему, благословил на великие труды. Он встретится с Патриархом, падёт ему в ноги. Тот накроет его золотой епитрахилью, и этот чудесный покров заслонит его от жестокой тьмы.

Лемехов повернул машину и помчался в Переделкино, в резиденцию Патриарха.

Ворота в резиденцию были закрыты, и над ними, подобно райским цветам, возносились купола и шатры, голубые, алые, золотые, в лучистых звёздах, будто само небо осыпало ими чертог Патриарха.

Лемехов представился охраннику, указал на свою высокую должность, утаив правду о своем увольнении. Охранник просматривал списки, не находя в них Лемехова.

— Нету вас. Не значитесь.

— Да мне без ваших дурацких списков, по срочному делу!

— Не значитесь.

Лемехов звонил в протокольный отдел Патриархии, в канцелярию, в приёмную Патриарха. Но все телефоны молчали, словно номер Лемехова был внесен в чёрный перечень, и с ним не выходили на связь. Внезапно железная калитка отворилась, и к Лемехову вышел высокий суровый монах, с чёрной гривой, яростно торчащей бородой и огненными, гневными глазами. Лемехов узнал в нем отца Серафима, келейника Патриарха.

— Мне передали, что вы пришли. Что вам угодно?

— Какое счастье, что я вас вижу!

— Святейший вас не может принять. Вы нанесли тяжкий урон его репутации. Вы едва не поссорили его с президентом. Вы вкрались к нему в доверие, пригласили на свой крамольный съезд, где собрались заговорщики.

Монах повернулся и исчез за железной калиткой.

У церковной ограды сидели нищие, похожие на серые комочки тряпья, из которых выглядывали одинаковые, бурачного цвета лица; они разом потянули к Лемехову просящие руки.

Он вошёл в храм, в его смутный сумрак, где золотился иконостас и висели лампы. Старушка извлекала из подсвечника огарки и складывала в коробку. Кто-то недвижно застыл на коленях. И сразу же, от порога он увидел “Державную”. Как бриллиант, она брызнула на него разноцветными лучами — алая, золотая, лазурная, — раскрыла руки, словно выпускала из объятий младенца, и он парил в невесомости. Лемехов с обожанием устремился к иконе, осеняя себя крестным знаменем. Прикоснулся к иконе жаркими губами и горячим лбом.

Его поразил холод, исходящий от иконы. Не было таинственного благоухающего тепла и телесной нежности. Казалось, икона была плитой, прикрывавшей холодный погреб. Он молился, целовал икону, стремясь растопить холод, услышать ответный поцелуй.

Он отступил от иконы и встал на колени. Он рассказывал Богородице о своём нерождённом сыне, подносил к ней изрезанное окровавленное тельце. Рассказывал о медведе, который умирал от страшной боли, брызгая на траву кровью. Умолял простить его за жену, которая состарилась и поблекла в клинике, где ходит теперь в своих припущенных носках и уродливых тапочках. Каялся за старика Саватеева и за друга Двулистикова, которых унижал своим властным превосходством. Умолял простить за вероломство по отношению к благодетелю президенту Лабазову, у которого хотел отобрать власть. Стоя на коленях, он страстно просил Богородицу простить его, откликнуться на мольбу, отозваться на его поцелуй.

Поднялся, приблизился к иконе. Прильнул губами и тотчас отпрянул: губы обжёг ледяной холод. Икона покрылась инеем, сквозь который тускло просвечивал лик, словно она была заморожена в огромную глыбу льда, которая образовалась от его отвергнутых молитв.

Тоскуя, он выбежал из храма. Шёл через двор к машине. Мир отшатнулся от него, и между ним и миром зияла жуткая пустота, в которой не было воздуха, не было травы и деревьев, не было звёзд и света. Он был чёрной дырой, которую проткнула в Мироздании чья-то беспощадная воля. И эта отчужденность от мира порождала невыносимую боль. Он подчинялся жестокой воле, уходил от мира. Покидал его. Отступал туда, откуда был явлен в этот мир. Он стремился обратно к матери, в её лоно, где свернётся в крохотный клубочек, прижав к подбородку колени, окружённый её теплом, её сберегающей любовью.

Озарённый этой последней спасительной надеждой, он развернул машину и направился к Старо-Марковскому кладбищу, где находилась могила матери.

Кладбище было тихим, солнечным, с высокими елями, среди которых темнел мрамор, пестрели цветами могилы, редкие посетители ухаживали за цветами или сидели на лавочках за железными оградками, пребывая в благоговейной печали. Невидимые в высоких вершинах, пели две птицы, словно оповещали друг друга о появлении Лемехова. Он шёл по аккуратным дорожкам, среди знакомых памятников, ожидая, когда его слабо коснётся тепло. То, что исходило от матери, которая издали слышала приближение сына.

Он миновал памятник какому-то армянину, видимо, картёжному игроку, который был высечен в рост на мраморной плите, и у его ног рассыпалась колода карт. Прошёл мимо памятника какому-то ветерану в военноморской форме с наградными колодками. Ожидаемого тепла всё не было, и он удивлялся, почему мать не встречает его.

Увидел, наконец, знакомый крест и розовый камень с материнским именем. Над могилой пламенели оранжевые цветы распутившейся лилии. Папоротники, которые весной раскрывали свои косматые спирали, теперь превратились в зелёные пышные перья. Вся земля внутри оградки была в перистых листьях. Они слабо колыхались от ветра. Но не было тепла, не было слабого свечения в воздухе, которым мать встречала его, окружая своей нежностью и умилением.

Он вошел в оградку и сел на лавочку, стараясь не потревожить папоротники.

— Мама, это я, — тихо произнёс он, ожидая услышать отклик. Быть может, она, как это бывало с ней во время болезни, задремала и не услышала его появления. — Это я, мама.

Но отклика не было. Не было тепла. Прохладный воздух пах землёй, хвоей, в нём редко перекликались высокие птицы, но материнского тепла не было.

— Мам, я пришёл, — он старался разбудить её, напоминая о себе. Он напоминал ей, как в его детстве они вышли из вагона метро на станции “Площадь Революции”, и он с изумлением рассматривал бронзовые скульптуры матросов, солдат и рабочих, их револьверы, винтовки, и темная бронза в нескольких местах сияла от множества людских прикосновений.

Он звал её:

— Мама, мама!

Рыдал, и тяжёлый дождь бил его сквозь еловые ветки, а от могилы исходил ледяной холод.

Глава двадцать девятая

— Президент абсолютно здоров. Разве что перенёс лёгкий грипп. Какой-нибудь олигарх или чиновник чихнул, и у президента случился лёгкий насморк.

Лемехов испытал миг безумия, как и тогда, когда заглянул в чёрное зеркало телескопа, и на дне этой вогнутой чаши дышала чёрная бездна, шеве-

лились бесконечные миры и галактики, и эта бездна влекла его, обрекала на сумасшествие.

— Почему вы устроили мне западню? Вам-то это зачем?

— Когда я сулил вам великое будущее, я не обманывал вас. Среди всех российских политиков, всех высокопоставленных чиновников, всех претендентов на кремлёвское кресло вы самый лучший. Вас действительно была готова выбрать мистическая птица русской истории, которая искала дерево, где могла бы свить гнездо. Вы были самым высоким, крепким, цветущим деревом, и выбор мистической птицы пал на вас. Я должен был спилить это дерево, пока к нему не подлетела птица. Она уже приближалась, уже сложила крылья, готова сесть, но я успел спилить дерево, и птица улетела. Пусть теперь ищет другое место для своего гнезда. Быть может, и не найдёт.

Помрачение Лемехова продолжалось. Это было похоже на то, как в юности он старался представить себе две параллельные линии, которые пересекаются в бесконечности. Из этой аксиомы проистекала пугающая геометрия мира, безумная математика жизни, где всё перевёртывалось, имело иные очертания, иные имена и формы, иные понятия и смыслы. Этот изуродованный потусторонний мир существовал рядом с привычным, был отделён от него двумя хрупкими параллельными линиями, которые сходились в точке его сумасшествия.

— Кто вы? Зачем вы спилили дерево?

— Не считайте меня агентом ЦРУ, Моссада, Ми-6, БНД. И к масонам я не имею никакого отношения. Я не из “Рэндкорпорейшн”, не из финансово-промышленных групп или транснациональных корпораций. Бильденбергский клуб или Трёхсторонняя комиссия — не моя стихия. Все эти соощества не для меня. Я — пушкинист, как вы однажды меня определили. Я специалист по глубинам русского сознания. Пушкин помогает мне проникнуть в эти глубины, а постижение этих глубин открывает мне путь в Царствие Небесное. Там я гуляю в райских садах вместе с русскими мучениками, героями и святыми. Я — специалист по русской святости.

Глаза Верхоустина смотрели ярко и лучезарно, словно их лазурь была добыта в райских странствиях.

— Кто вы? — беспомощно повторил Лемехов.

— Я специалист по России, той, которая именует себя Святой Русью и мнит себя правопреемницей Царствия Небесного.

— Вы враг России?

Лемехову казалось, что его разум рассечён и разбросан по разным углам Вселенной. Целостная картина мира разбилась, и это вызывало страдание. Он сиделся соединить свой рассечённый разум, чтобы вновь возникла целостная картина мира. Отсечённые части разума начинали слетаться в фокус, готовые сложиться в единое целое, но вновь разлетались, продлевая безумие.

— Вы враг России? — повторил чуть слышно Лемехов. — Почему?

— Видите ли, всё началось с молитвы, которую Иисус завещал нам и которую человечество повторяет вот уже две тысячи лет: “Отче наш, иже еси на небесех, да святится Имя Твое и да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...” В этих молитвенных словах Иисус призывает людей строить Царствие Небесное у себя, на земле, и только русский народ, единственный из всех земных народов, воспринял этот завет Господа буквально. Он строит это царство в России. Святая Русь времён Сергия Радонежского — это прообраз Рая Небесного на русской земле. Учение старца Филофея о “Москве — Третьем Риме” — это теория о русском государстве, которое низводит небо на землю, созидая Земной Рай. Патриарх Никон построил под Москвой Новый Иерусалим, чтобы именно сюда снизошёл Христос и превратил Россию в Райское царство. Иосиф Сталин строил в России райское царство — огромный красный монастырь, населенный святым народом. Все эти стремления каждый раз разбивались о твердыню Запада, который не желал трактовать буквально молитву “Отче наш” и откладывал Царствие Небесное на потом. Он рассматривал Россию как великую укоризну, великое искушение, уводящее человечество в несбыточную утопию. И Запад во все века насылал на Россию нашествия, чтобы не слышать

этот укор, устранить искушение. Запад разрушил Святую Русь времён Рюриковичей, погрузив Россию в смуту. Запад разрушил православную империю Романовых, учинив Февральскую революцию. Запад уничтожил Советский Союз, приведя в Кремль своих ставленников. Но тайными силами Мироздания, божественной волей Того, Кто подарил людям молитву “Отче наш” и сделал русский народ народом-молитвенником, каждый раз Россия возрождалась из пепла и вновь приступала к построению Рая Земного. Вот почему я здесь, в России, и поэтому я спилил древо. Вам понятно, Евгений Константинович?

— Нет, — едва слышно ответил Лемехов.

Ему хотелось скрыться, исчезнуть, вернуться туда, где его не было, где он был каплей живой материи, безмянной молекулой, пучком световых лучей. Ему хотелось укрыться в той перламутровой пуговице, которую он так любил рассматривать в детстве, представляя, как сияет она на платье прабабушки, когда та садится в коляску, и мелькают мещанские домики, купеческие лабазы, палисадники с золотыми шарами. Хотелось слиться с переливами перламутра, спрятаться в раковине, которая лежала когда-то на дне чудесного моря, среди зеленеватых лучей. Но Верхоустин не отпускал его от себя, мучил жестокими фантазиями.

— Я поясню свою мысль, Евгений Константинович. Россия, пережив своё очередное крушение, вновь создается. Она прошла первичные формы своего становления, обрела материальную мощь, укрепилась морально и теперь готовится к взлёту. Этот взлёт обещает стать ослепительным. Россия вновь соберёт отторгнутые у неё территории, вновь соединит под своей дланью рассечённый русский народ. Она вновь совершит прорыв в науке и технике. Но, совершив всё это, она в который уж раз прочитает молитву “Отче наш” и снова начнёт создавать на земле Небесное Царство. Это царство всплывёт, как волшебный град Китеж из тёмных пучин, как русское чудо в сиянии золотых куполов. О нём запоют великие русские песнопевцы, заиграют на струнных и духовых инструментах русские музыканты. О нём возвестят в стихах русские поэты, его изобразят на полотнах русские живописцы. И его в своих деяниях станет воплощать великий русский правитель, народный вождь, непревзойдённый лидер. Такой лидер предсказан. Его вычисляли политологи и знатоки русской жизни. Искали разведчики и конспирологи. О нём гадали звездочёты и колдуны. Но его обнаружил я. И этим будущим непревзойдённым правителем оказались вы. Вы — тот будущий лидер, который начнёт создавать в России Царство Божие. И это страшнее для Запада, чем все ваши самолёты и подводные лодки, лазеры и космические группировки. Я сделал всё, чтобы вы не стали этим лидером. Я срубил дерево, на которое готова была сесть вещая птица русской истории. И теперь птица покружит над ним и улетит обратно. И построение Царства Небесного будет отложено.

— Вы кто? — Лемехову казалось, что он теряет сознание. Его лоб буравило тонкое стальное сверло, погружалось в костную ткань, в студенистую мякоть, добираясь до потаённого центра, в котором мир выворачивался наизнанку, и открывалась обратная сторона Мироздания. Тончайший бур приближался к точке, из которой готово было хлынуть безумие, бесформенное и бесцветное, превращая всё сущее в неразличимый туманный хаос.

— Вы спрашиваете, кто я? — тихо засмеялся Верхоустин, и его глаза затрепетали лазурью, на которую пал ветер. — Я оборотень.

Он повернулся, сошёл с дороги, перескочил обочину, прошуршал по белым цветам и скрылся. И некоторое время было слышно, как хрустит под его ногами валежник. И оттуда, куда он удалился, вылетела сойка, с трескучим криком перелетела дорогу, и на солнце сверкнула её лазурь.

Глава тридцатая

Он в изнеможении вёл машину, боясь потерять управление, столкнуться со встречным потоком, исчезнуть в слепом ударе. Рублёвское шоссе, переполненное машинами, липко тянулось среди вечерних сосен, нарядных

бигбордов, фешенебельных магазинов. Лемехов стремился поскорее добраться до дома, повалиться в постель и забыться. Заслониться от кошмара каким-нибудь воспоминанием о лесной опушке, тёплой сухой траве, в которой немолчно верещит невидимый осенний кузнечик.

Он въехал в Барвиху, миновал роскошные особняки, напоминавшие средневековые замки, барочные дворцы и мавританские крепости. Ждал, когда появится его ампирная усадьба, любимая ротонда, белоснежные колонны, медовый фасад. И был остановлен скоплением автомобилей, мятущимися людьми, красными пожарными машинами. Они дико выли, пробираясь по тесной улице, разбрасывали по сторонам панические лиловые вспышки.

Его дом горел, жарко, страшно, охваченный рыжим пламенем, которое шумно летело ввысь, увлекаемое могучей тягой. Пожарные машины окружили дом красными коробами. Пожарные в робах и сияющих касках тянули шланги, били в огонь розовыми струями. Газоны вокруг дома казались красными, задымленное небо было красным, и ровно ревели рыжее пламя, устремляясь к облакам.

— Куда! Куда! — рявкнул на Лемехова пожарник с рацией, заслоняя путь, пропуская мимо двух пожарных, разматывающих бобину с асбестовым шлангом.

— Мой дом горит! — он отшвырнул пожарного и ринулся к дому. Жар остановил его, не пускал подойти ближе. Он заслонялся рукой, смотрел, как мимо, волоча шланг, косолапят двое пожарных в шлемах. Шланг был порван, и из него била водяная дуга.

Лемехов, остановленный стеклянной стеной жара, смотрел, как горит его дом. Горит кабинет с любимыми фетишами, охранявшими его домашний покой. Горит библиотека отца и тетради его стихов, иные из которых он так и не успел прочитать. Горит комната мамы с иконами и лампадами, и тем камушком, который она привезла со Святой Земли, и той сухой розой, которую она укрепила у своего изголовья. Горит зимний сад с бассейном, в котором вскипает вода и гибнут рыбы и божественный цветок виктории регии. Горит араукария с пушистой кроной, в которой притаилась тень матери; олеандр с глянцевитыми листьями, в которых, прилетев с берегов Лимпопо, поселилась душа отца; горит молодая пернатая пальма, в которую воплотился его нерождённый сын. Всё это сгорало на его глазах, и он остолбенел, словно приговорённый к чудовищной казни, которую вершила над ним судьба. Без воли, без молитвы, без слёзного вопля он принимал эту казнь.

Он вдруг увидел, как из пламени, из-за охваченных огнём колонн выбежали мать и отец. Отец прижимал к груди младенца, а мать, воздев руки, тянула их к Лемехову. Одежда на них горела. Они были, как факелы. Лемехов пытался крикнуть, пытался позвать: “Мама! Папа!” — но во рту его чавкал ком слюны и слёз, и раздавалось лишь мычание. С этим мычанием и хрипом он ринулся им навстречу.

— Куда! Сгорись! — пожарный пробовал его удержать, но Лемехов вырвался, побежал навстречу любимым, издавая бессловесное мычание. В спину ему ударила мощная струя из брандспойта, толкнула вперёд, опрокинула. Вокруг шипела, редела вода, и он, теряя сознание, видя у глаз красные пузыри воды, мычал и стонал, забыв все слова.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава тридцать первая

Вдруг он вспомнил солнечную комнату на даче, лёгкую занавеску, за которой цвёл жасмин, и шмеля, который, залетев в окно, гудел, стараясь найти выход в сад. Жена протянула молодую смуглую руку, откинула занавеску, и шмель с благодарным гулом улетел на свободу.

Это воспоминание было острым, залетело в его жизнь из бесконечно далёкого прошлого. И кануло, оставив по себе болезненное недоумение. По-прежнему мир вокруг был полон ровного слепящего света с неразличимыми очертаниями предметов, событий и чувств.

Он вновь шагал по дороге. Достиг леса и прошёл сквозь его прохладу и косое солнце, бьющее из еловых вершин. Потом снова шёл полями, не встречая селений, словно дорога вела из одной бесконечности в другую. Круглая тень под ногами вытянулась, ушла далеко за обочину и следовала за ним, достигая холмов. Поля вокруг покраснели, заря медленно угасала, превращаясь в расплавленную струйку, которая стекала за горизонт и меркла. И вновь на этой меркнувшей дороге он очнулся от острого знания. Эта неведомая дорога с сорным бурьяном на обочине, в комьях запёкшейся грязи была продолжением множества других дорог, по которым он проходил. Той розовой тропки среди росистой травы, по которой в детстве бежал он вместе с отцом, и босые ноги чувствовали прохладную землю, и подсолнухи, мимо которых пробегал, дохнули мёдом. И той железной палубы крейсера, по которой ступал мимо глубинных бомбомётов, артиллерийских установок, контейнеров с крылатыми ракетами, и море кидало ему в глаза жёсткие стальные вспышки. И той лесной подмосковной дороге, где в изумрудной воде скользили бирюзовые лягушки, и человек с васильковыми глазами произносил колдовские слова. Все эти тропинки, автострады, железные дороги и самолётные трассы сливались в один непрерывный путь, которым он следует от рожденья до смерти. И он сам, совместивший в себе столько дорог, он сам и есть путь, которым движется в мире безымянная и творящая Воля.

Это переживание заглохло и погасло вместе с фиолетовой струйкой зари.

Он шёл во тьме, видя над собой большие яркие звёзды. Нежданно во мраке он достиг села, которое темнело кровлями среди блестящих созвездий.

Не было ни огня. Не лаяли собаки. Он чувствовал страшную усталость, но не находил места, где можно было прилечь. Среди чёрных изб он вдруг заметил светящееся оконце и устремился на его жёлтый стеариновый свет.

Избу огораживал забор. Калитка была заперта. Он увидел скамейку у ворот и опустился на неё, глядя, как свет из окна освещает мелкую траву, рытвины, какую-то мусорную грудку. Он прижался затылком к забору, готовый уснуть.

Хлопнула дверь в избе. Скрипнула калитка. Фонарь осветил землю, свет полетел вдоль улицы, скользнул по соседним заборам, погас. Человек, погасивший фонарь, попал в ответ окна, и Лемехов увидел маленькую полную женщину в чёрном, до земли, платье, с круглым пухлым лицом, по которому скользнул свет окна.

— Кто тут? — ахнула женщина, увидев на лавке Лемехова. Фонарь брызнул ему в лицо. — Чего надо?

Лемехов что-то хотел ответить, но язык устало дрогнул, и он лишь слабо и невнятно промычал.

— Господи! — женщина исчезла в калитке. Звякнула дверь избы, и стало тихо. Но опять стукнула щеколда, отворилась калитка, и два фонаря ослепили Лемехова. Теперь рядом с женщиной оказался высокий бородатый мужчина. Он шарил фонарём по лицу, по ногам Лемехова, светил вокруг, словно искал кого-то, кто мог притаиться рядом.

— Ты кто таков? — Лемехов заметил в кулаке мужчины топор и опять промычал, желая сказать, что ужасно устал и хотел бы прилечь и уснуть. Но вместо слов из него истёк только жалобный стон.

— Ты что, немой? — спросил мужчина, вновь слепя фонарём. — Откуда ты свалился? Шёл бы себе мимо.

Лемехов испугался, что его прогонят, и ему придётся вновь влачиться в ночи, без ночлега и приюта. Он беспомощно замычал.

— Пошли, у батюшки спросим, куда его, — в руке у мужчины, попав в свет фонаря, блеснул топор. Фонари погасли, и Лемехов снова остался один.

Он начал засыпать, и ему казалось, что он поднимается на мерно рокочущем лифте в их прежнем доме на Тверской. И там, куда движется лифт,

знакомые комнаты с большими светлыми окнами, из которых виден весенний бульвар, сверкающий фонтан, памятник Пушкину. У его подножия, словно рубиновые капли, — цветы. Лифт остановился, и голос из полыхнувшего фонаря произнёс:

— Вставай. Батюшка велел тебя привести.

В сенях горела тусклая лампочка, освещающая бревенчатые стены и две двери — высокую и низкую, одну напротив другой. Мужчина толкнул низкую, пропуская Лемехова со словами:

— Пригнись, лоб расшибёшь.

Лемехов очутился в светёлке с нависшим потолком и лавками вдоль стен. Повсюду висели иконы, бумажные, в окладах из фольги. Горело несколько лампад, пахло церковным елеем и квашеной капустой. Здесь был и тот, кого Лемехов в темноте принял за женщину, на свету же это оказался маленький толстый мужчина в чёрном подряснике, с безбровым и безбородым лицом и длинными волосами.

— Сиди тут, — он указал Лемехову на лавку, — покуда батюшка не кликнет, — и оба, бородач и безбровый, ушли, оставив Лемехова одного.

Тот сидел на лавке, почти спал, видя, как двоится, туманится зеленоватая лампада, отражаясь в тиснёной фольге оклада. Горенка напоминала келью и, обилием икон, мамину спальню, и от этого Лемехову стало тепло и грустно. Он таял и улетал в сладком сновидении.

Но сон его был прерван. В светёлке появился бородач с жилистой шеей и крепкими пятернями, почерневшими от огня и железа.

— Идём, немой. Батюшка велел тебя звать.

Прошли через сени и оказались в избе. Потолок был высок. Пол сплошь застилали цветные половики. В двух подсвечниках жарко пылали свечи. Сияли образа. Посреди избы стоял крупный плечистый священник в рясе и золотой епитрахили. Чёрные волосы были стянуты на затылке в тугую косу. Лоб высок и бел, смоляные брови почти срослись у переносицы. В чёрной квадратной бороде снежно белел завиток. Глаза пронзительно сверкали, словно в них горели две чёрные звезды.

— Отец Матвей, вот раб Божий, которого мы с Семён Семёнычем подобрали... Немой, мычит, как телёнок.

— Ты кто таков? — спросил священник, сверкнув огненными глазами. Сон Лемехова улетучился, появилась робость и готовность подчиниться велеанию властного пастыря.

— Откуда? — повторил отец Матвей. Лемехов слабо промычал. — Из Ломакина, что ли? — Лемехов покачал головой и издал подобие стога. — Не местный? Может, тамбовский? — Лемехов покачал головой. — Хочешь сказать, из Москвы? — отец Матвей оглядел Лемехова с головы до ног: нечищеную сбитую обувь, грязный, пыльный, когда-то дорогой костюм, французскую сорочку, у которой ворот почернел от грязи. Весь его неряшливый, измученный облик, исхудалое, с провалившимся щеками лицо, на котором неопрятно топорщилась щетина.

— Стало быть, к нам из Москвы? Садись, раб Божий, — он указал Лемехову на лавку, и тот послушно сел, понуждаемый властным огненным взглядом.

Нелюбезный бородач покинул избу. Отец Матвей скрылся за перегородкой, и оттуда послышался его рокошующий, тихо поющий голос. Лемехов остался на лавке, озирая избу.

В углу на божнице стоял большой застеклённый образ Спасителя, горела лампада. На стенах висели иконы, бумажные, на дощечках, в дешёвых латунных окладах. Все они размещались вокруг больших, в деревянном футляре часов, на которых пульсировала секундная стрелка. Бумажные розы, белые и алые, окружали часы. Лемехов слышал едва различимое тиканье. В дальнем углу стояли надетые на древка латунный крест, гранёный стеклянный фонарь, лучистая звезда — всё, что выносят на крестный ход. Изба, в которой оказался Лемехов, была молельным домом или надомной церковью. У него родилось странное чувство, будто именно её искал он в путанице дорог, к ней неуклонно приближался, меняя поезда и попутные машины,

внезапно, без видимой причины покидая углый вагон, выходя на безымянных полустанках. И теперь он нашёл эту обетованную избу с венком из бу-мажных роз, среди которых трепетно бежала хрупкая стрелка.

Стукнуло снаружи. Растворилась дверь, колыхнув пламя свечей. Порог переступила немолодая грузная женщина. Торчали из-под платка седые прядки, у носа и рта темнели усталые морщинки, в руках был кулёк. Не выпуская его, она перекрестилась на образ, тяжело сгибаясь в поклоне. Появился бородач Фёдор. Указал на лавку:

— Садись, Ирина. А этого раба Божьего мы с Семён Семёнычем подобрали. Мычит, как бычок. Значит, немой. Батюшка его с нами оставил.

Женщина поклонилась Лемехову и села рядом, положив на колени кулёк. В избе появился Семён Семёныч — кругленький, как колобок, с бабыми белыми щеками. Он вёл за собой высокого сутулого парня. Его лицо было одутловато и серо, глаза из-под низкого лба смотрели подслеповато, в руках он держал пластиковый пакет, топтался у порога.

— Ступай, Виктор, не торчи, как бревно, — Семён Семёныч направил парня к лавке, и тот сел, опустив пакет у ног.

Лемехов не удивлялся появлению этих людей, не задавался вопросом, куда они все снарядились. Он был среди них, его привёл в этот дом невидимый поводырь, и всё, что ни случится, он примет со смиренной покорностью.

В избе появлялись всё новые посетители. Перенёс через порог костыль худощавый человек с нечёсаными волосами и синими блуждающими глазами. Глаза его взволнованно кого-то искали и, не находя, наполнялись слёзной печалью.

— Егорюшка, посиди, давай, а батюшка скоро выйдет. — Семён Семёныч направил калеку к лавке, и тот неловко сел, не зная, куда деть костыль.

Вошла чернявая, похожая на цыганку женщина. На увядшем смуглом лице оставались красивыми пунцовые губы и лучистые глаза, которые были обведены тёмными болезненными кругами, а щёки её уже начинала покрывать мелкая рябь морщин.

— На-ка ступ, Елена. Нет, под часы не садись, а туда, к окну, — командовал Семён Семёныч, между тем как бородастый Фёдор скрылся за перегородкой, откуда звучали два рокочущих голоса, его и отца Матвея.

Отворилась дверь, и вошла маленькая молодая женщина с матерчатой сумкой. Кофта её не сходила с животе, который круглился, натягивая платье. Её милое лицо сплошь покрывали рыжие веснушки, как это бывает у беременных. Серые глаза светились робкой надеждой, тихим умилением и виной за свой живот, плохо застёгнутую кофту, жёлтые, цыплячьего цвета носки и большие нечищенные туфли.

— Пришла, Анютка, а ведь батюшка брать тебя не велел, — сердито встретил её Семён Семёныч.

— Куда же я? — умоляюще сказала женщина, — Куда же я теперь?

— Думать надо было, когда нагуливала. Будет теперь ублюдок. С ним не спасёмся. — Семён Семёныч подставил ей табуретку, сердито отвернулся.

Сидели молча, с кульками и сумками. Лемехов не знал, в какую дорогу они все собрались. Чувствовал, что предстоящая дорога продолжит множество предшествующих дорог, сольётся с ними в один общий путь.

За перегородкой умолкли песнопения. На свет вышли отец Матвей и Фёдор, оба чернявые, бородастые, ещё неся в горле рокочущий звук.

— Братья и сестры! — Отец Матвей вскинул иссиня-чёрные брови. Его глаза восторженно сверкали, как два чёрных бриллианта. Белый завиток в бороде ослепительно сиял. — Вы собрались в этой скромной келье, которая стала для вас домом духовным, и готовы от её порога ступить на стезю последнего очищения и спасения. Многих мы звали с собой, но не многие откликнулись, ибо много званых, но мало избранных. Вы избранные дети Божии, но не вы избрали себе спасение — Господь сам выбрал вас, отсеяв от миллионов других, как зёрна отсеивают от плевел. Вы зёрна, из которых будет испечён хлеб новой жизни. Вы соль земли, которую Господь берёт себе, отделяя от мёртвого песка и глины. Вы малое стадо, которое собралось из миллионов заблудших овец, отданных в пищу волкам. Вы же, претерпев

многие испытания и муки, одержали победу. И теперь во славу Божию идёте на встречу с Отцом Небесным.

Лемехов чутко и сладко внимал. Его сердце было подобно птице, сидящей на ветке и готовой взлететь. Впервые за минувшие недели, когда мир вокруг сгорал и осыпался ему на голову холодной золой, и он покорно подставлял голову под эти тёмные пласты пепла, — впервые ему сверкнула лазурь. В надежде и страхе он слушал священника, зовущего в таинственный путь.

— Ты, Ирина, многострадальная дочь Божья, претерпела от клеветников, которые воспользовались твоей простотой, оговорили тебя, повесили на тебя растрату в магазине, и ты в тюрьме мучилась за чужие грехи, сносила терпеливо свою муку. О таких Христос сказал: “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное”. Тебе, Иринушка, уготовано Царствие Небесное.

На тяжёлом унылом лице женщины дрогнули губы, она слабо всхлинула и замерла, оцепенела.

— Ты, Егорушка, — отец Матвей обратился к инвалиду, уложившему на пол свой костыль, — ты усердный в молитвах,носишь насмешки, побои, безропотно принимаешь свою судьбу и благодаришь Бога за всё, во всём видишь волю Божию. О таких Спаситель сказал: “Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся”. Ты, Егорушка, вкусишь райских хлебов.

Калека тихо ахнул, и на его изможденном лице счастливо засияли глаза.

— Ты, Виктор, был воином и солдатом, и в военном походе усмирал врага и нёс родной земле мир. Пострадал от взрыва, и теперь всё мучаешься, так что горлом кровь идёт. О таких, как ты, Отец наш Небесный сказал: “Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими”. И теперь ты воин Христов и идешь в поход, чтобы обрести Царствие Небесное.

Парень, к которому были обращены слова священника, задышал глубоко, и на его сером одутловатом лице проступил слабый румянец.

— Ты, Елена, многое испытала, и немалую часть жизни провела в суете, артисткой, певицей, плясуньей и многим искушениям предавалась. Но Господь вразумил тебя тяжёлым недугом, и ты вняла его вразумлению и чистосердечно отстала от прежней жизни. И теперь ты в малом стаде, которое спасётся. О тебе Христос сказал: “Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят”.

Елена вспыхнула, и её усталое лицо на мгновение вдруг стало прекрасным, как будто солнце из-за тучи брызнуло светом, а потом померкло.

— Ты, Семён Семёныч, кроткий и безответный. Сердитого слова от тебя не услышишь. Всё “Бог простит” да “Бог простит”. О таких Спаситель сказал: “Блаженны кроткие, ибо они наследуют Землю”.

Семён Семёныч перекрестился.

— А ты, Фёдор, — отец Матвей повернулся к суровому бородачу, — ты долго искал свою правду. Был милиционером, налоговым инспектором, то есть мытарем, торговую лавку держал и нигде себя не нашёл. Нигде не сыскал истины, и только во Христе утешился. О подобных тебе Христос сказал: “Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное”.

Бородач засопел и потянул железный кулак к глазам, в которых блеснули слёзы.

— А ты, раб Божий, — обратился священник к Лемехову, — не знаю, как звать тебя, зато Господь знает. По виду, много тебе досталось в миру, много камней в тебя брошено, но камни эти тебя не убили, а пригнали к нам. И ты благослови эти камни. Вижу по твоим глазам, что нет в тебе зла, а одна боль. “Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят”. Потерпи, и боль твоя сменится несказанным блаженством.

Впервые за эти недели к Лемехову обратились со словами утешения и любви. Не гнали, не отвергали. Не спрашивали, кто он и откуда. Приняли в своё братство, и он испытал ко всем, кто его окружал, слёзную благодарность. Не понимая и не стараясь понять смысл этого ночного собрания, он обожал уже этого батюшку с белым завитком в бороде, который сиял, как серебряный месяц в ночи. Был готов следовать за ним, радостно повинуюсь его пастырской воле.

— А ты, Анота, зачем пришла?! — отец Матвей грозно уставился на маленькую женщину, натянувшую кофту на круглый живот. — Ты не угодна Господу. Ты блудница, и от тебя родится убудок. О подобных прибудных младенцах Иисус сказал, что лучше бы им не родиться, такие они примут муки. Ты, как паршивая овца, портишь всё наше стадо. Ступай вон!

— Батюшка, не гони! — зарыдала беременная. — Я у Господа вымолю спасение для сынишки.

— Возьмем её, отец Матвей, — сказал бородатый Фёдор. — Богу решать, как с ней быть.

— Из-за неё никто не спасётся, — сказал отец Матвей. — Да, видно, от неё не отцепиться.

В избе было душно. Пылали свечи. Качались по стенам и потолку тени. Сверкала золотая эпитрахиль. Сиял серебряный месяц в бороде священника.

Лемехов не понимал и не хотел понимать смутные намеки, ускользающие смыслы увещаний и назиданий отца Матвея. Он был благодарен этим людям, которые приняли его в свой круг, открыли ему дверь среди глухой ночи, пустили в тепло, в свет свечей, в сиянье лагунных окладов. Он чувствовал, что в его крошечном горе появилась таинственная воля, которая вела его по городам и селеньям, пересаживала из вагона в вагон и привела по ночной дороге в безвестное село. Усадила в избе на деревянную лавку.

На стене висели часы в старинном деревянном футляре, с римскими цифрами, с узорной часовой и минутной стрелкой, с трепетаньем секундной стрелки, которая скользила по кругу, издавая стрекозиный шелест. Казалось, что все висящие на стене иконы, все алые бумажные розы, все многоцветные лампы окружают эти часы, как главную святыню, и белая эмаль циферблата напоминала божественный лик.

— Хочу, дорогие братья и сестры, открыть вам тайну этих часов. Вы не раз приступали ко мне с просьбой поведать эту тайну. И ты, Фёдор, и ты, Семён Семёныч. Но я откладывал, ибо время не наступило. Ибо есть времена, а есть сроки. И теперь времена кончаются, и наступают сроки, — отец Матвей поклонился часам, как кланяются образу. И все, кто находился в избе, повторили его поклон. И Лемехов, будто его колыхнул неслышный ветер, поклонился часам. — Часы эти принадлежали тамбовскому батюшке, который ездил в Петербург, и эти часы ему преподнёс Иоанн Кронштадский. Сказал, даря: “Эти часы не я завёл, не я и остановлю. Ты стой на молитве и смотри на часы. Они русское время и русские сроки укажут. Первый раз остановятся гневом Господним, который по нашим грехам остановит русское время. Потом они снова пойдут, когда Господь смилостивился и вернёт России русское время. А потом совсем остановятся. Да так, что стрелки с часов опадут, и на них обозначится образ Божий”.

Лемехов глядел на часы, слушая их стрекозиный шелест. Ему казалось, что в деревянном футляре прячется тайный клубочек, заложенный в этот футляр от сотворения мира. Клубочек разматывается, выпуская наружу лёгкую паутинку. Стрелка в своём кружении сматывает время с клубка, и все, кто ни есть в избе, опутаны этой паутинкой. Существуют, пока она сматывается. Исчезнут, едва она оборвётся.

— Первый раз часы встали, когда убили государя Императора. Священник завернул часы в полотенце и спрятал на чердак. А к нему уже лომились враги рода человеческого. Страшно над ним измывались и умучили. Батюшка прославлен среди новомучеников. Часы достались племяннице его, которая держала их в доме в память о дядюшке. Часы бесшумно стояли многие годы. Вдруг ночью женщина проснулась от тиканья. Зажгла свет — часы идут. А наутро объявили, что случилась победа над немцами. Господь в знак Победы вернул России русское время. Эти часы перешли ко мне по родству. И теперь они укажут, когда кончится время, опадут стрелки, а вместе с ними опадут звёзды с неба, и настанет конец света. И мы, братья и сестры, кому Господь уготовил спасение, понесём эти часы в пещеру и по ним станем следить, когда наступит последний срок и кончится земное время и вся грешная земная жизнь, и настанет жизнь вечная, где времени вовсе нет.

Отец Матвей восторженно сверкал очами. Вся его паства заворуженно и молитвенно взирала на часы, сложено ждала, когда замрёт бегущая стрелка, и за окнами избы начнут полыхать огни и зарницы, знаменующие скончание времён.

— А успеем, отец Матвей, дойти до пещеры? — спросила Елена. На её увядшем пожелтевшем лице зардел румянец. — Как бы ни опоздать!

— Не опоздаем — ответил священник. — Мне Ангел во сне указал, когда выходить. Сейчас и пойдём.

— А нас в пещере огонь не достанет? Она-то не больно глубокая, — спросил калека Егорушка, робея и зябко двигая худыми плечами.

— У входа пещеры встанет Ангел Господний и заслонит от огня. Снаружи всё сгорит: леса, города, дороги, реки, само небо сгорит, — а нас Ангел Господний заслонит от огня. И мы, какие есть, во плоти предстанем пред Господом, и Он нас возьмёт в Своё царство.

— Больно страшно, отец Матвей, — глухо, с комом в горле, произнесла продавщица, бывшая узница Ирина. — Как наша деревня станет гореть — подумать страшно!

— Страшен Господь во гневе Своём, — отец Матвей воздел перст, и казалось, вокруг воздого пальца засверкал раскалённый воздух. — Долго терпел Господь, милостивый и любвеобильный. Но кончилось терпение Господа, и Он очистит мир от скверны метлой огненной, как хозяин очищает от мусора запущенный двор. Сперва упадёт звезда Кровень, и мир запылает красным огнём, в котором сгорят все люди. Потом упадёт Синь-звезда, и сгорят все звери и птицы, и скот, и рыбы в морях, и будет огонь синий. Потом упадёт звезда Медынь, и в её зелёном огне сгорят все камни, все горы, все океаны и реки, и сам воздух, и будет кругом пустота, и в этой пустоте уцелеет одна пещера, и мы, малое стадо, которое Господь возьмёт в свое царство.

— Спаси и сохрани, — всхлипнул Семён Семёныч, обморочно заваливаясь и держась за стену.

— И будет пустота длиться тысячу тысяч лет, но для нас, закрывших глаза от страха, она покажется мигом единым, потому что время исчезнет. А когда раскроем глаза, будет вокруг новая земля и новое небо. И дивные сады, и чудные леса, и несказанной красоты озера. И цветы, благоухающие мёдом. И птицы с золотыми перьями. И звери лесные с человеческими лицами. И камения на земле, как алманты, сапфиры и рубины, и каждый камень будет петь свою песню и славить Господа. И откроется дорога, как серебро. И по этой дороге выйдет государь Император с царицей, с царевнами и царевичем, окруженные сонмом святых, все в венках из белых роз. И возникнет среди полей золочёный трон, на который воссядет царь. И призовет нас к себе, и усадит на цветах вокруг трона. И начнётся новое царство.

Отец Матвей восхищённо сиял. Казалось, кто-то невидимый, залетев в ночную избу, подсказывал ему восхитительные видения, и он рисовал своей пастве божественные картины.

Лемехова не изумляла проповедь священника о конце света. Она не казалась ему фантастичной. Он уже пережил конец света, пережил пожар, спаливший его землю и небо — всё, что он любил и чем спасался. Три зловещих звезды упали на его жизнь и сожгли его ценности, и возникла пустота, в которой он, онемев и ослепнув, брёл наугад, поднимая башмаками тусклый пепел. Но вдруг на безвестной дороге у робкого родничка, у хрустального ключика он почувствовал, что в этой мёртвой пустоте есть для него живое прибежище. Есть безымянная воля, которая провела его сквозь огни и пожары и теперь сулит спасение. Он сидел среди незнакомых людей, которые исстрадались на этой грешной земле и ждали чуда. Уповали на вечное блаженство, которое сулил им пастырь с блистающими очами.

Лемехов хотел о чём-то спросить священника, в чём-то ему исповедоваться, о чём-то его умолять. Но звук отвердел во рту, как камень, и он издал лишь слабое мычанье.

— Пора, — сказал отец Матвей. — Выходим. Семён Семёныч, туши свечи. А лампы пускай горят. — Он перекрестился широкими взмахами и пошёл к двери.

Глава тридцать вторая

Вышли из душной избы в прохладное мерцание ночи. Тут же на дворе отец Матвей построил своё малое стадо. Впереди поставил Семён Семёныча с горящим фонарём, в котором слабо желтела свеча. Следом встал борода-тый Фёдор, прижав к животу часы. За Фёдором место занял Лемехов, которому священник дал в руки крест, и Лемехов, сжимая тяжёлое древко, подумал, что священник угадал его горькую долю, вручив ему крест. За Лемеховым отставной солдат Виктор воздел латунную узорную звезду, которая за-качалась, задышала среди звёзд небесных. Калека Егорушка пристроился за спиной солдата. А три женщины, среди них и брюхатая Анюта, стали в хвост процессии.

— Господи, благослови! — певуче возгласил отец Матвей. — Идём на встречу с Тобой, званые Тобой, Господи, на пир Твой! — и пошёл вперед, открывая калитку, выводя процессию на деревенскую улицу.

Прошли деревню. Ни огня, ни звука, даже псы приумолкли, чуя приближение конца времён. Крыши, деревья чернели среди горящих звёзд. А когда вышли за околицу, на пустую, слабо белевшую дорогу, священник зашел:

— Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас...

И ему отозвались блеклые и нестройные голоса Ирины и Елены и роко-чущий бас Фёдора.

Лемехов нёс крест, и это несение креста было сладостным, вещим. В нём угадали измученную, изведённую душу, для которой жизнь была непосиль-ной ношей, и душа хотела покинуть эту постыдную жизнь. Но душе предло-жили спасение — несение крестной ноши. Предложили идти крестным пу-тём, как шли бесчётные люди до него. И эта причастность к бесчётным, измученным людям вдохновляла его.

Они шли в открытом поле, под просторным небом. От края до края пе-реливались разноцветные звёзды, вспыхивали небесные узоры, текли волшеб-ные туманности. Поющие голоса улетали к звёздам, и небо волновалось от этих умоляющих песнопений. Лемехов думал, что этой ночью, среди огром-ной спящей земли движется малая горстка людей, видная только Господу. И он среди этих русских скитальцев и странников поставлен для несения крест-ста. Этот крест общий для всех. И для тех, кто спит сейчас и не ведаёт об этой степной дороге, о промелькнувшей в небе падучей звезде, о горькой по-льни, которой коснулась нога, и польнь полыхнула обжигающим ароматом.

Фонарь, окружённый желтоватым сиянием, качался впереди. Ночные бабочки налетали на свет фонаря. Вспыхивали, как малые искры, их зелён-ные глаза, их прозрачные крылья. Лемехов думал, что бабочки летят вмес-те с ними спасаться, мечтают избежать палящего огня и перелететь в бла-гоухающий райский сад.

Он верил пророчеству отца Матвея, верил его предсказанию о конце вре-мён, когда на циферблате часов опадут стрелки, как листья с дерева. Все из-вестные доселе истины, все науки и уложения, на которых была основана его прежняя жизнь, оказались ложными, не спасли мира. И теперь остава-лось только одно учение, в которое веровали эти измученные русские люди, и он шёл вместе с ними.

С неба упала бесшумная птица, несколько раз пролетела над богомоль-цами, заслоняя звёзды. И безмолвная сова тоже летела спасаться, и ей фо-нарь освещал путь к спасению.

С неба падали тихие звёзды, оставляя разноцветные дуги, — зеленова-тые, розовые, голубые.

— Это ангелы слетают на землю. Стелют скатерти, готовят пир Госпо-ду, — произнёс отец Матвей. И Лемехов представил, как приближается к земле сияющий Ангел, машет крыльями, замедляя бег, стелет на траву скатерть, расставшая на ней дорогие сосуды.

Все они, идущие по дороге, были волхвами, несущими Господу Дары. Лемехов из-под пепла своей загубленной жизни извлекал драгоценности, ко-торые пощадил огонь.

Бабушка дремала, опустив голову на зелёную шерстяную подушку с малиновым вышитым маком. И он видел, как серебрятся её волосы, слабо вздымаются плед. И такое умиление, такое обожание, такая нежность к её чудесному любимому лицу переполняли его душу...

Отец поднял его, прижал к груди и несёт в реку, в огромный блестящий поток. И такой страх от этого могучего блеска, и такая зависимость от отца, от его крепких, обнимающих рук. Необъяснимое детское благоговение перед рекой, отцом, их неразрывными, на всю жизнь, узами.

С женой — ещё не женой, а невестой, — они идут по мартовской дороге среди слепящих снегов. В колеях текут солнечные ручьи, блестят длинные золотые соломины, и шумно перелетает стая овсянок, нахохленных, коричнево-жёлтых, и они окружены птичьим свистом, солнцем, обожанием друг друга среди пылающих весенних снегов.

Лемехов нёс эти Дары Господу, думая, что его появление в жизни оправдано этими священными мгновениями.

Перебрали плоский ручей. Лемехов почувствовал, как промокли ноги. Приблизились к лесу, заслонившему звёзды чёрной зубчатой стеной, стали спускаться с горы в низину, полную холодного тумана.

— Вот и дошли. Вот она, Богом зданная пещера. — Отец Матвей оставил ходоков перед чёрным провалом, зиявшим в горе. Фёдор наклонил фонарь, вошёл в пещеру, и все они потянулись за фонарём внутрь горы.

Тусклый фонарь осветил уходящие вверх своды, ниши, горловину, удивившую вглубь горы. Пещера ждала ходоков. На земле лежали матрасы, стояла лавка с подсвечниками, пестрела бумажная иконка. Фёдор ставил в подсвечники свечи, зажигал. В жестяном ведре слабо поблёскивала вода.

Семён Семёныч устанавливал на лавке часы, и свечи озаряли бегущую стрелку. Стало светлее. На стенах качались тени. Лемехов видел бородатую тень Фёдора, Егорушку, без сил опустившегося на матрас, лицо беременной Анюты с открытым, тяжело дышащим ртом. На него вдруг навалилась усталость, необоримое желание спать. Он опустился на матрас, слыша голос отца Матвея:

— Сия пещера создана Богом для последних времён. Потому и зовётся — Богом зданная пещера.

Голос священника слился в ровное жужжанье, а сам он превратился в шмеля. Закружились пуганица дорог, по которым шли богомольцы с крестом и часами, и Лемехов упал в мягкий бархатный сон, сомкнувший над ним бестелесные волны.

Проснулся он от холода, который исходил от земляных стен. Под сводами пещеры было сумрачно, горели свечи, но вход в пещеру сверкал и переливался перламутром. Снаружи сиял летний день, и его отсветы прилетали вглубь пещеры. Лемехов, не вставая с матраса, наблюдал, как богомольцы развязывают свои кульки, извлекают из них белые ткани и рядятся в них, сбрасывая прежнее облачение.

— На-ка, надень! — отец Матвей кинул Лемехову белый ворох, и тот, не стыдясь наготы, сбросил истлевшую в дороге одежду, стоптанные башмаки и облёкся в прохладную ткань, нежно прикрывшую грудь и живот.

Пещера была полна призрачно-белых людей, напоминала фреску с мучениками.

— Теперь, братья и сестры, когда мы сбросили наши бранные одежды и облеклись в ангельские ризы, белые, как снег, теперь мы должны очистить наши души последней исповедью, чтобы встретить Господа в чистоте и наивности наших преображённых и убелённых душ. Подходите ко мне и исповедуйтесь в самом тяжком своём грехе, который совершили за годы жизни. Ты, Фёдор, подойди первым.

Фёдор в белой рубашке, с чёрной бородой и коричневыми кривыми стопами приблизился к отцу Матвею. Угрюмо и испуганно глядя на крест, сиявший в руке священника, он произнёс:

— Я, того, когда на северах работал, подрался с шофёром, с которым койки рядом в общежитии стояли. Мы сперва, того, пару бутылок выпили, ну, и задрались. За грудки, потом кулаками. Мне под руку, того, нож под-

вернулся, которым резали закусь. Я и саданул ножом, аккурат в горло воткнул. Кровища вдарила, я отрезвел. Вещи похватал и в бега. Не знаю, жив ли, нет ли тот шофёр. А меня никто не искал. Так и живу — всю жизнь ту кровищу вижу.

Фёдор склонил свою всклокоченную бородатую голову, и отец Матвей с силой ударил ему в темя перстами. Перекрестил:

— Господь тебя примет во Царствии Своем. Семён Семёныч, подходи.

Пухленький, с круглым животиком, путаясь в долгополой рубахе, Семён Семёныч опустился на колени:

— Когда в Тамбове работал, сошлись мы с бухгалтершей. Конопатая, на глаз кривая, так её и звали — Галина Кривая. Я у ней на квартире устроился, на всём готовом. Ребёнка прижили. Назвали Сёмой, как и я, — Семён Семёнычем. А потом она мне надоела, и я уехал, даже письма не написал. Не знаю, жива ли она? А сын уж, небось, армию отслужил. Нехорошо получилось.

Отец Матвей стукнул и его в темя перстами:

— Готовься, раб Божий, выйти навстречу Господу нашему Иисусу Христу. Будешь принят в райских чертогах.

Семён Семёныч отошёл от него, и Лемехов заметил, как на его пухлом безволосом лице блеснула слеза.

Люди поднимались со дна своей тёмной тягучей жизни, оставляя в ней отягощавшие душу грехи, становясь лёгкими, просветлёнными, готовясь к чуду бессмертия.

— Виктор, воин Христов, ступай ко мне, — позвал отец Матвей. Солдат Виктор, весь в белом до пят, послушно подошёл.

— Говори.

— Под Толстым-Юртом поймали чечена, который на блок-пост напорлся. Его капитан потрошил, выбивал разведанные. Потом мне отдал: “Отпусти хорошего человека”. Я его на дорогу вывел, гранату ему в штаны положил и толкнул. Ему все кишки вырвало.

— И ты готовься увидеть Иисуса Христа во всей его славе и силе!

Хромой Егорушка пугался больной ногой в белом облачении. На измождённом лице сияли глаза:

— Я в бане за бабами подглядывал, а потом руками блудил. Ко мне бес приходит в виде голой бабы, и я не могу удержаться. Пальцы себе топором хотел отрубить, так меня бес умучил.

— Твоему греху, раб Божий Егор, пришёл конец, и бес от тебя отступил. Теперь ты не бесов, а Христов. Ступай, молись.

Продавщица Ирина сложила руки крестом:

— Я, как на растрате попалась, ждала суда. Мне следовательно говорит: “Ты всю вину на себя не бери. Укажи на завмага. Тебе меньше срок дадут”. Я и оговорила его. Мне по полной дали, и его посадили. Такой мой грех.

— Теперь этот грех сгорит от звезды Кровень. А ты, очищенная, войдешь в Царствие Небесное.

Исповедовалась Елена, оправив кружевной воротник, сдвинула тесно босые туфли, прикрыв глаза чёрной бахромой ресниц.

— Жила я с одним человеком, завклубом, очень его любила. Он меня называл: “Певица, любовь моя”. Появилась разлучница, танцевала народные танцы. Он на меня смотреть перестал, с ней слобился. На Новый год, когда пили шампанское, я ей в бокал порошка подсыпала, от которого сердце останавливается. Да она заметила и поменялась со мной бокалами. Я и выпила, и с тех пор угасла, и никак не умру. Бог меня наказал.

— Прощена, раба Божья Елена, именем Иисуса Христа.

Лемехову казалось, что от каждого, кто исповедовался, отпадает тяжёлая короста, отваливаются камни, и человек становится легче, невесомей, начинает светиться. Все тяготы и грехи, всё уродство и зло оставались здесь, на брэнной земле, обречённой на испепеление. И счастливая душа была готова лететь в божественную лазурь.

— И ты немой, раб Божий, подходи, исповедуйся, — теперь отец Матвей обращался к Лемехову. — Подумай, что такое совершил, за что Господь лишил тебя речи и гонит по земле, как сухой лист.

Лемехов подошёл, как и все, облачённый в белое, как солдат перед смертным боем или мученик перед жестокой казнью. Вся его жизнь вдруг взбурлила, вскипела, как будто в ней возник ураган, и в волнах этой векипешей жизни возникали лица, голоса и поступки, в которых содержалась мука, таилось страдание. Всё его бытие состояло из причинённой кому-то боли. И среди этой стенающей тьмы слышались два крика, два стоны: истощенный крик жены, убившей в себе нерождённого сына по его настоянию, и стон медведя, испутившего дух в осеннем лесу от пули, которую Лемехов ввинтил в его могучее тело. Два этих страшных греха он хотел назвать, встав на колени пред отцом Матвеем. Но вместо языка был шершавый камень, и он издал лишь тупое мычанье.

— Тебя Господь услышал. Жди встречи с Господом, — отец Матвей сложил шепотью три пальца и больно, четыре раза, ударил Лемехова в темя.

— Батюшка, прими мою исповедь! — Анюта, круглая, на тонких ногах, обращала к священнику бледное, в веснушках лицо, на котором умоляюще сияли большие серые глаза. — Прими мой грех, батюшка!

— Ступай прочь! — притопнул на неё босыми ногами священник. — Увязалась с нами, теперь с тобой майся! О таких, как ты, Господь сказал: “Горе беременным и питающим сосцами в те дни”. Ни тебя, ни твоего ублюдка Господь не примет, и ты сгоришь, как сорная трава.

Анюта тихо ахнула, заплакала и ушла вглубь пещеры, опустилась на толстый матрас.

Отец Матвей, отвергнувший гневно Анюту, блистал очами, обращаясь к пастве, напоминавшей больших белых птиц.

— Сия Богом зданная пещера приняла нас в свою обитель, чтобы сберечь нашу очищенную преображенную плоть от пожара и, минуя смерть, открыть перед нами врата жизни вечной, когда осыплются стрелки сих часов, как осыпаются листья с древа земной жизни, — он указал на часы. Перед ними пылали свечи. Бежала секундная стрелка, как крохотная секира, отрезая последние ломтики времени, оставшиеся до скончания века. — Когда сгорят небо и земля, и Господь во Славе Своей явит Свой дивный лик, на месте сей пещеры будет воздвигнут дворец и расцветет райский сад. Станет сей дворец обителью Святого государя Императора со всем его Святым Семейством, которому мы станем служить, вкушая от служения райское блаженство.

Его речь прервал истошный вопль, раздавшийся из глубины пещеры.

— А-а-а! — рвалась оттуда звериная боль и ужас, — а-а-а!

Женщины кинулись туда, где лежала на матрасе Анюта. Мужчины, ещё недавно околдованные мечтаниями отца Матвея, оторопело смотрели издали.

— Никак рождает, — произнёс Семён Семёныч.

— Как ей тут, под землёй родить? — неизвестно кого спросил Фёдор.

— На беду взяла блудницу! Всё ты, Семён Семёныч: “Возьмём” да “Возьмём”! Что говорил Господь? “Горе беременным и питающим сосцами в те дни”. Вот и уготовил Господь блуднице страшную муку.

Крики то раздавались, словно Анюта терпела страшную пытку, то обрывались, и казалось, что она умерла. Ирина и Елена наклонились над ней. Слышались их причитанья:

— Кричи громче, полегчает!

— Тужься, тужься, он и пойдёт!

Лемехов под эти причитания и вопли вдруг постиг, что значат слова Иисуса, на которые ссылался отец Матвей: “Горе беременным и питающим сосцами”. Земному бытию был положен предел, и оно было обречено на испепеление, но жизнь не желала с этим смириться, стремилась себя продлить, рвалась сквозь запрет и смерть осуществить себя так, как её задумал Господь при сотворении мира. Там, на грязном матрасе кричала эта обречённая жизнь, желая перескочить через смертельную черту.

— Ну, чего стоишь! Неси воды! — прикрикнула на Лемехова Ирина. Тот пошёл и торопливо принёс ведро, полное воды, поставил подле матраса. И пока ставил, успел увидеть лицо Анюты, похожее на страшную маску, чёрную дыру рта с блеском зубов, ходящие ходуном скулы, глаза, полные чёрных слёз. Увидел её раздвинутые ноги, которые удерживала Ирина,

и в разъятом лоне что-то тёмное, липкое, похожее на шляпку гриба. Он поспешно отошёл, страшась зрелища судного часа.

Вход в пещеру потемнел, из него ушло солнце. В нём копилась уже вечерняя синева. Часы, озарённые свечами, продолжали тихо шуршать, приближая момент, когда в полночь на эмалевом циферблате сольются стрелки, и наступит конец Света.

Отец Матвей и другие мужчины, стоя на коленях, молились, похожие на белые изваяния. Лемехов опустился рядом. За его спиной, в глубине пещеры, раздался утробный вой, словно стенала сама земля.

Настала тишина, и в этой тишине послышался писк ребёнка. И от этого писка у Лемехова случилось бурное сердцебиение. Словно и его собственная жизнь не хотела покидать этот мир, стремилась удержаться среди этого мира — синего прогала пещеры, пылавших свечей, обильно текущего воска и мимолётного воспоминания о маме, которая перед зеркалом разглаживает ворот синего платья. Значит, пережитые им несчастья испепелили не всё его существо. Значит, осталось в нём нечто, избежавшее адского огня, и на обгоревшем стволе сохранилось несколько живых почек.

Это открытие поразило его. Он слышал рокошующий бас молящегося Фёдора, звяканье ведра, писк ребёнка.

— Умерла, нет, Анюта? — прерывая молитву, спросил Семён Семёныч.

— Господь отсек её от малого стада, — сказал отец Матвей. — Сжёт её блудную плоть.

— А ребёнок? — жалобно спросил Семён Семёныч.

— Господь и ему место укажет.

За спиной, в глубине пещеры раздался жалобный стон Анюты, писк ребёнка, голоса Елены и Ирины, похожие на хлопотливое куриное кудахтанье.

Вход в пещеру померк, снаружи наступала ночь. Часы, озарённые свечами, сияли эмалевым циферблатом, на котором трепетала секундная стрелка. Две другие медленно сближались, указывая последний час перед окончанием мира.

Все стояли перед часами на коленях и молились. Отец Матвей страстно, взывающе озирал циферблат, словно первым хотел увидеть проступающий лик Господень. У Фёдора торчком стояла смоляная борода, и на коричневой шее гулял кадык. Егорушка испуганно и восхищённо шептал, и в его серых глазах стояли слёзы.

Лемехов чувствовал, как между минутной и часовой стрелкой возникало страшное напряжение, уплотнялся мир, сжималась материя, и это сжатие приближало взрыв. Он ждал, когда темнеющий вход в пещеру слабо озарится, в нём польхнёт свет, превратится в слепящую плазму, и жуткий грохот сотрясёт мир. Станет светло, как днём. По всему горизонту поднимутся грибы, похожие на голубые поганки. Небо испятнают разрывы. Загорятся леса и травы. Заплашет зарево гниющих городов. Вскипят океаны, и в кипящем рассоле станут всплывать сваренные киты.

Всё, чему он посвящал свои таланты и нескончаемые труды, всё, что превращало его жизнь в осмысленное служение, всё это раскалывало планету, брызгало ядовитой плазмой, превращая её в шар огня. Все бомбардировщики и ракеты, ядерные заряды и дальнобойные лазеры, авианосцы и подводные лодки складывали свою разрушительную мощь в единый взрыв, от которого раскалывалась планета, и из неё истекала малиновая мякоть.

— Господи, помилуй! — то ли пропел, то ли простонал Семён Семёныч, и Ирина, задохнувшись, тихо всхлинула.

Стрелки сближались. Отец Матвей воздел руки, словно готов был принять ниспосланный с неба дар. Читал нараспев “Отче наш”:

— Да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет Воля Твоя яко на небеси и на земли...

Он ждал прихода этого царства, которое было обещано человечеству. Люди ждали его две тысячи лет, пропадая бесследно среди войн, напастей и злоключений. И вот, наконец, молитва их была услышана, и райское царство на Земле через минуту настанет.

Просвет между стрелками почти исчез. Лемехов вдруг испытал ужас,

почти лишился дыхания. Словно каждая его клеточка, каждый кровеносный сосудик ожидали своего конца, противились, не хотели исчезать. Старались задержаться в этой жизни, цеплялись за неё, а их отрывало, и они беззвучно кричали.

Солдат Виктор закрыл ладонями уши, словно ожидал орудийного выстрела. Елена упала лицом на землю, и спина её мелко дрожала.

— Господи! Господи! — возопил отец Матвей, когда три стрелки сомкнулись, и казалось, часы остановились перед тем, как сбросить ненужные стрелки и явить на белой эмали чудесный лик.

Но лика не было. Секундная стрелка продолжала бежать. Между двумя другими стрелками обнаружился просвет. Время перепорхнуло полночь и продолжало длиться. Стоящие на коленях люди перестали молиться и смотрели на часы. Было слышно, как в глубине пещеры заплакал ребёнок и умолк. Семён Семёныч слабо охнул. Лемехов после пережитого напряжения испытывал опустошённость, в душе ровно гудела невидимая струна. У отца Матвея по лицу гуляли вздутия, словно его раздувало страшным давлением, как глубоководную рыбу. Он взирал на часы, вонзая в них чёрные огненные лучи своего взгляда, словно сжигал ими ненужное время, образовавшееся после конца света.

— Господь попустил нам ещё два часа, чтобы мы пристально заглянули себе в душу и разглядели забытые, не названные на исповеди грехи, — он обернулся к пастве. — Молитесь, молитесь!

Время текло. Свечи у часов догорали, Семён Семёныч менял их на свежие. Иногда было слышно, как начинает плакать ребёнок, и Анюта успокаивает его шелестящим голосом.

Лемехов испытывал усталость. Жизнь в нём притаилась, словно боялась спугнуть кого-то, кто даровал отсрочку. Лемехов прислонился плечом к сырой стене и спал наяву. Ему снились озарённые свечами часы, бегущая стрелка, белые рубахи молящихся и чёрно-красная бабочка-крапивница, которая залетела к ним на веранду, покружилась над седой бабушкиной головой и улетела обратно в сад.

Он очнулся от страшного рыка, который издавал отец Матвей.

— Это она, блудница! Она не угодна Господу! Он ждёт, когда мы извергнем её из нашей обители и освободим путь Господу! Она своим блудным грехом запечатала врата рая и не пускает нас в Царствие Божие! Вон отсюда! Изблоем её, как гнилой плод! — Он рычал, указывая перстом вглубь пещеры, где тонко плакал ребёнок. Вход в подземелье начинал слабо светиться, наполнялся робкой синью рассвета.

— Вон! Вон! Фёдор, Семён Семёныч, ступайте, киньте её на съедение бесам! Заклинаю вас именем Господа, ступайте и извергните!

Отец Матвей был страшен. Глаза пучились, вращались в глазницах. Белый клок в бороде сверкал, как нож. Косица на затылке распалась, и чёрные волосы лезли в кричащий рот.

Фёдор стоял на коленях костяной и недвижимый. Семён Семёныч закрыл ладонями лицо. Елена и Ирина тихо выли. Солдат Виктор, не вставая с колен, сел на землю и тупо смотрел на всех.

Лемехов вдруг испытал облегчение, почти радость. Он тихо ликовал и любил их всех. И кричащего в тоске отца Матвея, и мужиков, облачившихся в балахоны мучеников, и женщин, своим воем напоминавших плакальщиц. И Анюту с истерзанным лоном, из которого вышел младенец и уже жил, дышал, подавал голос в этом мире, который уцелел, чтобы младенец возрастал.

Лемехов поднялся, снял белую ткань, медленно переделся в свои одежды и пошёл вглубь пещеры, где на матрасе лежала Анюта и рядом с ней похожий на кулёк младенец. Анюта испуганно взглянула на него, заслонила собой ребёнка. Лемехов хотел сказать ей тихое ласковое слово, но смог только что-то неясно прокурлыкать, подражая дельфину. Анюта подняла на него умоляющее лицо. Лемехов осторожно погладил её волосы, и она затихла от его нежного прикосновения. Он кивнул туда, где горели свечи, стояли на лавке часы, и наливался слабой синевой вход в пещеру. Протянул руки ладонями

вверх, приглашая её положить на его ладони ребёнка. Анюта поняла, приподняла кулёк, положила на ладони Лемехова, и тот ощутил крохотное, почти невесомое тельце, его живую пульсацию, слабое тепло. Повернулся и понёс, как несует драгоценность. Анюта, охнув, поднялась и пошла следом.

Он миновал стоящих на коленях богомольцев, вышел из пещеры. Перед ним раскрылся, распахнулся во всей красоте и торжественности утренний мир. Небо над головой ещё оставалось тёмным, и в нём горело несколько звёзд. Но восток уже был оранжево-жёлтым. Недвижная латунная заря стояла над лесами, отражалась в озёрах и реках, безмолвно и величаво, словно и впрямь случилось преобразование мира, и он сиял во всей своей райской красоте. Пели птицы, ещё невидимые в тёмном лесу, но уже встречавшие зарю.

Лемехов держал младенца, словно дарил его преобразенной земле, и земля, и заря, и зеркальные воды принимали этот дар.

Он шёл по дороге, останавливаясь и поджидая Анюту, и та попевала за ним, переводя дух.

Лемехов нёс младенца, и ему казалось, что незримо взиравший на него Господь отпустил ему один из грехов — гибель его нерождённого чада.

Глава тридцать третья

Лемехов продолжал свои странствия, как крохотное пернатое семечко, подхваченное огромным ветром. Его опускало на камни, где было невозможно взрастание. Он падал на благодатную почву, но не успевал укорениться, и его тут же уносило дальше. На него налетали птицы, готовые склевать, но ветер подхватывал его, спасая от хищных клювов.

После пережитого потрясения, которое разрушило всю его жизнь, он медленно восстанавливался. Но это не напоминало реставрацию рухнувших зданий, расчистку площадей и проспектов. На месте развалин создавался новый город, с иной планировкой, иной архитектурой, не похожей на прежние строения. Он ещё не понимал, каким будет этот новый город. Только знал, что существует архитектор, существует сокровенный замысел, и его душа является местом нового строительства.

Он оказался в Якутии, на Лене. Устроился матросом на небольшой теплоход, принадлежавший владельцу пароходства Топтыгину. В эти летние дни Топтыгин гнал на север танкеры с горючим, сухогрузы с продовольствием и машинами. Туда, где геологи бурили скважины, промышленники добывали нефть и алмазы, военные радары щупали небо над Арктикой.

Лемехов на борту теплохода занимался самой чёрной работой: драил шваброй палубу, убирал каюты, прислуживал хозяину. Во время швартовок набрасывал канаты на чугунные тумбы пристани. Иногда его звал на помощь механик, молодой якут с круглым лицом, напоминавшим пиялу. На ней словно кисточкой были нарисованы узкие глаза, дырочки носа и рот. Механик регулировал дизель, его масляные сияющие механизмы. Лемехов тяжёлым ключом придерживал гайку или закручивал винт, а механик, привыкший к немоте Лемехова, разглагольствовал:

— Мы, якуты, произошли от Чингисхана. Когда Чингисхан шёл завоевывать вас, русских, он оставил отряд в Якутии охранять алмазы. Но Чингисхан умер в походе, а вы пришли и отняли у нас наши алмазы и нашу нефть. Но скоро Чингисхан вернётся и отберёт у вас наши алмазы и нашу нефть.

При этом на фарфоровых скулах якута светились два маленьких алых цветочка.

Иногда Лемехов поднимался в рубку, где капитан с шершавым, как тёрка, лицом и чёрными пиратскими усами крутил штурвал среди бескрайних потоков реки, проплывая мимо далеко отступивших берегов редких прибрежных селений. Капитан брал рацию и в сияющий эфир таким же сияющим голосом произносил:

— Я — Онега! ...Как слышишь меня, Ока? ...Где ты там потерялся?

И в ответ хрипящий голос, словно из Космоса, отзывался:

— Я — Ока! ...Григорич, у тебя есть диск с “Любэ”? ...Оставь мне у Данилыча, на Ленских столбах!..

Рация умолкала, а капитан, подумав, включал динамик, и над сияющими водами неслось: “Комбат, батяня, батяня, комбат”. И Лемехову казалось, что среди безлюдья музыку слушает и плеснувшая рыба, и мелькнувшая на солнце птица.

Теперь он мыл палубу, орудуя шваброй. Окатывал водой железные, крашенные в серое листы. Тёр, драил, давил, выжимал из швабры грязную воду, выплёскивал за борт. Потом набирал свежей воды, кидая за борт жестяное, привязанное за верёвку ведро. Палуба гудела, дул свежий ветер, пахло рекой, рыбьей молокой, соляркой и далёкими голубыми лесами. На влажной палубе у железного борта, омытое водой, проступало пятно, напоминающее павлина, распустившего хвост. Пятно исчезало, как только палуба начинала сохнуть. Лемехов, не давая исчезнуть пятну, проводил по нему шваброй. Он вспомнил, что ироничный журналист в своей статье назвал его павлином, и тогда это оскорбило его. Теперь же это воспоминание не задевало его, и он удивлялся той давней боли и горечи, которая улетучилась среди необъятных безлюдных вод. Он смотрел на павлина, присевшего на железную палубу, и эта птица направляла корабль к сверкающему горизонту, где великая река вливалась в океан.

Выплеснул грязную воду за борт. Кинул ведро в реку, обмотав верёвку вокруг кулака. Почувствовал рывок, ведро наполнилось, несло за бортом, не отставая от корабля, поднимая бурн. Лемехов чувствовал натяжение верёвки, сопротивление воды, гигантский космический напор реки, силу корабельного двигателя. Мятое ведро было прибором, с помощью которого он исследовал вращенье Земли, скорость корабля и речного потока, биение своего сердца, соединённого верёвкой с необъятным мирозданием.

Подумал, что ещё недавно, в прежней жизни, он был окружён приборами, которые управляли ракетами, ядерными реакторами, брали пробы кипящих металлов, измеряли микроны ювелирно отшлифованных поверхностей. Но ни один из этих приборов не мог сравниться с мятым ведром и верёвкой, которые соединяли его с Мирозданием. Он не торопился извлекать ведро из реки, наслаждаясь полнотой своего общения с миром.

Он увидел, как на палубу вышла корабельная буфетчица Фрося. Ветер давил на тонкое платье, лепил ей груди, крепкие бедра, круглый живот с выемкой пупка. Фрося переступала по палубе, свешиваясь за борт, туда, где бурлил убегавший клин волны. Приближалась к Лемехову. Её светлые волосы поднимались лёгкой копной, серые глаза щурились от блеска водяных разливов.

— Ну, что, Немой, трёшь свою сковородку? Три, три, только до дыр не протри, а то утонем, — Фрося насмешливо морщила губы, наблюдая, как Лемехов водит шваброй вокруг таинственного, проступившего на палубе павлина. — Разве это твоя работа? Ты человек культурный, тебе головой бы работать, а не грязь скрести. Как ты здесь оказался? Видно, крепко тебя потрянуло. Если бы у тебя язык во рту шевелился, много что мог бы рассказать. Ну, да все, кто здесь, на северах оказался, всех крепко в жизни потрянуло.

Фрося была расположена к разговору, присела на пожарный ящик с песком. Сжимала платье коленями. Ветер выхватывал ткань, обнажал крепкие белые бедра, а Фрося снова их закрывала.

— Наш-то, Топтыгин, опять с нужным человеком водку пьёт. Какой-то московский, блатной. Наш-то из него больше горячего хочет выкачать. Всё какие-то квоты да квоты. Всё об этом квакают. Третью бутылку пьют. Наш-то держится, он боров здоровый. А этот московский — дохляк. Шейка тощая, с палец. Усики, как у крысы. И лысина жёлтая, словно натёртая сыром.

Лемехов отложил швабру, слушал Фросю, прислонившись к лебедке, на которую была намотана якорная цепь.

— Сейчас третью бутылку допьют, и Топтыгин меня позовёт: “Давай, Фрося, проводи гостя в каюту”. Он меня, думаешь, для чего держит? Для этого дела.

Лемехов слушал Фросю, которая не требовала, чтобы ей отвечали. У неё не было на корабле собеседника, и она разговаривала с Лемеховым, как порой разговаривают с лошадьми, коровами или домашними котами, не ожидая, что они отзовутся.

— Ничего, потерял. Я ведь денежки-то откладываю. Вот скоплю и — прощай Топтыгин! Уеду на юг, на Кубань. У меня там дом хороший, виноград, яблони. Тёплое море близко. Там меня хороший человек ждёт. Любит. Мы с ним вместе в школе учились. “Выходи за меня!” — говорил. А я не пошла. Он и говорит: “Буду ждать тебя всю жизнь. Красивей тебя нет”. Я ему письмо написала: “Скоро приеду”. Как же он обрадовался!

Лемехов видел, как обветренное, с широкими скулами лицо Фроси мечтательно озарилось, как озаряется лицо артиста, читающего стихи о любви. Это озарение держалось минуту, а потом померкло. Она виновато улыбнулась:

— Не верь мне, Немой, всё я соврала. Нет никакого дома, ни винограда, ни яблонь. Нет тёплого моря, и человека нет. Так, мечтаю и сама себе вру. А потом хоть плачь.

Великая река катила несметные воды к океану, и судьба этой женщины, и судьба Лемехова, как две крохотные капли, влеклись к полярным сияниям. Их мнимая отдельность была временна и преодолима. Они сольются в океане с другими человеческими жизнями в то целое, чем они были до своего рождения.

— У меня дочка на берегу, учится на медсестру. Я деньги для неё зарабатываю. Выучится, и мы отсюда уедем. В Воронеж или Липецк, где потеплее. Она замуж выйдет, мне внуков родит. Я буду внуков растить, а у неё, у дочки, может, жизнь лучше моей получится.

Ветер пахнул, рванул платье, стал срывать невидимыми жадными руками. Она ловила платье, стараясь закрыть голые ноги, запахивала грудь, отнимая воротник у незримых буйствующих рук.

— А ты, Немой, если хочешь, я к тебе в каюту приду. Ты мужчина видный. Я бы к тебе прилепилась.

Фрося засмеялась и пошла по палубе, то и дело хватая подол, словно вырывалась из чьих-то бурных объятий.

Лемехов видел, как она скрылась за железной дверью. Подумал, что за всё это время, пока его кружило по дорогам и рекам, ни разу не взглянул на женщину с вожделением. Не вспомнил Ольгу, с которой, как два дельфина, они ныряли в бассейне. Не вспомнил женщин, которые на краткое время кружили ему голову, а потом исчезали из его жизни бесследно. Даже мысли о жене в тот упоительный карельский медовый месяц были теперь целомудренны: он вспоминал о негасимых зорях, о волшебных озёрах, о застывших малахитовых отражениях.

Фрося опять появилась. Не подходя, крикнула:

— Эй, Немой, тебя Топтыгин зовёт. Хочет, чтобы ты ему строганины нарезал.

Лемехов сквозь железные переборки, пахнувшие краской, соляжкой, кисловатыми запахами трюма, поднялся на камбуз, где стояла закопченная плита и тускло сияли сковороды и кастрюли. Взял загодя извлечённую из морозильника нельму, кухонным ножом отсёк хрустящие плавники. Ударяя сталью в рыбью башку, отделил её от туловища. Видел, как в голове мертвенно светится глаз. Мясо на срезе было розовое. Как жемчужина, светился рассечённый позвонок.

Лемехов поставил рыбу стоймя, хвостом вверх. С силой давя на нож, стал срезать с рыбы тонкие лепестки, чувствуя, как неохотно погружается нож в ледяную плоть. Лепестки похрустывали, загибались на концах, словно стружки. Так щиплют полено, нарезая из него лучину.

Лемехов вдруг вспомнил, как в ресторане “Боттичелли” официант принёс к столу на деревянном подносе рыбу сибас, обсыпанную кристаллами льда. Серебряная рыба смотрела золотым глазом, совсем, как эта нельма. И сидящий рядом Верхоустин отверг принесённую рыбу, потребовал другую. Теперь, в этом замызганном камбузе воспоминание о роскошном ресторане, о хрустале и фарфоре, официантах в костюмах венецианских дождей — это

воспоминание было случайным и лишним, не тронуло его. Не тронуло воспоминание о Верхоустине, человеке, который испепелил его жизнь, превратил её в золу. Значит, это было угодно Творцу, и синеглазый колдун действовал не по собственной воле, а по наущению Божьему. Творец предал огню всё, что могло стореть, превратил его жизнь в прах. Но кое-что в ней уцелело. Он не знал, что именно уцелело. Но оно оставалось жить, и это побуждало его кружить по дорогам и рекам в ожидании встречи с чем-то таинственным, безымянным, обещающим воскрешение.

Лемехов настрогал розовый, нежно пахнущий ворох рыбьего мяса. Положил на блюдо и понёс в кают-компанию, где хозяин пароходства Топтыгин угощал именитого гостя.

В кают-компании стол был уже нарушен, на тарелках лежали остатки мясных закусок, куриные кости, разворошённые овощные салаты. Стояли бутылка водки, мокрые рюмки. Топтыгин был багровый, с лицом, напоминавшим стиснутый кулак, в желваках, жилах, яростных тёмных складках. Из этих злых складок смотрели зоркие синие глазки, исподволь наблюдавшие за гостем. Лысоватый, с унылым носом, под которым топорщились куцые усики, с худым кадыком на тощей шее, гость был пьян, качал из стороны в сторону головой, приговаривая:

— Вы здесь, а я там. Вы здесь, а я там.

— Вы там сверху на нас глядите, Антон Афанасьевич, как с самолёта. А мы тут с земли на вас смотрим и любимся.

Лемехов поставил на стол блюдо с розовой строганиной. Топтыгин приказал ему:

— Разлей нам водки и сам садись, — повернулся к гостю. — У нас, конечно, Антон Афанасьевич, нет итальянской кухни. Разных там ракушечек, устричек, червячков. Зато строганиной угощаю от сердца. Ели когда строганину, Антон Афанасьевич? Смотрите, как надо!

Лемехов наполнял рюмки, а Топтыгин положил на свою тёмную корявую ладонь розовый лепесток мяса. Потряс солонкой. Тряхнул несколько раз перечницей. Свернул лепесток в рулончик.

— Это якутская кухня, — он подмигнул гостю хитрым синим глазом. Опрокинул рюмку водки в большой тёмный рот, запихнул следом рулончик. Морщась, двига желваками, стал жевать большими собачьими зубами. — А ну, Антон Афанасьевич, теперь вы! По-якутски!

Гость, подражая Топтыгину, раскрыл узкую, с тощими пальцами ладонь. Положил строганину. Посолил, поперчил. Но рулончик у него не получился. Выпил водку, схватил зубами розовый лепесток. Шевеля усами, заглывал и давился.

— Ничего, Антон Афанасьевич, привыкнете — якутом станете. К утру подойдём к Ленским столбам. Там вертолётом на речку, где не ступала нога человеческая. Такой рыбалки вы не видали, Антон Афанасьевич. Рыба ленок, слышали? Бросил, вынул! Бросил, вынул! Я вам праздник устрою!

Он обхаживал гостя, угождал ему. Не в первый раз принимал на борту нужного человека.

— Вот анекдот, Антон Афанасьевич. Стоит якут в карауле. Идёт человек. “Стой! Говори пароль!” — “Пошёл на хер!” Пропустил, а сам думает: “Странно. Два года служу, а пароль не меняется!” — Топтыгин захохотал, зорко наблюдая за гостем, как опытный повар наблюдает за блюдом, которое поспекает. Видно, блюдо поспело, потому что Топтыгин отодвинул водку и строганину. Навалившись на стол, потянулся к гостю:

— Вы, Антон Афанасьевич, видите мою работу. Кровь из носа, а корабли на север гоно. Флот устарел, корабли выходят из строя, а груз на север гоно. В Лене воды с гилькин нос, многотоннажные танкера не проходят. Перекачиваю соляру в плоскодонки, а северный завоз толкаю. Буровики ждут, геологи ждут, алмазные карьеры ждут, военные ждут. Их не интересует, как Топтыгин грузы доставит. Хоть по реке, хоть по зимнику, хоть на своем горбу. Я и доставляю. Помогите, Антон Афанасьевич! Дело государственное!

Гость вяло жевал рыбу. Подносил к печальному носу розовый ломоть, нюхал, а потом совал под куцые усы и жевал.

— Всё в вашей власти, Антон Афанасьевич. Одно ваше слово, и мне увеличат квоту. Хоть бы на треть. Я на выручку отремонтирую флот, почию причалы, закуплю пароходы. И, конечно, вас не забуду. Десять процентов, Антон Афанасьевич, это по-божески!

Гость жевал, сонно прикрыв глаза, словно не слышал.

— Пятнадцать процентов. Всё в вашей власти. Вы же такой человек. Одно ваше слово!

Гость положил в рот ломоть строганины. Она свисала у него изо рта, словно он высунул длинный розовый язык. И сам же его сжевал.

— Двадцать процентов, Антон Афанасьевич. Вы же великий человек. К вам сам президент прислушивается.

— На форуме я выступал, конечно, — ответил гость, проглатывая ломоть рыбы. — Я включён в экспертную группу по Арктике.

— Ну, какая Арктика без северного завоза, Антон Афанасьевич! Ведь мы же государственные люди! Сделаем дело по квоте!

Гость потянулся к рюмке, которая оказалась пустой.

— А ну, налей! — приказал Лемехову Топтыгин. Тот разлил водку. — За вас, за ваш ум. Вы же знаете, к кому как зайти и как выйти! Так сделаем дело?

Гость молча выпил, схватил лепесток нельмы. И прежде чем положить себе в рот, сказал:

— Сделаем. Двадцать процентов. — И Топтыгин в ответ победно блеснул глазами.

Лемехов понимал суть сделки. Понимал хитросплетения мучительной деятельности, в которую были вовлечены компании, предприятия, руководители ведомств, чиновники министерств. Работая в правительстве, он был знаком со множеством комбинаций, законных и незаконных, благодаря которым жила экономика и развивалась промышленность. Эти комбинации помогали управлять заводами и лабораториями, получать заказы на изделия, приобретать оборудование. Теперь же он был равнодушен к этим изощрённым приёмам, был вне этих комбинаций, покинул кипящую, едкую опасную среду, где создавались репутации, складывались карьеры, творилась политика. Всё это оказалось ненужным, сторело вместе прежней жизнью, не питало таинственный, совершавшийся в нём рост, не было почвой, из которой начинал тянуться загадочный стебель его новой жизни.

В кают-компанию, в приоткрытую дверь сунулась Фрося:

— Не надо чего?

— А ну, иди сюда, Ефросинья! — приказал Топтыгин. — Покажи Антону Афанасьевичу его каюту.

— Я же показывала, — капризно отнекивалась Фрося.

— Кому сказал, покажи! — прикрикнул Топтыгин. — Антон Афанасьевич, отдышайте. Завтра с утра прибудем к Ленскому столбам. А там на вертолёт и на речку. Кинул, вытянул! Кинул, вытянул!

Гость поднялся, нетвёрдо стоя на ногах. Под усами его вяло улыбались мокрые губы:

— Покажи каюту, а то заблужусь. А нам ещё квоту пересматривать надо.

Они с Фросей ушли. Следом тяжело поднялся Топтыгин:

— Двадцать процентов! Жулик министерский! Как так можно работать? — повернулся к Лемехову, кивая на разгромленный стол. — Ты, давай, приберись здесь. Завтра готовься, полетишь с нами на речку! — и вышел, сердито ворча.

Лемехов, оставшись один, убирал со стола. Складывал испачканные тарелки, объедки рыбы, пустые бутылки. Тряпкой вытирал пятна жира. Он, как слуга, выполнял приказание хозяина, не испытывая при этом ропота, не чувствуя унижения, не чураясь грязной работы. Ещё недавно он повелевал множеством подвластных ему людей, которые трепетали от его строгого взгляда, робели от его недовольных замечаний. Его воля управляла заводами, лабораториями, полигонами. Его слушались генералы, директора заводов, прославленные учёные. Теперь же он служил самодовольному и хитрому дельцу, выполняя его грубые приказы и прихоти. И это не задевало его

гордыню. Не было гордыни. Не было прошлого. Было чуткое вслушивание в потаённое взросление души, страх перед тем, что оно остановится.

Глава тридцать четвёртая

Утром, выходя на палубу, он увидел Фросю. Она покидала каюту, где обитал гость Антон Афанасьевич. Простоволосая, оправляла блузку. Заметив Лемехова, раздражённо повела плечом.

Теплоход, сбросив скорость, медленно причаливал к берегу. Река была огромной, солнечной, в бескрайнем блеске. Берег являл собой фантастические горы, которые разрубил громадный колун. Каждая гора казалась пятернёй с торчащими каменными пальцами, будто из-под земли торчали руки погребённых великанов, застывшие в предсмертной каменной судороге. У причала стоял серебристый танкер. По берегу ходили люди. Донёсся смолистый запах дымка.

На палубу вышли Топтыгин и Антон Афанасьевич. Гость недовольно шурисля на сверкающую реку, на расколотые горы, словно его пугали эти каменные пальцы, готовые сжаться в чудовищный хрустящий кулак.

— Пойдёмте, Антон Афанасьевич, на берег, я вам подарок приготовил, — глаза Топтыгина из-под косматых бровей довольно оглядывали реку, танкер, каменные, хватающие небо пальцы. Всё это принадлежало ему. Все-му он был хозяин. Всем этим потчевал именитого гостя. — Ты, Немой, забери на берег сумку с водкой, палатку, спальники, спиннинги. Вертолёт тебя забросит на речку, там нас жди. И стол приготовь. А мы с Антоном Афанасьевичем через час прилетим и порыбачим до вечера.

Лемехов сгрузил с теплохода поклажу и стал ждать, когда прилетит вертолёт. Топтыгин помогал гостю спуститься по трапу. Лемехов увидел то, что Топтыгин называл подарком гостю.

На берегу, у подножья горы, напоминавшей расколотую пятерню, было построено декоративное стойбище. Торчали островерхие чумы. Перед ними стоял шаман, облачённый в рыжую хламиду с блёстками и костяными амулетами. Тут же находилась женщина в зеленоватом облачении, с множеством блестящих подвесок. Оба были немолоды, с желтоватыми якутскими лицами. Среди морщин на этих лицах проглядывала древняя усталость, и покорность Бог знает какой неодолимой воле, что поставила их среди бу-тафорских чумов на потеху заезжему люду. Каменная пятерня возносила над ними зазубренные пальцы, не давала убежать, готовая схватить и водворить на место.

— Ну, давай, Никифор, пошамань вместе с женой, чтобы нашему дорогому гостю Антону Афанасьевичу помогали в дороге духи. — Топтыгин чуть подмигнул шаману, и тот устало опустил веки и снова поднял их над узкими печальными глазами.

Лемехов чувствовал эту печальную безысходность. Шаман и его жена напоминали пойманных птиц, которых поместили в неволю, подвергли дрессировке, заставили выступать перед публикой в цирке. И те смирились, принимали пищу из рук дрессировщиков, тайно тоскуя по воле.

— Ну, давай, Никифор, шамань!

Шаман Никифор затоптался, закружился на месте, затряс амулетами. Вместе с ним кружилась жена вокруг обложенного камнями кострища, где был набросан хворост. Гость Антон Афанасьевич пританцовывал в такт, насмешливо улыбался — милостиво принимал подарок.

Шаман зажигалкой запалил хворост, прикрывая ладонями игривый огонёк. Забормотал:

— Тёмный дух, улетай! Из горы улетай! Из реки улетай! Из тайги улетай! Из тундры улетай! И с неба улетай! Чтобы люди проплыли, прошли, пролетели, а ты от них отступи!

Шаман кружилась вокруг огня, поворачивался на все стороны света, взмахивал руками, прогоняя злого духа, как прогоняют назойливую муху. Жена повторяла его движения.

— Теперь буду просить добрых духов, чтобы они помогли тебе в дороге! — шаман обратился к гостю, который наслаждался экзотическим зрелищем. — Повторяй за мной!

Он воздел руки к небу. Топтыгин и гость Антон Афанасьевич тоже воздели руки.

— Духи света, духи леса, духи реки, духи гор, духи ягод, духи рыб, духи птиц, дайте мне свою силу!

Он извлёк из кармана свистульку, приложил ко рту и издал долгий вибрирующий звук, будто заныла, затрепетала струна. Этот дребезжащий унылый звук полетел в горы, к реке, к белому облаку. Женщина танцевала, звенела погремушками. Топтыгин и гость тоже танцевали. Лемехов казалось, что для заезжего гостя это была не только забава, но он и впрямь вымаливал у языческих духов благополучие и достаток, за которыми явился на край земли.

Лемехов слушал дребезжанье свистульки, которая должна была породить вибрацию вод, камней и небес, разбудить дремлющих духов, испросить у них благополучие и могущество.

Но духи не просыпались. Магическая свистулька была забавой. Её звук не проникал в толщину гор и глубину вод. Шаман и его жена были пленниками, у которых отняли их чудодейственный дар и выставили на потеху зевакам. Горы, река, белое облако смотрели на шамана с печальным безмолвием. Лемехову казалось, что они испытывают к пленнику сострадание.

— Ну, спасибо, Никифор, хорошо пошаманил, — Топтыгин извлёк из кармана деньги, передал шаману, и тот торопливо сунул их в складку хламиды. — Теперь пошли, Антон Афанасьевич, дело делать! — приобнял гостя и повёл его по берегу к стоявшему танкеру.

В небе застрекотало. Над рекой возник крохотный вертолёт. Сделал круг над сияющими водами, опустился на берег, разгоняя винтом водяное солнышко.

Лемехов потащил к вертолёту поклажу. В прозрачном пузыре кабины, кроме лётчика, могли разместиться ещё два пассажира. Лемехов перебрросил в кабину палатку, спальники, мешок с припасами. Угнезвился в стеклянной колбе. И лёгкая стрекозка оторвалась от земли, взмыла ввысь, уклоняясь от каменных хватающих пальцев. Развернулась над необъятным разливом Лены и понеслась над мохнатой тайгой, над солнечными вершинами и тенями, полными тумана распадками.

Лемехов ощутил счастливую лёгкость и радостное доверие — не к пилоту в наушниках, не к сверкающему над головой кругу, — а к той волнистой таинственной линии, по которой двигалась его жизнь, подчиняясь божественной воле, что влекла его по земным и небесным путям.

Полёт продолжался недолго. Внизу сверкнула река, чёрно-блестящая, петлявшая в горах, вершины которых казались тёмными куличами, расщеплёнными надвое.

Сделав заход над рекой, вертолёт опустился на отмель, и Лемехов, не успев оглядеться, поспешно выгрузил поклажу. Вертолёт, как пернатое семечко, взмыл, и его унесло за гору, а вскоре умолк и его стрекот.

Лемехов оглянулся вокруг и безмолвно ахнул. Мимо неслась река в чёрных водоворотках с серебряными завихрениями, словно со дна всплывали слепящие слитки. За рекой громадно, заслоняя небо, вставали горы, и каждая словно была распилена надвое. Одну половину горы унесли, и открывался срез, похожий на громадную каменную страницу. Эта страница была покрыта тёмными письменами, будто скрижаль с загадочным текстом. Одна страница прилегалась к другой, словно кто-то разложил отдельными страницами громадную книгу. Тёмные знаки, иероглифы, символы слагались в священный трактат, повествующий о сотворении мира.

Лемехов старался разгадать иероглифы. Они были вырезаны на камне неведомым великаном, таинственным летописцем. Они рассказывали о первых днях творенья. У него возникло такое чувство, что сюда, в этот грозный и дивный храм привела его воля Всевышнего, чтобы открыть закон, по которому был создан мир. Объяснить, как с этим законом соотносится его, Лемехова, жизнь, его крушение, гибель и медленное воскрешение.

Он стоял, благоговей, глядя на эти каменные печати, каждая из которых оставляла отпечаток в его душе. Он постигал священный текст и божественный закон не разумом, не глазами, а дышащей грудью, на которую ложилась каменные оттиски.

На вершинах гор росли тонкие островерхие ели. Им не хватало тепла и света. Они кренились все в одну сторону, как нагнул их полярный ветер. Высоко в небе пролетел ворон и скрылся в расселине, оттуда раздалось его вещее карканье. Река несла в своих чёрных потоках серебряные браслеты и ожерелья. И Лемехову казалось, что сюда с наступлением темноты сойдутся великаны — те самые, что населяли молодую землю, и горы загудят от их каменных голосов.

Вертолёт с Топтыгиным и московским гостем мог вернуться в любую минуту, и Лемехов стал готовиться к их прилёту. Поставил палатку. Собрал дрова. Сложил из камней очаг. Пошёл к реке и зачерпнул в котелок воды. Почистил и бросил в воду картошку, лук, всыпал ложку соли. Все было готово для ухи, а рыбу, как уверял Топтыгин, они наловят в первые же полчаса.

Раскрыл чехол, в котором лежали спиннинги. Сел на камень, оглядывая прекрасные и пугающие горы, близкую тайгу, благоговей перед Творцом, который пустил его в свой священный чертог.

Из горной расщелины пролилась тонкая струйка дрожащего звука. Появился вертолёт, похожий на звонкую осу, сел в стороне на отмель. Из него высадились Топтыгин с компаньоном, в резиновых сапогах и комбинезонах. Двинулись к Лемехову. Вертолёт улетел, словно его сдуло ветром. И стало слышно, как Топтыгин, обнимая гостя, говорил:

— Вы убедились, Антон Афанасьевич, что народ у нас головастый. Вы нам, мы вам. Слово держим.

— Только молчок. Деньги любят тишину.

Они приблизились. Топтыгин жадно взглянул на реку, на спиннинги:

— Давай, Немой, налей нам по сто грамм. Чтобы лучше ловилось. Так, нет, Антон Афанасьевич?

— Сто да сто — двести! — засмеялся гость. Было видно, что они с Топтыгиным уже пьяны.

Лемехов налил в рюмки водку, отсёк от буханки два ломтя, посыпал солью.

— Ваше здоровье, Антон Афанасьевич! Таких людей, как вы, раз, два — и обчёлся!

Он был щедр, хлебособен. Уже подарил гостю женщину, шамана. А теперь дарил эти горы, реку, божественные скрижали.

Они вышли, извлекли из чехла спиннинги.

— Ты, Немой, бери сетку, ходи за мной. Я на уху наловлю, и ступай, вари.

Река неслась в тёмных воронках. На дне их сверкало солнце. Рыбаки разделились. Гость неумело, путаясь в леске, забрасывал блесну. Топтыгин, отрезвев, острым взглядом ловца прицеливался, кидал блесну, крутил катушку. Было видно, как трепещет под напором воды тонкая струнка.

Первую рыбку Топтыгин поймал почти сразу. Спиннинг выгнулся, леска натянулась. Топтыгин откинулся, крутил катушку. Рыба вспыхнула над водой, взметнулась в пене. Бурлила на конце лески, приближаясь к берегу. Топтыгин выхватил её из воды, она крутилась в воздухе трескучим пропеллером. Топтыгин схватил её левой рукой. Из кулака торчала голова с золотым глазом, извивался слизистый хвост. Топтыгин извлёк из кармана хирургические ножницы и с хрустом надрезал рыбу челюсть, извлекая крючок.

— Ай, ленок! Ай, ленок! С почином! — он повернулся к Лемехову. — Что смотришь, Немой! Подставляй сетку!

Кинул рыбу в сетчатый садок, где рыба, ошалев от боли, ходила ходунком, вставала на голову, брызгала слизью, стараясь пробить ячею, крутила полными ужаса золотыми глазами.

Вторая рыба неслась над водой, как торпеда, оставляя пенный след. Топтыгин вырвал её из реки. Она танцевала у него над головой, выделявая вензеля. Он поймал её, сдавил могучим кулаком. Она не сопротивлялась,

только дрожал зеленоватый раздвоенный хвост. Топтыгин кинул её в садок, торопясь забросить спиннинг.

— Ой, ленок!

Топтыгин поворачивался в разные стороны, прицеливался, метко забрасывал спиннинг, словно знал, где среди чёрно-серебряных воронок плывет рыба. Выхватывал, приговаривая:

— Ой, ленок! Ой, ленок!

Садок отяжелел. Рыбы пахли рекой, слизью. Лемехов страдал, видя, как очередная рыба вырывается с корнем из реки, и в реке, где она плыла, остаётся рана.

У Антона Афанасьевича не ловилось. Он забрасывал на мелком месте. Иногда на крючок попадался клок травы, несколько раз он цеплял крючком себя самого.

Наконец, ему повезло. Пойманная рыба крутилась на леске, то вылетала на поверхность, то исчезала. Антон Афанасьевич тянул, дёргал, издавая торжествующий крик. На мелководье он дёрнул спиннинг, рыба взлетела, сорвалась с крючка, упала на берег у самой воды и стала скакать, подбираясь к реке. Антон Афанасьевич кинулся к ней, ловил руками. Рыба выскальзывала, подбиралась к воде. Антон Афанасьевич падал, стараясь накрыть её грудью.

Лемехов издали следил за этой нелепой схваткой. Взглядом, страстным сочувствием помогал рыбе, будто выхватывал её из рук Антона Афанасьевича, заставлял того спотыкаться, падать. Рыба достигла реки, взбурлила на мелководье и ушла в глубину. Скрылась среди серебристых всплесков.

Антон Афанасьевич поднялся, чертыхаясь, грозя кулаком реке. А Лемехов торжествовал, представляя, как стремительно мчится рыба в холодных потоках.

Уха бурлила в котелке, всплывали белые ломти рыбы. Лемехов разливал уху по пластмассовым мискам. Топтыгин и Антон Афанасьевич пили водку, хлебали уху, обжигались, откидывали рыбы кости.

— Ничего, Антон Афанасьевич, не огорчайтесь. Мы здесь ловим, а вы там, в Москве ловите. Вы там рыбак первоклассный. Такие рыбины к вам попадают! И президент, и премьер, и вице-премьер. Мы ваши связи отселяживаем.

— Мало связи займешь, их удержать надо, — Антон Афанасьевич, уступивший Топтыгину в искусстве ловить рыбу, демонстрировал свое превосходство в иной, недоступной Топтыгину области. — Здесь к каждому должностному лицу свой подход. Например, президент. Когда с ним говоришь, надо смотреть ему прямо в глаза и говорить очень спокойно. Если в глаза не смотришь, значит, что-то скрываешь. Если нервничаешь, значит, гневаешься на президента. С премьером иначе. Если чего-то от него добиваешься, какую-нибудь схему предлагаешь или делаешь доклад, скажи так, будто ты его собственные мысли излагаешь, его гениальные идеи высказываешь. Это сработает. Он твои предложения примет, как свои собственные. Третье дело — с вице-премьерами. У каждого свой характер, своё слабое место. Вычисли его и бей в яблочко. С одним говори в кабине автомобиля, с другим — в ресторане, с третьим — на яхте, где-нибудь в Средиземном море. Но будь осторожен, держи дистанцию. А то он утонет и тебя за собой утянет.

Антон Афанасьевич важно наставлял внимавшего Топтыгина, а тот хитро поглядывал своими синими бусинками. Кивал Лемехову, чтобы тот наполнил рюмки.

— А что это, Антон Афанасьевич, за история была с Лемеховым? Ведь был большая шишка.

— С Лемеховым мы дружили. Большие дела делали. И в космос, как говорится, вместе летали, и с девками до утра гуляли. Он мужик был крепкий, с головой. Меня к себе звал, но я не пошёл. Чувствовал, что погорит.

— На чём погорел?

— Это тебе знать не надо. Целее будешь. Важно другое. Был человек, государственный муж. С президентом на "ты". А потом сгинул, как будто его и не было.

— Куда же он делся?

— Тоже история тёмная. Одни говорят, что сбежал в Америку и там разгласил государственную тайну. Другие говорят, что его забрали и держат в специальной тюрьме для опасных преступников. Третьи говорят, что он постригся в монахи и живет в каком-то монастыре, на хлебе и воде.

— Вышьем, Антон Афанасьевич, чтобы нам не остушиться, а вот так на природе, на воле, пить и гулять!

Чокнулись, выпили. Антон Афанасьевич топорщил усы, играл кадыком, словно проглатывал кость. Пропливал уху себе на грудь.

Лемехова не удивляло, что разговор шёл о нём. При этом его не замечали, его не узнавали, будто его и не было. Будто он был мёртв и не мог опровергнуть небылицу, уличить фантазёра. Он и впрямь был мёртв. Тот прежний Лемехов, честолюбец, дерзнувший мечтать о том, чтобы стать президентом, возмечтавший о величии, был мёртв. Вместо него существовал неопрятный, лишённый речи человек, который чутко прислушивался, как в нём зреет другая личность. Эмбрион, которому ещё только предстоит родиться.

Он почти не замечал этих шумных людей, ворвавшихся в храм Господа и устроивших здесь беспорядок. Горы величаво и грозно наблюдали за ними. Невидимые рыбы неслись в реке. Ворон, пролетая над елями, оглашал тайгу гулким карканьем. Это были духи, знавшие тайну сотворения мира, охранявшие каменные скрижали.

— Ого, Антон Афанасьевич, смотрите, вроде гроза идёт. Как бы нам не застрять здесь. Вертолёт в грозу не летает.

Из-за елей вставала фиолетовая туча с оплавленным краем, и в ней, как зверь в берлоге, ворочался и рокотал гром. Огибая тучу, как металлическая стрекозка, возник вертолёт.

— У меня пилот классный. Я его у пожарных купил, — Топтыгин поднялся, отбрасывая пластмассовую миску, отшвыривая ногой пустую бутылку. — Ты, Немой, здесь оставайся, соберись. Вертолёт за тобой пришлю.

Помог гостю подняться, и оба, обнявшись, прихватив садок с рыбой, пошли к отмели, над которой снижался вертолёт.

Лемехов проводил исчезающую струйку звука, которую оставил за собой вертолёт. Туча медленно выпускала из себя фиолетовые клубы. Солнце било из-под тучи, озаряя каменные скрижали. Они казались отлитыми из золота, с надписями, сделанными на неведомом языке. Но он знал, что начертавший их летописец запечатлел на них всю историю мира от сотворения его до завершения: жизнь каждого человека от рождения до кончины; существование каждой погасшей звезды и той, что ещё не зажглась. Бытие во всей полноте было изложено в каменной летописи, которую ему было дано созерцать.

Лемехов уложил в мешок остатки провизии, посуду, пустые бутылки. Спрятал в чехол спиннинги. Засыпал кострище землёй, чтобы зарубцевался этот крохотный ожог. Не стал складывать палатку, предчувствуя, что близкая гроза помешает вертолёту вскоре вернуться, и ему предстоит здесь ночевать. Снова стал разбирать письма, высеченные всеведающими великанами.

Они рассказывали, как погиб отец на глинистом берегу Лимпоно, упав в её желтоватую воду, и волосы его струились по течению. Как мама, молодая, влюблённая, ждала отца у каменного парапета Фонтанки, и отражённые огни кружились, как золотые веретёна, и туманилось виденье дворца. Как он с женой вернулся с мороза в избу, где исходила жаром горячая белая печь, оконце было в инее, на стене — тени шиповника, и он задышался от счастья, целуя её холодные губы, белые локти, жаркие груди, исчезая в восхитительном обмороке. Письмена рассказывали, как генералиссимус на осеннем параде смотрел на проходящие части и встретился взглядом с пехотинцем в белом халате, и тот, кидаясь под танк, вдруг вспомнил взгляд его прищуренных зорких глаз. А Сталин, умирая в бреду, вдруг пришёл на мгновение в сознание и увидел солдата в халате, его светящиеся голубые глаза. Письмена рассказывали, как в первобытных хвощах лопалось белое яйцо, и из него, скребя зелёными лапками, выкарабкивалась скользкая ящерица. Как колесница, стуча по камням, проезжала Триумфальную арку, а за ней, спотыкаясь, бежал пленённый царь.

Лемехов переводил взгляд с горы на гору, с одной каменной страницы на другую, стремясь прочесть своё будущее. Не то, где станут туманиться, гаснуть глаза, и мысли, путаясь, сложатся в последний рисунок. А то будущее, что ждёт его в новой жизни, после всех потрясений и утрат.

Одна строка с её каменной вязью, озарённая солнцем, ярко светилась. Строка начиналась с буквицы. В этой буквице пламенели цветы, наливались плоды, перелетали волшебные птицы. В этой буквице синело море, плыли корабли, сияли дворцы и храмы. Она была обетованной землёй, куда стремилась его душа. Лемехов хотел понять, где находится эта земля, как связано с ней его возрождение. И вдруг прозвучало из скалы, или из тучи, или из глубины его сердца: “Крым”. Не тот, что был нанесен на карты, а Крым Небесный, Крым Предвечный, тот, в котором воскреснет его душа.

Это длилось мгновение. Солнце зашло за тучу. Скала погасла. Письмена слились в неразборчивые тёмные линии.

Туча встала, заслонив небо, вываливая на горы мешки, полные чёрной тьмы. Дунул ветер, прилетев с полосу, где не таяли льды, хлестнул в лицо. Лемехов залез в палатку, слыша, как дрожит небо от тяжёлых ударов.

Дождь то вливался в палатку, то, ослабевая, отлетал. И вот гроза грянула всей своей громающей мощью, вспышками света, которые прожигали палатку. Снаружи ревело, ахало, скрежетало, но Лемехову не было страшно. Кругом бушевали проснувшиеся духи, и они не гневались, а благодарили его за спасённую рыбу. Сама избавленная от гибели рыба молнией металась в реке.

Лемехов вышел из палатки под дождь. Его валило, плескало в глаза огненные ковши. Горы ломались, двигались, скрежетали одна о другую. Молнии падали в реку, и она несла ртутное пламя, в котором металась рыба. Духи гор и вод, огня и ветра славили Лемехова, клали ему на голову каменные ладони, сжигали вокруг него воздух, носились на огромных свистящих крыльях. Он ликовал, славил духов, благоговел перед могуществом Божьим.

Гроза ушла, ворочая вдалеке глыбы. Дождь ровно шумел, и Лемехову, залезшему в спальный мешок, было чудесно.

Утром он проснулся на рассвете, когда горы ещё были черными, но ели на вершинах уже нежно золотились. Река несла тёмно-синия от недавнего ливня. Лемехов смотрел, как течёт вдоль реки туман. И вдруг увидел, как из тайги вышел медведь. Огромный, лиловый, с заостренной мордой, могучей косматой спиной. Встал на опушке, вытянул голову, втягивал воздух. Лемехов видел, как раздуваются его тёмные ноздри, как слабо поблёскивает шерсть на загривке. Узнавал его. Это был тот самый медведь, которого он застрелил на овсах. Но теперь он воскрес, и духи привели его к Лемехову, чтобы тот узнал: ещё один его грех искуплен.

Медведь постоял, чутко вдыхая воздух. Мягко развернулся и исчез в тайге.

Глава тридцать пятая

Он устроился рабочим в археологическую экспедицию на раскоп среди округлой низины, окаймлённой холмами. В чаще, чьи края очерчивала округность холмов, под рыжими травами и горячей почвой находились древние поселения — гончарные мастерские, плавильные цеха и оружейные кузницы. Целые города с храмами, обсерваториями, погребениями, занесённые прахом пустыни.

Всё это звалось Аркаимом. Рабочие, и вместе с ними Лемехов, рыли грунт, грузили на тачки землю, отвозили в сторону, пробираясь к деревянным мостовым и крепостным частоколам. Посреди открытого солнцу и ветру раскопа находился шатёр, где скрывалась находка, к которой не подпускали ни рабочих, ни редких добредавших до раскопа зевак. Здесь всегда дежурил охранник, полог шатра был всегда опущен.

В шатёр допускали только начальника экспедиции Игоря Станиславовича Ждановича, который добирался до раскопа на вихляющей старой “Тойоте”. Он был сухощав, коричневый, как прокопченное дерево, с семью бро-

вами, из-под которых смотрели усталые внимательные глаза. Его полотняный костюм продувался ветром. Белая панاما делала его похожим на чеховского дачника. Через плечо висела полевая сумка времён войны. Он скрывался в шатре и пребывал в нём часами. А когда выходил, его лицо было исполнено тихого блаженства, как у верующего при выходе из храма.

Говорили, что в шатре находится великолепный гончарный сосуд, испещрённый орнаментом. Или боевая колесница с двумя деревянными колёсами, окованными железом. Или плавильный горн с остатками золота. Жданович мало говорил с землекопами, только указывал, где копать и куда отвозить землю. Лемехов гадал, какая тайна скрывается в шатре и полевой сумке профессора, какие переживания делают его усталое лицо восхищённым.

В бригаде землекопов, где работал Лемехов, были люди, приехавшие в Аркаим, чтобы напиться волшебной энергией земли и небес, испытать космическое блаженство, преодолеть недуг и уныние. Здесь были молодые супруги из Астрахани Андрей и Женя. Она страдала бесплодием и надеялась под живительными звёздами Аркаима обрести потомство. Богатырского вида, светлокудрый, с курчавой бородкой, Аристарх из Перми исповедовал культ языческих богов и явился в Аркаим, чтобы поклониться божеству Солнцу. Маленький, с круглым милым лицом москвич Алексей был православным и считал, что отсюда, из Аркаима, вышли волхвы, чтобы возвестить миру о рождении Христа. Инженер Столбовский из Петербурга считал, что Аркаим является прародиной европейских народов, и Россия в споре с Европой обладает правом первородства. Архитектор Иосиф проектировал города будущего, в том числе космические поселения. Блаженный Ефим из общества “вселюбов” проповедовал любовь к людям, камням и животным. И ещё в бригаду пристроился слепой из Твери, баррикадник Вадим, потерявший зрение во время боёв у Белого Дома. Он не работал, а днями сидел на краю раскопа, похожий на сутулую птицу, не способную летать.

Все они ждали от Аркаима чуда, как и сам Лемехов, душа которого взростала к свету после падения во тьму.

Лемехов принёс флягу с водой охраннику, дежурившему у входа в заповедный шатёр. Полог шатра был опущен, таинственный экспонат оставался сокрытым, но Лемехову казалось, что вокруг шатра слабо светится воздух, будто из шатра исходило загадочное излучение.

Он собирался уйти, но в степи, переваливаясь на ухабах, показалась машина. Приблизилась. Из неё вышел профессор Жданович в своей неизменной панаме, с полевой сумкой через плечо. Следом появилась молодая женщина в сарафане с полуоткрытой грудью, пышными, выгоревшими на солнце волосами. Им сопутствовал оператор с телекамерой.

Они приблизились к шатру. Лемехов видел, как хмурится профессор, как игриво, словно поддразнивая его, поводит плечом журналистка. Оператор поднял камеру, начиная работать.

— Мне кажется, Игорь Станиславович, вы недовольны моим появлением, — улыбалась журналистка, поправляя на бронзовом плече тесьму сарафана.

— Признаться, я не очень люблю общаться с журналистами, — хмурил седые брови профессор. Его коричневое, провяленное на солнце лицо не скрывало раздражения.

— Но ведь вы заинтересованы в том, чтобы о вашем открытии, о вашем Аркаиме узнало как можно больше людей?

— Аркаим не нуждается в рекламе. Он сам о себе оповещает.

— Вы говорите об Аркаиме, как о разумном существе.

— Аркаим скрывался тысячи лет и именно теперь себя обнаружил. У Аркаима собственное представление о времени, и он живёт по часам, которые отсчитывают вечность.

Журналистка пленительно улыбнулась, давая понять, что напыщенные слова профессора кажутся ей забавными:

— Завтра, в день солнцестояния, тысячи людей, приехавших в Аркаим, поднимутся на гору Шаманку, чтобы встретить солнце. Ведь это новое язычество, не так ли? Вы создали этот языческий культ.

— Я скромный учёный, обычный археолог. Аркаим позвал меня, почему-то выбрал из сотен других. Через меня Аркаим обратился к людям. Люди его услышали, и теперь стекаются сюда со всех концов земли. А я только служу Аркаиму, выполняю его волю.

— Аркаим — божество, а вы его жрец. Я правильно вас поняла?

Оператор переводил телекамеру с нелюбезного, раздражённого Ждановича на сияющее, ироничное лицо журналистки. Было видно, что она испытывает легкомысленное любопытство к чудаку, проводящему свой век среди могильников. Для неё эта поездка в дикую степь была случайной. Она забудет об этом курьёзном человеке, вернувшись в столицу, где получит новые задания, станет говорить сюжеты о кинофестивалях, театральных премьерах, блистательных художниках и режиссёрах. Её профессия помчит её по другим городам и странам. Там мимолетно она познакомится с именитыми кудесниками, быть может, влюбляя их в себя, пленяя светом зелёных глаз, певучим голосом, доступной очаровательной женственностью.

— Но как относиться, Игорь Станиславович, к мнению видных учёных, ваших коллег, которые считают, что Аркаим, — как бы это помягче выразить? — считают, что это блеф. Вы создали блеф Аркаима, чтобы приобрести популярность, снискать расположение властей? — она мило улыбалась, зная, что вопрос ранит профессора. Причиняя ему боль, она испытывала удовлетворение, полагая, что эта боль сделает репортаж живым и привлекательным для публики. — Я даже слышала, как вас называют “шутком из Аркаима”. Ещё раз простите, это не я говорю.

— У Аркаима много врагов, — хмуро ответил Жданович. — Аркаим родился раньше Трои, раньше еврейской Торы. Летоисчисление Ветхого Завета опровергается. Мир сотворился здесь, а не в Месопотамии. Поклонники Ветхого Завета отождествляют меня с Аркаимом. Унижая меня, они хотят унижить Аркаим. Но нельзя унижить Солнце. Долгие тысячелетия Аркаим был невидим, скрывался от глаз людских. Но теперь, когда он решил выйти из тьмы, его нельзя скрыть. Он встаёт, как солнце. Солнце нельзя посадить в тюрьму.

Журналистке нравились эти ответы. Они казались напыщенными и потому уязвимыми. Её милая ирония и наивная женственность обесценивали истовость и одержимость жреца. В её сверкающих репортажах не было места для путающих истин, ради которых люди идут на крест. Лемехову, который слушал их разговор, журналистка казалась стрекозкой, нарядной, с прозрачными крыльями, которая присаживается на каменное изваяние, чтобы тут же взлететь.

— Я слышала, что вас хотят отлучить от Церкви. Один православный епископ называет вас язычником и богоборцем. Будто вы превратили Аркаим в огромное капище, куда стекаются язычники всех мастей. Вы действительно глава секты огнепоклонников?

— К Аркаиму стекаются люди, исповедующие любовь. Солнце — это любовь. Солнце — это Христос. Отсюда вышли когда-то три волхва, направляясь в Вифлеем, чтобы восславить Рождество Христово. Отсюда поднялась в небо Вифлеемская звезда и вела волхвов к яслям, где родился Христос. Среди людей, которые завтра взойдут на гору, будут христиане, мусульмане, буддисты. Господь направил свой благодатный свет во множество людских сердец, но все лучи исходят от единого Солнца.

Лемехову казалось, что словам профессора вторят озарённые светом холмы, ароматы полыни, высокое небо, которое чуть слышно звенело, будто из него на землю изливался незримый ручей. Профессор был переводчиком, знавшим язык камней, трав, степных птиц, воспроизводившим переливы небесных звуков. Профессор был избран, чтобы перевести людям волшебный язык Аркаима.

— Я попрошу вас, Игорь Станиславович, расскажите теперь, что это за место такое, Аркаим? Кто такие арии? Откуда они взялись и куда делись? Только, Бога ради, языком понятным даже таким невеждам, как я. Может, и я стану огнепоклонницей, — она посмотрела на солнце, которое играло на её обнаженном плече, стекало в вырез сарафана на полуоткрытую грудь. Бы-

ло видно, что рассказ профессора она заранее обрекла на утончённое осмеяние. Лемехову казалось, что Жданович сейчас повернётся и уйдёт, чтобы избегнуть насмешек, и его выцветшая панاما забелеет среди рыжих холмов. Но он остался, позволяя оператору снимать своё утомлённое лицо, свои пыльные башмаки и коричневые, как корневища, руки.

— Вы видите этот круг, очерченный холмами? Мы находимся на дне чаши, края которой уходят ввысь. Мы на дне колодца, соединяющего небо и землю. Сюда с небес льются потоки небесных сил, оплодотворяют землю, влияют на земную жизнь, создают всё новые и новые формы земного бытия. Все, кто посещает Аркаим, чувствуют эти небесные лучи. Иным кажется, что их живыми берут на небо. Другие перемещаются из настоящего в прошлое. Третьи общаются со своими умершими пращурами. Аркаим — это око,зирающее с неба. Быть может, и вы почувствуете волшебство Аркаима, если он увидит в вас любящее сердце.

Журналистка собиралась вставить ироничное словечко, которое подействовало бы, как песчинка, влетевшая в глаз Аркаима. Но словечка не нашлось. Губы её тесно сжались, словно их кто-то запечатал. А Лемехов вспомнил мгновение невесомости, которое пережил, оказавшись на дне волшебной чаши.

— Пять тысяч лет назад, сюда, на Южный Урал с севера пришло изнурённое племя, — профессор не лекцию читал, а вёл сказ: он говорил голосом сказителя, нараспев. — Племя покинуло чудесную землю, которую Гесиод называл Гипербореей. Это была заполярная земля, где росли тропические леса, растиались райские дуга, обитали райские звери. И вдруг наступило похолодание. Леса замёрзли, дуга покрылись льдом, звери погибли. Племя гипербореев покинуло свой рай и ушло на юг, теряя по пути соплеменников, редая и дичая. Но явившись сюда, в Аркаим, оно попало под воздействие благодатных лучей, преисполнилось космических сил. Стало размножаться, обзавелось городами и обсерваториями, гончарными мастерскими и литейными цехами. Совершило открытие, которое изменило ход мировой истории: изобрело колесо, построило колесницу, и лошади, запряжённые в колесницы, стали стремительно переносить людей из края в край. Когда арии умирали, их хоронили в позе эмбриона, ибо они возвращались в матку, их породившую. Перед глазами покойника кляли кристалл горного хрусталя, который преломлял луч солнца и соединял мир живых с миром мёртвых. Когда чаша Аркаима наполнилась до краев, народ, именуемый ариями, двинулся из этих мест на освоение новых земель. Одни арии, унося с собой великие стихи “Ригведы”, устремилась в Индию. Другие, унося свитки “Авесты”, двинулась в Иран. Так арии распространились по миру, создав несколько великих цивилизаций. Здесь, в Аркаиме, в этой матке, оплодотворённой Космосом, зародилось современное человечество, к которому принадлежим и вы, и я.

Профессор Жданович начинал свой рассказ урюмом, тусклым голосом, уязвлённый насмешками прелестной женщины. Но потом его голос зазвенел, певуче вознёсся, как у проповедника, черпающего вдохновение у божества. Суровое лицо его преисполнилось света, которым озарялись солнечные холмы Аркаима.

— Вы говорите, арии. Арийские племена. Но разве это не отдаёт фашизмом? Я слышала, сюда приезжают молодчики со свастикой на рукаве. Они поклоняются не солнцу, а Гитлеру. Вас это не пугает? — журналистка смотрела на Ждановича враждебно, с тёмным страхом в глазах, будто Аркаим угрожает её собственному благополучию, став помехой её увлекательной жизни, лишая её успеха, мужского обожания.

Жданович заметил этот страх. Теперь он раздумывал, продолжать ли рассказ, раскрывая тайну Аркаима этой поверхностной женщине, или замкнуться, уйти прочь, унося с собой эту тайну.

— Аркаим — это место, где камень становится хлебом, вода — вином, трус — храбрцом, ослышавший — огненным, слепец — пророком, грешник — угодником Божиим. — Голос профессора гудел, как труба. Он воздел руку, и казалось, пальцы его исполнились электричества, и по ним пробежала вспышка. — Об Аркаиме намекали древние тексты. Аркаим присутствовал

в учениях и пророчествах древних народов. О нем подозревал Гитлер, исследуя древние карты Урала. Величайшей тайной минувшей войны был стратегический маневр германской армии, которая, не взяв Москву, не обезглавив Россию, устремилась вправо в бескрайние степи Поволжья. Гитлер хотел захватить Аркаим, хотел захватить колодец, ведущий на небо, хотел подключиться к неиссякаемой энергии Космоса, чтобы стать властителем мира.

Журналистка смотрела на профессора остановившимися глазами, будто смуглолицый кудесник околдовал её. Она не понимала смысл услышанных слов, но была околдована гудящим голосом, горькими степными ароматами, низким солнцем, от которого на холмы легла волнистая тень. И казалось, холмы шевелятся, как накрытые кошмой великаны.

— Сталин знал о существовании Аркаима на южном Урале и бросил на Волгу, наперерез Гитлеру Советскую Армию. Чудовищная битва у Сталинграда была битвой за Аркаим, за мировое владычество. Аркаим принимал участие в битве и был на стороне России, поэтому Сталин одолел Гитлера и низверг его в ад. Красное знамя Победы — это знамя Аркаима. Но Сталин не успел послать археологов и открыть Аркаим. Советский Союз исчез, не сумев подключиться к источникам небесных энергий.

— Вы мне рассказываете миф? — погасшим голосом спросила журналистка без прежней игривой иронии. — Вы не воспринимаете меня всерьёз?

— Вы изменились на глазах. Аркаим вас изменил. Он изменяет всех, кто к нему приближается: маловер становится верующим, легкомысленный человек — углублённым, эгоист — самоотверженным. Я отношусь к вам с большим почтением. Нас познакомил Аркаим. Значит, ему это было угодно.

Лемехов видел, как переменялась молодая женщина, которая являлась сюда, как являлась всегда в весёлые компании обожателей и друзей. В ней было что-то от прелестной танцовщицы, выставившей напоказ свои гибкие запястья и голые плечи. Теперь же она выглядела робкой, неуверенной, как прихожанка, первый раз заглянувшая в храм.

— Аркаим является бесценным достоянием России. Здесь зародились великие народы, сложились цивилизации Индии, Ирана и Европы. Сюда, в Аркаим, влечёт их реликтовая память, как птиц, никогда не забывающих места своих гнездовий. Как знать, если Европа станет уходить под воду, и океан зальёт европейские столицы, не сюда ли хлынут потоки европейских беженцев спасаться на своей прародине? Россия примет беженцев. Аркаим питает их небесными злаками.

Смиренная прихожанка стояла перед Ждановичем, который теперь стал терпеливым пастырем. Ему была дорога любая душа, признающая волшебство Аркаима. И Лемехов был прихожанином этой таинственной церкви, окруженной холмами, под куполом бледного неба, из которого нежно сочилась лазурь.

— Россия богата нефтью, лесом, алмазами. Она добывает энергию на атомных станциях. Но существует бездонная кладовая энергии — небо над Аркаимом. Здесь нисходят на землю потоки энергии из бездонного Космоса, которые питают империи. Здесь зарождались великие империи прошлого. Здесь зародится великая империя будущего. Сюда в скором времени явится лидер, которого Аркаим вдохновит на создание новой империи. Я не знаю, кто этот лидер. Может, он едет в раскалённом автобусе среди изнурённого люда. Может быть, завтра он вместе с нами пойдёт на гору встречать рассвет. Может быть, он работает у меня на раскопе.

— А может быть, это вы? — с обожанием спросила журналистка.

— Не я, — ответил профессор. — Я всего лишь слуга Аркаима. Я растворил его запечатанные веки.

— А как вы нашли Аркаим? Это было похоже на чудо?

— Это и было чудо. Его искали столетиями и не могли отыскать. Сюда проникла тайная экспедиция “Аненербе”, но ничего не нашла. Здесь ходили археологи НКВД, но и они ничего не нашли. Сюда приезжали маститые археологи мира, предчувствуя спрятанную в этих степях родину ариев, но ничего не нашли. Аркаим открылся мне. Бог весть, за какие заслуги.

— Как это было?

Профессор смотрел на женщину, словно хотел убедиться, что в ней совершается преобразование. Она испуганно ждала его слов, боясь, что не дожждётся их, и он уйдёт, оставив её в вечерней степи, не завершив свой сказ.

— Как это было? — умоляюще повторила она.

— Я исходил пешком эти холмы, ощущал их все руками в надежде найти хоть малый признак той “страны городов” — Гардарики, — о которой свидетельствовали древние поэмы. Всё тщетно. Пора было покидать эту степь. В Москве в это время шла перестройка, гудели толпы, трещали основы государства. Уходил в небытие Советский Союз, красная империя. Я ждал машину, чтобы уехать навсегда из этих мест. И в последнюю ночь перед отъездом мне приснился сон. Мне явился отрок, светлый лицом, с золотой перевязью на лбу, какую носили огнепоклонники. И говорит: “Полети! Полети!” Я просыпаюсь и понимаю, что он зовёт меня пролететь над холмами. Но где взять самолёт? Выхожу из палатки и вижу маленький двукрылый самолёт сельскохозяйственной авиации. Трещит мотором, подкатывает прямо к палатке. Лётчик из кабины машет мне, дескать, садись! Мы воспарили над степью, и сверху я вижу эту “страну городов”. Вижу множество кругов и квадратов, очертания поселений и храмов, линии дорог и каналов. Лётчик повернулся ко мне, и я вижу: у него из-под шлема золотится перевязь. Земля вдруг стала прозрачной, как стекло, и я с высоты увидел убранство жилищ, гончарные мастерские с сосудами, плавильни со слитками меди, колесницы на лёгких деревянных колесах, погребения, где в позе эмбрионов лежат усопшие, и перед их глазами мерцают кристаллы горного хрусталя. Я сделал фотографии. Мы облетели степь. Самолёт посадил меня у палатки и скрылся, и я больше никогда не видел этого пилота. С огромными трудами я организовал экспедицию и открыл этот волшебный город по имени Аркаим. К этому времени исчез Советский Союз. Но Аркаим показал себя людям, чтобы положить начало новой евразийской империи, идущей на смену ушедшей.

Профессор Жданович умолк, и его лицо под панамой было величественным и спокойным, как у того, кто исполняет великий завет, волю Творца.

— Это чудо! Вам было явлено чудо! — журналистка смотрела на профессора с обожанием, как порой прихожанки пламенно взирают на любимого пастыря. — Быть может, лётчик с золотой повязкой был Ангелом небесным?

— В Аркаиме все становятся ангелами.

— Я слушала вас. Вначале не верила. Мне наговорили о вас много дурного. Теперь я знаю, что это были плохие люди, а вы святой! — она протянула к нему руки, словно хотела обнять. Но не решилась и молитвенно сложила их на груди. — Позвольте мне остаться с вами. Поручите мне любую работу. Я могу копать землю, варить еду, ухаживать за вами. Я хочу вместе с вами быть в Аркаиме!

Профессор кивнул, и было неясно, оставляет ли он эту женщину подле себя или в который раз убеждается в чудодейственной силе Аркаима, превращающего воду в вино.

— Ступайте за мной, — сказал он.

Они приблизились к шатру. Охранник по знаку профессора поднял полог. И Лемехов увидел в свете красноватого солнца в сухой земле погребение. Хрупкий скелет с мучнистыми ребрами лежал в позе эмбриона, приблизив костяные колени к подбородку желтоватого черепа. Череп улыбался. Перед его пустыми глазами драгоценно сверкал кристалл горного хрусталя, улавливая луч залетевшего в палатку солнца.

— Это арий, от которого повелось новое человечество, — сказал профессор.

Глава тридцать шестая

Лемехов шёл в толпе. В темноте не было видно лиц, но рядом качался тюрбан, ниспадало до земли покрывало. Казалось, по дороге шли древние племена, двигались воскрешённые народы. Разверзалась земля, открывались усыпальницы. Из них выходили усопшие, облечённые в плоть. Лемехову чу-

дился сырой земляной запах тления, ветхих одежд. Что-то слабо мерцало, быть может, кристаллы горного хрусталя. Мёртвые присоединялись к живым. Все торопились к горе, чтобы восславить божество, которое посылало впереди себя золотую вестницу.

Гора приближалась. В темноте её склоны шевелились, покрытые восходящей толпой. Вершина, чёрная на фоне зари, колебалась от множества бредущих по ней людей.

Лемехов задыхался. Его влекла заря. Её незримые алые руки поддерживали его, помогая взбираться на кручу. Подхватывали, когда он спотыкался. Отводили в сторону от тёмных расселин.

Он неотрывно смотрел на зарю. В ней — розовой, золотой — звучали слова, обращённые к нему. Слова величественные и певучие, в которых раскрывалась тайна сотворения мира. Лемехов был причастен к этой грозной и восхитительной тайне. Его путь на гору складывался с бесчисленными дорогами и путями, по которым он шагал, плыл и летел. Но заря, её алые и золотые слова, её волшебная тайна приближались из будущего. Заря освещала путь, тот, который совершала душа его от рожденья до смерти и дальше, в бесконечном бессмертном странствии.

Он вошёл на вершину. Там было множество людей, и казалось, от их колыханья гора качалась. По другую сторону горы открывалась низина, над которой пламенело небо. Низина была в тени, но тонкая струйка реки зеркально сверкала, отражая зарю. Множество людей сидело на склоне, обратив лица к заре. Они были похожи на оцепеневших недвижных птиц, сидевших на гнёздах.

На самой вершине двигался непрерывный людской хоровод. Камнями была выложена просторная спираль. Люди входили в устье спирали и шли по кругу, медленно, виток за витком, приближаясь к центру. Глаза у некоторых были закрыты, словно их вёл поводырь. Другие смотрели в небо, произнося невнятные молитвы. Достигая центра спирали, они замирали, вознося руки, словно прикасались кончиками пальцев к небу. Потом выходили из спирали и садились на склон лицом к заре, как заколдованные птицы.

Лемехов ступил в спираль. Перед ним шёл огромного роста казах, босиком, в пестрой шапочке. Он старался не наступить на босые пятки женщины в восточном одеянии. Лемехов сделал несколько шагов, и почувствовал, что его захватил бесшумный вихрь, закрутили действующие в спирали силы. Словно с небес прилетало мерцающее излучение, закручивалось спиралью, набирало силу, пронзало идущих людей.

Ему стали являться видения, словно во сне. Он увидел комнату давно умершего деда, в которой побывал только раз, но теперь отчётливо видел фарфоровую настольную лампу с шелковым абажуром. На стенах висели картины. Серебряная ложечка с монограммой преломлялась в чашке чая. Лицо деда замерло с полукрытым ртом, будто он не успел произнести какое-то слово.

Он увидел мраморный памятник на каком-то безвестном кладбище. На мраморе отчётливо была выведена фамилия “Лемехов”, в углубления букв набилась пыль.

Потом его закрутило, как на карусели, он поднялся ввысь и увидел землю, голубую, с завитками облаков, и понял, что перенёсся в Космос.

Начались вспышки, напоминавшие шаровые молнии, и эти вспышки были одушевлёнными, у них была душа, и он испытал от встречи с ними блаженство.

Он достиг центра спирали и встал рядом с казахом, воздев, как и он, руки к небу.

Ещё недавно, в прежней жизни, он занимался Космосом, готовил ракеты и аппараты для космического рывка. Но теперь он находился в Космосе без ракет. Космос сам явился к нему, на вершину горы. Аркаим был космическим кораблем, который приводился в действие волшебной спиралью.

Испытывая чудную невесомость, он покинул спираль и сел на склон, глядя на бесшумную зарю. Она росла, разгоралась. От неё поднимались волны — алые, золотые, розовые. Божество приближалось. Люди вставали

с земли, звали его и славили. Лемехов видел, как Женя раскрыла живот, подставляя его заре, чтобы целительная сила оплодотворила её. Язычник Аристарх воздел руки, безмолвно возглашая хвалу. Паломник Алексей восхищённо смотрел на зарю и читал “Отче наш”. Слепец Вадим обращал к заре свои стиснутые глаза, ожидая, что алые капли света проникнут сквозь тьму. Казах в разноцветной шапочке стоял на молитвенном коврике и молился. Буддист в оранжевой хламиде гудел свои песнопения. Все волновались, ликовали, славили восход божества.

На горе появился профессор Жданович, всё в той же помятой блузе и панаме. За ним следовала журналистка, с обожанием глядевшая на любимого пастыря. Жданович извлёк книгу, на её кожаном переплёте блеснула отгиснутая золотом надпись: “Ригведа”. Жданович раскрыл книгу так, чтобы заря освещала страницы, и стал читать:

*Смотри, ночь уходит.
И восходит на своё ложе заря.
Вот льётся свет,
Наилучший из всех светов.
Огонь утренний, лучистый.
Заря блестящая, пришла она.
Вся белая, со своим телёнком.
Чёрная ночь уступает ей своё место.*

Жданович читал восторженно и певуче, как читают священную книгу. Все сошлись к нему, ловили вещие слова. Он был вероучитель, он привёл на вершину горы свой народ. Он проповедовал им религию зари, благую весть Аркаима. Лемехов чувствовал, как приближается что-то огромное, могучее, лучезарное. Не только там, за горизонтом, где пылала заря, но и в его душе, истомившейся, верящей, ожидающей чуда.

*Заря появилась, сияющая.
Она разбудила живущий мир,
Показала нам богатства.
Заря разбудила все существа.
Она заставляет встать лежащего,
Другого заставляет искать пищу.
Слабому зрением показала дали,
Другого послала добиваться владычества.
Того — славы, этого — почестей,
А иного побудила идти куда-то в путь.*

Лицо Ждановича, озарённое светом, казалось властным и грозным. Его блуза и панамы, залитые алым светом, казались облачением жреца. Лемехов испытывал ликование. Могучая сила рвалась из него навстречу восходящему солнцу. Одно светило выходило над горизонтом, распахнув зарю, другое — в его душе. Два солнца готовы были слиться в одно.

*Это дочь небес явилась в свете,
Юная женщина в яркой одежде,
Та, что царит над всеми благами.
Счастливая заря сияет над землёй сегодня,
Она идёт дорогою прошлых зорь.
Сияя, она оживляет того, кто живёт,
Но того, кто мёртв, заря оживить не может.
Они ушли, смертные,
Видавшие зори прошлого.
Это нам теперь позволяет она любоваться собою.*

Из-за далёких холмов возник красный огонь. Окружённое зарей, наконец, появилось солнце — пылающий свет хлынул в долину. Река сверкнула, как расславленное стекло. Гора, озарённая солнцем, ахнула. Лемехов почув-

ствовал, как рванулась в груди скопившаяся немота, ударила бурно наружу, сначала клёкотом, потом рыданием, а потом неудержимым извержением стихов. Пушкинских, полузабытых, из детства, из книжек, что читала бабушка, из маминого потрёпанного томика, из тех стихов, что разучивала жена, собираясь на праздник. Лемехов смотрел на солнце, грудь его сотрясали рыдания, и он громко, боясь, что его вновь покинет дар речи, читал:

— “Горит восток зарею новой!..” “Да здравствует солнце, да скроется тьма!..” “Волхвы не боятся могучих владык!..” “Мороз и солнце, день чудесный!..” “Сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою!..” “Три девицы под окном прями поздно вечером!..” “О, поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями!..” “Как мимолётное виденье, как гений чистой красоты!..”

И совсем неведомое ему, Бог весть откуда залетевшее в его озарённую память: “Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел нереиду...”

И вслед за этими волшебными стихами полыхнуло беззвучно: “Таврида! Крым!..”

Он стоял на горе, среди всеобщего ликованья и рыдал, счастливо повторяя: “Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду...”

Глава тридцать седьмая

Он шел по открытой степи, в жарком безлюдье, без дорог, без тропок, куда глаза глядят. Башмаки его были в пыли, к одежде прилепились колючие семечки степного бурьяна. Ему было легко и свободно. “Как птице небесной”, — думал он, не ведая, где обретёт ночлег.

Вдруг он услышал в небе тихий стрёкот. Маленький вертолёт делал круг над ним, мерцал на солнце колпак кабины, трепетал стеклянный круг винта. Вертолёт совершил над его головой дугу и стал снижаться. Сел неподалёку, окружённый солнечной пылью.

Из-под винта вышел человек, пригибаясь, направился к Лемехову. Тот встал. Человек приближался. На нём была светлая рубаша и свободные брюки. Он закрывал ладонью глаза, защищаясь от пыли, и Лемехов не мог разглядеть его лица. Человек подошёл ближе, опустил руку, и Лемехов узнал в нём генерала Дробинника: всё то же бледное узкое лицо без загара, розовый шрам, прозрачные глаза, в которых притаились чёрные точки-мишени.

— Здравствуйте, Евгений Константинович, — произнёс Дробинник, не подавая руки.

— Как вы меня нашли, Пётр Тихонович? — изумился Лемехов.

— Я никогда не выпускал вас из вида. Вы слишком заметны, Евгений Константинович, чтобы потеряться.

Кругом была солнечная пустота, без дорог, без телефонных вышек и высоковольтных опор. Было неясно, чей глаз, чей зоркий окуляр мог следить за Лемеховым в этом безлюдье.

— Я не должен был спрашивать, Пётр Тихонович. Вы же “всевидящее око”, “око государево”. Чем я могу быть вам полезен?

— Президент Юрий Ильич Лабазов просит вас вернуться в Москву и приступить к работе.

Лемехов не удивился, остался равнодушным к услышанному. Его звали туда, откуда он ушёл навсегда, где его больше не было, в то прошлое, которое сгорело дотла.

— Я забыл, чем занимался, Пётр Тихонович. Я не умею делать то, о чём просит меня президент.

— Вы очень нужны президенту, Евгений Константинович. Очень нужны государству.

— Но что произошло? Я не оправдал доверия президента, и он отвернулся от меня. Он был прав. Я совершил много ошибок, много о себе возомнил, нарушил неписанные законы. Он поступил справедливо, и я смирился с его справедливым решением. Теперь я другой человек. Я не могу вернуться в то место, которого для меня больше нет.

— Президент зовёт вас и просит встать рядом с ним. Предстоят огромные перемены, огромный поворот. Этот поворот будет столь крут, что многие не удержатся на палубе, и их снесёт. Другие будут так потрясены переменами, что утратят дееспособность и окажутся ненужным балластом. Третьи обратят свою ненависть на президента и постараются его уничтожить. Он считает вас выдающимся деятелем, настоящим государственным, сыном Отечества. Вы очень нужны ему.

— Какие же грядут перемены?

— Вы встретитесь с президентом, и он сам вам расскажет. Русское государство достигло в своём развитии такого уровня, что оно способно ставить перед собой огромные цели. Во внешней политике, в оборонной сфере, в развитии самого государства. Нам предстоят деяния, которые изменят роль России в современном мире. Мир ждёт от России нового слова, и Россия произнесёт это слово.

Лемехов смотрел в прозрачные глаза генерала, на дне которых чернели икринки. В них таилась опасность, но она не пугала Лемехова. Он был неуязвим. В нём больше не было честолюбия, не было азарта и страсти, которые прежде управляли его поступками. Он изжил в себе погоню за успехом, неутолимое стремление к власти, восприимчивость к мифам, объясняющим судьбу России. Он знал теперь многое о конце времён, знал, как свищут соловьи на рассвете и как теплится нежно в руках лёгкое тельце младенца. Он прочитал письма в огромной каменной книге, где говорилось о сотворении мира и о месте человека в этом мире, о месте сверкающей рыбы и медведя в сиреновом тумане реки. Он встречал солнце на божественной горе и узнал, что такое бессмертие.

Он хотел проститься с Дробинником и идти дальше в своём одиночестве, унося с собой драгоценное знание.

— Как чувствует себя президент?

— Прекрасно. Он полон сил и замыслов. От него исходит энергия, словно он преобразился. Возвращайтесь в Москву, Евгений Константинович.

— Да, я хотел вас спросить. Вы ничего не знаете о господине Верхоустине? Кажется, он Игорь Петрович?

— Нет, почти ничего не знаю. В одной калифорнийской газете было написано, что Верхоустин погиб в автомобильной аварии где-то в районе Сан-Диего. Больше мне ничего не известно.

— Ну, прощайте, Пётр Тихонович.

— Подумайте, Евгений Константинович, о предложении президента. Я найду вас через несколько дней.

Дробинник повернулся и пошёл к вертолёту.

Вертолёт взмыл, сверкнул на вираже и скрылся, рассыпав над степью звенящую пыль.

Лемехов шёл по вечерней степи, и его тень убегала в красноватую даль. Он утомился и лёг на землю. Раскрыл руки крестом. Одна рука уходила на восток, через великие равнины и реки, сибирские города и озёра, к Китаю, который вздымал свои небоскрёбы, развёртывал могучие армии, выплёскивал в мир стужки раскалённой энергии. Другая рука уходила на запад, касаясь готических храмов, великих европейских столиц, священных камней, которые веяли красотой и вечной распрей, предвестницей войн и нашествий. Его ноги протянулись к Ирану, к зелёным изразцам и зеркальным мечетям, к атомным центрам и танкерам, плывущим в горячих водах. Его голова покоилась на подушке полярных льдов, под радугами негасимых сияний.

Он был огромной страной, которая его породила, обрекла на любовь и боль, на будущую смерть и бессмертие. Он не знал своего будущего и будущего великой страны. Но оно, безымянное, приближалось, вовлекало в себя всю его боль и любовь. И там, впереди, в том будущем, которое его поджидало, восхитительно и волшебно звучало дивное слово “Крым”.

ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН



ВСЁ ТЕБЕ ОТМЕРЕНО
СПОЛНА

* * *

Мы шли вперёд. Нам счастья было мало.
Наш мир был беспощаден и суров.
И Родина над нами простирала
Спасительно-прощающий покров.

Отринув Бога, мы вершили чудо.
Но неминуем был расплаты час.
И вот однажды мстительный Иуда
За три копейки взял и продал нас.

А мы же, ничего не понимая,
Возликовав в преддверии наград,
Решили, что отверзлись двери рая,
И угодили разом — прямо в ад!

И Ангелы в тот день сложили крылья,
И ослепила ночь тоской своей.
И плакал я от горя и бессилья,
Когда не стало Родины моей.

МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович родился в 1961 году в г. Мурманске. Автор пятнадцати поэтических книг. Член Союза писателей России. Академик Петровской академии наук и искусств, Российской академии естественных наук. Кавалер ордена Преподобного Серафима Саровского РПЦ и различных литературных премий. Сопредседатель Попечительского совета альманаха "День поэзии — XXI век". Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры. Живет в Ханты-Мансийске.

А ныне всё — то ложь, то бездорожье.
Куда бредём бессмысленной гурьбой?
Но свято верю я, что Матерь Божья
Уверовавших заберёт с собой.

И я, верша свой путь по белу свету,
Люблю, всё безнадежней и сильней,
Ту Родину, которой больше нету,
И землю ту, что не было родней!

* * *

Что мне причинно-следственные связи,
Когда судьба обрушит с ветерком
Ничтожество okazji и фантазий
И всех вождей обложит матерком.

И опрокинут склочные метели
От звёзд опустошённый небосвод,
И ото сна очнувшийся Емеля
С печи в снега со щукою сойдёт.

А где-то там, за сумеречным лесом,
Растает гул полночных автострад.
И жизнь моя полуночным экспрессом
Летит во мглу ночную наугад!

* * *

И жизнь прожил, и поле
Почти что перешёл,
Но только лучшей доли
У Бога не нашёл.

Не ведал строгих правил,
Но сильно жаждал жить.
Но раз Господь управил,
То так тому и быть.

Иду, скорбя и мучась,
В огне грехов горю,
Но Господа за участь
Свою благодарю.

В неистовом раздолье
Теряются пути.
Мне б только это поле
Достойно перейти.

Иду по белу свету,
Свой скорбный путь верша,
Молясь, чтоб тихим светом
Наполнилась душа!

* * *

Печалюсь и маясь
В полуночной мгле,
Бежим, спотыкаясь,
По грешной земле.

Туманные дали
Пугают слегка.
Нас сушат печали,
Нас душит тоска.

Как листья осенние,
Мечутся дни.
И мы на планете
Тоскуем одни.

Теряем без неба
Державную статью.
А завтра и хлеба
Не будет опять.

Без веры и Бога
Ушли в никуда.
И ждёт у порога
Лихая беда.

А с Богом — не страшно,
И всё нипочём.
И Ангел-хранитель
За правым плечом!

* * *

Река времён течёт неумолимо.
А мы плывём по ней куда-то мимо
Высоких целей, в морок — в никуда...
И проплывают мимо города
Любви, надежды, веры,
и в тоске
Волна речная тает на песке.
Не ведая ни следствий, ни причин,
Таинственно и сумрачно молчим.
И то сказать: ведь каждый сыт и пьян,
И точно знает курс наш капитан,
И твёрдо верим в то, что ждёт потом...
А Родина — осталась за бортом!

* * *

А кто мы — готы или скифы,
И что для нас важней всего?
Но жив народ, покуда мифы
Живут в сознании его.

Пускай вожди в шеренги строят,
Но в толерантности тупой
Живуч народ пока герои
Бессмертны в памяти людской!

Они, из пепла восставая,
Являлись в мир в полночный час.
Мы поклонялись им, внимая
Тому, что не хватало в нас.

Хотя и не во всём святые,
Как мы совсем — ни дать ни взять! —
Но жизнь готовы за Россию
Без колебания отдать!

А ныне, без святых устоев,
Мирское тает бытие.
Страна осталась без героев,
А значит — отжила своё...

Давно уж по чужой указке
Живём в плену иных времён...
Но жив народ, покуда сказки
Желает сделать былью он!

* * *

Такая вот работа:
Всю жизнь — туда-сюда,
Ночные самолёты,
Ночные города...

Полжизни расплескалось
В чаду случайных встреч.
И что теперь осталось?
И что теперь беречь?

Не мучаюсь напрасно
Об участи такой.
И звёзды в небе ясном
Сверкают надо мной.

Насквозь промёрзшим небом
В морозном вихре мчусь,
Закусываю хлебом
И Господу молюсь!

* * *

А по жизни всё всегда в начале.
И повсюду — Божья благодать.
И о чём вчера переживали,
Вряд ли стоит нынче вспоминать.

Всё пройдёт. Точнее — всё промчится,
Всё Господь устроит по судьбе.
И всё то, что в жизни не случится,
Стало быть, не надобно тебе.

И опять сверкает солнце ясно,
И сияют звёзды и луна...
Не кляни судьбу свою напрасно —
Всё тебе отмерено сполна.

* * *

Погаснут светила в полуночный час,
В преддверье крушения эпохи —
Они пожалеют, что тронули нас,
Что песню прервали на вздохе.

Струится забвения лунная пыль,
Опустится сумрак бездонный,
Огнём погребальным взметнётся ковыль
Над Родиной снежной и сонной.

Судивший нас — с нами во мрак снизойдёт,
Кровавой напившись свободы.
Сомкнётся над нами бессмертия лёд,
Застынут мятежные своды.

Но снова заплещется Веры вода
В глазницах пустых океана.
Истлеют, рассыплются в прах невода,
Развеются клочья тумана.
И в страхе изыдет полуденный бес,
И спустится Ангел с высоких небес.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“И БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ...”

Размышления о судьбе и творчестве Юрия Кузнецова

V. “Пушкин – это наше прошлое”

Характер у Ю. П. был нелёгкий. Все мы, наверное, помним, как он перечеркнул литературные судьбы многих поэтов и не только своих однофамильцев:

*Звать меня Кузнецов. Я один,
Остальные — обман и подделка.*

Многих известных современников не пожалел, иногда ради красного словца, а иногда и по делу: Ахматову, Цветаеву, Леонида Мартынова, Винокурова, о которых что-то цедил сквозь зубы с демонстративным высокомерным пренебрежением. А чему удивляться? Он и Александра Блока не пощадил, и даже о самом Александре Сергеевиче не раз пытался судить свысока.

Из воспоминаний скульптора П. Чусовитина:

“17 ноября по телефону звонит Кузнецов:

– **Что делаешь?**

– Пишу статью и дошёл до Пушкина...

– Ну, и зря. В 1921 году вымели всех дворян, и вместе с выметенной дворянской культурой кончился и Пушкин. Пушкин, конечно, гений, это непоколебимо ясно, поэзия ведь не умирает, как никогда не погибает и народ, но он остался в сложном закате дворянской культуры XIX века, и, заметь, с XIX века не было сказано ни одного нового слова о Пушкине. Пушкин – это наше прошлое, он как поэт античного типа принадлежит русской античности, в нём мало и христианского, если на то пошло, он как бы вылитый античный монолит. И он отнюдь не был пророком. А если и был, то что же напроорочил? Движение катастрофических событий и сама революция произошли не по Пушкину, не по вездущему внутреннему устремлению этого человека, поэтому его отдельные попытки пророчествовать оказались несостоятельными. Нет-нет, поэта пушкинского типа больше не будет. Это личность именно поэтическая, а не социальная. Вот так, дорогой мой.

Мы, русские, ещё не выработали нового цвета культуры, сравнимого с Пушкиным, а пока быдло, говоря по-польски, или мужичьё творит,

Продолжение. Начало в №8 за 2014 год.

так сказать, что попало, им ведь нужно как-то утвердиться перед громадным океаном неизвестности.

Зайдя через некоторое время в мастерскую и найдя на столе записанный с его слов текст, приписывает своей рукой: **“Революцию напроорчил пушкинский “пророк” своим змеиным глаголом (Ю. К.)”**.

А ведь размышлениями о том, что “вместе с выметенной дворянской культурой” “в 1921 году” “кончился и Пушкин”, в те времена баловались многие строители новой эпохи от Маяковского (“Сбросим Пушкина с парохода современности”) до Луначарского (“Пушкин не покинул до конца аристократических позиций”). Читая “воззрения” Юрия Кузнецова о Пушкине, поражаешься: неужели он не знал оценок пушкинского творчества Фёдором Михайловичем Достоевским, сделанных им в “Дневнике писателя” и, конечно же, в знаменитой Пушкинской речи?

“Пушкин – это наше прошлое”? Не может быть, что Кузнецову и гоголевское предсказание о Пушкине как об идеале русского человека, который нам “явится через двести лет”, не было известно. Не верю.

Как не верю и тому, что он, великий книголюб, не знал слов Достоевского: **“По-моему, Пушкина мы ещё и не начинали узнавать: это гений, опередивший русское сознание ещё надолго”**.

Читая размышления Юрия Кузнецова о Пушкине, записанные Чусовитиным, приходится спорить чуть ли не с каждой кузнецовской мыслью: **“В нём мало и христианского, если на то пошло. Он как бы вылитый античный монолит”**. А тут хочется сказать: от “античного монолита” слышу! Он ведь и сам “вытащил из лба золотую стрелу Аполлона”, он ведь и сам восхищался Европой, плывущей по Средиземному морю на спине быка-Зевса, он ведь и сам на Золотой горе сливал в свою чашу опивки из чаш Гомера, Софокла и Пушкина. В своём убеждении об “античности Пушкина” Поликарпыч упорствовал всю жизнь.

“– Ну, что, я убедил тебя, что Пушкин – не христианский поэт? – Он даже не дал мне ответить и тут же продолжил:

– Я тебе представляю весь строй стихов, вдохновлённых Аполлоном, а ты пытаешься этому противопоставить несколько поздних стихотворений” (из воспоминаний Сергея Куняева).

Получив “крещение стрелой в лоб от Аполлона”, Юрий Поликарпович обречён был заявить: **“В небе Пушкина царит Аполлон с музами”**...

Но Александр Пушкин, много раз присягавший в молодости на верность Аполлону, в свои тридцать лет (!) уже расстался с аполлоническими соблазнами:

*Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображениея.*

*Один (Дельфийский идол) лик молодой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.*

*Другой — женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон — лживый, но прекрасный...*

Вот так возмужавший и якобы легкомысленный Пушкин расставался с кумирами своей молодости: с Аполлоном и Афродитой – изображениями “двух бесов”. У Юрия Поликарповича этих бесов, живших рядом с ним чуть ли не до конца жизни, было куда больше.

Да и христианское понимание мира у Пушкина заключается не только в нескольких евангельских стихотворениях последних лет. Всё его творчество после 1825 года – стихи, проза, драматургия – изобилует героями, которые овладевают любовью читателей и вознаграждаются за своё смирение, милосердие, за то, что живут по совести, за то, что верны чести и долгу. Это отец Петруши Гринёва и сам Петруша Гринёв, и вся семья коменданта Белогорской крепости Миронова, и верный друг и слуга молодого барина Савельич, и трогательный в своём простодушии житель села Горюхина Иван Петрович Бел-

кин, и Пимен-летописец, и юродивый Николка, и Татьяна Ларина, и чеченец с христианской душой Галуб, и кроткий, смиренный старик из “Сказки о золотой рыбке”, это и сам Пушкин, призывавший “милость к падшим”, – словом, это отнюдь не античные герои, это русские православные люди. **“И он отнюдь не был пророком, его отдельные попытки пророчествовать оказались несостоятельными”**, – якобы говорит Кузнецов Чусовитину о Пушкине. Но разве слова Пушкина о революционерах: **“Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка – полушка, да и своя шейка – копейка”**, – не есть глубочайшее пророчество, касающееся русской истории? А разве “Медный всадник” и “Борис Годунов” не являются творениями, насыщенными и пророческими предчувствиями, и пророческой волей?

Кузнецов в данном случае понимает Пушкина подобно крестьянину Сергею Есенину, задумавшему своего “Пугачёва” чуть ли не в противовес “дворянину Пушкину” и сказавшему, по словам одного из его современников, что он **“писал свою поэму безо всякой любовной интриги... Перечитывая материалы Пугачёвского бунта, я вижу, что Пушкин был во многом не прав. У него была своя дворянская точка зрения. Пугачёв был гениальный человек, а у Пушкина это как-то пропало...”** Да ничего не пропало у Пушкина! Восхищаясь широтой души и мощью пугачёвского характера, мы одновременно ужасаемся его жестокости, его бесчеловечной и безбожной способности проливать ради красного словца кровь людскую, как водицу... В конце концов, когда перед казнью народный вождь возвышается до покаяния и просит у православного народа прощения, мы скорбим, но понимаем, что так всё и должно было случиться.

А чего стоит обмолвка Поликарпыча из поэмы “Золотая гора” о том, что пировавший на Олимпе рядом с Гомером, Софоклом и Дантом Пушкин “пригубил глоток, но больше расплескал”? Если это новое слово о Пушкине, то надо заметить, что Александр Сергеевич пил из своей, ему предназначенной чаши, а Юрий Поликарпович сливает из разных чаш некий “концентрат поэзии” – “осадок золотой”; кроме того, если Пушкин что и расплескал, это было то моцартианское, что и должно расплёскиваться во все четыре стороны света: “Ты, Моцарт, Бог / и сам того не знаешь!” У Кузнецова тоже были в жизни мгновенья, когда он “расплёскивал” и не жалел об этом:

*Бутылку оземь я разбил,
Да так, что недра задрожали.
Кубань родную разлюбил,
Да так, что бабы завизжали.*

*Ушёл я, голову склоня,
Под мелодические визги.
Пускай Кубани на меня
Плевать... Зато какие брызги!*

Тень Пушкина, его образы и даже строчки после легкомысленного обращения с ним в “Золотой горе” стали постоянно вторгаться в творчество Кузнецова.

*Мелькнул в толпе воздушный Блок,
Что Русь назвал женой,
И лучше выдумать не мог
В раздумье над страной...*

“И лучше выдумать не мог” – четвёртая строка первой строфы “Евгения Онегина”. Каким чудом она сюда залетела? Возможно, это озорные проделки Александра Сергеевича? А это?

*Выходя на дорогу, душа оглянулась:
Пень иль волк, или Пушкин мелькнул...*

Наверное, то, что Пушкин поставлен рядом с “волком” и “пнём”, есть ре-

бьяческое отмщение ему за то, что влезает в кузнецовские стихи, когда надо и когда не надо, не спрашивая разрешения у Поликарпыча. Правда, и Поликарпыч ни у кого никаких разрешений не спрашивал, когда обращался с чужими строчками и образами, словно с сырьём для своих откровений. Вот кузнецовское стихотворенье “Покаянный вздох”:

*Тридцать лет олимпийского пьянства
Изнутри мою душу трясли.
Стыд и скорбь моего окаянства
Стали тягче небес и земли.*

*Из меня окаянные силы
Излетают кусками огня.
У креста материнской могилы
Рвёт небесная рвота меня...*

Оно написано не без оглядки на знаменитое пушкинское: “И с отвращением читаю жизнь мою, / я трепещу и проклиную...”, а также явно перекликается со словами Емельяна Пугачёва, приведенными Пушкиным: “Богу было угодно наказать Россию через моё окаянство”. А “олимпийское пьянство” — это, конечно, не только воспоминание о том, что поэт жил на Олимпийском проспекте, но и о тех временах, когда он застольничал на Олимпе с богоподобными олимпийцами.

*Покаяния вздох покидает
Эту землю для горних высот,
Где, быть может, Архангел поймает
И до Бога его донесёт.*

Опять же без пушкинского шестикрылого Серафима — никуда, о чём свидетельствует и последняя строфа, добавленная в 2003-м, смертном году к стихотворению “Стук над обрывом”, написанному в 1979-м:

*Головою о двери он бился,
И открылись они перед ним.
И его, чтоб совсем не разбился,
Подхватил на лету серафим.*
1979 — 2003

Мировоззренческий спор Поликарпыча с Пушкиным то исчезал, то возникал снова, продолжаясь всю жизнь. В ответ на пушкинское: “Поэзия, прости, Господи, должна быть глуповата” (а скорее, “простодушна”. — Ст. К.), — каждое стихотворение Кузнецова, казалось, кричало: “Она должна быть мифологична! Символична! Глубокомысленна! Загадочна!”

В стихотворении “Здравица памяти”, посвящённом скульптору Чусовитину, дерзнувшему снять с лица поэта гипсовую маску (при жизни и, конечно, с согласия поэта)¹, Кузнецов продолжает этот спор, утверждая, что, в отличие от “золотого античного века”, человек века современного — и XIX-го, и XX-го —

*<...>В беспамятстве гордыни начал славить
Себя: живым стал памятники ставить...*

¹ Это дерзкое “языческое” молодое кощунство сродни богатырскому кощунству Святогора, который, наткнувшись в южнорусской былинной степи на пустой гроб, из озорства улёгся в него и велел Илье Муромцу накрыть гроб крышкой. Но крышка срослась с краями гроба, и Святогор приказал Илье рубить её мечом, чтоб освободиться от гробового плена. Однако после каждого удара по крышке на ней вырастал железный обруч... Вот так и сгинул великий богатырь земли святорусской, пытавшийся легкомысленно поднять “тягу земную” и которого после этого сверхъестественного усилия чуть было не поглотила “мать сыра-земля”. Пушкин знал эту тайну нашей истории, в которой христианское смирение было навязано народу верховной властью за очень короткое время. Пушкин понимал, что русское язычество в результате этой реформы “сверху” не изжило себя, о чём он и писал в письме к Чаадаеву: “жизнь, полная кипучего брожения и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов”.

*Не возводи ты памятника мёртвым,
Тем более живым, И духом гордым
Не отягчай мне душу на том свете.
За этот грех я буду там в ответе.
Я памятник себе воздвиг из бездны,
Как звёздный дух. Вот так-то, друг любезный...*

А дальше, как следует из воспоминаний Чусовитина, Кузнецов сказал ему по телефону **“26.3.1997 г<ода> в 18 часов 50 минут”**, что **“это реплика на “выше александрийского столпа”**. Но всё-таки у Пушкина материальное сравнение. А что такое дух или бездна? – Ничего материального”...

Однако, чувствуя свою неполную правоту в этом споре, он продолжал поиски аргументов: **“Меня будут знать, но я никогда не буду популярен”**, – говорил он и тут же успокаивал себя: **“И Пушкин тоже не популярен”** (“Литературная Россия”, № 29, 2012).

На Тверской площади в Москве вот уже 135 лет стоит знаменитый памятник Пушкину со словами, которые, если говорить о бессмертии или популярности, проясняют всё до конца:

*Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.*

На Троекуровском кладбище в той же Москве стоит надгробный памятник Юрию Кузнецову с его двустушием:

*Но русскому сердцу везде одиноко,
И поле широко, и небо высоко.*

Ну что делать! Каждый из поэтов напроорочил своим стихам, а значит, и самому себе и популярность и бессмертие. И разошлась пушкинская народная тропа с кузнецовским путём, повернувшим в одиночество.

При всей любви к Поликарпычу, я, прочитав это его “воззрение”, ахнул: как можно говорить о какой-то “непопулярности” Пушкина, если вот уже более полутора столетий почти десять поколений русских людей выросли в его мире, потому что с первых уроков в какой-нибудь церковно-приходской или земской, а после революции – в советской школе в душу ребёнка на всю жизнь западали и “Лукоморье”, и “Сказка о рыбаке и рыбке”, и “Буря мглою небо кроет”... Если русская интеллигенция в течение тех же полутора столетий переживала и переживает до сих пор слова и мелодии вечных романсов на его стихи; если в императорское и в советское время со сцен всех оперных театров страны не сходили “Цыганы” и “Евгений Онегин”, “Пиковая Дама” и “Борис Годунов”; если экранизации пушкинских шедевров – от “Капитанской дочки” до “Маленьких трагедий” – десятилетиями не сходили с экранов кинотеатров от Бреста до Владивостока...

Народ на протяжении этих полутора веков медленно и неустанно, как бескрайнее поле – влагу, впитывал пушкинские мысли и чувства, пушкинскую речь, пушкинский дух...

“И заметь, – сказал Кузнецов Чусовитину, – с XIX века не было сказано ни одного нового слова о Пушкине”.

А речь Достоевского в 1881 году при открытии первого памятника поэту на Тверском бульваре?

А новое осмысление Пушкина в работах Константина Леонтьева и Василия Розанова? А попытка каждого из кумиров Серебряного века создать образ своего Пушкина? А речи Блока и Ходасевича в февральский день голодного и холодного 1921 года, произнесённые в память о Пушкине, а блоковское стихотворение-завещание о Пушкинском Доме? А попытки отвязанных деятелей декаданса “сбросить Пушкина с парохода современности”?

Ведь всё это по-своему было именно “новым” прочтением Пушкина. Я уж не говорю о грандиознейшем внедрении во все поры советской жизни пушкинского мира, когда мы вспоминали, что минуло сто лет со дня его гибели, – в знаменитом 1937 году. Ах, Поликарпыч, Поликарпыч...

Правда, иногда Кузнецов забывал о своих разногласиях с Александром Сергеевичем и чуть ли не копировал пушкинские сюжеты:

*“Движенья нет”, — сказал мудрец брадатый,
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не смог он возразить...
Хвалили все ответ замысловатый.*

А вот “замысловатый ответ” Поликарпыча на пушкинское нравоучительное четверостишие:

*В одной пустыне повстречались двое,
И каждый думал: “Этот мир — пустое!”
Один затряс ногой и возопил:
— Как тесен мир! Мне отдавили ногу.
— А в мире что-то есть! — проговорил
В раздумье тот, кто ногу отдал.*

А может быть, Ю. П. нарочно написал полное подражание А. С., поскольку последний тоже баловался “подражаниями” (в XIX веке это был особый жанр поэзии), и Ю. П. решил создать нечто, не уступающее по качеству пушкинским образцам этого своеобразного жанра.

Пушкин с остроумным вдохновением писал эпиграммы на Булгарина, на графа Воронцова, на поэта Хвостова. Поликарпыч, словно бы ревнуя к Пушкину, возродил этот жанр, почти погибший в советской поэзии, и жертвами его острого пера стали Геннадий Ступин, Валентин Устинов, Василий Казанцев.

Пушкин в совершенстве владел стихотворным эпистолярным жанром, он писал графу Юсупову (“К вельможе”), Денису Давыдову, Боратынскому, Языкову. Юрий Поликарпович, возрождая и этот “пушкинский жанр”, написал стихотворные послания Чусовитину, Палиевскому, Ст. Куняеву и Вадиму Кожину. И даже когда он с гневом на лице вошёл в мой кабинет и резко выговорил мне, что за поэму “Путь Христа” ему был выписан какой-то слишком недостойный его работы гонорар (забыв о том, что журнальная касса пуста), я с любопытством посмотрел на него и не сдержался:

— Что, Пушкина начитался? “Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать?”

Поликарпыч понял иронию, сразу смягчился и даже улыбнулся одной стороной лица. Ну, что делать? Конечно, по сусекам поскребли и ошибку бухгалтера исправили.

А стихотворение “Русский лубок” вообще показалось мне пародией на пушкинскую сцену, в которой Карла-Черномор уносит по воздуху несчастную красавицу Людмилу:

*Во вселенной убого и сыро,
На отшибе — лубочный пустырь.
Через тёмную трещину мира
Святорусский летит богатырь.
.....
Он летит над змеиным болотом,
Он завис в невечернем луче.
И стреляет кровавым помётом
Мерзкий карлик на левом плече.
.....
Облик карлика выбит веками,
И кровавые глазки торчком...
Эх, родной! Не маши кулаками.
Сбрось его богатырским щелчком.*

Как бы то ни было, но А. С. то помогал, то мешал Ю. П. на протяжении всей его творческой жизни. Во всяком случае, Поликарпыч всегда чувствовал рядом с собой присутствие планеты, называемой “Пушкин”, и стремился к ней, и одновременно страдал, чувствуя на себе её тяготение, и бунтовал

против него, и был в этом бунте и запальчив, и несправедлив. В небольшой статье “О воле к Пушкину” (1981) Юрий Кузнецов иронизирует: **“Но есть другая крайность: все дороги ведут к Пушкину. Пушкин – это всё, он – солнце. Нет ли в таком взгляде ограниченности, неверия в приход иных мощных светил?”** Рискну предположить, что под “другими мощными светилами” Поликарпыч имел в виду самого себя. А кого ещё? Ну, не Рубцова же! Однако афоризм Аполлона Григорьева и Фёдора Достоевского о том, что “Пушкин – наше всё”, Юрий Поликарпович толкует весьма упрощённо. “Наше – всё” означает не то, что весь Пушкин – идеален, что он выразил всю лучшую суть русского бытия. Конечно же, нет! Он и наши высоты, и наши низины, и наша державная мощь, и наша вражда к ней, и наше петровское, имперское строительство жизни, и разрушительные всплески разинщины или пугачёвщины, он и наша святость – “отцы пустынники и жены непорочны”, – и наше святотатство – “Гавриилиада”, например, и наше вселенское мировое призвание (речь Достоевского), и наш генетический патриотизм (“любовь к родному пепелищу, / любовь к отеческим гробам”); он и наша наивная тяга к Западу Вольтера и Байрона, но он же и осознание пагубности и порочности этих соблазнов, этих смертоносных для русского простодушия ядов; он и всенародно-государственная исполинская правда Медного Всадника, и крошечная правда несчастного Евгения с его естественной жаждой частной, семейной жизни и осуществления своих прав человека. В Пушкине намечены высшей волей все порывы к духовному совершенству и все пути к грехам нашего национального характера, все пути в вечность и в тупики и зигзаги временной, преходящей русской истории. А как поверхностно понял Поликарпыч слова Гоголя о том, что “в Пушкине русский характер отразился в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла”! Толкуя это эффектное, но не глубокое суждение Гоголя, Пушкин, по словам Кузнецова, **“соблазнил русскую поэзию именно ландшафтом. Чем иначе объяснить упорное усиление ландшафтной и бытовой предметности в ущерб глубине и духовному началу?”** И дальше Кузнецов приводит “ущербные” примеры из русской классики:

*Где бодрый серп гулял и падал колос,
Пустынно всё, простор везде...*

Выхожу я в путь, открытый взорам...

В прозрачном холоде заголубели доли...

Тютчев, Блок, Есенин... Но Кузнецов в такого рода размышлениях не прав, потому что он, отталкиваясь от Гоголя, путает “ландшафт” (он же “пейзаж” – недаром оба слова иностранные!) с “природой” (одно из самых древнейших и глубокомысленных русских слов!), в лоне которой рождается и русский человек, и русская душа, и русская история. Картины “душеродящей природы” у Пушкина везде, куда ни глянь:

Буря мглою небо кроет...

*Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий,
Мутно небо, ночь мутна...*

*Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...*

Какой тут **“ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла”!** Тут состояние души, слившейся с состоянием текучей русской природы, рождающей эту душу!

*Вот Север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идёт волшебница зима...*

И уже отсюда посыпалось всё остальное:

*Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
С её холодной красою
Любила русскую зиму...*

*И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь...*

Ну, при чём здесь ландшафт, если нашу жизнь обволакивает родная этой жизни природа!

“Ритмика, которой мы пользуемся, – античное изобретение, – пишет Юрий Поликарпович, – и пришла к Пушкину через немцев и французов. Пушкин и наложил “западную” печать на русское стихосложение”.

Но Ломоносов, Державин и даже Барков, а вслед за ними Жуковский и Батюшков заложили ещё до Пушкина “пушкинские”, то есть современные основы русского стихосложения...

Кузнецов пишет о том, что **“народное сознание выработало свои национальные поэтические формы: былинку, народную песню, раёшный стих, частушку. За исключением двух последних, все они отличались большой протяжённостью, что соответствовало национальному характеру и строю души. Античный ритм родился из особенностей другого характера <...> ритм, тон и даже рифма оказались прокрустовым ложем...”** Но Пушкин, как бы заранее упредив упреки Кузнецова, всё это понимал и осмысливал, когда создавал безрифменную “Сказку о рыбаке и рыбке” и когда сочинял написанную вольным ритмом “Сказку о попе и работнике его Балде”, когда, сообразуясь с народным стихосложением, сочинил “Сказку о медведихе”, когда с неподражаемой лёгкостью переложил на русский народный лад безрифменные “Песни западных славян”, три из которых были сочинены им самим от первого до последнего слова...

А на утверждение Ю. К. о том, что рифма пришла к нам **“через немцев и французов”**, можно возразить, что в русском народном творчестве полным-полно не только рифмованных частушек, но и загадок, и пословиц с поговорками:

Или грудь в крестах, или голова в кустах.

Пословица недаром молвится.

Людская молва – морская волна.

Из грязи – в князи.

Где родился – там и содился.

Ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца...

“Поэтический символ – вот гигантский путь, по которому не пошёл Пушкин”. И опять желание Кузнецова объявить себя основоположником символического и мифологического пути в русской поэзии сослужило ему плохую службу. Разве не мифологическими и одновременно символическими фигурами в творчестве Пушкина являются и работник Балда, и слуга Савельич, и “лишний человек” Евгений Онегин, и няня Арина Родионовна, и гетман Мазепа, и Медный Всадник, и Старик со своею Старухой вместе с Золотой Рыбкой, которая перекочевала с пушкинских страниц в стихи самого Кузнецова? А Пимен-летописец? А Николка-юродивый? А образ Самозванца, переходящий из одного произведения Пушкина в другое? Да, Пушкин расплескал “и жизнь, и слёзы, и любовь”, но в каких стихах!

*Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В моей душе угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.*

*Я вас любил: безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.*

В отличие от Александра Сергеевича Юрий Поликарпович воплощал в любовных стихах властную интонацию мужской воли:

*Ты просила любви и покоя,
Но тебе я свободу дарю...*

*Ты зачем полюбила поэта
За его золотые слова...*

*Нахваталась ты слов, нахваталась,
Все твои измышления — ложь...*

Ты женщина, а это — ветер вольности...

*Я вырву губы, чтоб всю жизнь смеяться
Над тем, что говорил тебе: люблю...*

И такого рода признаний мужского превосходства над женской стихией не счесть в его стихах:

*Говори! Я ни в чём не согласен,
Я чужак в твоей женской судьбе...*

Пушкин по отношению к женщинам был добродушен и снисходителен, он и восхищался ими, и подшучивал над их природой. Но не более того. Самым суровым его суждением о дочерях Евы была, пожалуй, фраза из письма о том, что **“в молодости они живут страстями, а в старости сплетнями”**. А ещё, правда, Старуху из сказки о Золотой Рыбке сурово осудил за женскую алчность и тщеславие.

Но однажды с Поликарпычем случилось чудо: то ли дух Пушкина просветил его душу, то ли он исчерпал все свои силы, питавшие его иллюзию мужского превосходства, но вдруг из-под его пера возникло нечто пушкинское, некая копия стихотворения “Я вас любил”, как будто он тоже решил “расплескать” остатки золотого осадка из олимпийской чаши:

*Я в жизни только раз сказал “люблю”,
Сломив гордыню тёмную свою.
Молчи, молчи... Я повторяю снова
Тебе одной неведомое слово:
“Люблю, люблю!..”
Моя душа так рада
На этом свете снова видеть свет,
Ей так легко, ей ничего не надо,
Ей всё равно — ты любишь или нет.*

Всё-таки Александр Сергеевич помог ему “сломать” его “тёмную гордыню” и вывел мятущуюся душу из “мрачной бездны” на свет Божий.

“Я читал своим студентам лекции на тему “Стыд и совесть в поэзии Пушкина”, и в числе прочего – утверждения, что ценность этих обеих дефиниций перекрывается у него самодовлеющей красотой русского слова... Которое и делает его творчество цельным”. Если верить Чусовитину, сказано это **“26 марта 1974 года в среду, в 18 часов 50 минут”**. Ну, тогда надо согласиться и с Цветаевой (“Эфрониха”, “сексопатологическая баба”, как говорил о ней Ю. К.), которая утверждает в статье “Искусство при свете совести”, что **“необходимость атрофии совести – тот нравственный закон, без которого искусству не быть”**. Но ведь сам Кузнецов через два года напишет стихотворение “Покаянный вздох”, в котором, вольно или невольно, возвысит “дефиницию покаяния” (а значит, и совести) над словом и красотой. После такого разворота души он уже мог садиться за поэму о Христе...

А как вовремя и внезапно вторглось в его жизнь пушкинское стихотворение “Не дай мне Бог сойти с ума”! Только он вставил его в ряд самых высоких и любимых им русских стихотворений вместе с лермонтовским “Выхожу один я на дорогу...”, как с ним произошло нечто. Дальше – из воспоминаний Чусовитина от “12.8.1999 г<ода>, четверг” (Чусовитин везде ставит даты с часами и минутами. С такой дотошной точностью даже гоголевский герой “Записок сумасшедшего” не вёл свой дневник!):

“Кузнецов приходит подстричься.

– Пьёшь?

– Нет, всё – бросил. Теперь не буду пить до самого 60-летия. Допился до глюков. И постоянно слышатся голоса: “Сволочь, сволочь, сволочь! Сука, сука, сука! Тварь, тварь, тварь!” – и всё это голосом Батимы... Вызывают на спор. Но я-то уже учёный. В прения с ними не пукался, а попросил Катюку поставить 40-ю симфонию Бетховена (?! — П. Ч. Может, Моцарта?), и она меня спасла. Попробовали пробиться сквозь музыку два-три раза, но слабо... вполне можно выдержать... Но я всё же позвонил в наркологический центр, а там говорят: “...Ждите утра. Будь острый психоз – тогда другое дело. Мы в два часа ночи не поедим”. Ну, что ты будешь с ними делать? Всё же перетерпел. Но испугался. Нет – хватит пить”.

Дабы удостовериться, что Чусовитин в данном случае говорил правду, можно заглянуть в рассказ Юрия Поликарповича “Хилые орхидеи”, в котором автор с точностью врача-психиатра описывает слуховые галлюцинации, преследовавшие его.

“Человек остался один на один с голосами. Из них по-прежнему выделялся глумливый. Голос следил за каждым его движением. Он ловил переход мысли в слово по малейшим вздрагиваниям гортани, нёба и языка. Человек только подумал, а голос уже произнёс. Алексей Петрович отдал ему должное: “Вот чёрт! Подмётки режет на ходу...”

Неожиданно для всех нас осенью 1999 года (почти перевёрнутое вверх ногами число 666!) Ю. П. исчез из редакции почти на месяц. Кое-как удалось установить, что он лёг по своей доброй воле в какую-то тайную привилегированную лечебницу. А когда вышел из неё, то скупно и с неохотой сообщил мне, как его лечили в заведении, жившем “по закону тюрьмы и казармы”. В завершение сказал коротко и отрёшенно:

– Я был в аду...

Потом, помолчав, добавил:

– Там были крупные люди...

Но трудно себе представить, чтобы кто-то из пациентов “привилегированной больницы” мог быть “крупнее” Юрия Поликарповича.

Его любимый Александр Сергеевич, всего лишь предположив, что может сойти с ума, нарисовал страшную картину болезни в стихотворении, которое Поликарпыч считал пушкинским шедевром:

Не дай мне Бог сойти с ума.

Нет, легче посох и сума;

Нет, легче труд и глад.

Не то, чтоб разумом моим

Я дорожил; не то, чтоб с ним

Расстаться был не рад:

.....

Да вот беда: сойди с ума,

И страшен будешь, как чума,

Как раз тебя запрнут,

Посадят на цепь дурака

И сквозь решётку, как зверка,

Дразнить тебя придут...

В последний раз тень Пушкина, видимо, навестила его перед самой смертью, когда он, схватившись за сердце, пробормотал жене, склонившейся над ним:

– Домой! Домой!

Когда я узнал об этом, то сразу вспомнил последние слова Пушкина:

– Вверх! Вверх!

VI. “Иду на вы!”

Поразительно то, с какой уверенностью и щедростью Юрий Кузнецов насыщает свои стихи пословицами и поговорками, которые тут же приживаются, обнимаются, сливаются со словами его поэтического замеса или входят в них вкраплениями, осколками, ключьями своего словесного тела:

*Мне-то что! Обываю свой крест.
Бог не выдаст, свинья не доест.
Не по мне заварилась каша...*

Уже в этих трёх строчках поблёскивают обломки трёх пословично-поговорочных изречений – я подчеркнул их. Но в том же стихотворении “Откровение обывателя” обнаруживаются (“железки строк случайно обнаруживая”) словосочетания **“задним умом”**, **“провалиться на месте”**, **“хлеб-соль”**, относящиеся к древнейшим языковым идиомам. **“Чёрная зависть гуляет” в чём мать родила**, – и здесь тот же самый случай.

Если внимательно “ощупывать” словесную ткань стихов Кузнецова, то и дело натыкаешься на россыпи *нержавеющей* то ли мудрости, то ли здравого смысла, то ли мифологических словосплетений, таящих в себе, подобно зёрнам пшеницы из египетских пирамид, способность давать зелёные живые ростки через тысячелетия летаргического сна. Эти зёрна так естественно пускают корни в кузнецовскую стихотворную плоть, что образуют с ней одно целое:

Нам чужая душа — не потёмки...

*Только русская память легка мне
И полна, как водой решето...*

*И вскинул я руку и в руку
Синицу поймал...*

Лежачий камень. Он во сне летает...

*Воры схватились за золото и тряпки,
Видя ни свет, ни зарю:
— Знать не хотим про какие-то шапки.
— Шапки горят, говорю...*

Вот так “развинчена” пословица **“На воре шапка горит”!**

Можно лишь догадываться, почему Юрий Поликарпович так обильно и настойчиво насыщал свои поэтические образы материалом, состоящим из пословиц и поговорок. Он ощущал, что эти вечно живые зёрна суть своеобразные ствольные клетки поэтического народного мышления, которые образуют целую систему художественных образов. Эта система помогала народу понимать мир и выживать во все времена, заменяла ему не только уголовный, гражданский и семейный кодексы, но и свод позднейших религиозных заповедей и законов. Она была столь универсальна, что позволяла развиваться всем слоям рода-племени: и черни, и знати, и богатым, и бедным, и слабым, и сильным, и дерзким, и кротким, и бунтовщикам, и охранителям, и щедрым, и алчным.

Нужны опорные пословицы для сильных и решительных? Пожалуйста:

На миру и смерть красна.

Или грудь в крестах, или голова в кустах.

Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Была — не была!..

Сколько богословских книг написано о “свободной воле” человека, но вся их суть выражена в одной народной пословице: **На Бога надейся, а сам не плошай.**

Именно к такого рода русским людям, живущим по законам мифологического бытия, для которых “на миру и смерть красна”, принадлежал и сам По-

ликарпыч, и все сказочные персонажи его поэзии. Его “человек-народ” воплотился во всех, “пошедших поперёк”: в сгоревшего космонавта, в персонажа из “Золотой горы”, в образ отца из поэмы “Четыреста”, в русских богатырей из “Сталинградской хроники”, во всадника с Куликова поля, вынесшего на своём теле “рваное знамя победы”, в русского ребёнка, которому тростинка поёт “про печали Мазурских болот / и воздушных твердынь Порт-Артура”... Все они — и Пересвет, и Сергей Радонежский, и лейтенанты, которые “всегда в голове”, и Степан Степанчиков из поэмы “Дом”, на культё которого горит наковка “За Родину, за Ста”...”, и непобедимая “Федора-дура”, и казак, обронивший кубанку, и неизвестный солдат, ползущий по Красной площади из своей могилы, и даже пьяница из стихотворения “Где-то в Токио или в Гонконге” — все они сотворены из человеческого материала высшей мифологической пробы... Страшно сказать: из того же материала у него “сделан” Господь, пошедший, как самый выдающийся герой небесной и земной истории, “на Божественный риск” — отправивший своего единственного сына на гибель ради спасения грешного человечества. И поэт, воодушевлённый Божественным примером, идёт следом за ним:

*Бог свидетель, как шёл я по жизни —
Дальше всюду и дальше нигде —
По святой и железной Отчизне,
По живой и по мёртвой воде.*

*Я нигде не умру после смерти,
И кричу, разрывая себя:
— Где ловец, что расставил мне сети?
Я свобода! Иду на тебя!*

Так поступал и герой русской истории Святослав, говоривший: “**Иду на вы!**” А взваливший на себя бремя использования и толкования русских пословиц и поговорок, исполненных мифологической сущности, Юрий Кузнецов одновременно принял и ответственность за все “высоты” и “низины” русского характера, то есть стал нашим подлинно национальным поэтом.

В заключение вспомним, что в “Капитанской дочке” Пушкин в качестве эпиграфа к трём главам использовал три русских пословицы: “Береги платье снову, а честь смолоду”, “Незванный гость хуже татарина”, и “Мирская молва — морская волна”. Так что и здесь Поликарпыч идёт по стопам Пушкина. Но надо держать в уме, что Пушкин, живший в молодости, как бретёр, “ера” и “забияка”, Пушкин, которому были любы рискованные, лихие, залихватские пословицы и поговорки, к тридцати годам, как говорят в народе, “женился-остепенился” и даже оставил для нас двестише, отразившее в себе все перемены, произошедшие в сознании поэта:

*Воды глубокие плавно текут,
Люди премудрые тихо живут.*

* * *

В отрочестве одной из моих любимых книг была повесть Аркадия Гайдара “Школа”. До сих пор помню сцену из этой повести, где её главный герой становится свидетелем того, как бандиты, которых столько развелось на русской земле во время революции и гражданской войны, поют вокруг лесного костра залихватскую зловещую песню той жестокой эпохи:

*Мой товарищ — острый нож,
шашка-лиходейка,
пропадём мы ни за грош,
жизнь наша — копейка.*

Потом я надолго забыл эту песню и вспомнил её лишь в десятом классе, когда прочитал пушкинскую “Капитанскую дочку”, где пугачёвские разбойники и душегубы затянули на “сон грядущий” “любимую песенку” своего атама-

на. Она потрясла своей поэтической силой не только молодого Гринёва, но и меня, советского десятиклассника:

*Не шуми, мати, зелёная дубравушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати...*

А думу добрый молодец думает о том, что “завтра” идти ему на допрос к грозному судье — “самому царю”, что царь будет его “спрашивать”, с кем он, “крестьянский сын”, “воровал, с кем разбой держал”, а ещё много ли с ним было “товарищей”? А он ответит “надёже — православному царю”:

*Что товарищей у меня было четверо:
Ещё первый мой товарищ — тёмная ночь,
А второй мой товарищ — булатный нож,
А как третий-то товарищ-то — мой добрый конь,
А четвёртый мой товарищ — то тугой лук...*

Ответил “крестьянский сын” “грозному судье — самому царю” талантливо и выразительно. Но и царь в долгу не остался, и словно бы продолжил этот поэтический поединок, с неменьшим талантом и вдохновением — ведь они оба русские люди:

*Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалуйю
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.*

Сцена поистине достигает предельной мифологической силы. Тут одновременно говорит и судья с преступником, и отец с сыном — “детинушкой”, и поэт с поэтом. И, чувствуя всё это, участники действия взволнованы — и Пугачёв, и его “товарищи”, и молодой Пётр Андреевич Гринёв:

“Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обречёнными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — всё потрясло меня каким-то пиитическим ужасом”. Но восхищаясь поэзией народного восстания, Александр Пушкин в то же время понимал многое, лежащее за пределами поэзии, когда писал в главе, не вошедшей в окончательную редакцию “Капитанской дочки”:

“Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас всевозможные перевороты, или молодцы и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка — полушка, да и своя шейка — копейка”.

Вот именно эти слова “своя шейка — копейка” и перебрали мою память от разбойничьей народной песни из “Капитанской дочки” к тоже разбойничьей и тоже народной песне из повести Аркадия Гайдара “Школа”...

В XVIII веке пугачёвцы пели: **“...а второй мой товарищ — булатный нож”**, в XX веке антоновцы вторили им: **“мой товарищ — острый нож”**... Века проходят, а в пословицах и песнях, из которых слова, как говорится, не выкинешь, остаются всё те же слова, и всё те же “детинушки”, сидя у разбойничьих костров, самозабвенно повторяют: **“Жизнь наша — копейка!”**

Но ведь в народе, кроме бунтовщиков и людей рискованных, есть и слабые, и робкие, и смиренные, им тоже как-то выживать надо, они тоже ищут в народной мудрости опору себе — и находят:

*С сильным не борись — с богатым не судись.
По одежке протягивай ножки.
На каждый роток не накинешь платок.
Моя хата с краю...*

Во время чрезвычайных обстоятельств — войн, революций, природных и социальных катастроф — слабым, конечно, приходится выживать около

сильных, прислоняться к ним. Но сила – это не их сущность, и тогда слабые утешаются пословицей:

С волками жить – по-волчьи выть.

Но кроме сильных и слабых есть в народе и слой “золотой середины” – люди здравого смысла, люди терпенья, вспоминающие в трудную минуту жизни пословицы, рождённые в народном чреве именно для них:

Семь раз примерь – один раз отрежь.

Капля камень точит.

Худой мир лучше доброй ссоры.

Не зная броду – не суйся в воду.

Ранний загод не бывает богат...

Это люди, подобные пушкинскому Гринёву-младшему, который на пугачёвский вопрос, верит ли Гринёв, что перед ним – император Пётр III, острожно отвечает: “Кто бы ты ни был, ты играешь в опасную игру”.

И одна, и другая, и третья ипостась народной мудрости необходима народу для равновесия в жизни. Иначе эти пословицы и поговорки были бы забыты или бы стали достоянием историков и филологов. Однако они живут. И в наши времена бывает, что, когда человек колеблется, как ему поступить, последним доводом к действию ему служит народная пословица: “Пан или пропал!” Каждый человек выбирает в таких случаях из кладезя народных пословиц изречение по своим силам и по своему характеру. И эти пословицы с незапамятных времён могут, словно люди, враждовать одна с другой. Пословица, рождённая для обличения бессовестных людей, гласит:

Хоть плюй в глаза – всё Божья роса.

Но в ответ люди бессовестные ограждаются, как щитом, своей пословицей:

Стыд не дым, глаза не ест.

Это не оправдывает бесстыжих и бессовестных, но всё-таки помогает им жить и чувствовать себя тоже частью народа, сознавать, что без них “народ не полный”. Над такого рода противоречиями часто задумывался знаменитый современник Пушкина Евгений Боратынский:

*Предрассудок! Он обломок
Древней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.*

Сотни книг написаны о странной связи добра и зла, о превращениях одной силы в другую. Именно об этом написаны и “Фауст” Гёте, и “Мастер и Маргарита” Булгакова, и “Пирамида” Леонида Леонова. Но куда убедительнее об этой связи твердят нам пословицы:

Нет худа без добра.

Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься...

И опять вспоминается “поэт мысли” Евгений Боратынский:

*Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:
Какой же плод науки долгих лет?
Что, наконец, подсмотрят очи зорки?*

*Что, наконец, поймёт надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? точный смысл народной поговорки.*

Конечно, эпоха единобожия и принятие русскими племенами христианства просветили языческую сущность древних обычаев, изречений и правил светом нравственного закона, и многие христианские истины – **“мне отмщение и аз воздам”**, **“смертью смерть поправ”**, **“будет день – будет пища”**, **“легче верблюду пролезть в игольное ушко, нежели богатому войти в царство небесное”** – тоже обрели статус пословиц и поговорок и со временем усмирили многие тёмные страсти молодого русского племени. Но Юрия Кузнецова, в первую очередь, притягивали к себе глубинные, тёмные, не щадящие чувств нынешнего цивилизованного обывателя, заповеди народного бытия, выплывающие, по убеждению поэта, “из бездны, где “слова молчат”: **“не до жиру – быть бы живу”**, **“ни дна ни покрывки”**, **“собака лает – ветер носит”**, **“снявши голову, по волосам не плачут”**, **“чёрного кобеля не отмоешь до бела”**, **“сука не захочет – кобель не вскочит”**...

Именно эти “предрассудки” (то есть то, что было “перед” рассудком, раньше “рассудка”) – обломки “древней правды”, жестокой, страшной, бесчеловечной, безличной, дохристианской, – эти пословицы и поговорки, подобные гвоздям, которыми прибито современное человеческое сознание к своим древним истокам, уходящим в тёмные глубины доисторического бытия, особенно притягивали к себе Юрия Поликарповича, и следы этого притяжения явственно видны во многих его стихах-наваждениях.

VII. “Я растерял чужое и своё...”

Ну, не случайно же Пушкин, в молодые годы чуть ли не молившийся на Вольтера и Парни (даже “Гавриилиаду” написал, подражая ему!), на Байрона и Андре Шенье, за что заслужил от своих лицейских приятелей прозвище “француз”, к тридцати с лишним годам окончательно опомнился от “чужебсия”, как от наваждения, и написал:

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...*

А это означало осмысление им всего того, что называется “родным” и что утверждает “самостоянье человека” в земной жизни. И не только поэтическим слогом, но и деловыми рассудительными соображениями, изложенными в письмах, Александр Сергеевич окончательно подтвердил, что такого рода перемены, происшедшие в его душе, необратимы.

Вот его своеобразное “священное писание” **своего** – своей семейной жизни – из письма к П. Нащокину, написанному в 1836 году, незадолго до смерти: **“Моё семейство умножается, растёт, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку на свете скучно”**.

Несомненно, что эти строки из письма отозвались стихотворным эхом в одном из последних его стихотворений:

*...На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,*

*Всё тот же их знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда всё было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зелёная семья; кусты теснятся
Под сенью их, как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вокруг него
По-прежнему всё пусто...*
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!..

А какой поистине культ дружбы завещал нам Александр Сергеевич во многих стихах, посвящённых Чаадаеву, Денису Давыдову, Вяземскому, царскосельским однокашникам, сосланным в Сибирь декабристам. Но как против всего этого не то чтобы идиллического, но естественного образа жизни бунтовала эсхатологическая натура Юрия Кузнецова! “Я в поколение друга не нашёл”, — угрюмо вещал он. “Тому, кому не умереть, подруга не нужна”. Пушкин ведь тоже знал о своём бессмертии: “Нет, весь я не умру”, — писал он, но это не мешало ему относиться к “подругам” и по-человечески. И, конечно же, венцом этого своеобразного антипушкинского бунта являются слова, записанные поэтом Евгением Чекановым, который спросил Кузнецова в 1995 году: **“Юрий Поликарпович, семья ваша бедствует, судьба ваших детей непонятна... Так что главное — поэзия? Или всё-таки, как Розанов говорил, наши дети с “их тёмным и милым будущим”?**

— Поэзия.

— А как же дети?

Он — в страшном гневе, выпучив глаза:

— **Да что ты говоришь? Что ты говоришь?”**

Да я и без Чеканова знал об этих убеждениях Поликарповича, о том, что поэзия — превыше всего, о том, что “он пошёл поперёк”, что расплата за это неизбежна.

Однажды он ворвался в мой кабинет весь растрёпанный, помятый, всклокоченный:

— Нет, ты понимаешь, какой это чудовищный животный эгоизм! У этих самок только и мысли, что о детёнышах!

Он был измат, раздавлен, как я понял из его нечленораздельных стонов, вздохов и междометий, войной, случившейся дома, видимо, вокруг судьбы его дочерей. Нет, он ни в чём не обвинял жену, ощущая какую-то её глубинную правоту, но согласиться с её правотой или подчиниться ей было выше его сил... Долго я успокаивал его, как большого ребёнка, и приводил в чувство его же собственными стихами, в которых женщина, обращаясь к поэту, говорит о женской природе:

*На высоте твой звёздный час,
А мой — на глубине,
И глубина ещё не раз
Напомнит обо мне.*

— Вот глубина и напомнила о себе, — попытался пошутить я, но он встрепенулся, поднял голову, глянул на меня, как пациент на врача, своими выпученными глазами и вдруг успокоился, как будто понял, что есть в этом мире стихийные силы, которые не уступают силе поэзии. Но разве можно было переубедить его, однажды поведавшего о себе страшную тайну: **“Стихи стали для меня всем: и матерью, и отцом, и родиной, и войной, и другом, и подругой, и светом, и тьмой”** (из предисловия к “Избранному”). Ну, что тут можно было ему сказать? Поставь поэзию на своё место? Он всех мог поставить на своё место, кроме Неё. **“И не она от нас зависит, а мы зависим от неё”**, — сказал встретившийся ему на кухне студенческой общаги его современник, а в этой ситуации его сообщник Николай Рубцов.

“Будучи взрослым, я спросил свою мать, каким я был ребёнком.

— **Как все дети, — сказала она, — только слишком задумчивым.**

Увы, ответ похож на вопрос. Хоть мне никогда не узнать, что думал

тот задумчивый мальчик, но, конечно же, в нём таилось всё, что я осознал потом. “Слишком задумчивым” — этим сказано всё.

Нет, умом он понимал “правоту глубины”, иначе не написал бы:

*В этом мире погибнет чужое,
Но родное сожмётся в кулак...*

Но всё дело было в том, что в кузнецовском афоризме “родное” понималось им как мифологическая, а не житейская сущность. Что для себя считать родным: своих кровных детей или своих духовных, призрачных чад, именуемых “наваждениями”? В минуту своего праведного гнева (или приступа помрачения) он мог сказать страшные слова женщине своей судьбы: **“И эта гибель мне детей рожала!”**, — мог пригрозить непослушной дочери: **“Смотри, на стихотворение нарвёшься”** (как будто страшнее этого в жизни ничего нет!), — мог предостеречь дочь, что если с ней что-то в жизни произойдёт, то заслониться от беды она сможет **“только отчеством”**.

Помнится, что Вадим Кожин, озабоченный сложностью отношений между народами и племенами, населявшими Советский Союз, одно время чрезвычайно надеялся, что межнациональные браки, в которых будут рождаться дети-полукровки, внесут прочный вклад в жизнеспособность общества и государства. Поэтому он нередко в своих статьях вспоминал, что он, русский человек, женат на полукровке-еврейке, что Анатолий Передреев женат на чеченке, Юрий Кузнецов — на казашке. Поскольку я был женат на русской женщине, и пасьянс этот до конца не складывался, то Вадим, будучи убеждённым, что моя фамилия тюркского происхождения, написал в предисловии к моим стихам для “Книги современной лирики”, что я происхожу “из знатного татарского рода”, за что я устроил ему настоящий скандал, чтобы он не фантазировал на такие щепетильные темы.

Юрий Кузнецов тоже одно время был увлечён такого рода надеждами и не раз в стихах вспоминал о том, что в его семье Россия породнилась с Азией:

ВОСТОКУ

*Давным-давно судьба перемешала
Твоих сынов и дочерей твоих,
Но та, что спит в долине рук моих,
Спала в ложбинке твоего кинжала.*

Но когда его дочь изъявила желанье выйти замуж за мужчину из азиатского мира, он настолько вышел из себя от негодования, что поведал об этой семейной расправе мне и не только мне:

— Я сказал ей: “Ты что, русского мужа не могла найти?! Ни за что! Нет на это моего благословения!” А жена мне говорит:

— Но ты же взял меня в жёны! — А я ей показываю на дочь и отвечаю:

— Ну, ты видишь, каков результат!

Видимо, в отместку жена, ради красного словца, была помещена рядом с мифологической фигурой Степана Разина:

*Как похмельный Степан на княжну,
Я с прищуром гляжу на жену:
— Кто такая, чего ей здесь нужно?..*

Но этого ему показалось мало, и в другом стихотворении он добавил:

И летает жена на метле...

А в третьем разобрался с “подругой” окончательно:

*Я уходил не раз. Она визжала:
“Мы все такие, лучше не найдёшь!”
И эта гибель мне детей рожала!
Но что их ждёт, когда повсюду ложь?*

*Жена! А ты предашь меня мгновенно
По лёгкости иль глупости своей.
Уж столько лет ты лжёшь самозабвенно
И натрясёшь с три короба чертей.*

*Дух на излёте, а в душе смущенье,
И в ноздри бьёт стыда сернистый пар.
От женщины осталось отвращенье.
Вот Божья кара или Божий дар!*

Лишь однажды он попытался написать о дочери, увидев её плачущей, простыми словами:

*В углу забилась и плачет... Что делать — не знаю.
В горле стучит. Я с трудом своё сердце глотаю...*

*.....
Что понимать? Что моё понимание значит?
Боже, мне больно, скажи, отчего она плачет?..*

Но стихотворение о беспомощности родного существа не получилось “кузнецовским”, а может быть, и вообще не получилось, потому что личное человеческое состояние без мифологического осмысления для него было неестественным и лишённым поэтической силы. И его стихотворение о матери и о родне (“Семейная вечеря”) обрело вселенский масштаб благодаря тому, что он изгнал из него всё личное, человеческое, изгнал “и жизнь, и слёзы, и любовь”, оставив мифологическую мощь, перед которой христианский миф о святом семействе кажется трогательной и сентиментальной рождественской сказкой:

*Как только созреет широкая нива
И красное солнце смолкает лениво
За тёмным холмом,
Седая старуха, великая мать,
Одна среди мира в натопленной хате
Сидит за столом.*

Она, эта бессмертная, но состарившаяся Ева или древнегреческая Парка — хозяйка судьбы, созывает своих родных, и они по её зову являются к ней, “потрясая могильные камни”. За стол садятся солдатские кости, а рядом — супруга, приходит сын-поэт, он же “предтеча свободы”, дочка-вдова, поздний младенец, “бесследно зарытый”. И ещё какой-то бродяга. Они наполняют стаканы “туманом” и молча пьют.

*Солдат за победу, поэт за свободу,
Вдова за прохожего, мать за породу,
Младенец за всё...
Бродяга рассеянно пьёт за дорогу,
Со свистом и пылью открытую Богу,
И мерит своё.*

Эта “вечеря” настолько наполнена дохристианской безблагодатной тоской, что образ из другого стихотворения Кузнецова “Мы — сновидения земли, и больше ничего” на мгновение показался мне последним словом уходящего из жизни человечества. В его стихах об отношениях отцов и детей всегда есть сверхзадача рассказать о чём-то, что превышает чувства родства. Помните, стихотворение “Очевидец” — о том, как отец, узнав, что по городу проедет Сталин, взял с собой сына, чтобы тот увидел вождя, а вернувшись домой, выпорол его, чтоб сын навсегда запомнил этот день. “Дурная бесконечность” — по Гегелю...

*— Я бью, чтоб ты запомнил этот день,
Когда увидел Сталина воочью...*

Когда кончался двухтысячный год, с уст Поликарпыча не сходили слова: “Прорвёмся в третье тысячелетие! Надо во что бы то ни стало прорваться!”

Что он подразумевал под этим “прорывом” — Бог знает. Может быть, какие-то вселенские катастрофы, может быть, взлёт своей “бешеной славы”. Не знаю. Но когда он в 1997 году похоронил на кубанской земле мать, когда его никто не узнал в родной станице, даже “повитуха”, принимавшая младенца на руки, то горькая правда повседневной, а не мифологической жизни открылась ему, и он заговорил со своими родными людьми неожиданными для него самого человеческими словами и естественным усталым голосом:

*Сестра! Мы стали уставать,
Давно нам снятся сны другие.
И страшно нам не узнавать
Воспоминанья дорогие.*

*Зачем мы тащимся-бредём
В тысячелетие другое?
Мы там родного не найдём.
Там всё не то, там всё чужое...*

Но что делать, если ты сам избрал себе такую планиду, о которой сам же писал:

*Я изгнан из круга родного
В толпу, что не помнит родства...*

Однако его гордыня вдруг оказалась сломленной нагрянувшей старостью, перестройкой, тридцатью годами “олимпийского” — по его словам — пьянства. Так, значит, и Золотые горы — Олимп, Парнас — могли показаться ему “чужими” после того, как повитуха в родной станице не признала его... И опять не обойтись без Пушкина, который такие минуты отчаяния преодолел стихами о соснах, окружённых молодой порослью, и размышлениями, естественными для гения и баловня Золотого века:

“Жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жёны наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девочки — сентиментальничать; а нам то и любо” (из письма к Вяземскому).

Но то, что для Пушкина было открытой книгой, для Кузнецова — тайной за семью печатями, и он мучительно пытался объять и объяснить самому себе тайную силу кровного родства, всю жизнь до самого смертного часа разгадывая эту тайну. Нельзя без душевного трепета читать его стихотвореньё “Ладони”, написанное как Завещание...

*Рукавицы роняя в снегу
На земном крутосклоне,
Я от брата и друга бегу
И дышу на ладони.*

*Проступают на них два лица:
И чело, и морщины.
Узнаю свою мать и отца.
Мы навек триедины!*

*Сколько раз в кулаки я сжимал
Эти лица родные.
Сколько раз к небесам воздымал
Их, как солнца двойные.*

*Сколько раз бил ладонь о ладонь,
Ни о чём не печалась.
Над землёй высекая огонь,
Эти лица встречались.*

*Подберут рукавицы мои
Тороватые братья...
Раскрываю огню и любви
Ледяные объятия.*

*Но ладонь от ладони ушла
В голубом небосклоне.
Вбиты гвозди, и кровь залила
Эти лица-ладони.*

Последняя связь с кровным родом-племенем потеряна – ушла ладонь от ладони. “Враги домашние сыну человеческому...” Но это мог сказать лишь один Он. А каково нам, малым сим, преодолеть “самую жгучую, самую смертную связь” и жить в этом холодном мире без родного тепла и участия?

“**Мир мой неуютный**”, – однажды в отчаянье произнёс Кузнецов. Но он сам жаждал жить именно в таком мире и сам создавал его:

*Мы забыли, что полон угрозы
Этот мир, как заброшенный храм.
И текут наши детские слёзы,
И взбегает трава по ногам.*

Стихотворение, откуда взята эта строфа, называется “Вина”. И здесь он опять “пошёл поперёк”... И удерживала его на этом роковом пути разве что вера в божественное призвание поэзии, которая спасала и Александра Блока:

*Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,
Но верю: то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала...*

(А. Блок)

Поэзия никогда не была для Кузнецова плодом познания, скорее она была венцом веры.

VIII. “Почти античный запах”

Поскольку у нас “всё от Пушкина”, то и культ изгойства или изгнанничества – тоже от него. Пушкин первым из русских поэтов создал в молодые свои годы образ гонимого поэта, жаждущего прильнуть если не к мировым, то к хотя бы к европейским ценностям. Это было в то время, когда он был “изгнан” в ссылку на юг, к Чёрному морю, а потом – в родное Михайловское. Но почему его любовью в южной ссылке стала Италия? Да потому, что её средиземноморская судьба напрямую вытекала из античности, из истории Римской империи, рядом с которой история франков, германцев, скандинавов, кельтов и англосаксов была варварской, сравнимой разве что с историей восточнославянских племён, замешанной на скифских дрожжах. В первой же главе “Онегина” Пушкин, вспоминая, как с Невы он слышал звук рожка и “песню удалю”, признаётся в любви отнюдь не к России:

*Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав!*

А дальше следует пылкое объяснение в любви Средиземноморью:

*Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.*

*Ночей Италии золотой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою молодой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле.
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.*

Дальше – больше. Пушкин пишет, что ради свидания с **“Италией золотой”** он готов **“покинуть скучный брег мне неприязненной стихии”** и чуть ли не бежать на Запад:

*Придёт ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей...*

Но вершиной этого культа, в котором он узрел поэтический смысл своего изгнания в Одессу и Бессарабию, у Александра Сергеевича стала мысль о сходстве его судьбы с судьбой великого Публия Овидия Назона. Именно о нём он пишет с благоговением:

*Златой Италии роскошный гражданин
В отчизне варваров...*

*Как часто, увлечён унылых струн игрою,
Я сердцем следовал, Овидий, за тобою...*

Пушкин чувствует себя подобным великому римскому изгнаннику, и это чувство возвышает его в своих глазах и в глазах современников, собутыльников, молодых офицеров тайного Южного общества, реальных и придуманных любовниц.

“Я повторил твои, Овидий, песнопенья”, – говорит он о себе, называя себя **“изгнанником самовольным”**, и гордится, и бравивирует своей участью: **“Не славой – участью я равен был тебе”**. И в **“Цыганах”** он отдал должное памяти Овидия:

*И всё несчастный тосковал,
Бродя по берегам Дуная <...>
И завещал он, умирая,
Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости...*

И, конечно, не удержался он от соблазна сравнить судьбу Овидия с судьбой Боратынского, который в те же годы находился тоже в изгнании, но не на юге, а в холодной Финляндии:

*Ещё донныне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона.
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого;
Но, друг, обнять милее мне
В тебе Овидия живого.*

Пушкин протоптал в русской литературе тропинку от изгнания к славе. А за ним по этой тропинке пошли все, кому не лень. С тех пор, как Россия начала расширять **“окно в Европу”**, отношения между Востоком и Западом стали властно влиять на судьбы людей русской культуры. Когда эти отношения были скудными, то ореола изгнанничества или изгойства над их головами не возникало, и никаких дивидендов от своего диссидентства ни Новиков, ни Радищев не имели. Однако ссылка молодого Пушкина сначала на скифский Юг, а потом в Михайловское уже добавила ему известности, но только на родине.

А изгнание на Запад Герцена впрямую повлияло на его литературную и политическую судьбу, и он, в отличие от Пушкина, уже обрёл европейское имя. А в XX веке связи с Россией настолько усложнились, что “изгнанничество” стало чуть ли не заветной мечтой нашей либеральной диссидентуры, которая, отказываясь от литературной судьбы на Родине, научилась играть уже не в русскую, а в мировую рулетку, получая взамен на Западе возможности, утраченные в СССР: издания, славу и деньги. “Компенсация за гонения” порой доходила и до нобелевских высот, если вспомнить о судьбах Бунина, Пастернака, Бродского, Солженицына. Да и элита второго ряда, вроде Ахматовой или Набокова, а в следующем поколении – Евтушенко, Вознесенского или Аксёнова, – была облагодетельствована Западом весьма щедро, несмотря на все “железные занавесы”, которые почему-то не могли сдержать взаимного тяготения друг к другу маркитантов – “людей близкого круга”, профессионалов по обмену “общечеловеческими ценностями”¹. Лишь в 30-е годы Европа не могла эксплуатировать в борьбе Советами идею изгнанничества, поскольку эта идея могла давать всходы лишь на демократической почве, а в Европе 30-х годов эта почва была коричневой. И Ахматова с Мандельштамом в ту эпоху не могли рассчитывать на понимание Европы, волей-неволей, но пришлось им от неё отворачиваться:

*Темна твоя дорога, странник,
Польнью пахнет хлеб чужой.*

Поэтому первая эмиграция – и русская, и еврейская – не могла извлечь никаких выгод из своего неприятия Советской России. И лишь в 60-е годы, когда в “демократической Европе” появилась возможность манипулировать идеей “прав человека” в борьбе с “советским тоталитаризмом”, могли появиться нимбы изгнанничества над головами Солженицына, Галича, Копелева, Зиновьева, Гладиллина и прочих “шестидесятников”, потомков отнюдь не Тютчева и Достоевского, а, скорее, Герцена и Печорина. И не нужно было изгнанникам беседовать с тенями Назона и Данта, Ариосто и Торкватто Тассо... Раскрутить Аксёнова или Галича европейским идеологам было легче, нежели прославить целую армию деятелей культуры из первой эмиграции... Лишь Бунин с Набоковым выделались из общей массы северяниных, адамовичей, бурлюков, которые Европе были не нужны. Да к тому же их было столько, что на все “нимбы” средств не хватало. В отличие от Евтушенко и Вознесенского, маскировавших тенью Маяковского свою лоскутную идеологию, куда более органичный поэт Иосиф Бродский вольно или невольно стал примерять своё “изгойство” к советской действительности, оглядываясь на Осипа Мандельштама 30-х годов. И проще всего в этой примерке ему было обратиться к темам и образам мандельштамовского античного Средиземноморья, о чём свидетельствуют стихи Иосифа Бродского “Декабрь во Флоренции”, “Одиссей – Телемаку”, “Венецианские строфы”, “Письма римскому другу”. Изящная и похожая на правду стилизация закономерно вывела его то ли к Кишинёвскому, то ли к Римскому, то ли к Воронежскому изгнаннику:

*Коли так, гедонист, латинист,
в дебрях северных мёрзнувший эллин,
жизнь свою, как исписанный лист,
в пламя бросивший, будь беспределен...*

Эта наоновская тропа вела Иосифа Бродского и в скифские степи, и в псковские дебри, близкие по своему происхождению к дебрям архангельским. Быть изгнанником, терпящим притеснения от имперско-советской римско-петербургской власти, – это же всё равно, что уподобиться самому Овидию или, на худой конец, Пушкину... Это же циклы стихотворений, поэмы, строфы, полные подтекста. Один лишь Коля Рубцов, будучи подлинным изгоем, бубнил где-то в Вологде своё, кондовое, патриотическое:

¹ Насколько эта идеология “изгнанничества” в настоящее время выродилась и превратилась в убогую карикатуру, можно судить хотя бы потому, что в литературном обиходе существует премия имени “изгнанника” Петра Вегина, от творчества которого не осталось в буквальном смысле ни одной строчки.

*Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом ещё на чём-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пройду по волоку с мешком
И буду жить в своём народе.*

Но кому он нужен и кто его слышит? А Бродского слышит весь “цивилизированный” романский, англосаксонский и даже скандинавский и, конечно же, средиземноморский мир:

*Понт шумит за чёрной изгородью пиний.
Чьё-то судно с ветром борется у мыса.*

Всё, как у поэтов изгнания:

*А море Чёрное шумит, не умолкая...
(М. Лермонтов)*

*А море Чёрное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью...
(О. Мандельштам)*

Если тебе грозит изгнание и ты примеряешь себе на голову нимб изгоя, то лучше всего аукнуться со знаменитыми изгнанниками, побеседовать с тенями мировой культуры.

У Бродского хватило ума и такта окружать себя именно изгнанниками от культуры, а не Лениным из Лонжюмо, что делал функционер Вознесенский, и не Собчаком на Лазурном берегу, на которого молился вечно державший нос по ветру Евтушенко. Уж если судьба толкает на Запад, то надо уходить в окружении литературных призраков, что гораздо пристойнее и, на первый взгляд, даже бескорыстнее.

Почти до середины 30-х годов душа Осипа Мандельштама блуждала на мифических берегах и просторах Средиземноморья, беседовала с тенями Елены Прекрасной и не менее прекрасной Европы, приплывшей на спине быка Юпитера к итальянским берегам, примеряла свою судьбу к судьбам Ариосто и Торкватто Тассо, Петрарки и Микеланджело. А уж о традиционной любви к Данту и говорить нечего. И Пушкин, и Блок, и Мандельштам не раз молились на его тень с “профилем орлиным”:

*Зорю бьют... Из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах печатный стих
Неожиданно затих,
Дух далече улетает.*

Это был Дант одной из частей “Божественной комедии”, которую Александр Сергеевич перевёл вольно и вдохновенно, Дант, с помощью которого Пушкин написал “Подражание итальянскому” о том, как в преисподней её мерзкие обитатели приносят своему владыке “живой труп” Иуды Искариота:

*И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожёт уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.*

Право, такой изобразительной экспрессии мог бы позавидовать и сам Юрий Поликарпович! Конечно, Запад соблазнял и его, и Осипа Эмильича тенями Данта, Шекспира, Гёте. Но не будем забывать и о том, что однажды гордый сын Кубани ответил собеседнику, сравнившему его “Сошествие в ад” с “Божественной комедией”: **“Данте мелко плавал по сравнению со мной”**. А если говорить серьёзно, то и Пушкин, и Мандельштам, и Юрий Кузнецов во второй половине своей жизни — каждый по-своему, — но преодолели искушения и соблазны Западного мира. Пушкин благодаря переосмыслению истории в одах “Клеветниками России” и “Бородинская годовщина”, благодаря погру-

жению в русскую стихию, после освоения “Слова о полку Игореве”, народных сказок, Смутного времени, Петровских деяний, пугачёвщины и полного неприятия европейской бульварной литературы, хлынувшей в 30-е годы в русскую жизнь. Ещё бы! В его “Современнике” печатались шедевры: “Скупой рыцарь”, “Капитанская дочка”, “Медный всадник”, “Путешествие в Арзрум”, повести Гоголя, стихи Тютчева, Жуковского, Боратынского, Лермонтова... Какие имена! Казалось бы, нарасхват должен был идти журнал! Ан нет! Всё было тщетно. Грамотная светская чернь уже была увлечена бульварным чтением Булгарина, трескучими стихами Бенедиктова, ходульной прозой Марлинского и, что обиднее всего, бульварными романами французских сочинителей, о которых поэт с беспощадной язвительностью писал: **“Легкомысленная невежественная публика была единственной руководительницей и образовательницей писателей. Когда писатели перестали толкаться по передним вельмож, они в их стремлении к низости обратились к народу, лаская его любимые мнения или фиглярствуя независимостью и странностями, но с одной целью: выманить себе репутацию или деньги! В них нет и не было бескорыстной любви к искусству и к изящному. Жалкий народ!”**

К этому возрасту Пушкин уже полностью расстался не только с кумирами своей юности – Парни, Анакреоном, Вольтером, – но даже о Байроне перестал вспоминать и в стихах, и в статьях, и в письмах. В число бульварных писателей, *выманивающих* себе “репутацию и деньги”, он включил даже Виктора Гюго. А в набросках к “Фаусту” вынес западной цивилизации, олицетворённой в виде корабля, возвращающегося из ограбленных колоний с тремя сотнями “мерзавцев”, с “бочками злата”, с “грузом шоколата”, с “двумя обезьянами” и “модной болезнью” – сифилисом, короткий приговор: “Всё утопить”.

Осип Манделштам начал свои признания в любви к античному миру в Коктебеле 1915 года:

*Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочёл до середины...*

*А я пою вино времён —
Источник речи италийской...*

Выстраивая в своей поэзии волшебную модель Средиземноморья в стихах о Данте и Тассо, об Ариосто и Петрарке, он блистательно перевёл несколько сонетов Петрарки, написал книгу “Разговор о Данте”... И вообще, когда читаешь стихи Осипа Эмильевича 30-х годов, кажется, что он полностью вжился в роль Публия Овидия Назона (как в своё время в неё вжился Пушкин), сосланного в скифские холодные степи и тоскующего по своему сказочному Средиземноморью, по своей **“вероломной, низкой, долгожданной”** родине: “*Овечий Рим с его семью холмами*”, “*Адриатика зелёная, прости*”, “*Нереиды мои, нереиды*” и так далее...

Но наступил 1933 год. К власти приходит Гитлер, а Осип Эмильевич, наперекор всему, в это время взахлёб живёт и дышит образами своей духовной прародины Италии.

*Вы помните, как бегуны
У Данте Алигьери
Соревновались в честь весны
В своей зелёной вере...*

Но этого мало! У него была целая блаженная утопия грядущей жизни средиземноморской Европы, перед которой казалась примитивной картинкой любая другая утопия, в том числе и коммунистическая:

*Любезный Ариост, быть может, век пройдёт —
В одно широкое и братское лазорье
Сольём твою лазурь и наше черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили мёд...
(1933 год!)*

Средиземноморье для О. Э. было тем же самым земным раем, что и Беловодье для Клюева, а мёд – тем самым мёдом, который вкушал он у Максимилиана Волошина в Коктебеле, когда “золотистого мёда струя / из бутылки текла так тягуче и долго...”, который он слизнул языком у Пушкина в Лукоморье:

*И я там был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный...*

Правда, он поблагодарил Пушкина за божественный вкус этого мёда, успев ему пальму первенства в создании средиземноморского ареала жизни:

*На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной песни...*

Когда в 60-х годах я бывал в Коктебеле, то всегда наслаждался стрекотанием цикад...

Мандельштам ещё на что-то надеется, ещё верит в последние вздохи европейского гуманизма:

*В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно...*

(1937)

Забыл, Осип Эмильевич, что Пётр Великий уже “прорубил” это окно – окно в Европу... Читаешь и думаешь, что это написано не русским поэтом (каким О. Э. страстно желал быть и которым, в конце концов, стал), но одним из потомков Овидия, страдающего в изгнании в стране варваров. И недаром в среде либеральной интеллигенции до сих пор бытует легенда о том, что, будучи уже в пересыльном дальневосточном лагере, Осип Мандельштам читал уголовникам у костра не что-нибудь, а свои изысканные переводы сонетов Петрарки. А ведь в это время им уже были написаны честные стихи о Сталине:

*И к нему, в его сердцевину
Я без пропуска в Кремль вошёл,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжёл...*

Это написано в том же 1937 году, в то же время, когда он продолжал ещё жить образами Италии.

Ещё в 1922 году в его сознании зародились прекраснодушные иллюзии о приближающейся наконец-то после кровавой мировой бойни мирной, счастливой, благодатной жизни всех европейских народов, наконец-то объединившихся в одну семью:

“Выход из национального распада, из состояния зерна в мешке к вселенскому единству, к интернационалу лежит для нас через возрождение европейского сознания, через восстановление европеизма как нашей большой народности. “Чувство Европы” – глухое, подавленное, угнетённое войнами и гражданскими распрями – возвращается <...> нынешняя Европа – огромный амбар человеческого зерна, настоящей человеческой пшеницы <...>, но каждое зерно хранит память об одном древнем эллинском мифе, о том, как Юпитер превратился в простого быка, чтобы на широкой спине, тяжело фыркая и с розовой пеной усталости у губ, перенести через земные воды драгоценную ношу, нежную Европу, и та слабыми руками держалась за крепкую квадратную шею” (из статьи “Пшеница человечества”, 1922).

Но как мог Осип Эмильевич забыть о том, что его любимый Александр Блок ещё в 1909 году увидел совсем другое лицо “лазурной” Европы:

*Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак гробовой,
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой.*

*Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома.
Всеевропейской жёлтой пыли
Ты предала себя сама.*

Почему он не вспомнил гневное блоковское проклятье обуржуазившейся флорентийской черни, не внял пророчествам Блока в его “Итальянских стихах”, а главное — в “Скифах”? Почему он, когда писал статью “Пшеница человеческая”, не понял, что европейская почва настолько пропиталась кровью 20 миллионов, погибших в Первой мировой, что земля эта — “всеевропейская жёлтая пыль” — и этот воздух, наполненный смрадом истлевшей крови, могут родить лишь зёрна для муки коричневого помола? Очень поздно, лишь в начале 30-х годов Осип Эмильевич начал освобождаться от средиземноморских и общеевропейских чар. Он вдруг обнаружил, что

*Над Римом диктатора выродка
Подбородок тяжёлый висит.*

Это — об итальянском дуче, “потомке” римских императоров, об “италийских чернорубашечниках”. О “сиротах Микеланджело”, “облачённых в камень и стыд” и молчащих “в рабстве”, он сказал:

*Вы коричневой крови наёмники,
Мёртвых цезарей злые щенки.*

Когда-то, ещё во время Первой Мировой Осип Мандельштам в стихотворении “Декабрист” писал о прекраснородушном русском западнике, о своём alter ego, в уме которого “всё перепуталось и сладко повторять — Россия... Лета... Лорелея”. Но железно-коричневая судьба новой послевоенной Европы заставила его переписать древнегреческий сюжет с Лорелеей по-новому:

*И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг...*

Это уже о другом фюрере, тоже любившем древнегерманские мифы. Поистине к 30-м годам все гуманисты и поклонники священных камней просвещённой Европы заблудились:

*Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.*

*Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.*

Последний жалобный всхлип об утерянном европейском Рае выпорхнул из груди Осипа Эмильевича в 1937 году в “Стихах о неизвестном солдате”, которые столь же темны и загадочны, сколь была озадачена и растеряна душа поэта, пытавшаяся предсказать будущее человечества:

*Весть летит светопыльной обною:
— Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не битва народов, я новое,
От меня будет свету светло...*

Конечно же, это по-своему переиначенная мысль Пушкина о несбыточном времени, “когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся”.

Но точка невозврата уже была пройдена. Какой тут Лейпциг, какое Ватерлоо — впереди маячил призрак Второй Мировой войны, поскольку просвещённой Европе было мало крови, пролитой в Первой Мировой, и буду-

щее человечества должно было решиться в небывалых “битвах народов” — “в белоснежных полях под Москвой”, в Великой Ленинградской блокаде, в сверхчеловеческой Сталинградской схватке, в противостоянии тысяч танков на Курской дуге. Память Осипа Эмильевича, державшая в себе Аустерлиц, Ватерлоо, Верден, Марну, была бессильна прозреть будущее. То, что средиземноморская идиллия изжила себя, — это он успел понять, и это дало ему волшебную возможность наконец-то почувствовать себя русским поэтом. Что и произошло после язвительного стихотворения о Сталине, повлекшего за собой пермскую ссылку, и цикла стихотворений, рождённых не на берегах Адриатики, а на берегах Камы... Затем последовали “воронежское сиденье” со знаменитым “воронежским циклом” и покаянная “сталинская” тетрадь последних двух лет жизни. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Он стал русским поэтом не потому, что писал на русском языке, а потому, что душа его перенесла прививку русской истории с её пониманием по-пушкински. Но жаль ему было расстаться с последними иллюзиями!

*Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых ещё воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.*

Юрий Кузнецов, отец которого погиб на Великой Отечественной в Крыму, во время штурма Сапун-горы, уже по-другому относился не только к новейшей истории, связанной с именами дуче и фюрера, он заглянул поглубже — на несколько веков назад, и в стихотворении о любимом итальянском поэте Осипа Эмильевича предварил текст чрезвычайно важным (чего никогда не делал ранее!) историческим документом, видимо, понимая его бóльшую значимость даже по сравнению с поэтическим текстом:

Петрарка

“И вот непривычная, но уже нескончаемая вереница подневольного люда того и другого пола омрачает этот прекраснейший город скифскими чертами лица и беспорядочным разбродом, словно мутный поток чистой реку; не будь они своим покупателям милее, чем мне, не радуй они глаз больше, чем мой, не теснилось бы бесславное племя по здешним узким переулкам, не печалило бы неприятными встречами приезжих, привыкших к лучшим картинам, но в глубине своей Скифии вместе с худою и бледною Нуждой среди каменного поля, где её (Нужду) поместил Назон, зубами и ногтями рвало бы скудные растения. Впрочем, об этом довольно”.

Петрарка. Из письма Гвидо Сетте, архиепископу Генуи.
1367 год, Венеция.

*Так писал он за несколько лет
До священной грозы Куликова.
Как бы он поступил — не секрет,
Будь дана ему власть, а не слово.*

*Так писал он заветным стилем,
Так глядел он на нашего брата.
Поросли б эти встречи былём,
Что его омрачали когда-то.*

*Как-никак, шесть веков пронеслось
Над небесным и каменным сводом.
Но в душе гуманиста возрос
Смутный страх перед скифским разбродом.*

*Как магнит, потянул горизонт,
Где чужие горят Палестины.
Он попал на Воронежский фронт
И бежал за дворы и овины.*

*В сорок третьем на лютном ветру
Итальянцы шатались, как тени,
Обдирая ногтями кору
Из-под снега со скудных растений.*

*Он бродил по тылам, словно дух,
И жевал прошлогодние листья.
Он выпрашивал хлеб у старух —
Он узнал эти скифские лица.*

*И никто от порога не гнал,
Хлеб и кров разделяя с поэтом.
Слишком поздно других он узнал.
Но узнал. И довольно об этом.*

Всего лишь несколько лет О. Э. не дожидаясь до того, чтобы встретиться на “Воронежском фронте” возле “молодых ещё воронежских холмов” с пришельцем от “всечеловеческих, яснеющих в Тоскане”, с суперменом, то есть сверхчеловеком и одновременно гуманистом Петраркой, одетым в серую, мышинового цвета форму солдата Третьего рейха. У Александра Блока хватило мужества осудить дантовскую Флоренцию, превратившуюся в начале XX века во “всеевропейскую жёлтую пыль”, но – дитя Серебряного века! – он преклонил колена перед образами идиллической Италии, воспетой искусствоведом Петром Муратовым, перед Италией, глядевшей на него с полотен Рафаэля и Беато, перед сладкозвучием сонетов Петрарки... Средневековая Италия казалась ему утраченным раем. Он не знал или не хотел знать, что на знаменитых площадях Венеции и Флоренции процветала торговля восточнославянскими и скифскими рабами. Он, написавший в 1907 году знаменитый цикл “На поле Куликовом”, не знал или не хотел знать, что генуэзская пехота участвовала в походе Мамаю на Русь и в битве на Куликовом поле, надеясь в случае победы отправить очередные шеренги пленных скифов и славян на работоторговые рынки Венеции, Генуи и Флоренции, где их могли покупать и покупали для своих низменных нужд великие гуманисты эпохи раннего Возрождения вроде Петрарки или Микеланджело. Ведь рабы нужны во все времена, что в XIV веке, что в XX.

Но особенно ценно то, что Юрий Поликарпыч, прежде чем написать стихотворение о Петрарке – участнике Второй Мировой, – подобно Осипу Эмильевичу, переболел подобными же античными и средиземноморскими наваждениями, и его молодая душа трепетала от счастья познания другого мира, и в первую половину жизни он жаждал стать, несмотря на все свои кубанские корни, не то чтобы “человеком Запада”, но скорее мировой культуры. “**Душа, ты рванёшься на Запад, а сердце пойдёт на Восток**”, и в его “средиземноморских” стихах замелькали имена Гомера, Софокла, Пифагора...

*В туманном юношеском сне
Из этой пустоты
Явилась женщина ко мне —
Елена! Это ты!*

Облик ахейской красавицы Елены Прекрасной, похищенной Парисом, слился у него с обликом похищенной быком-Юпитером девушки Европы, которая объясняется в любви к поэту:

*Она безутешно рыдала
На звёздной спине у него.
И имя твоё повторяла,
Пока не забыла его.*

Из любви к Европе и к её “высокому средневековью” Юрий Поликарпович написал стихотворение о том, как заморская синица принесла ему в клюве золотой волос его возлюбленной. Этот сюжет он взял из знаменитой ирландской саги о Тристане и Изольде.

В конце жизни, вспоминая о своих юношеских увлечениях Западом, Юрий Кузнецов поведал о тайне этих увлечений в стихотворении “Любовь поэта” с эпиграфом из Овидия: “Странно желание любви, чтобы любимое было далеко”.

*Поэт творит из ничего... И жаль,
Что Данте и Петрарка не без дыма.
Не женщин, а магическую даль
Они живописали одержимо...*

*Я тоже предпочёл быть вдалеке,
Когда любил Европу в синем море,
Плывущую на царственном быке...
Какая страсть и грёзы на просторе.*

Эта тоска по Европе понятна. Она результат исторической усталости, возникшей после непрерывной многовековой защиты своих скифских просторов от постоянных нашествий с трёх сторон света – с Запада, с Юга, с Востока... Всё было, как у Пушкина в “Сказке о Золотом Петушке”:

*Ждут, бывало, с юга, глядь —
Ан с востока лезет рать!*

Разве что, слава Богу, с Севера никто не посылал к нам солдат удачи. Но что делать! Как сказал тот же Пушкин: **“Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какою нам Бог её дал”**. Но ведь до пушкинской мудрости дорасти непросто, непросто пересмотреть свои взгляды на мировую историю, на Запад, на Европу, в которой давно уже нет никаких “золотых людей”, никаких “священных камней”, никакого “духом высокого Средневековья”. Один бизнес. К тому же, по словам Пушкина, Европа **“в отношении к России была всегда столь же невежественна, сколь и неблагодарна”**. Если в молодости Юрий Поликарпович ещё мог потребовать у выродившихся европейцев: “Отдайте Гамлета славянам”, – если мог ещё восхищаться злодейской решительностью леди Макбет, если мог аплодировать Марии Антуанетте, якобы вставшей после гильотины на помосте и швырнувшей в толпу французской черни свою окровавленную золотоволосую голову (“но от свободы, равенства и братства / я вынес только королевский жест”), то в поэме “Сошествие в ад” Поликарпович уже крушит направо и налево былых кумиров европейской цивилизации.

Впрочем, началось это задолго до “Ада”. В поэме с неслучайным названием “Дом”, отразившей историю европейского “дранга нах Остен”, Кузнецов несколькими эпическими взмахами “орлиного пера” начертил многое из того, что легло в основу “Ада”:

*Европа! Старое окно
Отворено на запад.
Я пил, как Пётр, твоё вино —
Почти античный запах.
Твоё парение и вес,
Порывы и притворство,
Английский счёт, французский блеск,
Немецкое упорство...*

В последних строчках – явная переключка со “Скифами” Блока, к которому Кузнецов сменил гнев на милость: он словно поблагодарил Блока за то, что тот дал ему ключ к Европе:

*Нам внятно всё: и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...*

Нам гораздо легче понять упрощённую европейскую душу, нежели европейцам – нашу: русскую, “загадочную”. Потому-то они на протяжении всей своей истории пытаются “упростить” нас. Отталкиваясь от этого, можно уже писать:

*Нам чужая душа — не потёмки
И не блеск Елисейских полей...*

Длинная мысль поэта искала в исторической тьме своё завершение и, в конце концов, нашла его в том, что Европа в конце своего пути выходит не на мифологический, а на кровавый путь разрешения тысячелетнего спора с Россией.

*И что же век тебе принёс?
Безумие и опыт.
Быть иль не быть — таков вопрос,
Он твой всегда, Европа.*

Он, этот вопрос, не славянский и, тем более, – не русский. Наконец-то поэт вернул Европе этот гамлетовский вопрос! “Отдайте Гамлета славянам!” – взывал он. Да зачем им Гамлет? Да и славяне, которых Россия всегда спасала от мусульманского, романского и германского оккупанта, только и мечтают сегодня, чтобы Европа приняла их в свою семью, чтобы вместе с германцами, романцами и англосаксами править оставшимся многоплеменным “нецивилизованным” миром. Поддавшись этому соблазну, они рано или поздно отшатываются от России, о чём 150 лет тому назад предупреждал Достоевский: **“Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации”**¹. И поэт продолжает свой разговор с Европой, в которой даже многие славянские народы объединились для похода на Россию под знамёнами тысячелетнего Рейха:

*Я слышу шум твоих шагов.
Вдали, вдали, вдали
Мерцают язычки штыков.
В пыли, в пыли, в пыли
Ряды шагающих солдат,
Шагающих в упор,
Которым не прийти назад,
И кончен разговор.*

Да. В 1941 году многовековой “культурный” разговор России с Европой закончился, и об этом именно написана поэма Кузнецова “Дом”. “Нет воли к жизни на земле, а воля к власти есть” – это о Фридрихе Ницше и его книге “Воля к власти”.

Вместе с Ницше Юрий Кузнецов засунул в жерло своей поэтической мясорубки и Гамлета с его навязшим в зубах вопросом, и Кипплинга с его легионерами, шагающими по Африке, и эхо бессмертного сталинского приказа № 227 с его звучащими до сих пор словами “Ни шагу назад!”, и вопли наших солдат, идущих в атаку:

¹ Разве не такого рода вопли слышим мы сегодня от “народных витий” “незалежной” Украины?

*Как тьма разодраны уста,
— Ура! — гремит по краю.
— За нашу Родину! За Ста...
Степан, ты жив? — Не знаю...*

Ну какие после всего этого могут быть споры и счёты с Данте, с Шекспиром, с Ариосто, **“когда мы бездну перешли?”** Когда на место античных героев стали Сергей Радонежский и связист Путилов, Пересвет и Федора-дура? Вот тогда и пришло окончательное прощанье Юрия Кузнецова с Западом и его Средиземноморьем.

Момент истины наступил. Вся Европа, объединённая расистской волей “сумрачного германского гения”, ринулась на Восток... “*Мерцают язычки штыков / в пыли, в пыли, в пыли...*” Кузнецов окончательно сделал выбор, демонстративно повторив мысль Пушкина из стихотворения “Клеветникам России”:

*Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России
Среди нечуждых им гробов.*

Осип Эмильевич не дозрел до такого рода обобщений. Европа приказала “Быть!” своим “озлобленным сынам”, своим гамлетам, швейкам, роландам, петраркам, уленшпигелям, гаргантюа и пантагрюэлям, кандидам и даже дон кихотам, влившимся в испанскую голубую дивизию: “Быть!”

...Вспоминаю, как после XX съезда КПСС, в разгар мутной хрущёвской оттепели, летом 1956 года мы, студенты МГУ, проходили военные сборы на берегах Волги в Гороховецких лагерях. Маршировать нас учили нещадно, каждый вечер мы чувствовали, как высохшая на гимнастёрках соль чуть ли не царапает наши спины. Выдерживать маршевые нагрузки нам помогли маршевые песни. Но подо что мы, в то оттепельное время стремившиеся разрушить “по инициативе партии” все “железные занавесы” и официальные патриотические догмы, маршировали в столовую, на стрельбище, в баню? Под маршевую песню “Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”? Под “Марш энтузиастов”? Под марш “Артиллеристы, Сталин дал приказ”? Увы... Мы маршировали, надрывая свои молодые глотки, под марш “иностраннных легионеров” или экспедиционных корпусов, завоевывавших для белой Европы богатства Южной Америки, Африки, Вест-Индии, Малайзии и прочих земель, заселённых “недочеловеками”, под марш аполгета белой англосаксонской расы Редьярда Киплинга:

*День — ночь. День — ночь.
Мы идём по Африке.
День — ночь. День — ночь.
Всё по той же Африке.
И только пыль, пыль, пыль
От шагающих сапог.
Отдыха нет на войне солдату...
И только пыль, пыль, пыль...*

Несомненно, что Юрий Кузнецов, учившийся в середине 60-х годов в Краснодарском пединституте, знал этот манифест западной воли к власти, талантливо переведённый знаменитым поэтом сталинской империи Константином Симоновым. Понять и выразить всемирно-исторический смысл столкновения двух миров — европейско-арийского и русско-славянского — было под силу только поэтам мифологического склада. В двадцатом веке такого рода поэтом наряду с Кузнецовым был, видимо, Даниил Андреев, зревший, как дух Германии сплачивает нашествие “двунадесяти языков” Европы на нашу Родину:

*Как призрак, по горизонту
От фронта несётся он к фронту.
И с гением расы воочью
Беседует бешеной ночью...*

В то время (конец сороковых годов) ещё никто из поэтов, кроме Андреева, не понимал мистического смысла минувшей войны:

*Но странным и чуждым простором
Ложатся поля снеговые.
И смотрят загадочным взором
И Ангел, и демон России.
И движутся легионеры
В пучину без края, без меры,
В поля, необъятные оку, —
К востоку, к востоку, к востоку...*

И слово-то нашёл поэт точное — “легионеры”, — интернациональный легион фашистской Европы, готовившейся к завоеванию евразийского востока несколько столетий, со времён “духа высокого Средневековья”... Историческая заслуга Юрия Кузнецова заключается в том, что он в стихотворении “Петрарка” и в поэме “Дом” “пошёл поперёк” и сломал традицию поклонения наших западников Ренессансу Европы с его великими художниками, скульпторами, архитекторами, религиозными реформаторами, сломал культ, в фундаменте которого было немало вложено и Карамзиным, и молодым Пушкиным, и Гоголем с его “Арабесками”, и Брюлловым, и Поленовым, и Серовым, а в XX веке — и Осипом Мандельштамом, не говоря уж об Иосифе Бродском.

Но вспомним, кроме людей культуры, другие знаменитые имена, которыми до сих пор гордится Европа: Колумб, Кортес, Писарро, Васко да Гама, Америго Веспуччи, Джеймс Кук. Многие из них изображены на полотнах и в печатных хрониках того времени в рыцарских доспехах, в шлемах, со щитами, копьями и мечами. И, конечно, с крестами. Но все они завоеватели, конквистадоры, о которых поэт — современник Блока — писал:

*Или бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвёт пистолет,
Так что сыплется золото с кружев
Розоватых брабантских манжет.*

Но ещё с большей жестокостью, нежели бунты на борту, они подавляли бунты туземцев и аборигенов в Америке, Африке и Вест-Индии. Наверное, они, если умели читать, ценили любовные сонеты Петрарки. Но если бы Осип Мандельштам дождал до 1941 года и до того, чтобы прочитывать письмо Петрарки епископу Генуи, он, живший на воронежской земле, посыпал бы свою голову пеплом.

Несколько лет тому назад я случайно попал в воронежский городок Россошь, где итальянские дивизии вермахта находились два с лишним года. Зашёл в музей Великой Отечественной войны, переполненный стендами, экспонатами, выставками с множеством фотографий итальянских чернорубашечников в немецкой форме, посланных на Восток ихним дуче на завоевание колоний для Италии. На стендах множество их писем к родственникам в Геную, в Рим, во Флоренцию, где они жалуются родным на жуткую жизнь честных солдат, выполняющих свой долг в этой варварской стране. На фотографиях — несчастные, обросшие щетиной, исхудавшие лица потомков Ромула и Петрарки. Заблудились они в этих скифских степях, тоскуют они по своим детям и жёнам, оставшимся в Тоскане. Музей этой “итальянской славы” создан, как мне было сказано, на итальянские деньги. Здесь стоят в качестве экспонатов их мундиры, их пилотки, их котелки, их оружие, из которого они убивали скифов, не пожелавших стать рабами флорентийцев и веронцев. Я вышел из музея, плюнул на порог и вспомнил стихи Михаила Светлова:

*Чёрный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца, —
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...*

*Молодой уроженец Неаполя!
Что в России оставил ты на поле?*

*Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?*

.....
*Разве среднего Дона излучина
Иностранным учёным изучена?
Нашу землю — Россию, Расею —
Разве ты распахал и засеял?*

*Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далёких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного...*

*Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!..*

В молодости Михаил Светлов, бывший по убеждениям троцкистом, призывал деятелей мировой революции к походу на реакционные буржуазные режимы Европы, “чтоб землю в Гренаде / крестьянам отдать”. Но прошедший школу сталинского построения социализма “в одной отдельно взятой стране”, он переродился в советского патриота, который исповедовал совсем другое:

*Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей вершка не отдадим.*

Вот такие трагические шутки шутит история с людьми. В россосанском музее нет его “Итальянца”, а это стихотворение должно там быть на самом большом стенде, на самом видном месте.

С россосанской землёй, с “молодыми воронежскими холмами” связана судьба ещё одного замечательного русского поэта — Алексея Прасолова (1930–1972).

Его детство и отрочество прошли в оккупации. По некоторым сведениям, на его глазах потомки Нибелунгов и Петрарки изнасиловали его мать.

Вспоминая время оккупационного рабства и освобождение воронежской земли от “европейских гуманистов”, Прасолов написал в 1965 году одно из лучших, на мой взгляд, стихотворений об эпохе Великой Отечественной, перекликающееся и со стихотворением Светлова о несчастном итальянце, и со стихотворением Юрия Кузнецова о Петрарке, попавшем на Восточный фронт:

*Ещё метёт во мне метель,
Взбивает смертную постель
И причисляет к трупу труп, —
То воем обгорелых труб,
То шорохом бескровных губ
Та, давняя метель.*

*Свозили немцев поутру.
Лежачий строй — как на смотре,
И чтобы каждый видеть мог,
Как много пройдено земель,
Сверкают гвозди их сапог,
Упёртых в белую метель.*

*А ты, враждебный им, глядел
На руки талые вдоль тел.
И в тот уже беззлобный миг
Не в покаянии притих,
Но мёртвой переключки их
Нарушить не хотел.*

*Какую боль, какую месть
Ты нёс в себе в те дни! Но здесь*

*Задумался о чём-то ты
В суровой гордости своей,
Как будто мало было ей
Одной победной правоты.*

Какое христианское стихотворение написал Прасолов в 1965 году! Нам, оказывается, мало “одной победной правоты!”

А “шорох бескровных губ” (переключка мёртвых!), а сверкающие “гвозди их сапог”, а “руки талые вдоль тел” — этого выдумать нельзя, это нужно видеть и пережить. “Свозили немцев поутру”, — конечно, там в этой горе трупы были не только немцы, но и потомки римских цезарей, и румыны, и венгры и прочие гуманисты-сверхчеловеки, но все они были в одной форме, и в сознании подростка все они были “немцами”. “Какую боль, какую месть ты нёс в себе!” — это, видимо, воспоминание о том, как *просвещённые* сыны Запада надругались над его матерью.

Европа... “почти античный запах...” Но от обмороженных потомков Петрарки, заблудившихся в воронежских степях, пахло мочой, кровью, гноем, солдатским потом, а не “пленительной смесью” “из грусти пушкинской и средиземной спеси” (О. Мандельштам).

При всём при том Юрий Поликарпович более чем холодно относился к творчеству Осипа Эмильевича. **“Терпеть не мог Мандельштама, не признавал его как поэта <...> заявлял: ваших мандельштамов не читал и не собираюсь”** (из воспоминаний Ю. Кабанкова). Я думаю, что это было сказано “ради красного словца”, чем Юрий Поликарпович иногда грешил, потому что в уже упоминавшихся воспоминаниях о нём Петра Чусовитина Кузнецов цитирует Мандельштама: **“Где вы, четверо славных ребят из железных ворот ГПУ” — поразительные по расхристанности строчки**... А ведь Кузнецова “поразить” чем-то было трудно. Но он прочитал это наизусть. Запомнил. Хотя и ошибся: в оригинале “славных ребят” не “четверо”, а “трое”. Вероятно, гордыня не позволила ему признать, что он читал какого-то Мандельштама, однако в средиземноморском цикле Осипа Эмильевича есть такое стихотворение:

*Гончарами велик остров синий —
Крит зелёный, — запёкся их дар
В землю звонкую: слышишь дельфиных
Плавников их подземный удар?..*

Не удержусь от соблазна сравнить это стихотворение с кузнецовским:

*Из земли в час вечерний, тревожный
Вырос рыбий горбатый плавник.
Только нету здесь моря! Как можно!
Вот опять в двух шагах он возник.*

*Вот исчез. Снова вышел со свистом.
— Ищет моря, — сказал мне старик.
Вот засохли на дереве листья —
Это корни подрезал плавник.*

Помню, как этим стихотвореньем восхищался Палиевский, не разглядевший в кузнецовском “переводе” мандельштамовский “подстрочник”, может быть потому, что Пётр Васильевич слишком скептически относился к творчеству Осипа Эмильевича: “жидовский нарост” на Тютчеве”, — шутил Пётр Васильевич, не желавший понять, что Осип Мандельштам мечтал о “крупнозернистой” эпической жизни и сокрушался:

*Тому не быть: — трагедий не вернуть,
но эти наступающие губы, —
но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.*

Точно так же сокрушался об “измельчании” мира и современности молодой Юрий Кузнецов: **“но этот мир лишился глубины и никому уже он не приснится”, “А нынче, где он, бог Пигмалиона”** и т.д.

Поиски “крупнозернистой жизни” шли у поэтов в одном направлении, несмотря на то, что эпическая струя из Кастальского источника, казалось бы, окончательно пересыхала, а само русло превращалось в какую-то сточную канаву рифмованной риторики или пошлого постмодернизма.

Но это ли не свидетельство того, что Юрий Поликарпович не только знал стихи своего собрата по Парнасу, но и брал приглянувшиеся ему недоразвитые образы, “доразвивал” их и очищал от русскоязычного косноязычия. И ничего в этом недостойного я не вижу, поскольку Поликарпович был одним из самых образованных поэтов своего поколения. Книжная часть жизни была для него источником глубочайших впечатлений. Ведь мог же он, прочитав книгу В. Розанова “Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови”, написать стихотворение “Мне снились ноздри!”, мог, услышав от Петра Палиевского одну из мистических средневековых легенд, вдохновиться и создать поэму “Змеи на маяке”, мог одну фразу из “Народных русских сказок” А. Н. Афанасьева “развернуть” в целое стихотворение “Я скатаю родину в яйцо”. Он всё “чужое” легко и естественно делал “своим”. Более того: у Осипа Мандельштама есть тёмная, косноязычная поэма о мире после Первой мировой войны. У Юрия Кузнецова есть стихотворение “Встреча” — о мире после Второй мировой. Один из отрывков мандельштамовской поэмы звучит так:

*И дружит с человеком калека —
Им обоим найдётся работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка:
— Эй, товарищество — шар земной!*

Удивительно, что Осип Эмильевич не разглядел того, что в почве униженной до предела и разорённой Германии после Версальского мира уже прорастают коричневые семена возмездия, созревшего в душе потомков Одина, возмездия, остриё которого направлено на спесивых англосаксов, унтерменшей — славян, и конечно же, в первую очередь на мировое еврейство. Унижать «сумрачный германский гений» — опасно.

В мировом литературоведении есть такое понятие, как бродячие сюжеты, может быть, поэтому стихотворение Кузнецова звучит, как вариация мандельштамовского сюжета:

*На мосту, где двоим разойтись — ни малейшего шанса,
Одноногий поляк увидел одноногого Ганса.
— Ой, вы ноги мои! — Тот без левой, а этот без правой,
Тот хромал Сталинградом, а этот гордился Варшавой.*

*— Доннерветтер! — Пся крив!
— повстречались глухие проклятья.
Чтобы им разминуться, они обнялись, словно братья.
Ноги стали на место — сошлись на мгновенье дороги,
И опять разошлись... ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, вот твои ноги!*

Но насколько у Поликарпыча всё получилось зримее, чувственнее, объёмнее, афористичнее! Словом, как говорит древняя римская пословица, “Победителей не судят”... Но и о первоисточнике грешно забывать. И переключку слов “товарищество” и “человечество” надо помнить. Кто-то из критиков проныцательно заметил, что Ю. К. использовал порой символы и образы других поэтов для своих мифологических построений... Вот тут-то ему и пригодились некоторые “мандельштампы”. А откровениями, наваждениями, сновидениями творчество Осипа Эмильевича насыщено в не меньшей степени, нежели творчество Юрия Поликарповича... Но “стихотворное тело” наваждений Кузнецова куда полнокровней, куда телесней, а потому его наваждения, даже неразгаданные, куда более властно, нежели мандельштамовские “темноты”, захватывают нас в свои горячие объятья. “Дух дышит, где хочет”, — и поэт, посланец духа, берёт, где хочет и что хочет.

*В зимнем воздухе птицы сердиты,
То взлетают, то падают ниц.
Очертанья деревьев размыты
От насевших здесь сотням птиц.*

*Суетятся, кричат — кто их дразнит?
День слюится в прозрачной тени.
На равнине внезапно погаснет
Зимний куст — это снова они.*

*Пеленою полнеба закроют,
Пронесутся, сожмутся пятном,
И тревожат, и дух беспокоят.
Что за тень?.. Человек за окном.*

*Человека усеяли птицы,
Шевелятся, лица не видать.
Подойдёшь — человек разлетится,
Отойдёшь — соберётся опять.*

Когда-то, лет пятьдесят тому назад я, будучи в турпоездке в Швеции, посмотрел страшный фильм Хичкока “Птицы”. Прочитав стихотворение Кузнецова, я второй раз испытал тот же ужас... Вы скажете, что это от Хичкока? Ну и что? “Когда б вы знали, из какого сора / растут стихи, не ведая стыда”, как сказала нелюбимая Юрием Поликарповичем Анна Андреевна. Весьма пронзительный и знающий современную поэзию критик в обширной статье “Латентный постмодернизм Юрия Кузнецова” не без оснований писал о прямой зависимости автора от прочитанных книг:

“Юрий Поликарпович фактически к любому из попадавшихся ему на глаза литературных произведений относился единственно как к СЫРЬЮ для своего персонального поэтического творчества, переделывая и “усовершенствуя” первоначальные тексты в соответствии со своей художественной логикой”.

Прочитав примеры такого “своеволия”, которые приводит критик, можно почти согласиться с ним, как и с ещё одним критиком, не без оснований утверждавшим, что Кузнецов порой переписывает сам себя... Но согласиться с такого рода суждениями о творчестве Кузнецова можно лишь на первый взгляд, потому что Александр Сергеевич Пушкин не раз занимался такого рода “аннексией”, но каждый раз из-под его пера выходили шедевры. Вспомним поэму “Анджело”, которая родилась из итальянских хроник, вошедших в сюжет драмы Шекспира “Мера за меру”, вспомним “Сказку о рыбаке и рыбке”, сюжет которой Пушкин позаимствовал из сборника сказок братьев Гримм, или “Сказку о Золотом петушке”, рассказанную в “Легенде об арабском звездочёте” Вашингтоном Ирвингом. Я уж не говорю о “Песнях западных славян”, которых бы не было, если бы Александр Сергеевич не прочитал книгу Проспера Мериме, но которые, тем не менее, считаются произведениями самого Пушкина! И “Пир во время чумы”, и “Каменный гость” тоже в своей основе опираются на европейские легенды и хроники.

Что же касается использования поэтами одних своих сочинений для создания других, то опять сошлюсь на авторитет Александра Сергеевича. В 1830 году, находясь в Болдино, Пушкин написал знаменитое стихотворение “Бесы”, в котором прошу обратить внимание на следующие строки: **“мутно небо, ночь мутна”, “Эй, пошёл, ямщик!”**, **“что там в поле? — кто их знает? пень или волк?”** А в 1836 году Александр Сергеевич закончил “Капитанскую дочку”, в начале которой её герои в оренбургских степях попадают в метель, буквально списанную Пушкиным со своего стихотворения “Бесы”: “Ничего не мог различить, кроме **мутного** кружения метели... Вдруг увидел я что-то чёрное. **“Эй, ямщик!** — закричал я, — смотри, **что там чернеется?**” Ямщик стал всматриваться. **“А Бог знает**, барин, — сказал он садясь на своё место, — воз не воз, **дерево не дерево**, а кажется, что шевелится. Должно быть, или **волк, или человек**”. Словом, переписал Пушкин сам себя.

Так что не будем придираться ни к Александру Сергеевичу, ни к Юрию Поликарповичу — поэтам виднее, где, что и у кого взять взаимны, а порой — и без отдачи.

IX. “Мы сновидения земли...”

Я возвращался из своих странствий по Беломорью, с берегов Мегры и Сояны, из беломошных ленточных боров и великих болот русского Севера, приходил в редакцию, доставал звено малосолевой сёмги, кромсал его охотничьим ножом, мы с Юрой открывали бутылку и начинали наши разговоры.

Я рассказывал ему, как в белую ночь при тусклом свете незаходящего солнца эта рыба схватила мою блесну среди гладких, обточенных льдинами валунов Кривого порога, как она разгонялась, со звоном выматывая леску с катушки, и, набрав бешеную скорость, взлетала из чёрной струи, тряся оскаленной пастью, стараясь избавиться от блесны. Как я смягчал её удар хвостом по звенящей леске, изматывал её и всё-таки вытаскивал, обмякшую от борьбы, на песчаный берег. А она, собрав последние силы, вдруг изгибалась черно-серебристым телом над жёлтым песком, мотнув головой, выплёвывала тройник и падала к моим сапогам на мелководье, замирая на мгновенье, словно бы не веря тому, что — свободна. Но этого мгновенья мне доставало, чтобы схватить её одной рукой за хвост, другой за жабры и бросить подальше от берега в пожухлые осенние травы.

Кузнецов слушал меня и улыбался — мрачно, но снисходительно:

— Пока ты какую-то сёмгу ловил, я другой ловлей занимался!

*На счастье взял он червяка
И пронизал крючком.
Закинул. Мёртвая река
Ударила ключом.*

*И леса взвизгнула в ответ
От тяги непростой.
Но он извлёк на этот свет,
Увы, крючок пустой.*

*Не Сатана сорвал ли злость?
В руке крючок стальной
Зашевелился и пополз,
И скрылся под землёй.*

— Вот это ловля! Это не какой-то твой лох! Я же нечистого подцепил. На этот раз он сорвался с крючка и ушёл... Но борьба не кончена, посмотрим — кто кого!

Поликарпыч затыкнулся сигаретой... Взгляд его в пространство был сосредоточен и серьёзен, а я глядел на него и думал: он что, всерьёз говорит или шутит? Ведь настоящая мужская жизнь — это моя. А он словно бы жалеет меня за то, что я трачу жизнь по пустякам, “расплёскиваю” её в неведомых ему лесах и на неведомых ему реках... Какая там Мегра или Угра, когда есть лишь одна река времени и забвения — Лета... “А, чем бы дитя ни тешилось!” — вот что было написано на его огорчённом лице, прорезанном глубокими морщинами.

— Юра! — соблазнял я его. — Поехали со мной осенью на Север. Ты, конечно, южный человек, и служил на Кубе, но вспомни Пушкина: “Здоровью моему полезен русский холод!” Поживёшь в тайге с её дождями, первыми заморозками, снежными зарядами, набегаем за день в поисках рыбы, а вечером придём к родной палатке, костерок разведём, рыбу разделаем, засолим, уху сварим, бутылку откроем, тишину послушаем. Река шумит, северные сплохи над нами вспыхивают, гуси в тёмном небе кричат... К югу уходят. Значит, скоро и река на плёсах ледком схватится... И нам тогда домой пора — за гусями, в южную сторону!

Юра печально улыбается, молчит, и я понимаю по этой улыбке, по этой отрешённости, что он душой много старше меня, хотя по паспорту и моложе. И где сейчас гуляет его душа, в каких просторах, я этого никогда не пойму. Тяжело ему жить в мире мифов, в мире высокого давления, и внешнего, и внутреннего. Оттого и старился он быстрее меня, и волосы поредели, и взгляд стал слишком неподвижен, скорее всего, он в себя глядел, и под глазами — мешки тяжёлые, отёкшие.

Я гляжу на его скульптурное лицо и мысленно укоряю себя: что я к нему пристаю со своей вольной волей, с гусиными стаями, со всей брэнной красо-

той Божьего мира? Всё это такое зыбкое, такое преходящее, такое ненадёжное! А он не с деревьями и ручьями — он с высшими силами разговаривает, ищет ответа на проклятый вопрос: “Может, Бог тебя во сне приветил, / или чорт поставил свой рожон”... Ты вытащил сёмгу на полпуда или глухаря, вышедшего к реке, чтобы набить зоб к зиме мелкими камушками, подстрелил и счастлив своей удачей. А каково Поликарпычу, которому открылось, что

*России нет, тот спился, тот убит.
Тот молится и дьяволу, и Богу...*

Поликарпыч между тем поднимает богатырской рукой стопку:

— Ну, за твою рыбалку, за твой фарт!

... Так христианин он или нет? Бог с дьяволом у него на равных правят миром, как две вечные силы, как близнецы, выношенные одной утробой.

Осознание этой связи всегда волновало Пушкина, чувствовавшего двусмысленность человеческого бытия:

*Напрасно я бегу к Сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...*

И Юрий Поликарпович тоже чувствовал единство “тварного” и “духовного”, как мало кто из русских поэтов XX века. Ну, пожалуй, кроме Есенина, с печалью признававшегося:

*Слишком я любил на этом свете
Всё, что душу облакает в плоть.*

А у Поликарпыча даже копьё святого Георгия Победоносца живёт “равновесием света и мрака”. Но как же ему тяжело нести в себе самом такое невыносимое знание и о русском человеке, и о родине!

*Посмотри! Твою землю грызут
Даже те, у кого нет зубов.
И пинают, и топчут её
Даже те, у кого нету ног.
И хватают родное твоё
Даже те, у кого нету рук.
А вдали, на краю твоих мук,
То ли дьявол стоит, то ли Бог.*

А может быть, это своеобразная ересь, бунт против евангельского христианства с языческих высот (или низин), соблазн, который Юрий Поликарпович носил в себе, как родимое пятно, всю жизнь и с которым всю жизнь боролся, приближаясь к другим, Сионским высотам? Но и движение к ним, увенчанное поэмой о жизни Христа, было у Юрия Поликарповича своеобразным, как крещение у древних готов, которые, спускаясь в речную купель, поднимали над поверхностью воды руку с зажатым в ней мечом, “чтобы кулак остался некрещёным”. Культ героического соблазнитель, но опасен потому, что смыкается с культом всех мировых сил, время от времени восстающих против божественного миропорядка: восстание ангелов, подвиг Прометея, борьба Иакова с ангелом — все эти и другие примеры всегда питали соблазн и волю героев и легионов, штурмовавших небо. Но соблазн собственными силами справиться с истоками мирового зла тоже велик. Безнаказанно вторгаться в потусторонние античеловеческие миры, совершать вылазки в стан врага рода человеческого, а потом возвращаться здоровым и неповреждённым не под силу человеку. Оттого-то после таких партизанских рейдов в памяти и в душе слышатся голоса, проплывают видения и галлюцинации неизвестного происхождения. Давление этих тёмных сил временами бывало столь невыносимым, что человек буквально обрушивался в бездну отчаяния:

*Из лона Матери-Земли
Во тьме предродовой
Дурные воды потекли —
Мир скрылся под водой.*

*Земля от мук изнемогла
И позабылась сном.
Во сне младенца родила
В ночь перед Судным днём.*

*Среди бледнеющих светил
Взошла заря стыда.
И крик младенца возвестил
День Страшного Суда.*

*Мы не восстанем во плоти
Перед лицом Суда.
Да нас и не было почти
Нигде и никогда.*

*Мы показаться лишь могли
В ту ночь на Рождество.
Мы — сновидения Земли
И больше ничего...*

Да, конечно, это тютчевская космическая картина:

*Когда пробьёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё сущее опять покроют воды,
И Божий лик отобразится в них.*

Но у Тютчева в изображении этого космического возвращения земли к своему началу — “Земля была безвидна, и лишь дух Божий носился над водами” — нет ни одного слова о человеке и судьбе человечества. Словно их и не было никогда на Земле.

У Кузнецова же космическая катастрофа происходит в конце истории человечества, в День гнева, когда наступает Второе Пришествие Спасителя одновременно со Страшным Судом и с рождением некоего Младенца не из женского лона, а “из лона Матери-Земли”. Стихотворение называется “Сновидение в ночь на Рождество”. Именно не “сон”, а “сно-видение!” Но чьё Рождество мерещится поэту и почему оно сопровождается страшными предзнаменованиями: “дурные воды потекли”, и “мир скрылся”, объятый этими водами, и земля “изнемогла от мук”, и что это за Младенец, возвещающий День Страшного Суда, о сроках которого знает лишь один Господь Бог, и почему, вопреки всем милосердным пророчествам, “мы не восстанем во плоти / перед лицом Суда”? А где же “бессмертие души”? Неужели это стихотворение о рождении Антихриста, рождении, которое исказит и перечеркнёт всю суть Священного Писания, все ожидания и упования грешного человечества на милость Божью? Но тогда небо совьётся в такой чёрный свиток, который и не снился Иоанну Патмосскому... А коли так, то и вся земная история превратится в “столб клубящейся пыли”, а все земные сыны и дочери, от Адама с Евой и до последних христиан, превратятся в “сновидения земли, и больше ничего”. После такого отчаянья воскреснуть душой немислимо, из такой бездны искушения, из такого тла подняться к свету — невозможно. Я всегда с негодованием отвергал утверждения иных критиков о сходстве некоторых зигзагов мысли у Юрия Кузнецова и Бродского. Но когда прочитал “мы — сновидения земли и больше ничего”, то вспомнил “Пилигримов”: “И, значит, не будет толка от веры в себя да в Бога... И, значит, остались только иллюзия и дорога”, и опечалился: раствор “дурных вод”, раствор скепсиса и отчаяния у них обоих таков, что в нём растворяется, по словам Тютчева, “всё сущее”.

Но мой поэт помнил моление о чаше: **“Отче, пронеси эту чашу мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя!”** И вопреки всему пошёл на “божественный риск”, вырвался из воронки небытия к подвигу своей духовной жизни — к поэме о Христе, в первых словах которой звезда Вифлеема своими лучами просветила тьму “дурных вод”, чуть было не затопила Вселенную:

*Памятью детства навеяна эта поэма.
Встань и сияй надо мною, звезда Вифлеема!
Знаменьем крестным окстил я бумагу. Пора.
Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера!*

Х. “Полюбите живого Христа”

В последние времена второго тысячелетия с Юрием Поликарповичем стали происходить загадочные перемены. Он, и доселе немногословный, вообще перестал разговаривать на всяческие бытовые и журнальные темы, приходил на работу незаметно, читал рукописи, сдавал их в очередной номер и уезжал домой или на дачу во Внуково. Из его кабинета уже не доносились шумные разговоры, которые обычно случались, когда к нему приезжали его птенцы из провинции. Однажды, перехватив мой вопрошающий взгляд, он всё понял и объяснил причину этой новой для него сосредоточенности:

– Я поэму о Христе обдумываю. Он ведь был первым поэтом человечества, он мыслил и разговаривал с народом, как поэт. . .

– В какой номер планировать? – пошутил я.

– Надеюсь, что на переломе времён, в двухтысячном году принесу первые главы. Нам надо прорваться – начинается третье тысячелетие со дня его появления в мире!

Так оно и вышло. В четвёртом пасхальном номере за 2000 год была опубликована первая часть поэмы, названная “Детство Христа”.

Но одновременно с началом работы над поэмой Поликарпыч написал стихотворение, которое отвечает многим скептикам и клирикам, что подвигло его на этот “Божественный риск”, на то, что он снова “пошёл поперёк”:

*Полюбите живого Христа,
Что ходил по росе
И сидел у ночного костра,
Освещённый, как все.*

*Где та древняя свежесть зари,
Аромат и тепло?
Царство Божье гудит изнутри,
Как пустое дупло.*

*Ваша вера суха и темна,
И хромает она.
Костыли, а не крылья у вас,
Вы разрыв, а не связь.*

*Так откройтесь дыханью куста,
Содроганью зарниц,
И услышите голос Христа,
А не шорох страниц.*

“Я хотел показать живого Христа, а не абстракцию, в которую Его превратили религиозные догматики”, – сказал Кузнецов в одном из последних своих интервью. Поэма “Путь Христа” – это возвращение автора не только к евангельским истинам, но и к красоте Божьего мира, которую он часто обходил во многих своих стихах, исполненных мыслей о бренности и ничтожности всего естественного, переходящего, тварного. Это уход от чёрно-белой палитры к сияющему многоцветию жизни. В этой поэме поэт бросает вызов аскетическому мышлению многих христианских богословов, в том числе знаменитому в Православии Игнатию Брянчанинову: **“Он и мои поэмы смёл бы с лица земли”,** – пишет Кузнецов 18.08.2003 года в одном из своих последних писем незадолго до смерти. . . **“По Игнатию Брянчанинову выходит, что надо уничтожить пшеничное поле потому, что на нём есть плевелы. Но плевелы надо отделять от злаков. Каждый злак ведь дорог! Но такой труд не для святителя. Он режет по живому и не замечает, что**

при этом льётся кровь. Каков монах! Каков инквизитор!”¹ “Игнатий Брянчанинов плохо знает людей, он их видит в узком просвете христианской аскезы. Он не понимает природы ума. Ум – производная чувства. Всё, что есть в уме, всё это есть и в чувстве, только в зачатке, в спящем состоянии. Умертвить чувства – значит, подорвать корни ума”.

Эти строки свидетельствуют о том, какие противоречия бушевали в его душе. В предсмертном своём стихотворении, написанном с 1 по 5 ноября 2003 года, Юрий Поликарпович отвечает от имени поэта монаху (своего рода Торквемаде), сказавшему: “Искусство – смрадный грех”, – страстным и неотразимым монологом:

*Ты умерщвляешь плоть и кровь,
Любовь лишаешь ощущенья.
Но осязательна любовь,
Касаясь таин Причащенья.
Какой же ты христианин
Без чувственного постоянства?
Куда ты денешь, сукин сын,
Живые мощи христианства?
Так умертви свои уста,
Отвергни боговоплощенье,
Вкушая плоть и кровь Христа
И принимая Причащенье.*

*При грозном имени Христа,
Дрожа от ужаса и страха,
Монах раскрыл свои уста —
И превратился в тень монаха,
А тень ослабленного рта —
В светящую воронку праха...*

При первой публикации этого стихотворенья в журнале “Наш современник” (№ 1, 2004) я, понимая, что иду на риск так же, как шёл на риск, печатая поэму “Путь Христа”, сопроводил публикацию коротким примечанием: “Когда Юрий Поликарпович за неделю до смерти показал мне это стихотворение, честно говоря, прочитав его, я смутился.

– Юра, – сказал я ему. – У поэтического опыта своя жизнь, а у аскетического – другая. Ты знаешь, что в одно и то же время жили два великих русских человека – Серафим Саровский и Александр Пушкин, и они ничего не знали друг о друге. По-моему, ты даёшь поэту слишком большие права, выходящие за пределы поэзии. Осуждать монаха словами “сукин сын” и делать поэта судьёй над монахом? Можно ли так?

Кузнецов, подумав, ответил:

– Согласно многим пророчествам, даже Антихрист может являться людям в обличье Христа... Ты видишь, что стало с монахом после слов поэта? Значит, это не монах был, а некто, скрывавший под монашеским обличьем свою тёмную личину. В “последние времена” такое может случиться. А я эти времена чувствую...”

Отстояв право христианско-православного мировоззрения изображать чувственную, плотскую красоту Божьего мира, Юрий Кузнецов дал своеобразный ответ не только adeptам христианской аскезы, но и многим ютившимся “около церковных стен” религиозным писателям Серебряного века – Влади-

¹ Обвинив Игнатия Брянчанинова в “инквизиторстве”, сам поэт, несомненно, сделал громадный шаг, отказавшись от некоторых своих убеждений, высказанных им в “Сошествии в ад”, где он в какой-то степени оправдывал жестокость Торквемады в борьбе с сатанинскими, антихристианскими деяниями “маранов”, “падших душ”, “еретиков” и “ведьм” средневековой Европы. Торквемада бродит среди сонма горящих грешников, “как зарница”, осеняет себя крестным знаменем, “слыша” их “проклятия Богу”, и скрежещет своим инквизиторским голосом фанатика Божьей правды:

*Он скрежетал: “Я вершил на земле Божий Суд.
Я делал правильно. Все эти бестии тут”.*
Он, как и там, не спускал с них горящего ока...

миру Соловьёву, Василию Розанову, Дмитрию Мережковскому, противопоставлявшим “бледную немочь” Нового Завета цветущему телесному здоровью Завета Ветхого, более того, своим пером он показал в “Жизни Христа” многоцветную жизнь раннего христианства. Недаром Ю. К. всегда утверждал, что Христос не только сын Божий, “но и поэт”.

К этой работе он готовился с особым рвением — отказывался не просто от запоев (которые у него порой доходили до того, что я однажды встретил его жену, сидящую в коридоре возле бухгалтерии, чтобы получить его зарплату), но даже от редких скромных застолий, бывавших в редакции, и даже перешёл на безалкогольное пиво. Правда, своих бывших сотрапезников, по привычке навещавших его, угощал с печальным спокойствием, словно жалея их. Он обложился историческими и богословскими книгами, апокрифической литературой, трудами святых отцов и, узнав, что у меня есть дореволюционное издание “Еврейской энциклопедии” 1912 года, буквально вцепился в неё, выпрашивая один за другим тома со статьями, посвящёнными жизни древнего Иерусалима, ветхозаветным пророкам, Вечному Жиду Агасферу.

Поэма сразу же очаровала меня уже своими первыми страницами. Чудо её состояло в том, что, читая их, я будто бы переносился во времена раннего христианства с его простодушием, с его восторженными надеждами на перемену жизни, с его свежестью чувств и трогательной евангельской наивностью Нагорной проповеди. Впечатление от чтения первых глав было таково, как будто Вера рождалась у меня прямо на глазах, словно я был одним из свидетелей или даже участников Преображения мира.

*Час Назарета склонился в глубокой печали.
Помер старейшина — плотнику гроб заказали.
Только Иосиф лесину во двор заволок,
Ангел явился и молвил: “Исход недалёк!”
Плотник с бревном, дева с милостью — так и бежали.
Грудь Марии, как в мареве горы, дрожали.
И, наконец, под звезду Вифлеема вошли,
Но в Вифлееме приюта нигде не нашли.
И во хлеву, на соломе она разрешилась
Чудным Младенцем... И ангелы пели: “Свершилось!”*

*Встала корова, качая тугим животом,
И облизала Младенца сухим языком.
Свет через крышу наутро Младенца коснулся,
И засмеялся Младенец во сне, и проснулся.
И, головой задевая коровьи сосцы,
Вышел наружу, где солнце, польнь и волчцы.
С правой руки — Дух Святой, его Ангел-Хранитель,
С левой руки — дух лукавый, его искуситель.
Белый Пегас расправляет седые крыла,
Чёрная зависть гуляет в чём мать родила.*

Последняя строка — почти цитата “Евангелия от Матфея”, в котором евангелист приводит слова Пилата: **“Ибо знаю, что предали его из зависти”**.

С таким пушкинским вдохновением, с такой пушкинской алчностью к красоте он не писал даже во времена своей молодости. Поистине поэма “Путь Христа” стала вторым рождением поэта Юрия Кузнецова.

Закончив очередную главу поэмы, Поликарпыч с особым торжественным и победным выражением лица заходил ко мне.

— Закрой дверь, скажи Наталье Сергеевне, чтобы никого не пускала и к телефону не приглашала, — сидел напротив меня и начинал самозабвенно читать. Прочитав, не спрашивал меня о впечатлении от прочитанного, но, видя на моём лице восхищение или одобрение, оставив рукопись мне, уходил довольный. В эти минуты в его лице появлялось что-то детское, обычное угрюмство исчезало, морщины разглаживались, и даже рот растягивался в какой-то застенчивой улыбке.

Однако моё решение опубликовать первую часть поэмы вдруг наткнулось на сопротивление моего старого товарища, писателя и священника Ярослава Шипова, который был членом редколлегии журнала, и общественное литературное

мнение считало его своеобразным духовником “Нашего современника”. Мы к советам Шипова прислушивались, он публиковал в это время на страницах журнала цикл своих рассказов, повествующих о жизни деревенского прихода в Ярославской области, где он прослужил несколько самых трудных лет нового смутного времени. Его весьма почитали наши сотрудники и особенно сотрудницы, считая по справедливости душевным батюшкой и крепким молитвенником.

А тут он, прочитав первую часть поэмы, твёрдо заявил мне, что печатать её нельзя, что хула на Духа Святого непростительна, и если я, как главный редактор, не послушаюсь его, то он выйдет из состава редколлегии и порвёт свои отношения с журналом... Я ответил Шипову, что если мы не напечатаем поэму, то совершим преступление против русской литературы, но на всякий случай попросил моих близких друзей – Вадима Кожина, Владимира Личутина, Владимира Крупина – прочитать её, а также решил показать поэму кому-нибудь из священников и богословов, знающих и любящих русскую поэзию. На эту мою просьбу откликнулись протоиерей Александр Шаргунов, поэт и богослов Николай Лисовой и священник, автор журнала, отец Дмитрий Дудко. Поскольку их отзывы о поэме нигде, кроме нашего журнала, не печатались, я решаюсь напомнить их новым читателям “Нашего современника”.

Самым убедительным для меня стало мнение отца Дмитрия Дудко, который сам приехал в редакцию, расспросил меня о том, как живёт и как чувствует себя Юрий Поликарпович, очень порадовался, что он ведёт трезвый образ жизни, вручил мне свои письменные размышления о поэме, а на прощанье благословил и автора, и меня, и всю редакцию журнала словами: “Никого и ничего не бойтесь – печатайте!”

XI. “Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера”

Священник Дмитрий Дудко

“ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

Не знаю, почему вдруг забили тревогу, – и совершенно преждевременно: поэт Юрий Кузнецов не случайно, а по велению сердца обратился к христианским истинам.

– Он не пьёт? – спросил почему-то я встревоженно.

– Как стал писать поэму о Христе, в рот не берёт.

Начинаю вчитываться, сразу же поражают первые строчки:

*Памятью детства навеяна эта поэма.
Встань и сияй надо мною, звезда Вифлеема!
Знаменем крестным октил я бумагу. Пора!
Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера!*

Да, в самом деле, всё серьёзно, значительно. А всё ведь начинается от того рокового древа познания Добра и Зла, ведь мы хотели решить умом этого мира только: будем как боги.

А какие боги – посмотреть только, что происходит в нашей стране...

*Эй, на земле, где кусает свой хвост василиск!
Славен Господь! Он пошёл на Божественный риск...*

Вот тут надо бы немного подумать, что такое Божественный риск. Но, видимо, всё станет ясно, коль мы как следует вчитаемся в поэму.

Поэма меня начинает захватывать. Чтение я начал не с первой части, которую я сейчас читаю, а со второй: “Юность Христа”.

Я ещё осторожно набрасывал на бумаге мысли о поэме, но, видимо, не ошибся. Попробую сюда выписать, что я тогда написал:

“Поэма Ю. Кузнецова “Юность Христа”.

Самая значительная за всё время с 1917 года. Удивительные стихи, многозначительные образы наводят на очень большие размышления.

Некоторые пытаются проникнуть в сущность, это не удаётся. Не случайно поэт, закончив поэму о юности Христа, воскликнул:

*Подле поэмы я сяду на камень катучий
И подожду, что пошлёт ей судьба или случай,*

то есть сказать прозой: посижу и подумаю.

Поэма не для поспешного суждения.

Может смутить читателя некоторая вольность в выражениях. Это оттого, что мы сейчас знаем Христа как Бога, пришедшего нас спасти. А Христос здесь как Человек думает, что сделать, как спасти человечество.

Идёт спор между мудрецами иудейскими и Христом как человеком, но прозревающим Истину.

В поэму надо вчитываться.

Мне вспоминается другое произведение – Д. С. Мережковского “Иисус неизвестный”, хотя написано оно не стихами, а прозой.

Тоже заставляет задуматься. Мережковского обвиняли в мечтательности, меж тем как это не просто мечты. Лучшего произведения о Христе у литераторов я не нахожу. Здесь и основательность, и глубина чувств, и не меньшая глубина в размышлениях.

Если сказать просто, как о литературном произведении, то стоит поставить перед собой вопрос: знаем ли мы Христа?

Я тоже был сбит с толку, особенно суждениями Ивана Ильина, которого я глубоко уважаю, но когда вчитался внимательно, меня потрясло. Мережковский подошел ко Христу не как богослов, а как человек, ищущий во Христе спасения.

Так и Кузнецов, говоря о юности Христа, ставит нам вопрос: а не старились ли мы в суждениях о Христе? То есть, веруя во Христа, не просто ли чувствуем и живём по шаблону?

Юность – это пора, когда нужны юношеские силы, непредвзятый взгляд в будущее.

Спасибо Ю. Кузнецову за удивительную поэму, заставляющую нас думать и жить не по привычным законам и шаблонам, а, отрешившись от своих привязанностей и предвзятостей, смотреть на всё с чистым чувством. Тут можно даже воскликнуть по-евангельски: “Если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло”.

А теперь пошли дальше, по порядку, не торопясь. Мне захотелось разобрать всё, что высказано в поэме. Впрочем, почему это названо поэмой? Может быть, потому, что он как литератор пробуждается, а может быть, и по-другому.

Я за один присест прочёл всю поэму, все три части, и не заметил особого расхождения с канонической установкой. Кузнецов своими словами (как поэт, конечно, в образах) передаёт всё то, что, может быть, известно, но не прочувствовано.

В части о детстве использованы некоторые предания, апокрифы. Допустим, о птицах или о том, как Младенца обвинили, что он столкнул другого, всё остальное, как по Евангелию, хотя, может быть, непривычно для слуха ортодоксально настроенных.

Но это так должно, в этом-то и достоинство поэмы!

В том же номере, где напечатана глава о детстве Христа, есть и другие стихи поэта.

Невольно хочется выписать отдельные места:

*Что-то жжёт нас незримым огнём,
И душа расплзается в клочья.
Это ночью бывает и днём,
Но особенно душною ночью.*

Не начало ли это для раздумья о поэме о покаянии, только ещё осторожном?

*В толпе утрат меж прошлым и грядущим
Иду один, мне даже невдомёк,
Что здесь никто не думает о сущем,
Никто не знает, как я одинок.*

Если это относится только к самому поэту, то это пронзительные стихи и невольно выбивают слезу, но думаю, что он здесь говорит не только о себе — обо всех, кого не понимают и кто, может быть, даже себя не понимает.

*Иду-бреду, куда уносит ветер,
Куда глаза глядят и не глядят.
Я краем глаза всё-таки заметил
Иную жизнь на позабытый лад.*

Дай Бог, чтоб он только краем глаза, и иная жизнь, позабытая всеми нами, отчётливо представилась.

А вот это:

*Поднимите, дьяволы, стаканы
Выше свеч и белых облаков.
Не про нас ли говорят курганы
И тоскуют сорок сороков.*

Да, это про нас говорят курганы и сорок сороков звонят, чтоб мы возвратились в отчий дом. Через Россию в Царство Небесное.

А ещё:

*В чистом поле много дикой воли,
В синем небе много воронья.
А в посёлке — перекатной голи,
Пьяного крикливого рванья.*

Это жалость обо всех нас, ныне живущих. Обратившись к своей душе, невольно жалеют и другие души.

*Потянулись пьяницы на сопку
С облаками в драных рукавах.
Этот на карачках треплет тропку,
Тот ползёт на собственных бровях.
Дед по доброй воле негодует.
— Вы куда? — и за штанину хватать.
— Мы тикаем в недры, там не дует,
А на газы нам давно чихать.*

Только бы скрыться, где не дует ветер безбожия и преступления, а на все газы оставления просто чихать, они не так страшны, в мире творится более страшное.

*Ты убедился теперь? Ну, так веруй, Фома!
Ты звездошуп, но подальше держись от ума.*

Умом мира сего не понять Божественной истины, это уродство настоящего ума, хотя не значит, как обвиняют: христианство отвергает ум. Оно приветствует ум, но иной, который от любви и от чистого сердца.

Есть интересный образ: череп Голгофы и череп поэмы, что говорит о том, что, чтобы просто написать поэму, нужно иметь талант поэта, а написать такую, чтоб череп Голгофы перешёл в поэму, это надо самому перестрадать.

*Отговорила моя золотая поэма.
Всё остальное — и слепо, и глухо, и немо.
Боже! Я плачу и смерть отгоняю рукой.
Дай мне смиренную старость и мудрый покой.*

**“Мудрого покоя” просит у Бога поэт в последней строке.
Помоги Вам Бог, Юрий Поликарпович, пошли Вам осмысливающий
всё покой”.**

А теперь хочу повторить снова свои слова: удивительные стихи, многочисленные образы, наводящие на большие размышления.

Хочу обратиться и к братьям-литераторам: почему вас так встревожила поэма – причём с отрицательной стороны? Надо радоваться, не просто выискивать в ней какие-то несоответствия с чем-либо, а просто насладиться красотой поэмы.

Сам я лично испытывал большое духовное наслаждение, очень мне стал близким и родным сам поэт, а то, что есть какие-то разногласия, это всегда бывает. Помолимся друг за друга Богу. Помоги Бог всем литераторам, особенно русским, нести слово истины, пробуждая свои и другие души. Много горя и грязи сейчас у нас на Русской земле, чего не бывало даже при так называемых безбожниках-коммунистах. Время ли нам ссориться, протянем друг другу руки любви и примирения”.

Здесь отзыв заканчивается, но я прошу обратить внимание на четверостишие, которое в конце своего письма приводит отец Дмитрий Дудко:

*Отговорила моя золотая поэма.
Всё остальное — и слепо, и глухо, и немо.
Боже! Я плачу и смерть отгоняю рукой.
Дай мне смиренную старость и мудрый покой.*

Если читатель откроет журнал “Наш современник” № 2 за 2001 год, где опубликованы размышления Дмитрия Дудко одновременно с окончанием поэмы “Путь Христа”, то в последней строфе последняя строка звучит иначе: “Дай мне **великую** старость и мудрый покой”.

Но откуда взялось это разночтение?

Всё дело в том, что, когда я готовил поэму к печати, то сказал Юрию Поликарповичу:

– Юра! Подумай... Ты пишешь об Иисусе Христе, который сам показал человечеству пример высшего смирения и, предчувствуя грядущие крестные муки, даже взмолился, обращаясь к Отцу: “Пронеси эту чашу мимо, впрочем, не моя воля, но твоя!” И рядом с этой смиренной Иисусовой мольбой ты прошишь о “великой старости”... Опомнись, Юра! Давай вместо “великой старости” испросим “смиренную”...

Юра посмотрел на меня, как на богохульника, посягнувшего на что-то святое, на его мысль, на его слово. Но я был готов к спору.

– Юра! Слово важное, но лишь одно слово я прошу заменить.

Кузнецов задумался, попытался возразить мне, но не сумел сказать ничего убедительного, ничего неотразимого... Махнул рукою, – мол, ладно, делай, как хочешь, – и тяжёлым шагом вышел из моего кабинета...

Я облегчённо вздохнул и на другой день передал посланцу от Дмитрия Дудко текст поэмы, в котором старость была не “великой”, а “смиренной”... Вот почему именно этот вариант оказался в письме отца Дмитрия. Однако Кузнецов, внутренне не согласившись со мной, в вёрстке или в сверке, ничего мне не говоря, вернул в поэму свой прежний эпитет, исполненный гордыни.

Я ахнул, увидев исправленную строчку, возмутился и огорчился настолько, что сердце моего жестоковыйного друга дрогнуло, и вскоре он подарил мне книжное издание поэмы, где слово “смиренное” окончательно вытеснило слово “великое” – на этот раз уже по его собственной воле. Именно так публикуется эта строка во всех посмертных изданиях книг Юрия Поликарповича.

Однажды он попросил у меня пятый том “Еврейской энциклопедии”, в котором излагалась история встречи Иисуса Христа с Агасфером. Авторы статьи об Агасфере (одной из самых больших в томе) убедительно доказывали, что **“этот образ вечного скитальца, несомненно, плод средневековой фантазии”**, что **“этой легенды нет ни в апокрифах, ни в творениях отцов Церкви”**... Поликарпыч обсуждал со мной, вправе или не вправе он излагать эту легенду в своей поэме. Я не советовал ему, говоря: “Юра, ну, если бы хоть какой-то намёк об этой встрече был в Новом Завете!”

Но воображение поэта уже работало. И он резонно возражал мне: если этот сюжет придуман в Средние века, то почему он стал, как никакая другая евангельская легенда, суперпопулярным впоследствии? Почему и сегодня он живёт совершенно самостоятельной жизнью и в мифологической, и в бытовой людской памяти? Нет дыма без огня... И вот что получилось у него, в какую символическую картину эпизод из пути Христа на Голгофу он развернул – в легенду, из которой, кстати, и Гёте намеревался сотворить поэму и почти написал её. Но не окончил. А из-под пера Кузнецова она, эта сцена, вышла весьма впечатляющей:

*Медленно в гору Он шёл, как согбенная вера,
Остановился, услышав смехок Агасфера.
— Дай мне напиток! — запёкимся ртом произнёс.
— Если докажешь, что ты настоящий Христос,
Я утолю твою жажду, когда ты вернёшься.
Поторопись! Ты сейчас всё равно не напёешься.
— Я не спешу с возвращеньем, — ответил Христос.
— Я подожду... может быть. — Агасфер произнёс.
И разглядел Агасфера Христос, и прощёнья
Не дал ему: — Ну, так жди моего возвращенья!..
Золото мира заплачет в убогой нужде:
— Плачьте, народы, рыдайте о Вечном Жиде!*

Между тем за публикацию поэмы в журнале высказались, кроме Дмитрия Дудко, и Вадим Кожин, и Владимир Личутин, и Николай Лисовой.

Против были протоиерей Александр Шаргунов и мой друг Владимир Крупин. Более того, в те дни я по приглашению архимандрита Сретенского монастыря отца Тихона поехал вместе с ним в монастырское хозяйство, возрождённое монастырём в одном из разорённых и спившихся колхозов Рязанской области. Там во время ужина, на котором было несколько насельников монастыря, я решился прочитать “Детство Христа” вслух. Но несмотря на всё моё вдохновенное чтение, отец Тихон с братией, мягко говоря, не восхитились поэмой. И всё-таки я не мог совершить преступление перед русской литературой, и первая часть поэмы была напечатана в апрельском номере за 2000 год. Сразу же после публикации священник Ярослав Шипов ушёл из редакции. А в 2006-м после него ушла и незаменимая заведующая нашим техническим центром – православная осетинка Марина Акколаева, его духовное чадо. Об этом я жалею до сих пор.

Из размышлений протоиерея Александра Шаргунова

“Поэзия есть богословие”, – утверждает Боккаччо в своём комментарии к “Божественной комедии”. “В том, что не ложь, – уже поэзия”, – пишет Золя. А Апостол Иаков в своём Послании напоминает, что “язык – огонь, прикраса неправды, смотри, как много вещества зажигает”. Слово, произнесённое с огненным вдохновением, может делать ложь привлекательной для многих. Совершенно понятно, что хуже всего – самая главная ложь – ложь о духовных событиях и явлениях. Христианское искусство – самое трудное, потому что, как всякое искусство, оно требует быть правдивым и подлинным. А этого невозможно достигнуть понаслышке, одним воображением. Где духовная правда, там и поэзия. “Все прочее – литература”, в лучшем случае – бумажные цветы. Бог не любит литературу, Он любит голубые глаза ребёнка. Мы не говорим здесь о таком искусстве, которое, несомненно, имеет право на существование – искусстве-ремесле со скромным даром, предназначенным к нравственной пользе или развлечению людей. Оно старается по мере своих сил украсить человеческую жизнь, не претендуя на высокую духовность, потому что не знает её.

Горе нам, если наш дух не устремляется к высшей красоте, – туда, где тайна Пресвятой Троицы и человечество Христа. Но смертельная ошибка – принимать наше собственное воображение за видение выс-

шей красоты. И даже если поэт говорит: “Ключ ко всему – любовь” (Рембо), несмотря на эти сияющие слова, он может находиться в великом заблуждении. Все древние и новые ереси (каждая из которых – духовная смерть) могут расцветать у него, когда он начинает говорить о Боге. Человек призван к высшему созерцанию – к Божественной красоте. И поэтому его можно обмануть в самом главном, ограбить его в истинном благе, предлагая ему в своём искусстве вместо истины – ложь. Это происходит каждый раз, когда поэт предпочитает себя и своё – Красоте. А эта нечистота, идущая от первородного греха, неизбежна, она всегда присутствует в искусстве. Поэт обречён искать и не находить чистоту и свободу, ради которых существует поэзия. Чистоты не может быть там, где плоть не распята, нет свободы, где нет Христовой любви. Мы видим в творчестве великих поэтов сражение добрых и злых ангелов, и последние хотя и явятся в виде ангелов света. Оттого, что нет различия падения от полёта, повторяется этот грех ангелизма и непрестанное падение с той же самой ангельской высоты. Эти места, по которым проходит поэт, на поверку не окажутся ли самыми низкими? Неискущённому глазу порою трудно определить – под диктовку беса или доброго ангела написаны эти строки.

В поэме, на мой взгляд, есть действительно удачные куски – повествование о Тайной Вечере, о Голгофе, – где автор ничего не придумывает, а старается, в меру своего таланта, передать то, что говорит Евангелие. Но самое главное, непонятно, на какого читателя рассчитана поэма: неверующего она заведёт неизвестно куда, а у верующего вызовет естественное возмущение: как он смеет такое придумывать! Значимость всякого искусства определяется, в конце концов, тем, направляет ли оно ко Христу или к Антихристу, к разрушению веры или к утверждению её. Желание идти сразу двумя дорогами не помогает идущему скорее достигнуть цели. По природе вещей одна дорога шире другой и более лёгкая. Зло по существу легко, зло не имеет природы, но паразитирует на добре. Достаточно использовать немного добра, чтобы преуспеть сильно во зле, в то время как требуется много добра, чтобы достичь хотя бы небольшого успеха в победе над злом.

Хотелось бы пожелать автору не претендовать на изображение того, что ему не под силу, а позаботиться о том, чтобы абсолютность Евангелия вошла в его творчество закваской. И в сокровенности и глубине являла себя, о чём бы он ни писал. Ибо только в истинном свете каждый художник может осознать себя и исцелиться от ложной духовности, которой он одержим. Показывая, где подлинная нравственная правда и подлинная красота, такой поэт мог бы избавить себя и своих читателей от бессмыслицы верить, что он может создать иную нравственность и иную духовность. Кто брал у Евангелия уроки, чтобы цветы и плоды рождались в сокровенности духа, смирения и нищеты духовной, послушания Христу и Церкви Его, благоговейного отношения к трудам святых отцов? Поэзия – чудеса, творимые в тайне. Бог пришёл к своим (поэтам и людям), и свои Его не приняли. О, если бы поэт мог завести дружбу с мудростью святых, узнать цену чистоты сердца и увидеть, что любовь – это там, где семь даров Святого Духа, и она придаёт трудам человека бесконечно большую высоту, чем то, что может постигнуть его воображение”.

Из отзыва Вадима Кожинова

“Появление на страницах “НС” поэмы Юрия Кузнецова о земной жизни Иисуса Христа вызвало резкий протест у некоторых (слава Богу, очень немногих) священников и их прихожан, причём речь идёт не столько о каких-либо “неугодных” критикам элементах этого произведения, сколько о том, что поэт вообще не должен был его создавать...”

Однако если мы пойдём по этому пути, придётся отвергнуть значительную часть классических творений литературы и искусства, ибо художественное претворение религиозной темы не может полностью совпадать с каноническим богословием. Стоит напомнить, что никем,

кажется, ныне не оспариваемое полотно Александра Иванова “Явление Христа народу” в своё время подвергалось суровым нападкам со стороны чрезмерно “ортодоксальных” критиков.

Могут, впрочем, сказать и о том, что Льва Толстого, сочинившего в конце 1880-го – начале 1881 года своё “евангелие”, Церковь предала анафеме. Но дело обстояло, вопреки широко распространённому мнению, иначе. Во-первых, писателю ставилось в вину вовсе не сочинение о жизни Христа, а отрицание Его божественности и чудовищные хулы на Церковь. Во-вторых, Толстой не был – в отличие от Пугачёва или Мазепы – предан анафеме и даже, строго говоря, не был отлучён от Церкви. В “определении” Синода от 20–22 февраля 1901 года (то есть двадцать лет спустя после сочинения толстовского “евангелия”) констатировалось, что сам писатель “отрёкся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной”. Далее Синод объявлял: “Молимся, милосердный Господи... помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви”.

Разумеется, в поэме Юрия Кузнецова нет и намёка на отрицание божественности Христа и какой-либо хулы на Его Церковь. Что же касается таких элементов поэмы, которые могут быть оспорены с точки зрения канонического богословия, они в художественном творении поистине неизбежны. Точно так же, например, некорректно судить о художественном воссоздании явлений природы с точки зрения естественных наук.

Художественные произведения на религиозные темы создаются не для весьма узкого круга людей, обладающих существенными богословскими знаниями, но обращены ко всем людям, для которых восприятие таких произведений нередко становится наиболее доступным для них путём к обретению Веры.

Нельзя не сказать и об ещё одной стороне дела. За последние три четверти века русская литература (кроме эмигрантской и “подпольной”), в сущности, не обращалась к религиозным темам. Единственное, пожалуй, исключение – опубликованный в 1966–1967 годах в патристическом журнале “Москва” роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”, который, кстати, наверняка вызывает у нынешних “ортодоксов” гораздо более резкое неприятие, чем поэма Юрия Кузнецова. И есть все основания – несмотря на любые возможные “несогласия” – радоваться появлению этой поэмы. Верю, что абсолютное большинство приобщающихся Православию людей воспримут её как достойное свершение крупнейшего нашего поэта в канун его славного юбилея”.

Из отзыва Николая Лисового

“Современная наша жизнь, как никогда, богата на странности и парадоксы. Позвонили однажды из дружественной редакции и спросили: “Не знаем, что делать – печатать ли стихи древнегреческого поэта Феогида?” – “А в чём вопрос?” – “Батюшка не благословляет”. – “А стихи хорошие?” – “Отличные!” – “И повод для публикации подходящий?” – “Актуальнейший!” – “Так почему ж не напечатать?” – “Батюшка не благословляет”. – “Да при чём тут батюшка?” – Изумлённое, почти гневное молчание на другом конце провода...”

С тех пор как во многих изданиях появились духовники и старцы, представители церковной иерархии в редколлегиях и творческих союзах, подобные разговоры совсем не редкость. Возникали они и при решении вопроса о публикации новой поэмы Юрия Кузнецова “Путь Христа”.

Попробуем разобраться. Наше смутное время, перипетии политической и духовной борьбы, бросающие интеллигенцию (в первую очередь, конечно, её) из крайности в крайность, привели к появлению многих неуместных новшеств. “Духовник редакции” относится к их числу.

Я не вправе предвирать здесь читательского суждения о новой поэме Юрия Кузнецова. Одно может мне нравиться в ней больше, другое – меньше. Я, к примеру, вообще не думаю, что Евангелие нуждается в современных поэтических переложениях. Лучше – и поэтичнее! – евангелистов никто о Христе не скажет. Но если Юрий Кузнецов, большой поэт, много думавший, много перестрадавший в своей творческой жизни,

в пору зрелости и духовного расцвета обращается к евангельской теме, осознаёт “Путь Христа” как цель, к которой он, — может быть, подспудно, может быть, не всегда осознанно и последовательно — шёл всю жизнь, — слава Богу. Честь и хвала поэту, решившемуся на такое труднейшее, очень редкое в русской и мировой поэзии творческое свершение.

А что встретится в поэме те или иные непривычные для нас, даже шокирующие кого-то решения, есть художественные домыслы и субъективность поэтического видения — это естественно. Без этого не было бы художественного произведения, не было бы поэзии. Поэзия — не грех. Грех — только плохая поэзия”.

Из отзыва Владимира Личутина

“Нынче с помягчевшим взором Кузнецов вглядывается в небеса, чтобы разглядеть Спасителя, рождённого от земной женщины, ещё того, юного, полного соков, не утратившего земного обаяния, полного земных чувствований, но уже Бога. Наши предки могли ощущать Христа как человека, но мы за тьмою веков почти утратили это удивительное чувство. Опираясь на бытийные книги, Юрий Кузнецов пытается выстроить единое древо национальной культуры, корнями прочно стоящее в почве, а кроною тающее в занебесье, и нет ни проточины, ни дуплеча, куда бы можно просунуться дьяволей козны и расчленишь исполина. И снова восклицают ревнивцы, как и двадцать лет тому: “Откуда в сём человеке дерзость? Откуда такое непослушество у гордеца?” И хочется возразить на эти недоумения. Поэты — это странное, неземное племя, ближе всего к Богу; они не пишут стихов, не добывают их из черниленки, не соскабливают с кончика пера, не разглядывают на дне рюмки или в кармашке портмоне, но они вышёптывают свои песни с небесных пюпитров. Ткань стиха настолько тонка порою и необъяснима, что похожа на кудеса, на мираж, она настолько блистающая и неуловима, что напоминает перламутровые чешуйки стрекозы, воспаряющей под облака. Поэты играют на тех духовных струнах, которые доступны лишь самым глубоким молитвенникам. Поэт, блуждая по громокипящему чреву жизни, слышит порою, как схимонах, погружённый в глухую скрытню. Поэту невозможно подсказать, как бы того ни хотелось; для этого надобно носить в себе золотую небесную трубу, а на груди — невидимые вериги.

И последнее: если, как говорят, душа человека растворена в крови, то истинный Поэт — это “певец крови”. Значит, он глубоко национален даже против своей воли, он певец “во стане русских воинов”, певец России”.

* * *

Историческое значение поэмы “Путь Христа” для русской поэзии состоит хотя бы в том, что после неё уже невозможно представить себе богохульного рифмованного “Евангелия от Демьяна Бедного”, написанного по заказу воинствующего безбожника Емельяна Ярославского (Миней Губельмана), или новаторских антихристианских пошлостей плейбоя хрущёвской эпохи, одного из легиона детишек XX съезда Андрюши Вознесенского: “Чайки в небе, как плавки Бога”, “крест на решётке — на жизни крест”, у которого “смазливая кассирша” в полукруглом окошке кассы — это “богоматерь”, а компания битников-наркоманов в лондонском масонском Альберт-холле — это “мини-Содом”, милый его душе. Откровеннее его был лишь Окуджава: “Мы земных земней, и в общем — / к чорту сказки о богах”... Почему-то никто из наших идеологов и критиков не обращал на эти хулиганства внимания, а на поэму Кузнецова навалились скопом...

Но как бы ни оценивать “Путь Христа”, для меня совершенно ясно, что, несмотря на множество оговорок, сомнений и возражений тех, кто считал невозможным любое расширенное толкование евангельских сюжетов, для Юрия Поликарповича создание этой поэмы было его личным, его собственным путём к Богу и к спасению души.

Когда он понял, что вершина его творческой жизни – это не гора Олимп, а гора Синай, то сразу же освободился от обаяния “античного запаха” Европы, от культа её “священных камней”, от “высокого духа Средневековья”, от всех “цветов зла” и “готических призраков”, от восхищения “русским богатырством”, от всех искушений азартной игры с адскими сущностями, от соблазна победить собственными силами “легионы тьмы”, от изнурительного поединка с крупными и мелкими бесами, прилипшими друг к другу, как змеи на маяке, и взшёл не на Золотую гору к “мастерам”, а вступил на крестный путь. Дальнейшая земная жизнь для него потеряла смысл, поскольку он исполнил всё, для чего пришёл на нашу грешную землю. Ему оставалось сказать одно: “Домой!”, – уподобиться персонажу из его стихотворения, *ушедшему по новому пути, где нет ни одной песчинки, о которую можно было бы споткнуться*. А Небесный Дом, к которому вёл этот путь, он начал “выстраивать” в поэме “Рай”, но не успел закончить эту работу. Да её и не дано закончить никому из людей. Может быть, в эти мгновения он и произнёс: **“Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко...”** – и услышал в ответ: **“Ко мне, последние, ко мне!”**

XII. “Я испугался, что умру...”

Из дневников скульптора Петра Чусовитина: **“25 июня 2003 года. Звонок Ю. Кузнецова в 23.45. “Любезный Пётр... Я, как тебе известно, написал две поэмы. Замысел гигантский. Вторая опубликована в декабре... прошле уже полгода, и что же выяснилось... Бондаренко, оказывается, более чем полсотне людей предлагал что-то написать о моих поэмах, <...> и выявилась полная несостоятельность нашей элиты. Писал и послал “Путь Христа” Лапшину, он между строк о своих бытовых подробностях ответил: “Я бы так не написал”... И это всё! Спрашивал и у других мнение о “Сошествии в ад”, отвечают: “Мощно!” – или: “Есть необыкновенные строки”, – или: “Есть неудачные строки”... Но при чём здесь та или иная строка, когда речь идёт о целой поэме! Строку можно и выбросить. Вот я к тебе с какой печалью... И думаю: неужели же окончательно задавлена всякая мысль? Жаль людей...”**

С тех пор прошло более десяти лет, и как говорится, *“большое видится на расстоянии”*. Именно тогда, когда круг читающих и мыслящих людей усыхает, съёживается подобно шагреновой коже, наступает время, в котором проясняются смыслы предсмертных поэм Юрия Кузнецова, на которые он истратил последний “неприкосновенный запас” “накопленных за всю жизнь знаний” и душевных (и даже физических!) сил. **“Ну, скажи, – обращался он к Чусовитину, – какой поэт и когда мог написать такую вещь в 62 года? Когда ты начнёшь читать, ты почувствуешь, сколько в ней энергии. Гёте писал и в 70, в его стихах этой поры чувствуется мудрость, эрудиция, но энергии нет <...> Данте 12 лет писал, а я за полгода сотворил <...> В ней много едва затронутых идей, – обо всём же не напишешь, – которые могли бы стать источником вдохновения для других поэтов... А плотность какая!.. <...> Когда было написано уже около трёхсот строк, я испугался, что умру, и поэма останется незаконченной. Державин, к примеру, умер, не дописав стихотворение, ну, и что? Одним стихотворением меньше – ничего страшного. Но у меня же другой случай... Всё время думал: только бы не умереть, только бы не умереть”...**

И Господь услышал его мольбу и дал ему время, в сущности, для того, чтобы поэт окончательно для себя пересмотрел историю Европы со всеми её знаменитыми именами и кумирами, которыми Европа гордится до сего дня. Кого и за что отправил в ад Юрий Поликарпович, и каковы были его обвинения, аргументы и пересмотр своих прежних взглядов для подобных “внесудебных решений” – вот в чём заключается смысл поэмы “Сошествие в ад”. Во всяком случае, знания мировой истории у него были отменные.

В молодости Юрий Поликарпович искренне ценил “духом высокое Средневековье” Европы, с этого он начал переоценку европейских ценностей:

*А между тем, на ладони мерцала моей
Средневековая линия в царстве теней.*

И какова же она была, эта линия? Рыцари средневековых походов, легендарные крестоносцы по Вальтеру Скотту предстали перед ним в аду не как люди веры, долга, и чести, не как обожатели прекрасных дам, а как грабители, мародёры и богохульники:

*Словно волна за волной, или крестовые братья
К Божьему гробу. Молитвы сменяли проклятья.
Константинополь стоял, как заря, на пути
К Божьему гробу. Нельзя было глаз отвести.
Тучи сшибались, и души из них выпадали,
Грозно шумели они. Это рыцари брали
Константинополь. Корысть и отвага, вперёд!
Рыцари Бога забыли. А гроб подождёт.*

Адское наказание за подобное предательство веры пришло неотвратимо: “Сотни крутых тамплиеров трещали в огне”. Конечно, Ю. К. знал, что в огне трещат клопы, когда их собирают и бросают в огонь. Более того, легендарная Жанна д’Арк, идеал рыцарей Средневековья, для Кузнецова предстаёт ведьмой, а её любовник Жиль де Рэ, бросившийся на её спасение, — посланником нечистой силы. Но оба они пылают на берегу обрыва в адском пламени:

*Тщетно тянули друг к другу они свои руки:
Не сокращался никак промежутки разлуки.
Ногти на пальцах горели — и змеи огня
Их удлиняли, горючую память храня.*

Расправившись с рыцарями, поэт принимается за просветителей эпохи Возрождения:

*С неба послышался стук и в печаль нас поверг.
Это печатал чертей Йоганн Гутенберг.
Сыпался литерный град. И спросил я в печали:
— Кто вы такие? — И литеры так отвечали:
— Мы Гутенберги, и нас охраняет закон,
Ложь и свобода. И наше число — легион...*

Поэт прав. Именно с книгопечатания началась история жёлтой прессы, создание вавилонских башен всемирной демагогии, возникновение особой “второй древнейшей профессии” и разгул насилия над умами и сердцами “малых сих”. Поскольку “мир лежит во зле”, то все новейшие достижения цивилизации, как это ни прискорбно, умело используют в первую очередь силы зла.

А ещё я вспомнил, как русские средневековые иконописцы Новгорода и Пскова изображали чертей в аду — в виде чёрненьких полунасекомых с закорюченными конечностями и хвостами, похожих, действительно, на буквы Гутенберга.

Вслед за Гутенбергом Поликарпыч развенчивает главного героя средневековой Европы, по стопам которого вскоре разбрелись насильники и грабители всего Старого Света:

*С Запада солнце вставало, презрев свой обычай, —
Это Колумб возвращался в Европу с добычей.
Слышал я песню наживы и скрежет зубов —
Это мараны везли краснокожих рабов.
То не поленья трещали на лютom морозе —
То мародёры кричали в горящем обозе...*

Всего лишь одним словом “мараны” поэт обозначает национальную принадлежность знаменитого поработителя индейских племён и первого вождя корыстного племени конкистадоров и пиратов.

И ещё один кумир Европы становится очередной и заслуженной жертвой адского ритуала:

*Клетка свободы. А в ней голова человека.
То был властитель умов обмирщённого века —*

*Гордый Эразм Роттердамский. Его голова,
Видимо, Богу свои предъявляла права.
Крыса ему обгрызала надменные губы.
Космополит улыбался во все свои зубы.*

Я помню, как шестьдесят лет тому назад в Московском университете на лекциях по западной литературе доцент Цуринов преподносил нам Эразма, как властителя дум молодой буржуазной Европы и, естественно, как великого гуманиста.

Рядом с Эразмом в самое чрево ада по воле Ю. К. были помещены Фауст с Нострадамусом и Кальвин с Игнатием Лойолой, и, словно освобождаясь от своего юношеского увлечения Шекспиром, Поликарпыч низвергает и Гамлета, и леди Макбет, и прочих героев шекспировского театра “Глобус” в адское пламя и ставит печать насмешки на репутации лицедеев:

*Бог не играет. Играет и вертится бес.
Снится мне глобус, подобье Земли без небес.
Он на подставке вертелся, и самозабвенно
Он до того довертелся, что вспыхнул мгновенно.
Я отскочил и очнулся от сна своего:
Где-то в долине горела часть мира сего,
Люди бежали в тени золотого кумира...
Я узнавал в них бессмертных героев Шекспира.*

Эта картина куда убедительнее многих литературоведческих книг, вышедших и выходящих из-под пера профессиональных шекспироведов. Поэтические строки Кузнецова, как стрелы, вонзаются в самых “неуязвимых” персонажей европейского Средневековья и Возрождения.

А далее безжалостному воображению поэта не было предела: Кампанелла и Декарт, сумрачный Свифт со своими нелепыми великанами и лилипутами “спёкся в уголь по самые ноги”, “пошлый Вольтер” *разговаривал с “бледною тенью Руссо”*, который удостоился звания “диверсант просвещённого века” и “комкал в руке Декларацию прав человека”...

Всех колонизаторов беззащитного “третьего мира”, всех авантюристов и деятелей прогресса, всех именитых магистров рыцарских орденов и фанатиков религиозных войн, всех знаменитых масонов от Вейсгаупта до американского космонавта Эдвина Олдрина, оставившего в 1966 году на Луне флаг Тамплиеров, всех великих инквизиторов и вождей Французской революции, всех учёных Запада, от Мальтуса до Норберта Винера, Юрий Поликарпович Кузнецов, сопроводив неотразимыми диагнозами, усадил в адское пламя. А о том, кого он амнистировал или пощадил, сказал так: **“Многих в поэме нет. Нет ни одного архитектора, скульптора, художника... Я подумывал о Леонардо да Винчи... Улыбка Джоконды, пожалуй, тянет на ад, но вот написалось, как написалось... без неё”**...

Читая всё это, невозможно было поверить, что когда-то Юрий Поликарпович вздыхал о “священных камнях Европы”, поскольку теперь он отозвался о католичестве и папстве так, как даже Тютчев с Достоевским говорить не решались:

*Лысые горы взаимно сменялись в аду,
И на одной прозябала на самом виду
Церковь Гордыни. В ней бесы толпились. Над ними
Папа стоял на амвоне в тумане и дыме.
Он осенял крестным знаменьем, прах побори,
Череп убийцы с горящей свечою внутри
И проповедовал бесам...*

А в комментариях о папе Пие Девятом Юрий Кузнецов написал: **“В 1870 г<оду> на первом Ватиканском соборе под его давлением была принята “первая догматическая конституция церкви Христа” – о первенстве папской власти и папской непогрешимости. Полный текст этого чудовищного документа вряд ли знают сами католики”**. Ну, о каком экumenизме можно говорить после такого рода комментариев и приговоров!

Особенно изощрённым пыткам в кузнецовском аду был подвержен безусловный идол западного мира Зигмунд Фрейд, который свои личные сексуальные недуги попытался навязать всему человечеству:

*Фрейд помешался на сексе и был очень зол
На человечество. Только чертей не учёл.
Но заявлял, обнаружив чертей после смерти:
— Призраки мозга!
— Посмотрим, — ответили черти
И посадили его на осиновый кол.
— Это же секс! — он зачичкал. — Да здравствует пол!..
Бесы заметили:
— Ты симулянт. Но довольно.
Здесь ты с ума не сойдёшь, и всегда будет больно.*

Это больше, нежели остроумие. Это диагноз, который с медицинской точностью русский поэт поставил знаменитому еврейскому психоаналитику, апологету педерастии и прочих сексуальных извращений.

Но, конечно, русский человек не мог умолчать и о наших отечественных грешниках — бунтовщиках и предателях России... Предатели Отчизны в поэме не удостоены индивидуальных казней — она у них одинаковая для всех и выглядит ужасно, и страшнее её в аду ничего нет:

*К чёрному солнцу вздымал он дрожащие руки,
Лязгал зубами, не видя уже ничего.
Падали руки, за горло хватая его.
Так на огне и держали обвисшее тело
На посрамленье души, и оно закоптело.
Дым через уши валил из спинного хребта.
Чёрный язык вылезал, как змея изо рта.
.....
Русский предатель. Он душит себя самого.
Так принимает он казнь не от мира сего.*

Это — о Курбском, о Власове, о Мазепе. Всем им — один и тот же приговор. К народным бунтовщикам поэт относится более снисходительно и страдания их изображает с каким-то насмешливым сочувствием. Четвертованный Стенька Разин у него на глазах собирает по частям своё грешное тело, а потом он и его соратники

*Сели в обнимку, запели про дни ретивые,
Как выплывали на стрежень челны расписные...*

А другой знаменитый приговорённый к колесованию бунтовщик вообще выглядит, как шукшинские “чудики”, случайно по незнанию попавшие в ад, о которых можно говорить с добродушной усмешкой:

*С лысой горы вкривь и вкось понеслось колесо.
Мы отскочили, оно мимо нас просвистело.
Спицы мелькали, вертя распростёртое тело.
Что дребезжало от рук и макушки до пят.
На колесе Емельян Пугачёв был распят.
Вихрем созвездий вращалась в глазах его бездна.
— Эх, зашибу! — он кричал, а кому — неизвестно.*

С особой брезгливостью поэт выписал мучения в аду кумиров перестройки.

*Меченый Сахаров, лунь водородного века,
В клетке свободы гугнил о правах человека.
Чёрная крыса его прогрызала насквозь.
Это жестоко, но так у чертей повелось.
И Солженицын, созревший во злобе, томился,
Рыба гниёт с головы. С головы он дымился...*

И, видимо, брезгую назвать фамилию Форосского ренегата, Юрий Кузнецов всё-таки не мог не поместить его рядом с Сахаровым и Солженицыным:

*Только заметив того, кто разрушил державу,
Дьяволу предал народную память и славу,
Я не сдержался. Изменнику вечный позор!
Дал ему в морду и Западом руку обтёр...*

Мне кажется, что эта картина нарисована не без воспоминания о том, что Горбачёв, в каком-то году осмелившийся выставить свою кандидатуру на выборах президента России, во время одной из встреч с избирателями получил “по морде” букетом цветов от женщины, подошедшей к нему во время его выступления.

Да и снижение Запада до образа какой-то тряпки, годной лишь для того, чтобы “обтереть руку”, – явление в русской художественной мысли до Юрия Кузнецова небывалое по сарказму. Роскошный жест позволил себе Поликарпыч, – обтёр руку некогда любимым Западом.

Нужно заметить и то, что в “Сошествии в ад” многие знаменитые лица русской истории (в том числе имеющие репутацию злодеев) по воле поэта удастаиваются своеобразной амнистии, или, скорее, “пересмотра дела”, чего никогда не случается с западными персонажами.

Если у Кузнецова “сумрачный Свифт спёкся в уголь по самые плечи”, то наш Гоголь, попавший в ад, видимо, за чересчур болезненный интерес к нечистой силе и пронсящийся по адским пространствам “в горящем гробу”, тем не менее, “раньше по плечи горел, / а теперь по колена”. Ту же амнистию получает и царь Иван Грозный:

*Слёзы любви источает огонь, как ни странно.
Я увидал на огнище царя Иоанна.*

.....
Прежде по плечи горел, а теперь по колени...

Кроме этой амнистии, Иван Грозный получает ещё одну немислимую для таких, как он, грешников милость: его навещает явившаяся из Рая любимая жена Анастасия и оставляет несчастному платок – его свадебный дар:

Царь зарыдал, свои слёзы платком вытирая.

Ну, и, конечно, подобно Ивану Грозному, такое же “послабление” в адской пыточной получает Иосиф Сталин:

*Встретили Сталина. Он поглядел на меня,
Словно совиная ночь среди белого дня.
Молча окстился когда-то державной рукою,
Ныне дрожавшей, как утренний пар над рекою.
Всё-таки Бог его огненным оком призрел:
Раньше по плечи, теперь он по пояс горел.*

Может быть, за то, что некогда “окстился державной рукою”, за прекращение репрессий против Церкви и православной веры, за восстановление патриаршества, за победу над фашистской Европой приговор Божьего суда ему пересматривается и смягчается. Его соперника по земной борьбе поэт такой амнистии не удостоил, но тем не менее скрыл от посмертного поругания со стороны могущественных врагов:

*Гитлер исчез навсегда. Я имею в виду:
Он в Бабьем Яре сокрыт. Есть такой и в аду:
Тёмная тонкость! Но бесы ответили просто:
— Там не достанут его шулера Холокоста...*

Чтобы понять всю политическую, идеологическую и религиозную глубину знаний и мировоззрения Юрия Кузнецова, конечно же, надо вдумываться, вчитываться в его приговоры героям мировой истории, вынесенные им в “Сошествии”...

Его метафорическая, метафизическая, образная способность определять обнажать, высветлять, выворачивать сущность самых сложных и противоречивых персонажей всемирной сцены поразительна, но закономерна, ибо на вопрос Владимира Бондаренко: **“Верить ли ты сам в своё сошествие в ад?”** – Кузнецов ответил: **“Это действительно было. Поэт сошёл в ад. Если это литература, то поэме моей – грош цена”**.

В его картинах посещения ада в качестве смиренного спутника самого Спасителя всюду чувствуется некая связь с подобного рода опытами, вышедшими из-под пера не только Данта, но и многих других творцов, рисквавших прикоснуться к столь опасным и столь притягательным сюжетам.

Вспомним, как улетают во тьму или в забвенье с нашей грешной земли герои знаменитого булгаковского романа:

“И тогда над горами прокатился, как трубный глас, страшный голос Воланда:

– Пора!! – и резкий свист и хохот Бегемота.

Кони рванулись, и всадники поднялись вверх и поскакали. Маргарита чувствовала, как её бешеный конь грызёт и тянет мундштук. Плащ Воланда вздуло над головами всей кавалькады, этим плащом начало закрывать вечеряющий небосвод. Когда на мгновение чёрный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушёл в землю и оставил по себе только туман.

Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землёй, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, её болотца и реки, он отдаётся с лёгким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна...”

И каким благодатным светом озарены кузнецовские путники, улетающие в вечность:

*Ангел явился за нами и молвил со вздохом:
— Ваши молитвы дошли и услышаны Богом.
Вера прямит, но им выпал неведомый путь,
Вашим молитвам пришлось сатану обогнуть. —
Вытер он слёзы и взмыл, помавая крылами.
Мы устремились за ним. Он летел перед нами.
Вечная туча пылала, как пламя в ночи,
И задержала для нас золотые лучи.
Мы поднялись в двух последних лучах. Слава Богу!
Он головой покачал и промолвил:
— В дорогу!*

*Где-то под нами осталась крошечная тьма.
Вопли и плачи уже не сводили с ума.
Свет перед нами летел над волнами эфира.
Мне открывалось иное сияние мира.
Полный восторга и трепета, я произнёс:
— Мы над землёй? — Над Вселенной! — ответил Христос.*

* * *

Священник и поэт Владимир Нежданов, с которым Поликарпыч во время работы над поэмами “Жизнь Христа” и “Сошествие в ад” не раз встречался и читал ему новые главы из обеих поэм, отпевавший поэта по его прижизненной просьбе на Троекуровском кладбище, вспоминает:

“Помню последнюю нашу встречу – за неделю до смерти поэта. Мы вышли из редакции “Нашего современника”, был осенний вечер. Только что Юрий Кузнецов читал мне недоконченную поэму “Рай”. И прощаясь, вдруг остановился и спросил: “Знаешь, что последует за этой поэмой?” И, не дожидаясь ответа, выдохнул мне в лицо: “Страшный Суд!” Это были его последние слова в ту последнюю встречу”.

В сущности, Юрий Поликарпыч уже начал осуществлять этот замысел, если считать “Сновидение в ночь на Рождество” началом поэмы. Но вдумаясь в название: не “Сон в ночь на Рождество”, а нечто другое – “Сно-видение”... Что и говорить – замысел был сверхдерзким и сверхъестественным, если вспомнить слова Иисуса Христа о том, что даже он не знает сроков Страшного Суда, что знает их только Бог-Отец... Можно только предположить, что Высшей Воле был неугоден подобный замысел и подобное “сно-видение”, и Она спасла поэта от последнего искушения на его земном пути.

Утром 17 ноября 2003 года он собрался на работу, оделся, сел в кресло и вдруг сказал:

- Мне надо домой!
- Юра, ты же дома! – сказала жена.
- Домой! – повторил Поликарпыч...

Это было последнее слово в его жизни. Он умер легко, как и подобает людям из рода-племени, о коих его некогда любимый “итальянский легионер” Петрарка написал несколько слов, поставленных Пушкиным в качестве эпиграфа к шестой (дуэльной) главе романа “Евгений Онегин”: **“Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать нетрудно”**.

НИКОЛАЙ РЫЖКОВ

КУЛЬТУРА И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Есть очень важная составляющая, без которой не может сформироваться национальная идея государства и тем более не может быть обеспечено её существование и жизнестойкость.

Речь идёт о духовности общества и его культуре. Её составляет литература, искусство и творчество народных масс. Без этого невозможно сформировать национальную идею, её глубокий смысл, отвечающий жизненным целям людей и государства на определённом этапе его существования.

Всё это объединяет ёмкое слово “Культура”. Культура – неотъемлемый фактор жизнеспособности страны. Она связывает все формы жизни общества, превращает людей из простого множества в народ. Она обеспечивает преемственность поколений и служит целью общества. Культура решает две важные для национальной идеи задачи: сохраняет и воспроизводит народные традиции и обеспечивает её динамику в настоящем и будущем времени.

Конечно, огромнейшую роль в этом деле играет интеллигенция. Интеллигенция – это исконный российский феномен, чисто российское явление. Это понятие, заимствованное из русского языка, сейчас используется во всём мире. Но смысл существования российской интеллигенции заключается в том, что она выражает интересы всего народа. В это же время интеллигенция Запада печётся только об интересах отдельных групп людей. В этом уникальность и своеобразие нашей интеллигенции.

Нивелирует культурные различия, стирает историческую память народа такое явление второй половины XX века, как глобализация. Основным механизмом глобализации в сфере культуры служит массовая культура. Её условия вызревали в конце XIX века в результате научно-технической революции – изобретения телефона, телеграфа, радио, кинематографа, телевидения...

Массовая культура тесно связана с формированием такого феномена, как масса, отличного от общности народа и нации. Если народ выступает как личность и имеет общую для всех систему ценностей и общие жизненные принципы, то масса – это совокупность разобщённых субъектов, выступающих в качестве безликого коллектива, единицей которого является среднестатистическая личность. Размытость представлений о мире, отсутствие внутреннего содержания определяет её настойчивую потребность в руководстве. Это управление *массой* с успехом осуществляет *массовая культура*. Одним из механизмов этого управления является стимулирование потребительского сознания у людей, что, в конечном итоге, формирует пассивность, некритическое

восприятие этой “культуры” человеком. Практически происходит манипулирование человеческой психологией.

Массовая культура является механизмом культурной экспансии, прежде всего, североамериканской культуры, её идеалов. Распространяемая повсеместно, эта космополитическая культура стала проникать сквозь государственные границы, подавляя национальные особенности народов. Она претендует на роль универсальной массовой культуры эпохи глобализации. Вместе с ней распространяются и ценности западной цивилизации, которые во многом отличаются от отечественных.

Массовая культура игнорирует всё человеческое – язык, обычаи, верования, обряды, традиции. Она стирает в сознании людей представление о прошлом, примитивизирует настоящее, живёт сегодняшним днём, не формирует будущее. Замена национальной культуры массовой приводит к потере национальной идеи.

Ниже приводятся слова Н. А. Бердяева, который в то время не знал феномена глобализации:

“Есть только один исторический путь к достижению высшей всечеловечности, к единству человечества – путь национального роста и развития, национального творчества. Денационализация, проникнутая идеей интернациональной Европы, интернациональной цивилизации, интернационального человечества, есть чистейшая пустота, небытие. Ни один народ не может развиваться в бок, в сторону, вращать в чужой путь и в чужой рост”.

Возвращаясь к отечественной культуре как составной части национальной идеи, следует подчеркнуть, что главным достоинством истинной культуры является её направленность на развитие человека. Она должна давать знание, умение и мотивы, чтобы жить в обществе и непрерывно совершенствовать его. В противном случае культура, направленная на человека, стремящегося к развлечениям, вбивающая в сознание людей, что “человек человеку – волк”, вызовет социальную разобщённость народа, не способного жить в едином обществе.

Таково общее положение по развитию культуры в нашем обществе. Приведённые выше положения заставляют очень серьёзно осмыслить опыт Советского Союза и современной Российской Федерации в этом деле.

Успехи и поражения в Советском Союзе

За семьдесят лет Советской власти в области культурного развития страна прошла сложный, но, в конечном итоге, эффективный путь. С первых шагов новой власти В. И. Ленин принял за создание коммунистического общества, и хотя социалистические и коммунистические идеи были продуктом западной философской мысли и большевизма, они хотели “перевернуть” Россию, но в действительности Россия “перевернула большевизм”. Русский народ упорно опирался на собственную, традиционно сложившуюся основу, утверждённую на “соборных началах”. Создававшаяся в первое время Советской власти ситуация диктовала властям стратегию и тактику путей развития культуры и идеологии. Партии оставалось только обосновывать этот процесс.

Октябрьская революция оказала огромное воздействие на развитие искусства. В первую очередь это относится к литературе. Процесс становления литературы был сложным и многогранным. Около одной трети талантливых писателей покинули страну, среди них И. Бунин, А. Куприн, М. Цветаева, В. Набоков, А. Толстой, И. Шмелёв и др. Некоторые погибли в годы гражданской войны и как красного, так и белого террора. К тому же, в 1922 году были высланы из страны 200 философов, мыслителей, выдающихся инженеров на так называемом “философском корабле”, что, возможно, спасло им жизнь.

Советские писатели в 1920-х годах прошли через различные литературные объединения – РАПП, “Перевал”, “Серрапионовы братья” и ЛЕФ. Путь их был сложным – от предложения “сбросить” Пушкина, Толстого, Чайковского “с корабля современности” до социалистического реализма. Среди них были те, кто по праву стал в дальнейшем выдающимися писателями: М. Пришвин, В. Катаев, В. Иванов, М. Зощенко, К. Федин... В 1920-х годах писателями-прозаиками – В. Короленко, А. Толстым, М. Горьким, Д. Фурмановым,

А. Фадеевым, М. Булгаковым, А. Серафимовичем – были созданы выдающиеся произведения. В 1920-е (1926) годы начинается литературная деятельность М. Шолохова. Эти и другие писатели, в первую очередь, в своих произведениях отражали недавно закончившуюся гражданскую войну. И это естественно, так как в корне изменилась общественная жизнь страны, место человека в обществе, проявился героизм и преданность идеалам революции новых людей.

Большую роль в развитии русской литературы того времени сыграло поэтическое творчество В. Брюсова, Э. Багрицкого, Б. Пастернака, С. Есенина, Н. Клюева, В. Маяковского. Двадцатые-тридцатые годы прошлого века были расцветом детской литературы. Несколько поколений советских людей выросло на книгах К. Чуковского, С. Маршака, А. Гайдара, С. Михалкова... И, тем не менее, в 1930-е годы репрессии по политическим мотивам не обошли стороной многих писателей и поэтов. Развернувшаяся «критика» их в печати не могла не сказаться на творчестве многих, а иногда и на их жизни (С. Есенин, В. Маяковский, В. Васильев), травля писателей и поэтов зачастую проходила с участием руководства РАПП.

В середине 1930-х годов пришёл конец существовавшей до тех пор свободе творческих кружков и объединений. В 1934 году на I Всесоюзном съезде писателей был организован Союз писателей СССР. Председателем его стал М. Горький. В союз вступали все, кто занимался литературным трудом. Наряду с тем, что союз создал стройную систему, внушительную материальную базу для творчества литераторов, в то же время он, безусловно, был большим «фильтром» для идеологии произведений. Союз писателей СССР просуществовал до разрушения СССР.

Годы Великой Отечественной войны и послевоенный период развития нашей страны дали большой импульс отечественной культуре.

Военные годы, которые сплотили весь народ для отпора фашистским захватчикам, породили многих талантливых писателей и поэтов. «Когда гремит оружие, музы молчат» – это изречение, восходящее к Древнему Риму, ни в коей степени не относится к нашей Великой Отечественной войне.

Вся страна жила песнями и стихами поэтов: А. Твардовского, М. Исаковского, А. Ахматовой, А. Суркова, А. Фатьянова и многих других. Звали к победе писатели М. Шолохов, К. Симонов, Л. Леонов, Ю. Герман...

Большой вклад в победу внесли композиторы М. Шостакович, В. Соловьёв-Седой, М. Блантер...

Послевоенный период ознаменовался всплеском творчества писателей и поэтов. Они затрагивали тему войны, так как многие из них воевали, – это В. Карпов, Ю. Бондарев, Ю. Нагибин, Э. Асадов, Ф. Абрамов, В. Пикуль, В. Быков, О. Богомолов, Г. Бойко.

Молодое послевоенное поколение ставило острейшие проблемы жизни страны, глубокие философские аспекты жизни: Ч. Айтматов, В. Боков, М. Дудин, В. Астафьев, Л. Бородин, Б. Васильев.

Воспитание народа в духе патриотизма и любви к Родине, дань воинам, сражавшимся на фронтах, всем, кто трудился в тылу, создавая оружие победы, своим талантом выражали деятели театра и кино. Огромнейшей популярностью и любовью пользовались артисты и режиссёры Н. Крючков, В. Меркурьев, М. Жаров, А. Тарасова, С. Герасимов, А. Довженко.

В послевоенный период многие иностранные историки и исследователи Великой Отечественной войны задавали вопрос: какая же роль в годы войны отводилась искусству, почему Советский Союз имел в своём арсенале такой мощный идеологический фактор, которого не имел Гитлер?

Даже в этом далеко не полном перечне деятелей культуры можно увидеть, какова была духовная мощь нашего общества! В то же время сейчас известно, что в фашистской Германии ничего подобного не было. И в этом глубокий смысл нашей культуры. У врага не было стихов и песен, призывающих к борьбе с захватчиками. А наш народ они объединяли, давали надежду на жизнь и встречу с любимыми и родными.

В 1920-е годы переживает период расцвета русское изобразительное искусство. Казалось бы, гражданская война, голод, разруха должны были бы снизить активность художественного творчества. На самом деле ему был дан новый импульс. Как и у литераторов, у художников возникают творческие объединения. В 1922 году была создана самая массовая организация – «Ассоциация художников революционной России». Она объединила таких выдающихся

художников, как К. Юон, И. Бродский, М. Греков, К. Петров-Водкин, А. Дейнека, а вскоре по аналогии с литераторами был создан Союз художников.

Революция высвободила мощные творческие силы отечественного театрального искусства. Одним из самых важных и интересных явлений в истории культуры 1920-х годов было начало развития советского кинематографа. Известно выражение В. И. Ленина о значении этого искусства – он, наряду с плакатом, стал важнейшим и эффективнейшим инструментом идеологической борьбы и агитации.

К сожалению, в культуре, как и в писательской среде 1920-х годов, происходили негативные процессы. В частности, академик-историк Покровский оставил тяжелейший след в идеологии культуры молодой советской республики.

Стараниями “школы Покровского” и некоторых руководителей страны был нанесён колоссальный ущерб памятникам архитектуры, когда осуществлялся лозунг “Сметём с советских площадей очаги религиозной заразы”. Одним из первых разрушенных памятников архитектуры была часовня Александра Невского, построенная в Москве в 1883 году в память воинов, погибших в русско-турецкой войне 1877-1878 годов.

В процессе наступления на религию в широких масштабах разрушались храмы и монастыри. В Московском Кремле разрушили мужской Чудов монастырь и стоявший рядом с ним женский Вознесенский. Был взорван храм Христа Спасителя, построенный в Москве в 1837-1883 годах как храм-памятник, посвящённый победе в Отечественной войне 1812 года.

В Ленинграде была перелита на металл Колонна Славы, сложенная из 140 стволов трофейных пушек, установленная в честь победы под Плевной.

В результате борьбы с Русской Православной Церковью из 19 тысяч храмов 13 тысяч были заняты промышленными предприятиями, служили складскими помещениями, клубами. Только в 3 тысячах из них сохранилось культовое оборудование, а менее чем в 700-х происходило богослужение.

Не щадили и гражданские постройки. Были снесены шедевры русской архитектуры – Сухарева башня, Красные ворота, стены и башни Китай-города. В 1936 году была разобрана Триумфальная арка на Тверской заставе в Москве, сооружённая в честь победы в Отечественной войне 1812 года. К счастью, был сохранён храм Василия Блаженного на Красной площади.

На просьбу известного академика А. В. Шухова был дан ответ: Москва не музей старины, не город туристов, не Венеция и не Помпея. Москва не кладбище былой цивилизации, а колыбель подрастающей новой пролетарской культуры, основанной на “труде и знании”. Как писал известный журналист М. Кольцов, “грязную, вонючую старуху с седыми космами – дореволюционную Россию...” О России и русских в печати того времени можно было прочесть: “Россия всегда была страной классического идиотизма...”

К счастью, в середине 1930 годов в этом отношении в стране произошли изменения. И. Сталин как большой политик понимал, что с идеологией мировой революции, с *общечеловеческими ценностями*, разрушающими отечественную культуру, исторические основы народа, в надвигающейся войне не победить.

Шаг за шагом начали восстанавливаться традиционные национальные ценности. И не случайно в своей речи в июле 1941 года он обратился к народу со словами истинно русскими, даже церковно-славянскими: “Братья и сестры...” Только дух патриотизма, вера в своё Отечество позволили стране победить сильнейшего врага XX века – фашистскую Германию.

На этом, пожалуй, можно было бы и закончить говорить о положении культуры в Советском Союзе, но нельзя не сказать о кончине страны и роли в её гибели новых ниспровергателей всей социально-экономической жизни страны, её культуры и истории. Происходившее в конце 1980-х годов в СССР напоминает действия фанатиков-большевиков 1920-х годов, только тогда боролись со своей Родиной большевики, а ныне – “демократы” первой волны. Почерк один и тот же: “разрушить до основания”.

Против общественного строя СССР и, естественно, не только власти, но и всех ценностей страны была развернута настоящая “культурная революция” по типу китайской. Всё подвергалось критике, и всюду примером нам должен был служить Запад. **Эту вакханалию руководители КПСС не останавливали. Они буквально добровольно передали средства массовой информации, которые были полностью в их ведении, силам, стремя-**

щимся к разрушению и распаду государства. Насколько я знаю, ни одна из правящих партий в мире подобного не делала.

Проводилась линия на то, чтобы 70 лет Советской власти клеймились со всё возрастающей ненавистью. В числе **застрельщиков** оказались родственники “пламенных” революционеров, а также репрессированных, включая троцкистов.

Разгул критики на уровне кликушества, призывающей к свержению власти в стране, не получал должного отпора членов Политбюро, включая Генерального секретаря, который слушал все эти речи. Я был до 1989 года членом Политбюро и не понаслышке знаю, что определённая его часть (Яковлев, Шеварднадзе) считали, что всё происходящее лежит в русле перестройки. Нас, кто понимал всё происходящее, было меньшинство, и **Горбачёв был на их стороне.**

Во многом в этой борьбе лидирующее положение занимала творческая интеллигенция, была также небольшая прослойка технической интеллигенции, особенно из ВПК. С самого начала ведущую роль стала играть газета “Московские новости” (главный редактор Е. Яковлев), непримиримую позицию занял журнал “Огонёк”, главным редактором которого был В. А. Коротич, переведённый туда с Украины. Сделав свое чёрное дело, он многие годы благополучно жил в США, любящая нашей разрушенной страной из-за океана. Американцы достойно распростились с этим “ниспровергателем”.

Прошло более 20 лет после разрушения СССР. Оценивая политическую и общественную жизнь современной России, можно сделать чёткий вывод, что если бы сейчас происходило то, что было в стране в конце 1980-х годов, то это попало бы в разряд “терактов” со всеми вытекающими последствиями для их исполнителей. Они размышляли бы о превратностях жизни в заведениях “строгого режима”, и достаточно долго. А ведь многие из них живы и даже процветают!

Учитывая, что планомерное разрушение идеологии в 1980-е годы, как мы видим, сыграло ведущую роль, следует ещё более подробно остановиться на этом “процессе”.

Безусловно, одну из главных ролей ниспровергателя идеологических основ сыграл “серый кардинал” А. Н. Яковлев. Он был одним из опытных партийных аппаратчиков, прошёл путь от рядового инструктора ЦК КПСС до члена Политбюро партии.

Своё мировидение он обозначил статьёй об “антиисторизме”, опубликованной “Литературной газетой” в 1972 году. Статья вызвала большое недоумение у большинства интеллигенции, в среде историко-политических деятелей. В этой статье автор выступал **против возрождения русского национального самосознания**, считал идейно вредным издание “Истории государства Российского” Н. М. Карамзина, обвинял крестьянство в патриархальности.

В “наказание” Яковлева “сослали” послом СССР в Канаду. Так состоялось его знакомство с М. С. Горбачёвым. Ещё в годы правления Ю. В. Андропова я был свидетелем, когда М. С. Горбачёв после поездки в Канаду во главе делегации аграриев страны просил Генсека вернуть Яковлева в страну. В ответ он получил жёсткий отказ.

После смерти Андропова дорога Яковлеву на Родину, благодаря усилиям Горбачёва, была открыта. Он стремительно прошёл по ступеням партийной и научной *лестницы* и вскоре стал академиком Академии наук СССР, а затем и членом Политбюро.

Уже в июле 1985 года Горбачёв предложил кандидатуру Яковлева на пост заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. Через несколько месяцев он был избран секретарём ЦК и стал заниматься вопросами идеологии. В основном сосредоточился на работе со средствами массовой информации.

Действовать он стал умно, не открывал своих карт, но планомерно подвёл к разрушению общественного строя государства. Начались атаки на Сталина. Был опубликован роман А. Рыбакова “Дети Арбата”. Из этого романа можно сделать вывод, что 1937 год был, по сути своей, Сталинским государственным переворотом.

В 1988 году журнал “Октябрь” опубликовал роман В. Гроссмана “Жизнь и судьба”. В Москве этот роман вышел отдельной книгой тиражом в 200 тысяч экземпляров, а за два с половиной года было издано в стране более 2-х млн экземпляров! Главная причина этого заключалась не в художественном достоинстве романа, а в том, что его автор **поставил вопрос о родстве фа-**

шизма и сталинизма. Из этого можно сделать вывод, на каких позициях стояли издательства, а следовательно, и партийные органы двух десятков регионов страны!

Но на Сталине ниспровергатели социалистических ценностей не остановились. Очередь дошла до Ленина. Утверждалось, что все беды идут от него, а Сталин был только его учеником и соратником. Добрались до учения К. Маркса. В 1988-1989 годах начинается охаивание революции. Главный смысл этих публикаций был в том, чтобы дискредитировать саму идею революционной борьбы. Дальше – больше. В сентябре 1988 года секретариатом ЦК КПСС было принято решение, что государство и партия отказываются от монополии на издательскую деятельность и отменяют цензуру. Таким образом, **партия добровольно передала мощнейшие идеологическое оружие противникам Советской власти и партии.**

Как известно, парусник плывёт туда, куда дует ветер. Шквал критики обрушился на социальный строй, партию, руководство страны со страниц всех газет, кстати, органов печати ЦК КПСС, журналов, с экранов кино, телевидения. Результаты не могли не сказаться.

“Успехи” в Российской Федерации

Прежде чем рассматривать положение с состоянием культуры в современной России, следует чётко представлять, что в стране за прошедшие 20 лет произошли существенные изменения как в социально-экономической, политической, так и в духовной жизни.

В последние годы о русской интеллигенции как носительнице духовной жизни общества, научного прогресса, философской мысли говорят всё реже и реже.

Интеллигенция прекратила своё существование как сословие. Социальное расслоение не обошло её стороной, она вместе с расслоением общества распалась и перестала играть какую-либо роль в общественных процессах. Постсоветская либерализация запустила процесс расслоения интеллигенции. Ещё при Б. Ельцине советский монолит начал распадаться. Отдельных нужных представителей мыслящего сословия власть взяла на службу, но в то же время предала тех, кто остался за бортом рыночных преобразований.

Смерть интеллигенции закономерна. Она не выдержала в эти два десятка лет экзамен ни на интеллектуальную прочность, ни на нравственную зрелость, ни даже на верность самой себе. В рыночных условиях произошло окончательное расслоение и размежевание интеллигенции. При этом в подавляющем большинстве своём прослойка советских интеллигентов направилась по трём направлениям: в эмиграцию, в челноки и в запой. Меньшая же часть интеллигенции пошла на службу к власти и начала прославлять новый порядок. Своим научным авторитетом и званиями они беспрекословно поддерживали все решения власти. Разве не уместно вспомнить 1993 год, когда придворная интеллигенция поддерживала действия власти Б. Ельцина и его команды! **На место интеллигенции пришла либеральная номенклатура, которая присвоила собственность КПСС и уничтожила государство.**

В 1993 году были подавлены войсками протесты не согласных с властью. Практически Ельцин совершил государственный переворот. Интеллигенция шумно тогда поддержала власть, написав знаменитое позорное “письмо 42-х” с пламенным призывом: “Господин Президент, раздавите гадину!” Его подписали: Б. Ахмадулина, Д. Гранин, А. Дементьев, В. Астафьев, Д. Лихачёв, Б. Окуджава, Р. Рождественский... Большинство из них Бог прибрал с нашей грешной Землей, а остальные как себя чувствуют?.. Не знаю, но догадываюсь.

С помощью власти и при её попустительстве это крикливое меньшинство заполнило собой эфир телевидения и радио, страницы газет и журналов. Зная некоторых из них лично, я иногда задавался вопросом: они ли это? Не клоны ли это случайно? А может, в соответствии с буддийской религией и философией, они в другой жизни принимали совершенно иной облик?..

В современном обществе, где господствует культ денег, цинизм пронизывает все сословия, в том числе и определённую часть интеллигенции. Циничны их мысли и их действия.

Грустны эти рассуждения, не верится в то, что нынче делается с “инженерами человеческих душ”. А может, был прав Ленин, дав им известную характеристику?.. И в заключение моих общих рассуждений. Может ли нынешняя интеллигенция воспрянуть и занять своё достойное место в обществе, в котором оно живёт? Нет! **Нужен новый слой людей, уважающих нравственные ценности, традиции и принципы социальной справедливости.** Только такая новая общность людей, уважающих свою Родину и соперяживающих ей, способна выполнять свою историческую миссию.

Хотелось бы ещё остановиться на одном вопросе нашей культуры. Речь идёт о русском языке. Мы в Думе принимаем много решений, и актуальных, и не очень, и быстро, и очень медленно. Очень быстро, как известно, в течение недели был принят в 2-х основных чтениях проект закона о реформировании, а точнее – об уничтожении Российской Академии наук (РАН), академий медицинской и сельскохозяйственной. Закон же о русском языке лежит в архивах Госдумы уже много лет.

Уже много лет ведутся об этом разговоры, а решения нет. Это даёт определённый козырь “ревнителям русского народа”. Русский язык – он или есть и будет в дальнейшем языком многонационального общения, или мы ждём, что английский язык станет универсальным языком общения внутри России и с бывшими союзными республиками? И не надо в этом законе возвеличивать русский язык, он и так велик. Но принять меры по сохранению его уникальности, предохранить его от различных искажений, чётко определиться с изучением его в школах и иных учебных заведениях страны необходимо.

Я полагаю, что многие из нас уже не всегда понимают разговорную речь на радио и телевидении. Это не наш родной, а какой-то “птичий” язык! Уголовный жаргон, смешанный с иностранными заимствованиями, сдобренный всякими сокращениями, породил чудовищный “новояз”, на котором, к великому прискорбию, разговаривает значительная часть жителей России. Вот беседуют мужики, а прислушаешься к их разговору – волосы встают дыбом:

- Бабло там нарубим? – спрашивал один.
- Фишка если ляжет, тогда и потянем, – ответил другой.
- Чё грузил, что всё о’кей? – наседали первый.
- Капуста наша, а не зелёная, – объяснял товарищ.

Вот и пойми: русские перед тобой или инопланетяне. Слушая подобные разговоры, невольно думаешь: а не настанет ли время и у нас, когда мы будем ходить со словарём?

Я позволю себе использовать зарисовки из творчества нашего известного писателя и сатирика М. Задорнова: “Она в любви мне неадекватна”. “Я взяла авоську, пошла на маркет”. “Я работаю пирожкомейкером”. В сочинениях молодые пишут: “Есенин был интерактивным поэтом”. “Чацкий – это тот, кто сидел в чатах”. “Пушкин с Гончаровой консолидировался по половым признакам”. “Новации Цветаевой и её дефолт”. “У Ломоносова была большая харизма”. “Онегин и Печорин поехали в деревню проводить кастинг среди сестёр Ростовых”. “Я горжусь Петром I за то, что он боролся с фашизмом”. “Александр II разрешил всем заключённым провести эпиляцию”. Недавно я видел книжку одного современного филолога, называется: “Счастье как лингвоаугурный концепт”. Цитирую фразу из этой брошюры: “Счастье – многомерное интегративно-ментальное образование, включающее интеллектуальную общеаксиологическую оценку в форме удовлетворения...” И так – вся книжка! По телевидению выступал политолог. Его спросили: “Зарплаты врачам повысят?” Знаете, что он ответил? “Индексация финансовых сегрегенций зависит от латентно-адекватных мажоритарных обструкций. Поэтому, как вы понимаете, нельзя инсуицировать амбивалентные новации коррелирующего мониторинга”. Та, что брала у него интервью, долго после этого ответа смотрела на него глазами лошади Мюнхгаузена, когда её разрубили пополам.

Особо следует отметить замусоренность русского языка иностранными словами. Подобное было и в советское время, особенно в политической литературе, вхождение же России в “рыночную” атмосферу открыло шлюзы для целого потока таких слов. Например: креативный, секвестр, brutальный... Слово “омбудсмен” скоро будет применять в России вместо защитник Родины.

И таких шедевров можно приводить множество. Ещё один пример: слово “бренд” проникает в сленг не только народа, но и большой политики. А что же оно обозначает? Слово “бренд” на английском языке означает бирку на шее

быка в стаде! А слово “будировать”? Основной смысл его в английском языке “сердиться”. Вот и применяйте у нас почаще это слово!

Засоренность русского языка иностранными словами, употребляемыми к месту и не к месту, происходила в течение многих лет. Так, В. И. Ленин в своей статье “Не пора ли объявить войну коверканию русского языка” писал: “Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно... Конечно, когда человек, недавно научившийся читать вообще и особенно читать газеты, принимается усердно читать их, он невольно усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у нас, однако, тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?.. Перенимать французско-нижегородское словоупотребление — значит, перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился и, во-первых, не доучился, а во-вторых — коверкал русский язык”.

Не менее важно выработать меры по сохранению русского языка в бывших союзных республиках, где живут миллионы наших соотечественников, этнические русские, литераторы, научные работники, представители других национальностей, которые воспитывались на русском языке и считают его до сих пор своим родным. Примером такой заботы о своём языке может послужить Франция или Испания. Там созданы авторитетные органы, которые занимаются своим языком во франко- и испаноговорящих странах. Они имеют большие полномочия и возможности материальных и моральных поощрений.

Мне скажут: денег нет, в стране и так много проблем. Действительно, денег никогда не хватало. Но есть же миллиарды рублей для никому не нужного Сколково? Есть же деньги на покупку олигархами вилл и дворцов за рубежом, сногшибательных яхт и самолётов, иностранных спортивных клубов?..

После развала СССР за пределами РФ осталось 25 млн русских. Возьмём Украину. Всего в республике было 19800 учебных заведений. По оценке российских СМИ, на май 2012 года количество русскоязычных школ Украины составило всего лишь 800–600. Общий темп закрытия школ составляет 100–200 школ в год. На середину мая 2011 года из 537 школ Киева полностью на русском преподавали в 5 школах. Надо полагать, что с английским языком школ больше в разы.

Стоит вспомнить свою историю. В 1783 году Указом императрицы Екатерины II (Великой) была создана Академия для защиты и пропаганды российской словесности. 250 лет тому назад власти были обеспокоены положением русской словесности, а мы на протяжении десятилетий не можем принять соответствующий закон.

Два года тому назад Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своём обращении к пастве подчеркнул: “Через русский язык передаётся наш культурный духовный код на интеллектуальном уровне... С разрушением художественной литературы из жизни уходят положительные герои, тот самый образ положительного героя, который сформирован христианскими истоками нашей национальной культуры. Вот почему так важно сегодня бороться за сохранение русского языка, ибо использование современных средств коммуникаций очень сильно трансформирует язык”.

В 2011 году президент страны объявил об учреждении нового праздника — Дня русского языка. Этот День приходится на 6 июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Символично! Время движется неумолимо, прошло два года, а изменений практически нет. Есть только попытка С. Говорухина через Закон запретить мат в СМИ. Министерству образования и науки надо бы вместо наступления на науку и высшие учебные заведения заняться этим вопросом.

Положение, сложившееся с русским языком в настоящее время, не ново. Еще начиная с 1917 года, русская нация была определена как великодержавная, угнетающая другие народы. Такой период длился довольно долго, а в конце 1920-х и начале 1930-х годов споры противников и защитников русской нации и, естественно, языка перешли даже в сферу политического преследования.

Итак, в 1931 году были вынесены приговоры по “делу” русских историков. Некоторые из них получили срок от 3-х до 10-ти лет тюремного заключения и ещё 15 известных историков — по 5 лет ссылки.

Вплоть до середины 1930-х годов оставались под запретом такие слова и словосочетания, как “русская советская живопись”, “русская литература”. Слова “русские” избегали, заменив его эпитетами “московские”, “наши”, “современные”.

Причины такой национальной “стыдливости” были созданы критиками всего русского, в частности, традиций русского народа. Они считали, что эти традиции имеют “реакционно-националистическую сущность”.

Такое положение сложилось во многом из-за того, что во главе исторической науки, её идеологии стоял неизвестный историк М. Покровский. Его книга “Русская история в самом сжатом виде”, написанная в 1920 году, к 1933 году была выпущена десятками изданий. Выпускники школ первой половины 1930-х годов должны были изучать свою историю только по этому учебнику.

Этот историк оставил тяжелейший след в нашей истории, “школа Покровского” обслуживала интересы троцкистской бюрократии, пытавшейся обосновать своё стремление пребывать у власти. В неприятие курса Сталина на реабилитацию русской истории и языка, эту “школу”, к сожалению, поддерживала значительная часть интеллигенции. Они не знали или пренебрегли заветом известного философа и мыслителя Владимира Соловьёва: “Люби чужую национальность как свою собственную”.

Положение начало меняться только в середине 1930-х годов. Хотя после смерти Покровского в 1932 году Московский университет получил его имя и носил до тех пор, пока не определилось более достойное – М. В. Ломоносов, присвоенное Университету в мае 1940 года.

Заканчивая рассуждения о русском языке, хочется ещё раз подчеркнуть, что ничего не изменилось в отношении нашего родного языка. Социально-экономические модули меняются и будут изменяться в зависимости от многих причин. Это естественно. Но **потерять сегодня свой язык – это навсегда. В результате мы получили поколение несформированных потребителей, лишённых богатства своего родного языка. Они будут лишены возможности воспринимать наследие отечественной и мировой классической литературы. Они будут презирать своё прошлое и не будут связывать со своей Родиной своё будущее.**

Особо хотелось остановиться на проблеме библиотек. Я не привожу скорбный список их наличия в стране. У меня, как и у многих граждан страны, возникает тревога, что с учётом развития электронной информации посещение библиотек будет уменьшаться. Мы в своё время удивлялись и недоумевали, как можно “Войну и мир” читать в нескольких страницах. К сожалению, это наша реальность, наша нынешняя действительность.

Библиотеки обязаны в корне изменить свою деятельность. Функции книгохранилища для них уже недостаточно. Рыночные отношения ударили, в первую очередь, по культурным центрам, клубам, домам детского творчества. Те детские центры, которые сохранились, в основном перешли на коммерческую основу, что не позволяет детям семей с малым и средним достатком посещать различные кружки и спортивные секции.

Библиотеки просто обязаны взять некоторые их функции на себя. Они должны стать платформой для восстановления детских кружков, местом, где школьникам помогают в подготовке рефератов, устраивают обсуждения книг и кинофильмов. Устраивать специальные встречи с писателями, ветеранами войны и труда. Старшему же поколению оказывать неформальные консультации по самым различным вопросам. Надо сделать библиотеки привлекательными, чтобы люди, особенно дети и молодёжь, стремились в этот очаг культуры.

И ещё об одной проблеме культурной жизни страны. Речь идёт об учебнике истории нашей страны. Вопрос, безусловно, назрел. В последние десятилетия, как шквал, обрушилась на людей критика всего советского и в целом российского. Фальсификаторы всех мастей искалечили нашу историю, особенно это касается советского периода и Великой Отечественной войны. В конце февраля 2013 года выступал на госсвете президент В. В. Путин. Он объявил о намерении правительства создать единый учебник истории для школы. Он сказал, что такой учебник должен иметь единую концепцию и должен быть рассчитан на все возрасты. Была создана специальная рабочая группа по подготовке учебника.

В стране разгорелась большая дискуссия по этому вопросу. Некоторые участники дебатов были против создания единого учебника, но были и те, кто поддерживал эту идею. Вопрос окончательно не решён.

Основной причиной подобного положения является не только расслоение людей по социальным и экономическим критериям, но и по отношению их к истории своей Родины. Как сказал один из специалистов в области образования, “нельзя создать единый учебник для разобщенного общества”. Может быть, он и прав: надо решить вопрос преодоления недопустимого расслоения нашего общества. Причина во многом кроется в подготовке детей и молодёжи к познанию истории.

С первого класса они знали об основных праздниках страны, о великих исторических событиях. Они черпали свои знания из произведений, которые читали и изучали в школе: “Полтава” Пушкина; “Бородино” Лермонтова, “Война и мир” Л. Н. Толстого – о войне 1812 года; “Тихий Дон” М. А. Шолохова – о гражданской войне; из стихов Твардовского и прозы Ю. В. Бондарева они узнавали о событиях Великой Отечественной войны. Большое значение при этом имеет реальная обстановка в семье. Родители находят для ребёнка правильные книги, а сами ведут себя по-другому. Такое положение не только не способствует формированию у ребёнка правильного отношения к тому, к чему призывает хорошая книга, но приводит к её отторжению.

Живой интерес к прошлому, воспитанный с раннего детства, у многих людей вызывал желание более глубоко изучить историю: “Советская историческая энциклопедия” в 16 томах была издана тиражом почти 60 тысяч экземпляров. Не только в государственных библиотеках, но и во многих домах можно найти 13 томов “Всемирной истории”, выпущенных тиражом в 164 тысячи экземпляров. Тираж шеститомной “Истории Великой Отечественной войны” составил свыше 200 тысяч экземпляров. Многотомная “История КПСС” была издана в 320 тысячах экземпляров.

Необыкновенно популярны были мемуары выдающихся военачальников Советского Союза. Тиражами в 200 тысяч экземпляров были выпущены первые издания книг воспоминаний “Солдатский долг” К. К. Рокоссовского, “Дело всей жизни” А. М. Василевского, “Сорок пятый” И. С. Конева, “Конец Третьего рейха” В. И. Чуйкова и многие другие. Книга воспоминаний К. А. Мерецкова “На службе народу” вышла 300 тысячами экземпляров. Первое же издание 700-страничной книги Г. К. Жукова “Воспоминания и размышления” имело тираж 600 тысяч экземпляров.

Радио, кино, телевидение освещали вопросы нашей истории. Театр, музыкальные произведения, в том числе песни, подкрепляли любовь к нашей Родине, её истории. А возьмём такой вид исторической памяти, как музеи. До Октябрьской революции в России было 150 музеев. В середине 1980-х годов в СССР их насчитывалось около 1700 с числом посетителей примерно 166 млн человек в год.

Я до сих пор не понимаю, почему школьникам не дают возможности посещать музеи бесплатно. Неужели эти школьные копейки скажутся на государственном бюджете? Почему школьники Франции посещают Лувр бесплатно? Да потому, что там заботятся об интеллектуальном развитии народа. Почему в Германии билеты на классическую музыку в разы дешевле, чем на эстрадные шоу? По той же причине.

В череде проблем сегодняшнего дня, рассуждая о вопросах национальной культуры, нельзя не сказать о кинематографе – одном из самых эффективных видов искусства. О роли кино в вопросах отечественной истории говорили несколько выше. Наше отечественное кино, кроме информации, несло глубокую психологию, заставляло мыслить, а потому во многом выполняло функцию нравственного воспитания народа. Конечно, были и слабые фильмы, но это было исключением.

Рыночное 20-летие резко изменило положение в кинематографе. 1990-е годы были провальными, они поставили на грань выживания этот вид искусства. Постепенно кинематограф ожил, но с большим перекосом: появилась масса фильмов, где все построено на жестокости. В этом перекосе есть только одна положительная сторона: эти фильмы дали работу многим артистам и режиссёрам. Но многочисленные сериалы, влияя на психику людей, особенно молодёжи, делают своё чёрное дело.

В области кинофильмов мы не должны наглухо закрывать двери от Запада, но и бездумно открывать их не стоит – это принесёт непоправимый вред национальной культуре, менталитету нашего народа. В этом отношении нам следовало бы использовать опыт некоторых европейских стран, например, Франции или Италии. Они также проходили этот путь, когда американские фильмы заполнили кинотеатры и телевидение. Они не побоялись обвинений в национализме и установили жёсткие нормы показа иностранных фильмов, особенно американских, в соотношении с общим количеством фильмов. Попробуйте во Франции показать американский боевик по телевидению не в то время, которое жёстко оговорено, – отберут лицензию!

Примерно полтора десятка лет тому назад в Государственной Думе председателем Комитета по культуре был народный артист СССР Н. Н. Губенко. Им был поставлен вопрос “о создании на телевидении общественных советов по контролю за тематикой и содержанием телепередач”. В этом предложении был использован опыт Франции, где уже много лет работают такие советы. В них входят авторитетные и уважаемые в обществе творческие люди. Что же происходило тогда в Думе? “Большевистская цензура” – это было самой безобидной оценкой предлагаемого проекта Закона. Он похоронен и до сих пор хранится в архивах парламента.

Не обошли беды и театральную жизнь страны. Театр стал труднодоступен для многих граждан России. Утеряны необходимые условия для творческой самореализации людей. Ушло в прошлое многообразие видов художественной самодеятельности.

Особо хотелось бы остановиться на содержании выставок, концертов, театральных постановок. Я прекрасно понимаю, что в искусстве имеют право на существование разные направления творчества. Но люди не понимают, почему с пренебрежением относятся к их моральным ценностям. Какую цель преследует художник, изображая Иисуса Христа на картине, выполненной из окурков сигарет? Есть же у человека что-то святое, что нельзя трогать походя, во имя громкого скандала, во имя саморекламы. Национальная идея должна преследовать цель воспитания у творческих людей внутренней ответственности за результаты их творчества.

О литературе. Я полагаю, что мне делать детальный анализ выпускающих-ся книг, их авторов и школ нет необходимости. Для этого есть специалисты – литературоведы и критики. Общая же картина такова. **В настоящее время издаётся в год около 100 тысяч наименований книг. В то же время тираж издаваемых книг по сравнению с СССР уменьшился на 1 млрд штук.** Если в 1991 году совокупный тираж книг составил 1 млрд 630 млн экземпляров, то в 2004 году – 680 млн. В советское время в год издавалось 10 книг на душу населения, то к 2000 году этот показатель сократился до 3-х.

Интересен анализ издаваемых книг по темам: **по политической и социально-экономической тематике количество книг сократилось втрое; технической литературы – в 7 раз, в области искусства – в 6 раз...** Подобное положение сложилось и с “толстыми” журналами. Здесь выпуск уменьшился в 10 раз и более. Есть ли хотя бы один трудовой коллектив, где бы обсуждались злободневные публикации этих журналов? Не ищите – их нет! “Промывка” мозгов населения с насаждением нынешних ценностей делает своё дело. **Людей постепенно отучают думать.**

В молодые годы, работая в одном из цехов Уралмашзавода, мы довольно часто встречались с уральскими писателями, высказывали им наше “заводское мнение”. Польза от этого была обоюдная.

Что же происходит в литературе? По мнению писателей, измельчало время, и писатель – вместе с ним. Человек не задаёт себе вопросов, кто он, откуда пришёл, куда идёт, в чём смысл его жизни? Он не ставит перед собой эти вопросы, так как телевидение и радио снабжают его информацией совершенно иного содержания.

В отличие от советского времени, когда труд писателя оплачивался достойно, сейчас писателю, чтобы прожить, надо ежегодно издавать скороспелые “шедевры”, а не писать в течение нескольких лет одну книгу. Естественно, настоящей глубины в таких произведениях не получается. Чтобы написать что-то стоящее, надо всего себя вложить в книгу, весь мир туда вместить, умирать и воскресать вместе со своими героями. В противном случае на ум

приходит мудрое изречение: “Раньше вечные мысли записывались гусиным пером, а теперь вечным пером записывают гусиные мысли”.

Писателю надо любить своего положительного героя, всегда понимать, что если не любят своих настоящих героев, не только в книгах, но и в реальной жизни, то рано или поздно полюбят чужих.

Ещё один вопрос. На смену дикому капитализму начала XX века явился социализм, который теперь смущённо уступил дорогу нынешнему диковинному капитализму, а на двадцать втором году потребления “общечеловеческих ценностей” российские писатели оказались приписаны к Министерству связи. Даже Сталину не пришло бы в голову приписать “инженеров человеческих душ” к ведомству, повелевающему телефоном, печатными станками и ротационными машинами. Естественно, это ведомство и его структура ведут большую “селекционную” работу, поддерживают “нужных” им писателей и бросают на произвол судьбы талантливых, которые занимают патриотическую позицию. **А говорят, что сейчас нет цензуры. Есть, и ещё какая! Сегодняшние цензоры не вычёркивают сомнительные абзацы, а просто не издаю всю книгу.** Но разве это называется литературой? Нет, конечно. Возьмите радио, телевидение, газеты. Принцип “свой-чужой” и здесь действует весьма “эффективно”. Будешь выполнять указания хозяина – будешь работать. Нет – иди на улицу. У многих думающих людей такое положение вызывает, мягко выражаясь, недоумение. Люди спрашивают: неужели в государстве царствует только рынок, деньги, только нажива любой ценой?.. И такие суждения имеют под собой почву.

Положение в литературе и искусстве в настоящее время коренным образом изменилось в освещении событий, работников труда, в рождении “звёзд”.

В первую очередь, это отношение культуры к рабочему классу, к простым труженикам. О них сегодня не пишут повестей и романов, не снимают фильмов, не создают художественных полотен. Создаётся впечатление, что их нет и их интересы, их жизнь никому не нужны. Утверждается, что это прерогатива “совкового” искусства с его производственными романами и фильмами, с его прославлением человека труда.

Невиданный экономический рост, индустриализация страны, плодами которой мы до сих пор живём, породили уважение к рабочему человеку. Особенно такое отношение ценили в довоенные годы, пока живы были рабочие, которые жили “при хозяевах”. Эти люди получили жизненный шанс на заслуженное уважение. Теперь же – всё наоборот. **Люди труда стали жить при “новых хозяевах”, только они из уважаемых в обществе людей оказались поставлены в исходное положение – на место своих дореволюционных предшественников.**

Идеалом нынешнего искусства является совсем иной человек. Когда-то в Германии была народная мудрость – три “К”: кухня, киндер (ребенок), кирха (церковь). У нас сейчас появились свои три “К”, но совершенно другого содержания: кофе, кондиционер, клавиатура.

И, наконец, общество – это система, ткань, где каждый элемент связан с остальными. Поэтому **нельзя культивировать только делание денег из денег, забывая при этом, кто создаёт материальные ценности общества.** При таком отношении нельзя достигнуть экономического и социального прогресса. И чем мы раньше это осознаем, тем больше у нас шансов избежать резкого имущественного неравенства со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Отношение к культуре видно из анализа бюджета страны. В консолидированном бюджете субъектов Российской Федерации расходы на социальную политику составляют 16,3%, в том числе на здравоохранение – столько же, на образование – 24,5% на культуру же... – только 3,1%! А в федеральном бюджете положение ещё хуже: на социальные нужды – 29,9%, на здравоохранение – 4,8%, на образование – 4,7% и лишь 0,7% – на культуру вместе с кинематографом!

Подобное положение заводит нашу культуру в тупик. К счастью, это стало понимать высшее руководство страны. Осенью 2013 года произошли знаменательные события, которые могут положительно сказаться на важнейшем направлении жизни нашего общества. В своей речи на Валдае в 2013 году президент страны В. В. Путин обозначил своё отношение к национальной

идее государства. Пусть это говорилось об укреплении российской идентичности, но смысл остаётся тот же. Через несколько дней в Андреевском зале Кремля он провёл заседание Совета по культуре. На нём он чётко обозначил своё отношение к отечественной культуре. **Культура, по его словам, является субъектом национальной безопасности. Путин заявил, что от выбора ключевых направлений и принципов формирования государственной политики в сфере культуры зависит будущее страны.** По его словам, культуру необходимо вывести из периферийной зоны внимания в центральную, государственную. Необходимо ликвидировать неравные возможности пользования гуманитарными благами. О какой равномерности может идти речь, если жители крупных городов имеют возможность оценивать реальные достижения культуры и искусства, а жители малых городов – и особенно сельское население – годами не видят живых артистов или новых книг, потому что последняя библиотека, книжный магазин и клуб закрыты, их помещения перепрофилированы под более “рентабельные” объекты, а единственным окном в мир по-прежнему остаётся телевизор.

На заседании Совета выступали многие работники культуры, и они ещё более конкретными примерами подчеркивали значение культуры в современной жизни. Среди выступающих был В. И. Толстой, советник Президента по культуре. В своём выступлении он чётко обозначил роль и место нынешнего состояния культуры в государственной политике и перспективы её развития. Я позволю себе процитировать отрывок из его выступления: “Экономисты, эксперты рассматривают модели отношений к культуре “государство-меценат” или “государство-инвестор”. А нам бы хотелось выстроить более человечную модель – “государство-родитель”, пусть строгий и требовательный, не поощряющий баловство и тем более хулиганство, но справедливый, понимающий и любящий. При таком отношении культура быстро способна вырасти в крепкую и могучую опору своему государству, стать самой надёжной скрепляющей и объединяющей силой, которую все сейчас так настойчиво, но пока тщетно ищут”. Будем надеяться, что с этого заседания Совета начнется настоящий поворот в развитии культуры нашей страны.

Безусловно, говорить о единой идеологии в области культуры было бы опрометчиво. **Но культура должна выражать мнение большинства народа, поддерживать его нравственные устои – это не только допустимо, но и обязательно!**

Таким окончанием рассуждений о культуре в нашей стране и её влиянии на национальную идею государства хотелось бы и закончить. **Без Культуры не может быть национальной идеи общества.**

В преддверии 85-летнего юбилея редакция, да и многие люди на пространствах бывшего СССР вспоминают славные дела бывшего союзного премьера Н. И. Рыжкова. Среди них руководство спасательной операцией после катастрофического землетрясения в Спитаке в декабре 1988 года. Николай Иванович заслужил сердечную благодарность армянского народа, выраженную в словах католика всех армян Вазгена I: “Мы и весь армянский народ не забыли и не забудем Вашу отзывчивость и доброе отношение после бедственного землетрясения, когда в течение многих дней, днём и ночью, сочувствуя нашему горю, Вы проявляли большую заботу к израненному населению. Наш народ, проживающий как на территории Советского Союза, так и за рубежом, благодарен Вам...”

Мы публикуем главу из вышедшей в издательстве “Молодая гвардия” биографической книги Игоря Иустиновича Цыбульского “Николай Рыжков”, посвящённую тем незабываемым драматическим событиям.

ИГОРЬ ЦЫБУЛЬСКИЙ

“НАШ НАРОД БЛАГОДАРЕН ВАМ”

В отличие от Горбачева, которого знал весь мир, Николай Иванович не стремился блистать за рубежом и позировать перед объективами репортёров. Он был занят повседневной напряжённой работой в правительстве, и его выход на первый план общественного внимания был связан обычно с трагическими событиями, выступавшими за пределы привычного. Вторым таким событием после Чернобыля стало Армянское Спитакское землетрясение, которое началось 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту 23 секунды. Точное время назвали сейсмологи, оно же застыло на мёртвых электронных часах на площади превращенного в руины Лениакана. Руинами всего за полминуты стала вся северная часть республики с тремя сотнями городов и сёл, погибли свыше 25 тысяч человек, более 500 тысяч холодной зимой лишились крова и средств к существованию.

Рассказ Николая Ивановича об этой страшной беде хочется привести целиком, ничего не упустив:

“Ситуация в Армении и без этого страшного стихийного бедствия была крайне трудна и взрывоопасна. С февраля 1988 года резко обострился армянско-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха. Мирные демонстрации уже отшумели, заговорили автоматы и даже пулемёты. Широко действовали соединения боевиков, и пролившаяся кровь грозила хлынуть настоящим потоком. С Кавказа потянулись тысячи беженцев, уже создана была по этому поводу Комиссия Политбюро ЦК КПСС, которую возглавил Генеральный секретарь.

Однако не до того ему было. Горбачёв готовился к своему первому в жизни выступлению в ООН. К встрече с уходящим с политической арены Рейга-

ном и вновь избранным президентом США Бушем. Выступление советского лидера было назначено на 7 декабря, и времени на подготовку оставалось всего ничего, а выступить следовало весомо и мощно. Я по традиции оставался на месте – так кому, как не мне, следовало поручить работу с Карабахской комиссией? Мне и поручили её до возвращения Генерального из Америки.

7 декабря началось у меня с очередного заседания этой комиссии. Мы не обсуждали в этот день коренных проблем – о судьбе Карабаха. Тогда все были озабочены одним: как приостановить вооружённое противостояние, задержать поток беженцев из республик, чтобы потом попытаться усадить конфликтующие стороны за стол переговоров.

В Армению в первых числах декабря вылетел мой заместитель по Совмину Щербина – всегда незаменимый Борис Евдокимович, который, как и в Чернобыле, первым из высокого московского начальства встретил беду. Немало людей, входящих в этот круг, повидал я на своём веку и понял, что, оказывается, недостаточно называться высоким начальником – надо ещё уметь не попадать каждый раз в центр очередного аврала, прорыва, ЧП. Наоборот, надо умело от них уворачиваться. Слава Богу, большинство моих соратников этим качеством не обладали и первыми лезли в любое пекло.

Когда около полудня мне сообщили о землетрясении в Армении, я немедленно связался с Ереваном и их Совмином, спросил подробности. Мне толком не смогли ответить. Твердили только, что очень большое несчастье и ничего пока не известно – связи нет. В район бедствия улетели Арутюнян и Щербина, как только вернутся – сразу свяжутся с Вами. Сурен Гургенович Арутюнян был тогда первым секретарем ЦК компартии Армении. Знание ритуалов подсказывало, что несчастье и впрямь большое: на рядовое ЧП первое лицо республики, да ещё с зампредом Совмина страны, не вылетают. Усадили к телефону дежурного – ждать связи с Арменией...

Что мне тогда подсказывало шестое, десятое, сто первое чувство? Если честно – ничего не подсказывало. Землетрясение – это не взрыв реактора на АЭС (ничего более страшного я теперь представить себе не мог). Землетрясения в нашей большой стране по несколько раз в году случаются – то сильнее, то слабее. И фраза про “очень большое несчастье” могла быть всего лишь “фигурой речи”. Так подсознательно и хотелось думать...

Около 17 часов дежурный позвал к ВЧ-связи. Звонили Арутюнян и Щербина. По голосам я понял, что они не просто устали от полёта в район беды, – они были убиты, раздавлены. Говорил Борис Евдокимович:

– Там тысячи мёртвых! Тысячи жертв!!! – Голос его срывался, как будто он едва удерживался от слёз. – Спитак разрушен полностью. Ничего не осталось! Ленинакан тоже, почти весь... почти... а ещё Степанаван, Кировакан... беда, Николай Иванович, такой беды и представить нельзя...

Щербина всегда был человеком спокойным, сдержанным, всегда умел гасить эмоции. А тут...

Я и вправду ничего не мог представить толком. Щербина с Арутюняном в тот день всего лишь облетели район бедствия на вертолёте и были потрясены до глубины души. А я за всю жизнь не сталкивался вживую ни с каким землетрясением, лишь читал о них и фотографии видел. Умозрительное представление обычно не очень близко к реальности. Но даже такое представление после этого звонка заставило меня действовать без колебаний.

Во-первых, я сразу решил лететь в Армению сам. Во-вторых, связался с министром здравоохранения Евгением Ивановичем Чазовым – даже не стал его приглашать в Кремль, некогда было. И уже вечером он вместе с первыми бригадами медиков вылетел в Ленинакан.

Лететь было страшновато: никто точно не знал, что с тамошней взлетно-посадочной полосой. К счастью, она пострадала не очень сильно, её довольно быстро залатали, и медики тут же раскинули свои палатки. Уже в ночь на восьмое декабря начались первые операции. Впрочем, когда они прилетели в Армению, там уже были врачи из соседней Грузии – они прибыли самыми первыми.

Со мной в Армению собирались лететь Н. Н. Слюньков, Д. Т. Язов, мои заместители Ю. П. Баталин по строительству и Л. А. Воронин – по снабжению. Вылет назначили в ночь на 8-е, а до этого следовало позвонить в Нью-Йорк Горбачёву. Я связался с Нью-Йорком через спутник около 19 часов, там было ещё утро. Телефонистки соединили меня с “ЗИЛом” Генерального, трубку поднял руководитель его охраны. Извинился:

– Не могу соединить с Михаилом Сергеевичем. Он только что прошёл в здание ООН. Через несколько минут выступление.

Не везёт! Я и не собирался ни о чём с ним советоваться, переваливать на его плечи какие-нибудь решения. Всё было уже продумано, но я считал: Генеральный секретарь должен как можно скорее узнать о том, что произошло в стране. Узнать и наметить свою линию поведения.

– Как только освободится, – сказал я руководителю охраны, – пусть сразу со мной свяжется. Без-от-ла-га-тель-но!

Охранники – люди вымуштрованные: ни о чём начальство не спрашивают, но тон отлично понимают.

Выступление Горбачёва транслировалось по телевидению в прямом эфире, но я не смотрел – не до того было. Звонки чередой, люди... Поручил секретарям внимательно следить за телепередачей и предупредить меня о её окончании. Горбачев позвонил минут через пятнадцать после своего выступления, по дороге на встречу с Бушем и Рейганом, из машины и позвонил. Выслушал меня и сказал, что там, в Нью-Йорке прошёл какой-то неопределённый слух о сильном землетрясении на Кавказе, попросил держать с ним связь. Ни слова о возвращении домой сказано не было. Визит продолжался, для прекращения его Горбачёв повода не увидел. Пока не увидел. Повторюсь: трудно увидеть беду умозрительно, тем более что ни Америка, ни остальной мир ещё не услышали громовых раскатов спитакского землетрясения.

Да и мы в Москве всё ещё не представляли себе гигантских размеров трагедии. Хотя Баталин уже прикидывал, откуда и какие можно перебросить в Армению строительные мощности. Язов готов был подключить к оперативной работе войска – если что. Воронин уже готовил к переброске в республику палатки, продовольствие, медикаменты, не ведая, сколько всего потребуется в действительности.

Я встретился с С. А. Шалаевым, лидером профсоюзов, попросил:

– Освободите свои санатории, дома отдыха, пансионаты. Начнём вывозить из Армении женщин и детей, им надо где-то жить, а детям учиться...

– Освободить не вопрос, – ответил Степан Алексеевич. – Вопрос в том, на сколько беженцев рассчитывать?

– Не знаю, – честно ответил я, – думаю, что счёт пойдёт на тысячи...

Опять забегаю вперёд, скажу, что я в принципе не ошибся: счёт и вправду пошёл на тысячи, да только таких тысяч ни я, ни Шалаев и представить не могли. К Новому году в санаториях и домах отдыха за пределами Армении жили более 60 тысяч беженцев. Как жили? Слово “хорошо” здесь, увы, не подходит: хорошо было дома, когда был дом. Есть такой околоремейский термин “нормально”. Вот нормально они и жили. Великое спасибо за это профсоюзам!

Глубокой ночью вернулся домой. В прихожей – упакованный чемодан. Два часа сна – забытья... и на аэродром! Думал – на несколько дней, а вышло...

В восемь утра мы прилетели в Ереван. Накоротке собрались в здании ЦК партии (там наш штаб потом и обосновался, как в Чернобыле – в райкоме). С ходу выслушали более или менее подробные сведения о масштабах бедствия: десятибалльное (!) землетрясение ударило по территории, на которой жили 700 тысяч человек. Разрушено четыре города. Один сметён с лица земли полностью. О сельских районах пока ничего не известно, туда за ночь не добрались...

Приняли самые первые решения. Язов предложил “если что” срочно объявить мобилизацию шести законсервированных полков войск гражданской обороны. Без техники ничего нельзя было сделать. Воронин срочно сел в армянский Госснаб – руководить снабжением на месте.

В зоне бедствия оказались 130 заводов, напрямую вызвать в зону министров – пусть сами оценивают масштабы разрушений и берут на себя работу по их ликвидации.

Всё это было решено в считанные минуты. Заседать времени не было. Я спросил:

– Ничего не забыли? Тогда в аэропорт. Летим в Ленинкан.

Кто-то спросил на ходу:

– Вам в Ленинкане “Чайку” или “Волгу”, Николай Иванович?

– Какую “Чайку”?! Вы ещё кортеж организуйте с мотоциклами! Автобус нужен, побольше и помощнее.

Поняли меня правильно: в Ленинанканском аэропорту нас ждал красный “Икарус”. На нём я и ездил всё время пребывания в израненной Армении. Вернее, на одном ездил в Ленинанкане, другие были в Ереване и Спитаке. Их сразу узнавали гаишники, водители, пешеходы. И проходимыми они оказались, что твой вездеход, несмотря на размеры и внешнюю неповоротливость. Через страшнейшие завалы и колдобины перебирались. Но тут не только технику, но и водителей надо благодарить — они оказались мастерами высшего класса.

Дорога из Ленинанканского аэропорта в город была забита еле ползущими легковушками, грузовиками, автобусами, автокранами. В первые же часы правительство республики, объявив о землетрясении и увидев масштабы трагедии, попросило граждан помочь вывезти из зоны бедствия раненых, женщин и детей. В тот день мне показалось, что вся Армения откликнулась на этот призыв, все, кто имел возможность сесть за руль своей или казённой автомашины.

Потом кое-кто упрекал руководство Армении, что, мол, зря устроили панику, взбудоражили людей, зря сорвали их из дому. Утверждаю: никакой паники не было. Может быть, я и преувеличиваю, но ведь именно в первый день и ночь, когда ещё не подошла техника из других республик, армянские водители-добровольцы вывезли из зоны бедствия тысячи людей. Но, правда, в город мы добивались очень долго. Если первые здания на въезде показались мне выстоявшими, даже на вид вполне целыми, то сразу за ними начинались руины.

Дома старой, особенно дореволюционной постройки, развалились на части: две стены рухнули, две стоят. Порой и перекрытия между ними сохранились. Вот чья-то семейная кровать выставила на свет божий свои никелированные шары. Вот полочется на ветру тюлевая занавеска на одиноко торчащей в стене оконной раме...

А современные блочные дома складывались в аккуратные кучки, как костяшки домино, накрыв собой всё живое, что было внутри. Всё это на первый, беглый, мятущийся взгляд. Глаз не успевал остановиться на чём-то одном. Взбудораженное сознание не могло зафиксировать целое, всё выступало по частям, как страшная чёрно-белая мозаика.

Улицы, вернее, то, что от них осталось, завалены обломками разрушенных зданий. Машины и люди кричат, лезут, наползают друг на друга.

Еле-еле добрались до площади перед большим универсамом. Вместо него — гора бетона, искорёженного металла.

— Это не езда, — сказал я, — оставим здесь автобус и пойдём пешком...

Едва вышли на площадь, нас обступили люди. Казалось, их сотни и сотни — рыдающих, кричащих, убитых горем. Вероятно, кто-то узнал меня. Иной раз мои фотографии появлялись в газетах, хотя время телевизионных депутатских шоу, на которых мне не раз приходилось выдерживать атаки народных избранников, ещё не настало. А может, своё, местное начальство узнавали. Наваливались на нас, хватали за одежду, кричали.

— Вы собираетесь что-нибудь делать? Где вертолёт?! Где краны?!

Четверо из моей команды пытались прикрыть меня от толпы.

Я тихо сказал им:

— Спокойно, ребята, не надо меня ни от кого спасать.

И в это время какой-то залётный, неведь откуда вынырнувший кинооператор вскинул камеру и застрекотал, фиксируя “исторический момент”.

— Сволочи! — вылетело из толпы. — Им наплевать на нас! Они сюда кино снимать приехали!

Люди в толпе находились в состоянии предельного отчаяния. Любого, даже крохотного повода хватало бы, чтобы грянул взрыв. Не понять их невозможно: беда, горе моментально ломают существующие в человеческом общежитии нормы и нравственные барьеры. Поведение людей становится непредсказуемым. Мои охранники бросились спасать несчастного репортера, прикрывая его от ударов, сыпавшихся со всех сторон, выводить его из толпы. Я, взобравшись на обломок бетонной плиты с торчащими прутьями арматуры, громко, предельно понятно и медленно начал рассказывать людям обо всём, что уже делалось в Армении и предстояло сделать в ближайшие часы.

Корреспондента увели сравнительно целым, люди помаленьку притихли, начали слушать. В минуты беды так необходимо утешительное слово, тем более если оно не просто сказано, а делом подкреплено. Задавали вопросы, ещё по инерции агрессивно, и главный вопрос был: почему нет вертолётов?

Отвлекаясь от хода событий, скажу, что в первые часы и дни после землетрясения превалировало мнение, что будто именно вертолёты способны быстро растащить завалы и вызволить из-под них людей. Даже не будучи специалистом по вертолётам, я знал точно, что они здесь ничем не помогут. Но говорить об этом людям, которые поражены оглушающим горем, невозможно. Днём позже пригнали в Ленинакан тяжёлые милевские машины. Они пылили безжалостно, создавая над завалами настоящую пылевую бурю. Ничего не было видно, да и никакой серьёзный завал они растащить не могли. Обрушенные блоки цеплялись друг за друга арматурой. Вертолёты в любую секунду могли упасть и разбиться. Впрочем, не пригодившись для разборки завалов, вертолёты оченьгодились для эвакуации людей, особенно раненых. Не зря их вызвали.

Идти по городу было до жути страшно и больно. Из-под развалин слышны были крики похороненных заживо жителей Ленинакана. Родные, волею случая оказавшиеся вне дома, вне учреждений, вне магазина, вообще вне здания, раздирая в кровь руки, пытались пробиться к ним. Тоже криком кричали, бросаясь к нам, то ли с просьбой, то ли с угрозой: “Помогите же!” А что мы в эти минуты могли сделать? Только вновь и вновь успокаивать, обещая: подождите немного, помощь близка.

Как невыносимо тяжело чувствовать себя беспомощным и слабым! Как ненавидишь себя за бессилие сегодня, сейчас, даже если знаешь, что завтра, послезавтра, послепослезавтра придёт сила! Как барабанно пуста власть, если она не может отвести беду мгновенно! Честное слово, в такие моменты я бесконечно сожалел, что я — всего лишь обыкновенный премьер-министр многострадальной страны, а не всеильный волшебник с чудесной аладдиновой лампой под мышкой.

И всё же именно власть предсовмина страны, реальная власть, а не сказочное могущество джинна, вселяла ощущение, что мы можем многое успеть. Я шёл по разрушенному Ленинакану, слушал и не слышал чьи-то слова, быть может, и важные в принципе, но совсем не важные в тот миг. Кругом рыдания и стоны. В чьи глаза ни помотришь — в них полно слёз. Да и у меня в горле комок стоял...

Ещё ни я, ни вообще кто-то в нашей стране не делил людей в горе на “своих” и “чужих”, “наших” и “не наших”. Ещё Советский Союз был единой державой, что и позволило мне тем же днём сказать в интервью телевизионной программе “Время”, что если мы хотим помочь Армении, если мы хотим спасти как можно больше людей — а это было первоочередной задачей! — то принять в этом участие должны все республики, весь Союз.

Прямо с забитой до предела площади в Кировакане я обратился к гражданам страны. Надо прямо сейчас, не дожидаясь никаких команд, самим трудовым коллективам готовить технику — автомобили, бульдозеры, большегрузные автокраны, сварочные аппараты и, главное, людей, которые будут управлять этой техникой, грузить всё на железнодорожные платформы для немедленной отправки в Армению. Ночью мы сообщим всем адреса отгрузки.

Это мое обращение вышло в эфир 8-го. Оно возымело действие, так как уже утром 9-го мы знали — телефонная связь с Ереваном работала безотказно, — где сколько техники подготовлено для отправки в зону бедствия. А до этого мы пребывали в абсолютно разрушенном Спитаке, в городе, который через 20 секунд после первого подземного удара исчез с лица земли, превратился в горы развалин. Здесь чётко руководил работами мужественный человек — Норик Григорьевич Мурадян. Глаза у него были красные, воспалённые. Стихия унесла 11 его родственников! Кстати, он был избран первым секретарём райкома партии за... 15 минут до землетрясения.

Из Ленинакана в Спитак, расположенные друг от друга в 30–40 километрах, мы пробивались на своём “Икарусе” несколько часов. Здесь был эпицентр землетрясения. Дорога вздыбилась, гигантские зияющие трещины, как змеи, извивались по земле, казалось, горы сошлись друг с другом. На дороге лежали многотонные валуны, сброшенные стихией с вершин. Железнодорожные рельсы были скручены в огромные спирали. Вагоны шедшего по ним состава лежали вверх колёсами, тепловозы валялись на боку...

Автобус застревает среди завалов — и все мы толкаем его плечами. Пролёты моста, сошедшие со своих опор, держатся на честном слове. Приходится идти пешком — если уж погибать, то одному нашему водителю-смертнику. А впе-

реди, как разведчик, всё время шёл самосвал, в кузове которого на каких-то подстилках лежали два человека, забинтованные буквально с ног до головы.

Сколько же я узнал тогда незаметных, нешумных, беспредельно самоотверженных людей! В те дни никто не думал о наградах и поощрениях. До этого ли было? Всё кругом стонало – люди, душа, природа.

Спустя несколько месяцев я попросил как-то отметить своих помощников, но замотали и это. Хотя, как мне стало известно потом, охрана Горбачёва за два дня своего пребывания в Армении получила досрочные воинские звания. Купил я десяток карманных часов, попросил выгравировать: “В благодарность за Армению – Н. Рыжков”. И вручил своим ребятам, верой и правдой служившим вместе со мной, преодолевая армянскую трагедию.

Мы успели дотемна посетить Кировакан и вернуться в Ереван, где сразу, с колёс, подвели итоги увиденного и наметили основные направления работы. Первое, как уже было сказано, – это расчистка завалов и спасение людей. Второе – медицинская помощь раненым. Третье – создание хотя бы элементарных условий для жизни, установка палаток, строительных вагончиков. Четвёртое – эвакуация женщин и детей. Пятое – обеспечение оставшихся в зоне питанием, водой, тёплой одеждой (зима на дворе, люди остались на улице практически без ничего). Опять-таки забегая вперёд по времени, скажу, что до 5 января все жители городов зоны бедствия обеспечивались бесплатным питанием.

Вечером же 8-го из Нью-Йорка позвонил Горбачёв. Я ему рассказал обо всём увиденном, сообщил, что решил остаться в Армении до того, как будет налажена чёткая работа по спасению людей. В то время он уже не очень-то советовался со мной. А тут вдруг спросил:

– Как думаешь, ехать мне на Кубу и в Англию или вернуться домой?

– Вернуться, – ответил я, не задумываясь, – И как можно скорее. Вам следует прилететь сюда, в Армению.

Если честно, мой совет был нужен ему для проформы: он, пожалуй, и сам понимал, что оставаться вне страны в эти тяжелейшие дни её руководитель не имеет права. В тот же день он официально прервал визит, и следующий его звонок ко мне состоялся уже с борта самолёта утром 9-го.

Он появился в Армении утром 10-го, это была суббота. Прибыл вместе с женой, которая всегда и повсюду сопровождала его.

Накануне он позвонил из Москвы и поинтересовался, куда лучше лететь. Я ответил:

– Летите прямо в Ленинакан. Мы вас встретим.

Через несколько минут после нашего с ним разговора позвонил генерал Плеханов, начальник 9-го, “охранного” управления КГБ, и спросил:

– Николай Иванович, как в Ленинакане со взлётно-посадочной полосой? Выдержит тяжёлый самолёт?

– Выдержит, – удивлённо подтвердил я. – А вы что, танки везти собираетесь?

– Почему танки? – не понял моей мрачной шутки Плеханов, – В самолёте “ЗИЛы” для Михаила Сергеевича и его сопровождения.

Тут я взорвался, каюсь. И заорал:

– Какие “ЗИЛы”? Не порите чушь! Здесь беда, океан горя! А вы тут на “членовозах” разъезжать собрались? Что люди скажут – подумали? Не-ет! Горбачёв со мной ездить будет. На “Икарусе”. И сопровождение тоже – места всем хватит, автобус большой. Ясно?

– Ясно, – коротко ответил Плеханов.

Наутро в Ереван прибыл самолёт с Генеральным, его женой – и... роскошным сияющим “ЗИЛом”. Конечно, Горбачёв не стал на нём ездить, передвигались они на моём “персональном” автобусе, а тот “ЗИЛ”, как мне помнится, так в Армении и остался. На память от Генерального секретаря.

Вспомнил я об этом курьёзном факте вовсе не для того, чтобы кинуть лишний камень в сторону службы безопасности. Вспомнил только потому, что и в дни всеобщей беды находились люди, которые думали не о том, как облегчить боль пострадавших, обогреть и накормить раненых, голодных, замёрзших. Они смотрели на мир и страну как бы со своего шестка – будь он ведомственный или эгоистично-национальный. Ведь именно в короткое пребывание Горбачёва на армянской земле я не раз слышал обращённый к нему вопрос: “Как вы собираетесь решать проблему Нагорного Карабаха?”

Действительно, национальные проблемы к 1988 году уже были болезненно обнажены и, в первую очередь, в Армении. Но в те тяжёлые дни мне казалось, что именно общая беда сплотит враждующие стороны, остановит – пусть хотя бы на время – конфликт, начавший уже не тлеть, а пылать. Увы, но кое-кому было выгодно раздувать этот конфликт и в дни всенародного горя. Кто-то умудрялся не пропускать через армянскую границу машины с азербайджанскими номерами, кому-то было выгодно блокировать на земле Азербайджана железнодорожные перевозки в Армению.

Я не пытаюсь определить, кто был прав, а кто виноват в карабахском конфликте. Обе стороны, безусловно, имели свои резоны. Хочу лишь напомнить, что во все времена во всех концах земли горе сближало людей. Если не наступал мир, то хотя бы перемирие. Здесь же беду использовали, чтобы стало больнее. Кому это было выгодно?

Может быть, мой небольшой рассказ об Армении сбивчив, но плавно не получается. На меня здесь дают сразу два страшных груза. Мучительный груз увиденного и пережитого за декабрьские и январские недели моего пребывания в республике. Второй груз – давняя уже трагедия Армении, карабахский конфликт, который не утихает уже много лет и которому до сих пор не видно конца.

А ведь казалось, что беда, обрушившаяся на Армению, сможет как-то примирить... и начало было обнадеживающим. Техника для спасательных работ шла нескончаемым потоком, в том числе из Азербайджана, хотя “ход” её, как я уже говорил, был непростым. Все плановые поставки строительной техники с соответствующих заводов отменили и перенацелили на Армению. Железнодорожники почти втрое (!) увеличили скорость движения грузов с 300 километров в сутки до 800. Днём и ночью за этим следил сам министр путей сообщения Николай Семенович Конарев. Но и этого было мало. Приняли решение перебрасывать технику и по воздуху. Тут пришли на помощь военно-транспортная авиация и “Аэрофлот”. Мы проводили короткие “летучки” штаба в Ереване дважды в день – утром и вечером.

Я каждый день вёл в блокноте нечто вроде конспективного дневника. Вот запись от 10 декабря: “Два часа ночи. В Ереване село 12 бортов. 12 уже в воздухе. Ещё 6 на подходе”. В Ереванском аэропорту и Ленинкане можно было, задрав голову, ежеминутно считать самолёты, чуть ли не гуськом летящие по малому и большому кругам ожидания. И садились они один за другим. На разгрузку борта давали всего 10 минут! Через пару лет я случайно встретился с одним из лётчиков, который был в той “карусели”. Он мне рассказал, что они испытывали в воздухе и видели на земле. По его словам, это больше всего напоминало рассказы его старших товарищей о том, как летали на войне.

Конечно, чего скрывать, было трудно, случались и аварии. Иначе и быть не могло в ходе того ежеминутного, ежесекундного аврала, и нужно только благодарить тех асов и профессионалов, мастерство которых помогло свести трагедию к минимуму. Перед глазами у меня ужасная картина: на многие сотни метров разбросанные обломки самолётов – югославского и советского. Наш шёл из Баку с техникой и резервистами на борту. Все погибли: и наши, и югославы. Надеюсь, что власти Армении установили на месте гибели этих людей памятник, ведь они спешили на помощь их народу.

Посадочная полоса работала непрерывно. Диспетчеров не хватало, да и погодные условия не радовали. К тому же тут горы, а в горах всегда трудно. Ну, и аврал, как известно, не способствует порядку в воздухе.

Республиканское руководство в первые часы беды позвало на помощь всех, кто мог помочь вывозу пострадавших. Но уже через несколько дней эти действительно беззаветные и самоотверженные добровольцы начали сильно мешать планомерной работе. Дороги и улицы были так забиты машинами, что “скорые помощи” часами продирались к раненым. Если применить медицинский термин, то положение на дорогах Армении начало напоминать тяжёлый тромбоз. Надо было вводить чрезвычайное положение...

Решили взять в кольцо два разрушенных города. Десантными войсками перекрыть въезды в них, поставить заставы из танков и БТР. Все посторонние автомобили вывести из этих городов и разместить их на импровизированных стоянках, как говорится, в чистом поле. Утром 10-го города были взяты в кольцо, а на стоянках возле застав замерло более 50 тысяч машин. Я обратил тогда внимание на чёткость выполнения указаний министра обороны

Д. Т. Язова и И. Н. Родионова. Да, это был тот самый генерал, которого через полгода затапывали на Съезде за тбилисские события.

Вспоминаю о первых днях, когда тех же автокранов было мало, как пальцев на руке, и настоящая битва шла за каждый такой механизм. Люди дневали и ночевали на развалинах своих домов, там, где стихией были похоронены их родные, и всякий старался получить кран именно на свои развалины. Разве этих людей нельзя понять? Но когда техника пошла потоком, то драки за неё закончились. Тем более что ждать и надеяться люди могли, как потом выяснилось, 12 дней и ночей. Именно через такое время из-под развалин был спасён последний живой человек – подросток.

Но об этом мы узнали позже, да и невозможно отнять у людей веру в чудо.

Если говорить об итогах, то всего из-под завалов спасатели – профессионалы и непрофессионалы – извлекли 40 тысяч человек, из них 16 тысяч живыми.

Профессионалов, к несчастью, было мало. Своих – вообще считанные единицы. Службы спасения людей в экстремальных условиях у нас тогда ещё не существовало, только горноспасатели. Мы были поражены, когда увидели оборудование профессионалов, прибывших из-за рубежа. Казалось, что только в фантастических романах существуют приспособления и приборы, которые сквозь толщу завалов чувствуют тепло человеческого тела, слышат стук сердца и дыхание. Они привезли собак, умеющих чутя людей под развалинами, – у нас такого тогда не было. Только потом в разных городах появились группы энтузиастов, самостоятельно тренирующихся спасать людей. Осенью 1991 года в Санкт-Петербурге на песчаной горе Парнас Шуваловского парка засыпало двух подростков. Двое суток спасатели выгребали песок, используя ведра, корыто и штыковые лопаты с обломанными черенками. Одного ребёнка спасли, второй так и погиб под тяжестью песка.

Питерская мэрия иметь дело с этой чрезвычайной ситуацией не желала, а мэр Собчак на пресс-конференции жёстко заявил, что “спасать детей – не дело мэрии”. Напоминаю, он не был в Армении, не видел сотен детей, извлечённых спасателями из-под руин, детей переломанными и оторванными руками и ногами, детей полузадохнувшихся, изуродованных, искалеченных, погибших. У мэра Собчака были совсем другие дела, но если бы в Шуваловском парке в результате какого-то невероятного стечения обстоятельств оказалась, к примеру, Маргарет Тэтчер, она бы, я думаю, сама, голыми руками, принялась откапывать этих подростков.

Когда случилась беда в Чернобыле, руководители многих держав, как я уже говорил, никакой моральной поддержки, а тем более реальной помощи нам не оказали. В Армению же прилетели самолёты с продовольствием, палатками, одеждой, медицинским оборудованием и лекарствами, с добровольцами-врачами и спасателями из 67 государств мира, включая Израиль, с которым у нас тогда не существовало никаких отношений, даже неофициальных.

Беда Армении стала бедой не только всей страны, но и всего мира. Я дал указание Министерству иностранных дел: никаких ограничений на прибытие в Армению любых специалистов и любых грузов не вводить. К сожалению, МИД слишком запоздало отреагировал на события, даже переводчиков в Армению прислал не сразу. Объяснялись с прилетевшими иностранцами чуть ли не на пальцах. Позже Шеварднадзе раздражённо и обиженно говорил мне по телефону: почему не предупредил, не объяснил, что необходима активизация его службы? Я спросил: а разве тех добровольцев из-за рубежа, что прибыли в республику, кто-нибудь предупреждал, объяснял им, что необходимо делать?

Первыми – на следующий же день – прибыли спасатели из Франции, которые привезли одежду и медикаменты. Только за сутки работы они извлекли из-под развалин более 60 человек. Затем прибыли специалисты из Австралии, Италии, Америки, Германии. В те дни я встретился со всемирно известной, мужественной, хрупкой женщиной – матерью Терезой. После нашего разговора я склонился перед ней, и она деловито перекрестила меня, благословив.

Ещё мне очень дорога благодарность пожилой армянской женщины из глухого горного села, где однажды приземлился наш вертолёт. Она сказала просто: “Пусть твои болезни перейдут ко мне!” – и тоже перекрестила меня. Как я потом узнал, это высшая форма уважения к человеку у народа Армении.

Горжусь по сей день и благословением ныне покойного католикоса всех армян Вазгена I, с которым тоже встретился и беседовал на земле Армении. Помню его слова, обращённые в тот день к народу: “После молитвы и траура

обратим наши лица к поражённому горем народу и к нашим разрушенным городам со скорбью в сердце, но без отчаяния, не чувствуя себя побеждёнными. Со светлой верой, несокрушимым духом, могучими руками стойко примем нашу судьбу, мужественно перенесём любые испытания. . . ”

Как одну из самых добрых реликвий и поныне храню послание этого ушедшего от нас замечательного человека, выдающегося церковного и общественного деятеля: “Из далёкой Армении и святого Эчмиадзина мы рады принести Вам наши тёплые приветствия и добрые пожелания в связи с Вашим 60-летием. Мы и весь армянский народ не забыли и не забудем Вашу отзывчивость и доброе отношение после бедственного землетрясения, когда в течение многих дней, днём и ночью, сочувствуя нашему горю, Вы проявляли большую заботу к израненному населению. Наш народ, проживающий как на территории Советского Союза, так и за рубежом, благодарен Вам. . . ”

Я всегда был уверен, что интернационализм – не абстрактное понятие, придуманное Лениным, а живое, дышащее, мощное явление. И я ещё раз убедился в этом, когда люди всего мира – вне зависимости от возраста, пола, цвета кожи, благосостояния – чем-то, пусть самой малостью, старались помочь армянскому народу.

Когда я вернулся в Москву, мой, тогда пятилетний, внук Коля с гордостью сообщил мне:

– Дедушка, я тебя по телевизору смотрел, слушал и всё-всё видел. А потом копилку разбил и послал деньги в Армению.

Я знал, что он целый год складывал в кошку-копилку монетки: собирал на велосипед. . . ”

* * *

Не один только мудрый католикос, но и весь народ Армении был благодарен Рыжкову за помощь в беде. В Спитаке ему поставили памятник, в Гюмри (бывшем Ленинакане) и других городах его именем названы улицы. В 2008 году он стал единственным неармянином, получившим высокое звание **Национального героя Республики Армения**. И дело не в особой привязанности Николая Ивановича к этой стране, хотя пережитая вместе трагедия, конечно же, сблизила их. Без всякого сомнения, случись подобное в любом другом уголке нашей многонациональной страны, он с той же готовностью устремился бы на помощь. И не только он: многие помнят, как буквально всем миром восстанавливались разрушенные стихией Ташкент и Ашхабад, как москвичи (в том числе автор этой книги) массово сдавали кровь для жертв Спитакского землетрясения. Воспоминания Рыжкова – яркий пример этого истинного, непоказного интернационализма, почти забытого в наше время, поэтому так важно донести их до современного читателя.

Многие соратники Николая Ивановича, как и он, участвовали в борьбе с последствиями обеих катастроф – черныбыльской и армянской. Хочется привести свидетельство одного из них – бывшего заместителя Председателя Совета министров СССР, ныне члена Совета Федерации РФ Владимира Кузьмича Гусева:

“Встретились мы с Николаем Ивановичем впервые, когда меня из Саратова в Москву перевели работать, а настоящее близкое знакомство произошло, когда меня перевели в Совет Министров СССР. Почти двадцать лет мы знаем друг друга и большую часть этого времени работали вместе. Жизнь эта была интересная, мощная, масштабная. Работали буквально день и ночь, и вовсе не потому, что хотели показать себя перед начальством. Нет – мы эту работу любили. Она совершенно нас поглощала, и потому ни о какой усталости никто и не думал, хотя поспать удавалось редко когда больше четырёх-пяти часов, но никто не жаловался. Мы спешили в свой кабинет, к своему столу. Работа была самым интересным, увлекательным и ответственным делом нашей жизни.

Бывали и опасные, даже страшные моменты. Для меня это, прежде всего, Чернобыль. Я пробыл там с 26 июня по 26 июля непрерывно. Вот там я понял, что такое смертельная усталость, непонятная совершенно, такая, какой я больше никогда в жизни не испытывал. Это было воздействие радиоактивного излучения. Там мы все поняли, что такое радиация и как она буквально разрушает человека, высасывает из него все силы до последней капли.

Мы, заместители Председателя Совета Министров СССР, являлись председателями Чернобыльской комиссии, и первым был Щербина Борис Евдокимович, покойный уже. Думаю, что Чернобыль существенно сократил ему жизнь. И, скорее всего, намного. А ведь заместитель – главный был человек в районе катастрофы. Он, зачастую на свой страх и риск (случалось так, что и посоветоваться было некогда), принимал очень ответственные оперативные решения, а для этого ему нужно было всё самому видеть и знать. Мы сменяли друг друга во главе этой комиссии. Вторым был Силаев, третьим – Маслюков, четвёртым – я. С меня начали по месяцу там находиться. Каждый день с утра соединялись с Николаем Ивановичем, отчитывались за прошедший день. Он ведь был ответственным на высшем уровне – возглавлял комиссию Политбюро по аварии на Чернобыльской атомной станции.

Этот месяц в Чернобыле – страшное время. Никому такого не пожелаю. Всё происходило на наших глазах. Убিরали разбросанные взрывом рабочие стержни, рыли тоннель под разрушенным реактором, сбрасывали с вертолётов свинец, чтобы прекратить радиоактивный пожар, строили дамбы вокруг каждого ручейка, когда поняли, что радиоактивная вода может попасть в большие реки, откуда берут воду целые города. И нам удалось это сделать, мы не дали радиации распространиться дальше, а иначе была бы очень серьёзная беда. Много ещё можно рассказать, и всё прошедшее стоит у меня перед глазами.

Это была совсем другая жизнь, совершенно не похожая на обычную, и если ты так или иначе какие-то правила нарушал, расплатой был не какой-то штраф или выговор, а скорая смерть.

Это адов огонь!

А вот в Армении, во время страшнейшего землетрясения, Николай Иванович был на спасательных работах сам. Создавать комиссии было некогда, и он оказался в Спитаке буквально через какие-то часы после удара стихии. И оставался там весь острейший период, до тех пор, пока не удалось исправить положение. В это страшное время он проявлял себя как человек деловой, организованный, бесстрашный и в то же время душевный и понятный всем, попавшим в беду. Он умел быть близким людям, которые находились в таком безнадёжном, беспросветном горе, умел найти для них такие слова, что они начинали верить в то, что жизнь их не кончена, что беду необходимо и возможно исправить и за это нужно бороться.

Я был в Армении после него, когда многое было уже сделано, и жизнь помаленьку входила в русло. Но там по-прежнему было огромное количество разрушений. Большинство заводов и предприятий лежали в руинах. Огромные предприятия, в том числе и химические...

Николай Иванович показал себя там как истинный народный герой. Да иначе и не могло быть. Он ведь и на самом деле вышел из народа, из простой шахтёрской семьи, которая зарабатывала на жизнь тяжелейшим трудом, и потому он мог понять все их беды. Он с детства знал, что такое потеря близких – горе действительно громаднейшее.

То, как он вёл себя и как работал в Армении, с моей стороны и со стороны моих товарищей вызывает к нему огромное уважение. Он вёл себя как настоящий мужчина и **сделал всё, что мог, для того чтобы помочь и хоть как-то облегчить горе тяжело раненному братскому народу.**

Это было косыгинское правило (а Николай Иванович Косыгина очень уважал!): если хочешь сделать что-то важное, то необходимо приехать, увидеть и лично принять участие. Вот так, по-косыгински, он и поступал там, в Армении. И хотя они с Алексеем Николаевичем очень разные люди, но я бы назвал Рыжкова в каком-то смысле продолжателем дела А. Н. Косыгина. Дело даже не в том, что оба они были Председателями Совмина СССР, а в том, что оба были реформаторами, причём и тому, и другому намеченные реформы провести до конца не дали. Разные люди и по разным причинам, но не дали, и для обоих это была трагедия”.

Редакция публикует ещё один материал из серии описаний московского быта XIX — начала XX века, подготовленной историками В. Ругой и А. Кокоревым

ВЛАДИМИР РУГА, АНДРЕЙ КОКОРЕВ

БАРЫШНИ

Слово “барышня” в дореволюционной России служило для обращения к девочкам и девушкам из так называемых “достаточных классов”. В семьях дворянских, разночинной интеллигенции, лиц “свободных профессий” (адвокатов, архитекторов, художников и т. д.), а с конца XIX века — и в купеческих молодых девушек называли барышнями. Они росли под присмотром родителей либо в каком-нибудь учебном заведении и, получая образование, готовилась к самостоятельной жизни.

Основы знаний девочки получали в семье, а их первыми учителями, как правило, были мамы. Ребёнок, обладавший способностями, даже при таком простом обучении мог достичь значительных результатов. Мемуаристка Н. Я. Серпинская отмечала:

“К восьми годам я играла на рояле, писала без ошибок по-русски и по-французски, прочла тайком Золя, Мопассана, Толстого, Тургенева”.

Что же касается обучения девочек в различных учебных заведениях, то это зависело от социального положения родителей и их взглядов на женское образование. Так, для дворянок из аристократических семей в Москве с начала XIX века действовало Московское училище ордена св. Екатерины (Екатерининский институт благородных девиц). При нём было Мещанское отделение, преобразованное в 1892 году в Александровский институт для немущих дворян и разночинцев.

Это были заведения закрытого типа, то есть ученицы жили в стенах институтов и постоянно находились под присмотром классных дам. Поскольку институты были казёнными учреждениями, то воспитанницы жили в настоящих спартанских условиях. Для А. Н. Энгельгард годы учёбы были связаны с подлинными страданиями:

“Я росла (...) вечно голодная в самом буквальном физическом смысле этого слова. Я часто плакала от голода, *только от голода*, нестерпимого, больно рвущего все внутренности голода. Ощущения голодного человека мне вполне понятны. Я по целым годам никогда не была сыта, и от недостатка питания у меня, при моём железном организме, было самое хилое, самое чахлое детство. Я не росла все время, пока находилась в институте, и вечно была больна”.

В институтскую программу обучения входили русский и иностранные языки, история, география, музыка, танцы и рукоделие, но от барышень, в первую очередь, требовали демонстрации приличных манер. Характерные слова вложила А. А. Комарова в уста героини своего романа “Одна из многих”:

“Итак, я вышла из института с весьма малыми познаниями, но с очень большими претензиями. Я воображала себя совсем готовою преобразовать мир и вообще совершить что-либо великое, а между тем не сумела бы выучить грамоте ни одного ребёнка”.

Для “институток” самым оптимальным было скорое замужество, но для этого необходимо было либо иметь хорошее приданое, либо обладать родственными связями в высших сферах. При других вариантах девушка не могла рассчитывать на семейное счастье. Если никто из родственников не поддерживал её материально, то ей приходилось поступать в гувернантки или домашние учительницы.

Упомянутая нами героиня романа “Одна из многих” получала средства от государства: “... прибавилось около трехсот рублей папенькиного пенсионера, который выхлопотал мне один мой родственник и который мне выдали за десять лет институтской жизни; кроме того, ежегодно до совершеннолетия я должна была получать небольшую сумму из государственного казначейства”.

Не испытывая нужды, девушка всё своё время посвящала участию в домашних собраниях интеллигенции, где обсуждались вопросы переустройства общества. Однажды заседание кружка затянулось до глубокой ночи, и барышня согласилась переночевать в доме своего духовного учителя:

– Вы хотите спать? – спросил он меня.

– Нет, – отвечала я.

– Будемте читать лекции Фейербаха о сущности религии?

– Будемте.

Он пошёл в свой кабинет и принёс мелко исписанную тетрадку.

Началось чтение. Я понимала весьма плохо тяжёлый язык перевода. Вдруг С—ь положил рукопись на стол и, подвинувшись ко мне, обнял меня за талию. Я хотела оттолкнуть его, но стыд и любопытство превозмогли. Он начал ласкать и страстно целовать меня. Я сидела неподвижно, как мумия. В голове моей шумело, и я смутно понимала, что со мною делалось.

Чрез мгновение свеча упала и потухла... я громко вскрикнула...”

В романе “Одна из многих” показан новый для русского общества тип барышни, получивший наименование “нигилистка”. В этих девушках вызовом общественному вкусу было всё, начиная от внешнего вида – коротко стриженные волосы, нарочитая неряшливость в одежде – и заканчивая пренебрежением к правилам хорошего тона. В статье “Русская студентка” С. Сватиков описал отличительные черты девушек, отправившихся в трудный поход за знаниями:

“Самый внешний вид девушек, желавших учиться и работать, был не похож на обычную внешность “барышни”, предназначенной к выдаче замуж. Некогда было делать причёски, да ещё согласно меняющимся модам; нелепыми “мыслящей женщине” казались кринолины на обручах. Молодые девушки носили круглые шляпы – гарибальдийки, простые гладкие юбки, скромные кофточки. Некоторые курили, то ли во имя равенства с мужчиной, то ли готовясь к работе над трупами в анатомическом театре. Другие носили очки. И очки, и стриженные волосы, и костюм – всё это вызывало злопахательство реакции. Какой-то старец выпустил памфлет в стихах и укорял “нигилистку”:

*Ты обрезала чудную косу,
Косу, роскошь заветную, прочь...
И очки ты приставила к носу,
Как Мартышка Крылова точь-в-точь!..*

После покушения студента Каракозова на Александра II многие нигилисты попали под надзор правоохранительных органов. А Москве и Нижнем Новгороде полиция провела настоящую охоту на барышень экзотического вида. Их доставляли в полицейские части, где требовали дать подписку, что они будут одеваться по моде. Тем, кто отказывался, вручали “жёлтые билеты”, то есть записывали в профессиональные проститутки. Правда, высшее начальство довольно скоро отменило эту инициативу.

В действии полицейских был явный перегиб, но они исходили из определённой логики. По общему мнению, нигилистки отличались и вольностью в отношениях с мужчинами. В Москве таких барышень иронически называли “полудевственницами”.

В эту категорию после ночного изучения классической немецкой философии попала и героиня романа А. А. Комаровой, откровенно сообщавшая знакомым, что живёт в “гражданском браке”. В то время (60–90-е годы XIX века) это означало, что девица сожительствует с мужчиной без официального венчания

в церкви. Лёгкость, с которой образовывался любовный союз, имела обратную сторону: он столь же быстро распадался. Так и “одна из многих”, родив внебрачного ребёнка, была оставлена “мужем”, и ей пришлось перебраться в Санкт-Петербург. Там, в отличие от Москвы, существовали настоящие молодёжные коммуны, созданные в соответствии с идеями Н. Г. Чернышевского:

“Вежливое обращение с дамами почиталось первейшим признаком отсталости; мужчины наши были не только грубы, но до крайности циничны с нами. В нашем присутствии говорились такие вещи, от которых у всякой порядочной женщины волосы встали бы дыбом. О любви и о культе женщины не было и помина, всё сводилось на здоровое удовлетворение половой потребности. (...) Грязь и неопрятность возводились в принцип.

По вечерам в коммуне можно было видеть, например, такую картину: сидят вокруг пачки листов вновь полученной из типографии книги человек шесть-семь коммунистов и коммунисток и сообща занимаются охотой на голowego зверя... (...)

День в коммуне проходил больше в рассуждениях о труде, в приготовлениях к деятельности и т. п. Лежа на постели в одном белье, коммунисты распевали: “Слава честному труду!”

Барышни-“нигилистки” в силу своего своеобразного облика и вызывающего поведения встречали в обществе практически единодушное осуждение. Подлаживаясь под вкус публики, юмористы старательно высмеивали “стриженных девиц”. Вот, например, как в начале 70-х годов XIX века журнал “Будильник” поздравил их с праздником Пасхи:

*Не стриги своих кудряшек,
Не сиди в углу угрюмой,
Пой, танцуй, гуляй побольше,
О науках же не думай!
Книги — зло, в них много яду!
Ты ж летами невеличка,
Не тверда ещё в рассудке —
Это первое яичко.*

*Родилась ты не мужчиной,
Что ж, по-моему, отлично!
О правах мужских девице
Даже думать неприлично.
Тем же, кто о них мечтает,
Уж дана другая кличка...
Бойся, Надя, мненья света! —
Вот тебе ещё яичко.*

Однако отлучить барышень от книг и от образования уже не было никакой возможности. В эпоху реформ Александра II происходили необратимые изменения. Так, в 1862 году в Москве Ведомством учреждений императрицы Марии была открыта первая государственная женская гимназия. Со временем их стало семь. Обучение в женских гимназиях длилось семь лет. Ученицы, получившие высокие оценки, имели возможность окончить 8-й (педагогический) класс, что давало им право работать учительницами в начальных школах и городских училищах.

Кроме государственных, открывались частные женские гимназии. К началу XX века их насчитывалось около сорока. В некоторых из них программа преподавания соответствовала классическим мужским, что в принципе давало выпускницам право поступать в высшие учебные заведения. В других, как, например, в гимназии Потоцкой, где училась Анастасия Цветаева, была особая творческая атмосфера:

“Гимназия, куда я с третьего класса вступила, была первой моей русской школой. Мне не с чем было её сравнить. Как я жалею теперь, что по молодости не отдавала себе ясного отчёта о том месте, какое занимала либеральная гимназия Потоцкой среди московских средних учебных заведений, и не осознала всех её особенностей для моего будущего. Из класса в класс экзаменов у нас не было, отметок не ставили, чтобы не ради них, а ради знания учи-

лись учащиеся, отметки об успеваемости учителя делали у себя. На все эти нововведения начальство косилось, и выпускные экзамены в нашей гимназии происходили в присутствии представителей учебного округа, которые к выпускницам придирались. В гимназии Потоцкой была широко развита самодеятельность, каждый класс в содружестве с учителями устраивал вечера: один класс – вечер Древней Греции, другой – вечер Средневековья, третий – из эпохи Древнего Египта; пьесы для этих вечеров писали учителя, ученицы разыгрывали их. Ставились отрывки из Фонвизина, сцены из “Горя от ума”. Но, может быть, не только на выпускных экзаменах проявлялся недоброжелательный интерес свыше к оппозиционным настроениям нашей гимназии. Слишком резко порядки её и обычаи отличались от другого, правительственного типа гимназий”.

Затем сёстры Цветаевы вместе учились в частной гимназии Брюхоненко. Там были не столь либеральные порядки, как в гимназии Потоцкой, но отношение к барышням со стороны преподавателей всегда было доброжелательным. “Держала”, как тогда говорили, выпускные экзамены Анастасия без должной сосредоточенности:

“Я сдала географию на четвёрку! Позорно... Не успела перечесть весь раздел “Малороссия”, только один! Зато остальные знала отлично. Назубок выучила учебник, ходя взад-вперед между тополями и акациями двора. Ну, не она же мне непременно достанется! И досталась – она! Мне пришлось попросить разрешения переменить билет. Огорчённый учитель: “Вы – переменить билет? Но я же не смогу поставить вам пять...” Я блестяще ответила про Финляндию – и получила четыре.

(...)

По пути на экзамен по химии я выучила, на извозчике, сорок восемь формул, почти незнакомых. Из них меня спросили две: воду и серную кислоту”.

Столь легкомысленное отношение к экзаменам объясняется тем, что как раз в тот момент юная барышня влюбилась и всё свободное время проводила со своим поклонником.

Вообще же интерес к юношам у гимназисток старших классов проявлялся гораздо раньше. Н. Я. Серпинская вспоминала о своих одноклассниках, вступивших в тринадцатилетний возраст:

“В гимназии Ржевской в этот сезон все девочки явно разделились на два лагеря: “пустых” и “серьёзных”. “Пустые” продолжали завивать кончики кос и завязывать пышнее, как квадратные маки, банты, душиться, шептаться о гимназистах и кадетах, встречаемых на вечерах, или затевать флирты с “клеймановцами” из расположенной напротив мужской гимназии Клеймана.

“Пустые” составляли большинство. Нас, “серьёзных”, со смешками называли книжными крысами, карандашными огрызками, просто дурами”.

Но спустя два года юная Нина Серпинская совершила поступок, на который решилась бы далеко не каждая из “пустых”:

“Однажды, при нашем выходе из гимназии, какой-то паренёк всунул мне записку в ранец и пошёл дальше, как ни в чём не бывало.

В записке стояло: “Ниночка, на углу Садовой будет стоять “дутик” с поднятым верхом – не обращая на себя внимания, вскочите в него! Там буду я – всё объясню”.

По всем правилам опытной конспираторши, я болтала с подругами, постепенно незаметно отставая. Спряталась во двор и минут пять опять вышла, не рискуя натолкнуться на гимназисток. Сильные руки подняли меня в пролётку. Пахнущие коньяком губы прижались к щеке.

– Молодец, Ниночка. Понимаете, я скрываюсь, мне некуда деться, приходится ездить по отдельным кабинетам. Одному для полиции подозрительно, надо с дамой! А кто же, кроме вас, подходит, кому можно абсолютно довериться?”

“Дутик” – это легковая пролётка на пневматических шинах, а поджидал в ней девочку студент из числа революционеров-подпольщиков. Летом он жил на даче Серпинских в качестве репетитора. Чтобы добыть деньги на “святое дело освобождения рабочего класса”, он убил и ограбил богатую тётку Нины. Соучастницей преступления оказалась мать Серпинской. Она находилась под следствием, поэтому “борец за народное счастье” решил использовать дочь. И что характерно, девочка оказалась счастлива почувствовать себя по-настоящему взрослой:

“Ура!!! Я – “дама”! Я попаду в ресторан! Я чуть не захлопала в ладоши, забыв мрачные и тревожные мысли последнего времени.

– Иван Иванович, а как же фартук?

– Ну, пустяки: гимназистка, и всё. В общий зал нельзя, а в кабинет можно!”

Студент, видимо, хорошо знал нравы, царившие в развлекательных заведениях Москвы. Господа без помех приводили в отдельные кабинеты ресторанов и номера бань проституток, одевавшихся гимназистками, или, что вполне возможно, и настоящих гимназисток, подобных Нине. Действительно, в загородный ресторан столь заметная парочка попала без малейших препятствий:

“Мы ехали долго по Петровскому парку, очевидно, до “Стрельны”. Не раздевая, нас провели в большую комнату со стенными зеркалами, с бархатными диванами и накрытым столом, выходящую широким пролётом в общий зал; пальмы скрывали от нас людей, но я могла рассмотреть сцену, на которой розовыми брызгами вокруг розовых ног взметались юбки. (...)

От бокала вина всё показалось легко и просто. После ликёров сцена закачалась, как палуба парохода. Уехали мы, когда совсем рассвело. У меня к внутренней стороне чёрного фартука была приколота записка, которую надлежало совершенно “тайно” передать маме при её возвращении из Казани.

Прочтя записку, мама взволнованно покраснела: “Где ты её взяла?”

Припёртая к стене, я вынуждена была сознаться, тем более что молоденькая горничная Настя доложила барыне, что “без них барышня Нина ночью пропадали”.

– Негодяй, подлец, – забормотала мама. – За девочку принялся!”

Родители переживали напрасно: в ту ночь с юной гимназисткой ничего фатального не произошло. Зато примерно год спустя, когда мать приговорили к тюремному заключению, а отец умер, девушка, преобразившись, вошла мир московской богемы:

“Выглядела я, в огромной чёрной шляпе и чёрном костюме “директуар” – первом костюме, сшитом по своему вкусу, – элегантно зазывающей куртизанкой, совсем не похожей на девушку в коричневом платье за гимназической партой”.

Впрочем, такое поведение было из ряда вон выходящим, поскольку девушка оказалась предоставлена самой себе. Все её одноклассницы находились в полном подчинении родных и близких:

“Гимназические подруги, сами неопытные и незрелые, все состояли при родителях или старших”.

Наивность гимназисток старших классов в области отношений между мужчинами и женщинами – примета эпохи. Порой только случайный разговор позволял девушке узнать реальную сторону жизни. Вот весьма показательное свидетельство – записи из дневника “купеческой дочери” Е. А. Дьяконовой, сделанные ею в юности:

“Сегодня мне П-ская объяснила всё для меня непонятное, и я впервые в жизни узнала столько гадости и мерзости, что сама ужаснулась. Она мне объяснила смысл слов “изнасиловать”, “фиктивный брак”, “проституция”, “дом терпимости”... Это ужасно мерзко, отвратительно... Так вот в чём состоит любовь, так воспеваемая поэтами! Ведь после того, что я узнала, любовь – самое низкое чувство, если так его понимаю... Неужели Бог так устроил мир, что иначе не может продолжаться род человеческий...”

Моральное потрясение, испытанное выпускницей гимназии, оказалось очень сильным, но она, по крайней мере, получила хоть какое-то реальное представление о взрослой жизни. А вот её сестра, собираясь выйти замуж, пребывала в абсолютном неведении:

“Сестра сказала мне, что ей едва ли придётся поступить на курсы, потому что В. будет её мужем. Так как я была убеждена, что их брак будет на время фиктивным, то я с удивлением спросила её: “Почему ты так думаешь?” – “Это же видно из его письма: он пишет о поцелуях”... – “Ну, так что ж? Он хочет сделать тебя своею женою”, – спокойно заметила я. “Как? Да неужели же ты не знаешь, что это и есть настоящий брак? Разве ты не понимаешь, что если он будет меня целовать, то это и значит, что мы сделаемся настоящими мужем и женою”... Широко раскрыв глаза и не веря своим ушам, слушаю я Валю. 18-летняя девочка, читавшая все прелести Золя, Мопассана и других, им

подобных, “Крейцерову сонату”, горячо рассуждавшая о нравственности и уверявшая меня, что она уже давно “всё знает”, эта девушка, дав слово В., не знала... что такое брак! Иногда я заговаривала с ней по поводу читаемых романов, и моя сестрица всегда так горячо и авторитетно рассуждала, так свободно употребляла слова, относящиеся к самой сути дела, что мне и в голову не могла придти подобная мысль. И вдруг, случайно, почти накануне свадьбы, я узнаю от неё, что она ещё невинный младенец, что она... не понимает и не знает ничего! “Валя, послушай, ну, вот мы с тобой читали, иногда говорили об этом... Как же ты понимаешь?” — “Конечно, так, что они целуются... от этого рождаются дети, точно ты не знаешь”, — даже с досадой ответила сестра. Я улыбнулась. “Что же ты смеёшься? Разве есть ещё что-нибудь? Разве это не всё? Мне одна мысль о поцелуях противна, а вот ты смеёшься. Какую же гадость ты ещё знаешь?” — с недоумением спрашивала Валя...

Каково было моё положение! Кто мог предполагать, что Валя, читая, не понимала самой сущности, даже не подозревала о ней. Впрочем, она не читала никаких медицинских книг, сказок Боккаччо, где с таким наивным цинизмом описывается то, что теперь даже Золя и Мопассан заменяют многоточием, и, сообразив по-своему, думала, что узнала “всё”, и рассуждала о браке весьма свободно. Таким образом, выходя замуж, сестра была похожа на овцу, которая не знает, что её через несколько времени заколют. Я слыхала и раньше, что ужаснее этого нет ничего...

Вечером пришла к нам Маня, и я, мучаясь всеми этими соображениями, жалея о наивности сестры, спросила её совета. Она прямо сказала мне, что я должна, как старшая сестра, заменить ей мать. И вот, смущаясь и стыдясь того, о чём должна буду говорить, злясь на самое себя, одним словом, в скверном, нерешительном состоянии, я усадила Валю подле себя и тихо-тихо объяснила ей всё. Валя была поражена... Перед ней отдёрнули занавесь жизни и, смутно соображая, она поняла. В первую минуту для неё это было невероятно, полно ужаса и отвращения...

В отличие от сестры, мечтавшей о замужестве, Е. Дьякова стремилась получить высшее образование:

“Наконец, решу сказать здесь мою заветную мечту, мою единственную тайну. До этого года я думала по совершеннолетию поступить на курсы, но мысль о потерянных годах заставляет меня поступить в один из швейцарских университетов. Какие знания нужны для этого, какие требования и формальности — ничего не знаю, я иду ощупью, на авось, с отчаянной смелостью слепого... Что-то будет? А пока в ожидании занимаюсь. Вот эта мысль — источник моего существования. Передо мной есть звезда, и я к ней иду... О, моё счастье! когда нужно, приходи ко мне!...”

Мечты Елизаветы Дьяковой о поступлении в заграничный университет разбились о реальность. Она узнала, что в Швейцарии из ста женщин, поступивших учиться, только две получили учёную степень; остальные по разным причинам, в том числе из-за материальных трудностей, учёбу бросили, а некоторые даже умерли.

Для Е. Дьяковой ситуация осложнялась тем, что в купеческой среде, где она росла, стремление девушки к учёбе считалось блажью. Заметим, что в окружении Е. Дьяковой учёба на Высших курсах не только считалась не нужным для девицы занятием. Последним аргументом, которым мама Елизаветы попыталась её остановить, были слова: “Если хочешь стать женщиной известного поведения, то езжай!”

Именно таким было мнение обывателей: поступление в “курсистки” сродни уходу на панель. И это несмотря на то, что учащиеся барышни находились под постоянным присмотром блюстителей нравственности! Первым наборам “курсисток” было просто запрещено встречаться с молодыми людьми. В Петербурге много шума наделал случай, когда брат с сестрой тепло попрощались перед входом учебное заведение: в этой истории разбирался лично министр просвещения!

Масла в огонь подливали выступления в печати яростных противников женского образования. Так, известный юрист профессор П. П. Цитович обвинил писателей-демократов в формировании поколения безнравственных девиц:

“Вы развратили её ум и растлили её сердце. В этом уме была игривость — из неё сделали блудливость; в этом сердце было увлечение — его превратили в похоть. Она была способна на жертву — из неё сделали искательницу

приключений; она живо соображала — её научили бредить. Полюбуйтесь на неё: мужская шапка, мужской плащ, грязные юбки, оборванное платье, бронзовый или зеленоватый цвет лица, подбородок вперёд, в мутных глазах всё: бесцельность, усталость, злоба, ненависть, запустение... По наружному виду — какой-то гермафродит, по нутру — подлинная дочь Каина... Она остригла волосы, и не напрасно: её мать так метила своих “гапок” и “палашек” за “грех”...

По убеждению почтенного профессора, совместное обучение медицине юношей и девушек на деле означало свободную любовь: “После обработки анатомического препарата сообща обыкновенно происходило “срывание созревшего плода”.

Запредельные пассажи Цитовича вызвали такое всеобщее возмущение, что даже министр просвещения граф Д. А. Толстой заступился за курсисток.

Действительно, трудно представить, что наивная барышня, страстно мечтавшая об учёбе, поступив на курсы, тут же кинется, как говорится, во все тяжкие, даже если её проживание в отчем доме, как и у Елизаветы Дьяковой, не вызывало ничего, кроме уныния: “...действительная жизнь так однообразна, так притупляюще действует на нервы, что возможно сойти с ума, не находя себе удовлетворения... Я теперь изучаю немецкую и французскую литературу, играю сонаты Бетховена, читаю Гёте и Белинского, учусь латыни, занимаюсь рукоделием, хожу за обедню, за всенощную. И только? и больше ничего? Так знайте же, ни-че-го! И это называется “жизнью”... Порой на меня находит дикая злоба: я недовольна тем, что родилась женщиной...”

Е. А. Дьякова, дождавшись совершеннолетия, осуществила свою мечту. Преодолев сопротивление матери, она поступила на Высшие женские курсы в Петербурге, но в дневнике дала Москве интересную характеристику:

“То ли дело Москва! Там человек незаметно исчезает в общей массе, он может жить спокойно, занимаясь, чем хочет, одеваясь как угодно, думать, как хочет, вообще — жить своей жизнью, не заботясь о мнении других, и если он не знаменитость, о нём никто не заговорит, его не заметят. Я испытала это удобство: быть незаметной, невозможное в провинции...”

В Москве женское образование началось с открытия в 1869 году так называемых “Лубянских курсов”. Сначала программа обучения на них соответствовала мужским гимназиям, но вскоре её удалось приблизить к физико-математическому факультету университета. Слушательницы первого набора (190 человек) на совместном собрании решили, что будут именоваться “курсистками”.

На открывшихся три года спустя Курсах профессора Герье преподавали и естественные науки, но это заведение с самого начала приобрело характер историко-филологического факультета. Если в первый год у Герье учились 70 девушек, то в 1884–1885 годах их насчитывалось уже более двух с половиной сотен. Профессор Герье требовал от поступающих к нему слушательниц материальной обеспеченности, поскольку считал, что барышни не могут сочетать добывание средств на жизнь и успешную учёбу.

Во время правительственных гонений на образование в конце 1880-х годов и курсы Герье, и Лубянские курсы были закрыты. Последним удалось передать имущество и деньги Обществу воспитательниц и учительниц, поэтому около 1000 слушательниц смогли учиться на естественно-математическом и литературно-историческом отделениях.

Курсы Герье возобновили работу в 1900 году, а после революции 1905 года женщины получили право поступать в университеты вольнослушательницами. С того же времени барышни смогли осваивать новые для себя профессии на Голицынских высших сельскохозяйственных женских курсах.

В 1866 году в Москве для женщин, мечтавших посвятить себя музыке, произошло важнейшее событие: была открыта Консерватория. Первоначально обучение в ней длилось шесть лет, а с 1879 года составило девять лет. “Консерваторками” называли барышень, получавших высшее музыкальное образование. Одна из них стала героиней очерка, опубликованного в журнале “Развлечение”:

“Экзаменатор встретил её довольно сурово. Он не выспался, сюртук его был испачкан мелом после ночи в клубе, где ему страшно не везло.

— Ну, что вам? — спросил он.

Барышня объяснила ему, что пришла экзаменоваться. Он потрянул головой, показал рукой на рояль и бросил одно только слово:

— Играйте!

Она заиграла, сначала робко, затем с постепенно разгоравшимся одушевлением и даже с непривычным ей огоньком. Когда она кончила и обернулась, то увидела, что экзаменатор стоит и смотрит в окно. Она двинула стулом. Он обернулся, и по лицу его пробежала злая улыбка:

– Разве это игра? Вы точно шваброй по роялю возите!.. Вам, матушка, леденцы сосать, а не пианисткой быть!.. – и, заметив на лице барышни выражение, близкое к отчаянию, заметил уже снисходительнее: – А впрочем, всё равно поступайте!

И юный талант вот уже который год сидит в мебелированной комнате, играет целыми днями на рояле и подвигается весьма туго. Она видит, что её обгоняют многие, других знают уже в городе, и с ещё большим отчаянием она бьёт по клавишам. Розы со щёк исчезли, катар желудка даёт себя чувствовать, мечты пропали, и она думает уже не о концертах и лаврах, а о цели, более доступной, – о дипломе”.

Описывая русских студентов, С. Сватиков отметил появление среди них новой, особой категории:

“В 90-х годах девиц из богатых семей, в модных платьях, причёсках и шляпах, звали насмешливо “кордебалетом”. Политически неопределённый, скорее реакционный, “кордебалет” редко посещал лекции, но in corpore являлся на сходы срывать забастовку и резолюцию протеста. Затем “кордебалет” превратился в отделение академического союза. (...) Мирный академизм сделал прочные завоевания в среде женской молодёжи”.

“Академистами” называли студентов, занимавшихся, главным образом, учёбой и не принимавших участие в революционной борьбе. Что касается девушек, то их сосредоточенность на занятиях вполне объяснима. В литературных произведениях, где описывалась жизнь курсисток, непременно подчёркивалась их предельная загруженность учёбой. Если по каким-либо причинам курсистка накапливала задолженности, то её могли просто отчислить. Из всех развлечений в редкие часы досуга – поход в театр или в “электричку” (так молодёжь называла синематограф, именуемый в то время ещё и “электротеатром”).

Окончив высшие учебные заведения, девушки могли рассчитывать максимум на место учительницы начального городского училища. Да и то, кроме диплома, как отмечала в 1914 году газета “Голос Москвы”, необходимо было иметь протекцию, знакомство или родство с влиятельными лицами. И женщин брали на эту работу, потому что не находилось мужчин, согласных получать 40–60 рублей в месяц.

За столь невеликое жалование учительнице приходилось вставать в 7 часов утра и на протяжении восьми часов возиться с пятьюдесятью мальчиками или девочками. Кроме проведения уроков, учительница должна была приучать их к опрятности, заставлять мыться и т. д. Вечером – проверка тетрадей и подготовка к урокам. Зачастую к нервной нагрузке от преподавания добавлялись домашние неурядицы. Барышень при размещении в полагавшиеся им казённые квартиры селили в комнаты по двое. Если невольные соседки не сходились характерами, то ссоры между ними не прекращались.

Анализируя положение барышень, получивших высшее образование, “Журнал для хозяек” в 1913 году писал:

“Какую подготовку и к какому труду дают наши средние и даже высшие женские школы, гимназии, институты, Бестужевские курсы, историко-филологические и т. п.?”

Да никакой.

Все эти школы дают только общее образование, они лишь облегчают возможность подготовиться к какому-нибудь труду, но сами не дают никакой специальности, никакой профессиональной подготовки, никакого права заявить себя подготовленной к той или другой определённой работе”.

По мнению автора статьи, новый уровень развития капитализма в России изменил условия на рынке труда. В начале XX века экономическая система потребовала большого количества специалистов, из чего следовал простой вывод:

“России нужны низшие и средние профессиональные женские школы!

Нужны школы, которые выпускали бы женщин, подготовленных к определённому, специальному труду, спрос на который имеется в жизни, а не женщин, имеющих только общее развитие и не умеющих приложить свои силы ни к какой практической деятельности!”

Интересны практические рекомендации, обращённые к матерям, желавшим наилучшим образом устроить жизнь своих дочерей:

“А пока “улита едет”, пока “наверху” додумаются до необходимости создания женских профессиональных школ, мы хотим предостеречь матерей от увлечения общим образованием. Мы хотим сказать им: не старайтесь во что бы то ни стало, чтобы ваши дочери кончали курс в гимназиях, институтах и на высших общеобразовательных курсах. Дипломы и подготовка, даваемые этими школами, не дадут никакого оружия вашим дочерям для борьбы с жизнью. Теперь хорошая шляпница и хорошая модистка зарабатывает гораздо больше женщины, кончившей высшую школу и не имеющей специальной подготовки к какой-нибудь определённой работе.

Не заботьтесь же об окончании этих школ, заботьтесь о практической подготовке ваших дочерей к жизни и к труду.

Дайте им какую-нибудь профессию, какую-нибудь специальность.

С практической точки зрения лучше окончить лишь прогимназию, но знать хорошо иностранные языки и бухгалтерию, чем окончить историко-филологические курсы.

Лучше, окончив 7 классов гимназии, изучить шляпное или портновское дело, нежели прибавить и 8-й класс. Лучше быть хорошей чертёжницей или закройщицей, нежели “имеющей права домашней учительницы”.

Общее образование есть роскошь. Оно, как и всякая другая роскошь, в капиталистическом строе доступно лишь людям состоятельным. Людям же небогатым, принуждённым жить продажей своего труда, следует твёрдо помнить, что кусок хлеба обеспечивает не общее, хотя бы и самое широкое образование, а хорошее практическое знание какой-нибудь, хотя бы самой узкой и мало интеллигентной специальности.

И женщинам, выбрасываемым изменившимися условиями жизни на путь самостоятельного труда, нужно не упускать из виду этот закон”.

Конечно, это был очень хороший совет, да только в ту эпоху, кроме здравого смысла, существовала ещё и сословная гордость, порой переходившая в спесь. Именно она не позволяла родителям из обедневших дворян приучать дочерей к “неблагородному” труду. Авторы книги “Светский хороший тон” отмечали весьма распространённое явление: “... во многих аристократических семействах считается верхом неприличия для девушек (...) уметь готовить кушанье или шить бельё”.

Результатом такого воспитания были вполне типичные для Москвы барышни, подобные одной из героинь романа А. М. Пазухина “Медовый месяц”:

“Дочь бедного чиновника, получающего гроши, но подавленного своим “благородством” и чином титулярного советника, а потому не желающего брать какую-нибудь “неблагородную” работу, девочка росла в нищете, но её не приучали ни к какой работе и готовили, как “благородную барышню”, в гимназию, мечтая, что после этой гимназии высокообразованная Верочка непременно составит себе партию и выведет родителей из нищеты и неизвестности. Нашли какого-то “благодетеля”, который поместил девочку в гимназию на свой счёт. Благодетель платил за ученье Веры года три, а потом проигрался в карты, разорился и сам поступил на содержание богатых и знатных родственников. Вера и до этого события училась кое-как, в самой неблагоприятной для ученья домашней обстановке, а теперь пришлось гимназию оставить и готовиться в следующий класс до отыскания какого-нибудь нового благодетеля. Благодетеля не нашлось, а время шло да шло. Изнемогающая на работе мать не допускала Верочку ни до какого чёрного труда, как “барышню”, и барышня с утра до ночи читала глупейшие и развращающие переводные романы о похождениях разных небывалых маркизов, графов и герцогов да вышивала ни на что не нужные коврики с бабочками; в учебники она заглядывала редко, а потом и совсем бросила их, так как надежда на благодетеля совершенно пропала, да и время поступить опять в гимназию прошло.

“Образование”, полученное чтением диких романов, сделало своё дело, потом явились на помощь дачные балы, любительские спектакли, а тут подвернулся украшенный брильянтами и имеющий возможность поить шампанским Василий Еремеевич, который обратил внимание на хорошенькую, как фарфоровая куколка, Верочку...

Были, конечно, речи о женитьбе, были посулы, а кончилось всё так, как всегда кончается в подобных случаях”.

В итоге юной матери, брошенной любовником и проклятой родителями, пришлось забыть о своём дворянском происхождении. Для добычи хлеба насущного она обзавелась машинкой и стали шить для больницы простыни по две копейки за штуку.

По воле романиста, помощь падшей девице оказала барышня другого типа. Она не училась ни в гимназии, ни на курсах, не была сторонницей свободы нравов, а просто выросла в патриархальной купеческой семье:

“Стройная, грациозная блондинка с синими глазами и тёмными бровями, она была чудо как хороша; некоторая полнота не портила её при красивом росте, а девичья скромность, милая застенчивость красили её, как и та нежность, которую обладают лишь купеческие дочери, взращённые, как цветочек, оберегаемые и от “дурного глаза”, и от жары, и от мороза, вскормленные булочками, вспоенные сливочками, воспитанные на пуховиках под атласными одеялами; такими, вероятно, были наши боярышни; такую, вероятно, была Елена Морозова, за которую погиб и сложил голову лихой опричник князь Вяземский, за которую ушёл с понизовою вольницей благородный и высокородный князь Серебряный. . .

Таких девушек многие поклонники женской эмансипации, поклонники беспардонной отчаянности и ухарства, считают “недалёкими”, но они ошибаются. Такие чисто русские девушки обладают часто светлым умом, который помогает постичь им глубокую житейскую мудрость, а душа у них почти всегда благородная, кристально чистая, сердце доброе, переполненное любовью”.

На фоне “прогрессивных барышень” Полю с её целомудрием можно считать представительницей “дремучего невежества”, которым славилось замоскворецкое купечество. Но действие романа происходит в преддверии XX века, нравы и в среде капиталистов значительно изменились, а у девушки даже такие привычные явления, как велосипедная езда и флирт с мужчинами, вызывают отторжение:

— Я на велосипеде всё лето ездила, Поленька, только ты мамаше не говори. . .

— На велосипеде?

— Да. У меня кавалером был один инженер, очень хорошенький, чудо какой!.. А какой у меня костюм для велосипеда!.. Тёмно-синяя жакетка, вот так, до сих пор, а здесь открытые лацканы и под ними жилет; панталоны тоже тёмно-синие, тёмно-синие чулки и золотистые туфли, а на голове шляпка “Нансен”, серая, с синим пером. . .

Поленька слушала сестру и с любопытством смотрела на неё, как на жительницу какой-нибудь другой планеты. (. . .) Ей думалось, что надо потерять стыд для того, чтобы одеться в мужское или полумужское платье и сесть верхом на колесо, и ехать на этом колесе, не имея для этого нужды, и вот её сестра, её милая Толя, которую она считает за очень умную и даже за образованную женщину, ездит на велосипеде и восторгается этим.

Что же это такое?.. Неужели это так нужно? Неужели все умные и образованные женщины так думают и подступают?..”

Почему у Поленьки такое странное отношение к поездкам на велосипеде? Что зазорного в том, что девушка прокатится на “бициклете” (так ещё в то время называли двухколёсные машины) в сопровождении молодого человека? Ответы на эти вопросы подсказывают правила хорошего тона, которым в то время вслед за дворянством старались следовать и в других сословиях. С одной стороны, барышни должны были строго придерживаться такой нормы поведения:

“Молодым девушкам этикет не воспрещает принимать участие в увеселительных загородных прогулках, но они могут на них присутствовать не иначе, как в сопровождении матери или пожилой дамы, занимающей некоторое положение в обществе”.

С другой стороны, занятие спортом, в том числе велосипедным, составители кодекса поведения членов светского общества признавали не только допустимым, но и желательным:

“В число так называемых “светских удовольствий” следует включить и некоторые виды спорта, которые для многих представляют одно из любимейших развлечений. Особенным же фавором среди как нашего, так и западноевропейского общества пользуются два вида спорта: 1) конские скачки и бега и 2) всякого рода гонки на воде, как, например, гонки на гичках и полугич-

ках, на лыжах, парусные гонки и т. п. К двум упомянутым как любимейшим видам спорта следует ещё причислить и сильно развивающиеся за последнее время состязания велосипедистов, а также конькобежцев.

По нашему мнению, спорт, рассматриваемый как развлечение или как “светское удовольствие”, является в известное время настолько же необходимым, насколько и полезным. Присутствие на спорте приучает к светскому общению, научает узнавать характеры и показывает сердца людей в самые откровенные их моменты”.

Непосредственно участвовать в состязаниях молодые дамы и девицы могли в лодочных гонках, но только в качестве рулевых. Зато при победе экипажа именно им, а не мужчинам-гребцам вручали призы. Выходить на старт вместе с юношами барышни могли в двух видах спорта: в соревнованиях конькобежцев и велосипедных гонках. Правда, выступая на льду, дамы и девицы помнили, что они “обязательно должны избегать таких аллюров, как, например, двигаться назад и т. п.”

С конца XIX века Москва переживала настоящую “велосипедную эпидемию”. Правда, в самом городе поездки велосипедистов были запрещены из-за того, что “железных коней” боялись живые лошади, запряжённые в пролётки, и это приводило к ДТП. Настоящей вотчиной велосипедистов стал Петровский парк. Побродив по его дорожкам, корреспондент “Московского листка” нарисовал такую картину:

“Сотни, тысячи велосипедистов несутся из Москвы в парк, к Всехсвятскому. Отдохнув немного около станции велосипедных обществ, велосипедисты пускаются в обратный путь. Конечную целью их являются ресторанчики, где, бросив своих “стальных коней”, они обсуждают вопросы велосипедного спорта. Кавалеры, дамы в широких шароварах сидят за столиками и весело болтают, спорят о преимуществах одной системы велосипеда перед другой, доказывают необходимость свободного колеса и тут же проектируют дальние экскурсии.

— Однако, господа, пора двигаться! — говорит кто-нибудь.

— И в самом деле! А то темно будет!

— А фонари на что?

Зажигают фонари, и по потемневшей дорожке мелькают светляки”.

Обратим внимание на деталь, подмеченную журналистом: “дамы в широких шароварах”. Как мы помним, у благовоспитанной барышни Полины внутренний протест вызывал как сам факт пребывания дамы-велосипедистки наедине с мужчиной, так и её бесстыдство, заключавшееся в ношении почти мужской одежды. Героиню А. М. Пазухина оправдывают два обстоятельства: во-первых, она воспитывалась в патриархальной купеческой семье, а во-вторых, действие романа “Медовый месяц” происходит в конце XIX века, когда новые веяния ещё не проникли в недра торгового сословия.

Спортивный костюм, кроме удобства, должен был делать барышню максимально привлекательной в глазах мужчин. Купеческая дочь Поленька, осуждавшая женский спорт, шла к замужеству традиционным путём: жениха ей подобрали родители. Она это принимала как само собой разумеющееся, но многие из её современниц не прочь были самостоятельно обрести суженого. В условиях строгой регламентации поведения барышень, нахождения их под постоянным присмотром родных, для знакомства с молодым человеком возникало не так уж много возможностей. Наиболее доступными как раз и были катание на коньках и поездки на велосипедах. В юмористических журналах велосипед-тандем называли “ловушкой для женихов”: мол, летней порой покатается девица с кавалером, а осенью, глядишь, свадьба.

Популярным местом знакомств девушек с юношами были и катки, открывавшиеся в Москве зимой порой. Анастасия Цветаева, вспоминая гимназические годы, рассказала о своей судьбоносной встрече на льду Патриарших прудов:

“Мы катались, (...) когда на полном бегу возле нас зашипели, резко затормозив о лёд, лезвия норвежских коньков, и, смеясь и ещё как на бегу дыша, стал среди нас человек в тёмно-жёлтой меховой шапке. Она была надета чуть вбок, и из-под неё, ею стройно схваченные, светлели, как у Листа, подрезанные пышные волосы. Синие глаза сверкали веселым насмешливым, и, кончая на лету кому-то брошенную фразу, витиеватую, юмористически стилизованную, он поклонился одной из девушек, они взялись перекрёстно за руки, понеслись и скрылись из глаз...”

Что-то ослепительное, несомненное, никогда не виденное, пленительное, нужное было в этом подлётешем и умчавшемся человеке. Всё остановилось. Важным было только его возвращение. Оно не замедлило. (...)

— Ася Цветаева! — сказала я, подавая руку.

— Бо́рис Т́рухачев! — так же быстро сказал он, и в два раза повторенном грассировании его имени и фамилии прозвучали стальные ноты. (...)

И мы мчимся и мчимся, и под музыку, и без музыки, я сбоку вижу его лицо, смеющееся, разгоревшееся, тёмную синеву глаз, соболиного цвета шапочку. Я совершенно счастлива! (...)

Весь остальной февраль мы каждый день встречались на катке с Борисом Сергеевичем — так церемонно я звала его, настолько старше меня он мне казался”.

Катки действовали, пока стояли морозы, но в 1910-е годы светская молодёжь стала и в тёплую погоду собираться во “Дворце спорта”, находившемся на Земляном Валу. В нём был устроен “скейтинг-ринг” для катаний на роликовых коньках.

В тот же период особенную популярность среди светских барышень приобрёл пришедший из Англии лаун-теннис. Отмечая быстрое распространение новой спортивной игры, А. Камильфо писал:

“И вряд ли, действительно, можно найти что-либо более приятное, как вид молодых девушек в красивых спортивных костюмах, грациозно двигающихся, словно летающих над жёлтым песком”.

По всей видимости, для молодых женщин привлекательность тенниса усиливалась тем, что производить приятное впечатление на зрителей следовало не только демонстрацией ловких движений, но и предназначенным для игры специальным нарядом: “весь костюм участвующей в игре девушка должна быть гармоничен, начиная со спортивной шапочки или соломенной шляпы с прямыми полями и кончая башмаками из матросского сукна с кожаными полосками на них и с каучуковыми подошвами, придающими лёгкость и упругость походке. *Платье для игры в теннис* должно не стеснять телодвижений и легко и свободно облегать фигуру. Тугие стоячие воротнички и узкие рукавички не пригодны при живой игре, так же как и длинные юбки, доказавшие свою непрактичность. Красивые полосатые или одноцветные спортивные платья из холста, фланели или альпака должны не заходить за лодыжки; особенно идут к молодым девушкам мягкие шёлковые шарфы”.

Кроме спортивных игр, к светским мероприятиям относились посещение театров, общественных гуляний, клубов, участие в балах, раутах, журфиксах (то есть приёмах гостей в домах по определённым дням недели) и вечеринках. Выражение “вступление в свет” означало момент, когда молодая девушка становилась полноправной участницей всех празднеств и других событиях светской жизни.

Правила хорошего тона точно не определяли возраст, когда девочка-подросток переходила в категорию барышни. Решение об этом принимала её мать, исходя из собственных соображений. Она учитывала как развитие девушки, так и успехи в подборе женихов её старших сестёр, поэтому вступление в светскую жизнь происходило в возрасте от 12 до 20 лет.

Если мать заранее готовила дочь к вхождению в светское общество, то девочку не держали всё время взаперти в её комнате. Во время приёма гостей, если её приглашали, она приходила в гостиную или вместе с родителями присутствовала на концертах. Она могла сопровождать мать, когда та оправлялась с визитами, правда при этом ей не дозволялось находиться среди взрослых. Пока они общались в гостиной, девочка проводила время в обществе дочерей хозяйки дома в их комнате.

Своего рода репетицией светских собраний для мальчиков и девочек были специально проводившиеся для них детские вечеринки и балы. Последние по своему характеру приближались к “взрослым” балам, поскольку, кроме подростков, в них принимали участие юноши и девушки. Тем самым молодёжь предоставляли официальную возможность для знакомства и общения.

Однако девиц, безоглядно бросавшихся в вихрь удовольствий, составители сборника “Светский хороший тон” предупреждали:

“Для девушки, ещё в полудетском возрасте начинающей выезжать в свет и мечтающей только о танцах, пышных нарядах, любезностях и обожателях, прекращаются все умственные занятия, все более или менее истинные стрем-

ления к духовным совершенствованиям; она жаждет только удовольствий, ищет шумных развлечений и этим губит в самое короткое время лучшие свои способности, зародыши прекраснейших, благороднейших качеств”.

Так или иначе, но в жизни барышни обязательно наступал день, когда на неё переставали смотреть, как на ребёнка. О пересечении заветного рубежа баронесса Врангель писала:

“Наконец, приходит минута, когда нужно начать её вывозить, так как она достигла того возраста, которым необходимо воспользоваться, чтобы найти для неё приличную партию. Она попадает в вихрь света и торжеств, официальных, полуофициальных и совсем семейных. Отныне она присутствует на театральных представлениях, бывает на обедах, на раутах и балах; она делает визиты вместе с матерью и помогает ей принимать гостей у себя в доме.

Ничего нет прелестнее молодой девушки, первый раз появляющейся в свете, особенно если она очень молода.

Она очарована, в восторге от всего, что видит кругом, и сама очаровывает и приводит в восторг всех, кто её видит”.

Наряд для первого бала должен был, в первую очередь, символизировать девичью скромность: “совершенно белое платье, воздушное и просто сшитое. (...) Корсаж девушки скромно прикрыть сверху тюлевой бертой”.

Правила хорошего тона предписывали минимум украшений: дозволялось поместить в волосы бутон розы или хризантему, а вокруг талии повязать голубую или розовую ленту. Не рекомендовалось устраивать вычурную прическу в виде целой башни или использовать накладные волосы. Считалось, что девушке к лицу её природные косы или локоны. Из драгоценностей допускалась только нитка белого жемчуга.

Для девицы и её родителей, не обладавших вкусом, но привыкших выставлять богатство напоказ, была сделана специальная оговорка:

“Молодая девушка, выехавшая первый раз в свет в розовом платье, покрытом цветами и лентами, с руками и шеей, увешанными золотом, с поднятой головой и смелым взором, была бы явлением ненормальным”.

Если у девушки был отец, то именно он вводил дочь под руку в бальный зал или гостиную, где представлял её старым друзьям. К нему, в первую очередь, подходили представляться кавалеры, желавшие пригласить барышню на танец. По мнению баронессы Врангель, первое появление в обществе юной особы не могло остаться незамеченным:

“Редко случается, что молодая девушка не имеет успеха в вечер своего первого появления в свете, раз она прониклась вполне духом своей роли, то есть если она действительно обладает чистотой и свежестью юности”.

Дальнейшая судьба барышни на практике зависела от сочетания её привлекательности и финансовых возможностей родителей. Что же касается теории, то авторы пособий по светской жизни утверждали:

“Правильно воспитанная и хорошо образованная девушка вступает в жизнь со скромностью и достоинством, делающими её истинно привлекательной. Действуя самостоятельно, она не нуждается в похвалах общества; ей доступны высшие стремления, лучшие наслаждения, а от шумных увеселений света она всегда с радостью возвратится к домашней жизни, в круг дорогой ей семьи”.

То есть в идеале участие барышни в светской жизни – это только средство счастливо устроить свою судьбу. Напротив, для девиц, демонстрировавших лишь стремление к развлечениям, шансы выйти замуж были невелики:

“Известно, что в настоящее время, при нынешней дороговизне жизни и увлечении женщин светскими удовольствиями, брачная жизнь просто ужасает молодых людей, и они в большинстве случаев избегают брака.

– Как жениться, – говорят они, – когда жизнь так дорога, а жёны так расточительны и с такой неохотой берутся за домашнее хозяйство? Чем содержать семейство?

В конце концов, количество браков постоянно уменьшается”.

По этому поводу некоторые авторитеты в области светских правил предлагали, по примеру Франции, ввести такой принцип: молодая девушка должна выйти замуж в год своего первого появления в обществе. Максимум, что ей можно было позволить, – ещё один сезон, да и то если она ещё очень молода. В третий год барышню с неустроенной судьбой следовало отнести, условно говоря, ко второму сорту:

“Если же она и до начала третьего сезона не найдёт себе жениха, то на неё не обращают уже ровно никакого внимания, и ей приходится прибегать к помощи всех уловок кокетства, чтобы быть замеченной”.

Итак, с момента своего первого выезда барышня становилась полноправным членом светского общества, но её незамужнее положение накладывало на неё множество ограничений. Дома, на улице, в обществе ей приходилось держать себя в соответствии с правилами, специально установленными для молодых девушек.

Так, на прогулки барышня по-прежнему должна была выходить в сопровождении гувернантки или, как минимум, горничной и выбирать для этого “время раннее, то есть до обеда, когда гуляющих ещё мало, предполагая, что прогулка её имеет целью здоровье, а не удовольствие”. Одеваться ей полагалось в платье совершенно чистое и опрятное, но в то же время скромное, то есть не бросающееся в глаза; то же самое требование было и по отношению к наряду её спутницы. На прогулке девушке категорически запрещалось посещать места, где собиралась масса разношёрстной публики. Например, барышне вовсе не стоило присоединяться к зрителям, собравшимся на Тверском бульваре возле эстрады, где играл военный оркестр. Зачастую, когда звучала модная мелодия, толпа просто приходила в неистовство. Вот как это выглядело в 1910 году при исполнении польки “Ойра-ойра”:

“На Тверском бульваре несколько раз в неделю играет военный оркестр. Вероятно, в целях музыкально-воспитательных для развития эстетических вкусов толпы, оркестр включил в свой репертуар и “Ой-ру”. Нужно самому видеть, чтобы понять, что делается на бульваре во время исполнения этого великого произведения.

Тридцать здоровых солдатских глоток рявкают с эстрады:

– Ой-ра! Ой-ра!

И тысячная толпа в каком-то экстазе подхватывает звериным рёвом:

– Ой-ра! Ой-ра!

По окончании номера преисполненная восторгом толпа кричит. . . “Ура!” Не “браво”, не “бис”, а “ура”, потому что шаблонное “бис” недостаточно для изъяснения накопившегося в душе восторга. Под громовое “ура” капельмейстер поворачивается лицом к публике и трогательно прижимает руку к сердцу.

Толпа неистовствует:

– Ура! Урра-а! У-урра-а-а! . . .

Грациозный взмах дирижёрской палочки и опять:

– Ой-ра! Ой-ра!

И вновь громовое “ура”. Повторяют пять-шесть раз.

После марша публика сплошной толпой валит с бульвара. Кто-то вскрикивает:

– Ой-ра!

И толпа подхватывает, как один человек:

– Ой-ра! Ой-ра!

Случайные прохожие испуганно шарахаются в сторону”.

Обходя десятой дорогой такие сборища, барышня должна была шествовать чинно. Ей не полагалось оборачиваться, чтобы рассмотреть кого-нибудь на улице. При встрече со знакомыми она приветствовала их в строгом соответствии с давно устоявшимися обычаями: “пожилым особам должна изящно поклониться, улыбаясь; приятельнице своей матери приветливо улыбнуться; если же встретившаяся особа просто принадлежит к числу светских знакомых, то достаточно одного поклона без улыбки”.

Если по каким-то причинам молодой девушке приходилось выйти из дома одной, ей также предписывалось одеваться максимально просто, а по улице идти быстрым шагом, не глядя по сторонам и не останавливаясь перед витринами магазинов.

При встрече с подругами барышня не должна была кидаться им на шею, демонстрируя тем свою дружбу, слишком громко разговаривать и смеяться. Как гласили правила хорошего тона:

“Неудержимый смех – признак дурного воспитания и допускается только в семейном кругу”.

Во время общения с подругами не приветствовалось употребление ласкательных имён, а также болтовня о своих семейных делах, так как это совершенно не касалось посторонних. Барышне полагалось находить другие способы показать свою искренность и честность в дружеских отношениях.

Не менее строги были правила поведения барышень на так называемых “гуляниях”, то есть при посещении общественных садов и парков, где для публики были устроены развлечения:

“На всякого рода гуляниях следует держать себя в высшей степени осторожно, помня, что здесь, как и вообще среди большого общества, нужно взвешивать каждое своё действие и каждое слово. Молодые девушки должны быть особенно осторожны и следить зорко за каждым своим шагом и манерой держать себя, потому что тут больше, чем где-либо, они подвергаются наблюдению посторонних лиц”.

Для барышни было абсолютно неприемлемым – “более, нежели неприлично”, – пойти одной в какой-нибудь общественный сад, сквер, на бульвар или куда-либо на гулянье, например, в Петровский парк, хотя там собиралась только приличная публика. Правила хорошего тона не оставляли ей выбора: “если идти не с кем, то не только лучше, но даже обязательно – остаться дома”.

Столь строгое требование объясняется реалиями того времени: в публичном месте юная особа, гулявшая в одиночестве, однозначно относилась к “жрицам любви”. Барышня, появившаяся одна на дорожках парка или бульвара, немедленно стала бы объектом назойливых приставаний со стороны мужчин.

В общественный сад или на гуляния девушки должны были отправляться в обществе матери или старших родственниц. Если барышня шла в компании – с подругами или кавалерами, – им полагалось идти впереди, но ни при каких обстоятельствах молодые девушки не могли отделяться от сопровождающих, а тем более удаляться от всех с одним кавалером. При прогулке только вдвоём девушка скромно шла по левую руку от своей спутницы.

Гуляющим, среди которых были барышни, приходилось решать сложную задачу, обусловленную правилами хорошего тона:

“Забираться во время гулянья в самые отдалённые и глухие места сада, равно как и выбирать самые людные места и быть у всех на виду одинаково не годится”.

Женщины старшего возраста, сопровождая барышень на прогулках, занимались не только надзором за поведением молодёжи. Попутно они объясняли и на личном примере показывали, как правильно выполнять правила этикета. Усвоение самых простых из них не требовало больших усилий:

“Не принято, чтобы на гуляниях или на музыке дамы, приветствуя своих знакомых, или отвечая на поклоны последних, вставали со своих мест; если приветствуют дам, то немного приподнимаются, мужчинам же кланяются с места – головой. Понятно, что при появлении особ царской фамилии и вообще лиц высокопоставленных обязательно делать исключение, то есть нужно кланяться, почтительно встав с места. (...)”

Лицо интеллигентное и благовоспитанное никогда не позволит себе сесть на гулянье или на музыке так, чтобы мешать проходящим или же занять место настолько близкое к другим, что весь разговор их станет слышен от слова до слова”.

Однако были и такие правила, выполнение которых требовало от молодой женщины не столько хорошего знания теории, сколько интуиции и жизненного опыта:

“Если проходящий мимо раскланивается и останавливается перед сидящей дамой, то последняя, конечно, имеет право заговорить с ним и даже пригласить его сесть на свободное подле неё место. Однако в последнем случае дамы должны быть очень осторожны, часто мужчина, ради одной только вежливости, принимает приглашение и садится на указанное ему место, но в душе он, быть может, очень недоволен тем, что его удержали, вследствие чего и разговор будет не оживлённым и не доставляющим удовольствия как той, так и другой стороне. Надо иметь много такта и проницательности, чтобы видеть заблаговременно, можно ли пригласить то или другое лицо, с которым мы желали бы провести в беседе время, не рискуя подвергнуть приглашаемого скуке и не ставя его в неприятное положение человека, который, таким образом, насильственно принуждён тратить время с нами, между тем как он, быть может, уже заранее predeterminedил провести это время совсем иначе”.

Что касается так называемых “народных гуляний” (например, гуляния на Масленицу на Девичьем поле, Вербный базар на Красной площади, гуляние 1 мая в Сокольниках), то их благовоспитанная молодая девушка могла посе-

щать только в экипаже. Если в её распоряжении не было этого транспортного средства, то об ином способе пребывания в гуще народа не стоило и мечтать. Запрет был обоснован тем, что, оказавшись среди простого люда, юная особа могла претерпеть как физический, так и моральный урон:

“Даже в сопровождении кавалера вмешиваться в толпу не всегда бывает безопасно. Не говоря уже о туалете, который среди народной давки может быть измят, испорчен и принять вполне неприличный вид, молодая девушка, отваживающаяся втискиваться в толпу, рискует потерпеть от массы неприятностей и даже подвергнуться обиде. Нужно помнить, что среди народных празднеств, сопровождаемых огромными сборищами, всегда можно ожидать всякого рода неприятных случайностей и даже несчастий”.

Для барышень существовали ограничения и при посещении ими родных и знакомых. Так, во время визита, пройдя в гостиную, девушка не должна была садиться в кресло или занимать другое лучшее место. На званых вечерах она могла быть оживлённой, весёлой, улыбающейся, но не выходя за рамки приличий. Ей не возбранялось одеваться, как тогда говорили, “кокетливо”, но её наряд не мог выглядеть вызывающе. По обычаям того времени, для дневных визитов полагался костюм тёмного цвета: платье, изящно обрисовывающее фигуру, а к нему – маленькая шляпка. Для приёма гостей у себя в доме девушкам рекомендовали платье цвета gris-perle – серо-жемчужное. Барышни не должны были краситься; единственное, что дозволялось, – в вечернее время слегка припудрить лицо.

Относительно свободно юноши и девушки могли себя чувствовать на дружеских домашних собраниях, называемых “вечеринками”. На многолюдных светских мероприятиях, балах, раутах и подобных им больших вечерних собраниях поведение каждого участника регламентировалось множеством правил. При малейшем отступлении от них, например, по неопытности, молодые люди могли оказаться в неприятном положении. Для вечеринок также существовали правила этикета, но следовать им было гораздо проще. Знатки светской жизни специально это подчёркивали:

“Дружеские вечеринки требуют гораздо менее щеголеватости, чем многолюдные собрания, и лишь бы одежда ваша была опрятна, бельё безукоризненной белизны, обувь и перчатки приличного вида, остальным мелочи не составляют никакой необходимости, и никто из присутствующих не обратит внимания, что покрой вашего платья напоминает прошлогодние моды, перчатки не первой свежести и шляпе случалось быть под дождём. Здесь всякий является, чтобы провести время с друзьями, а не критиковать этих самых друзей, здесь безденежье не есть порок, и очень смешны люди, старающиеся скрывать этот недостаток, прибегая к посторонней помощи, как, например, отправляясь на чужой счёт в театр, напрашиваясь в товарищи к тому, кто приехал в своём экипаже, или занимая у приятельниц золотые модные серьги, когда всем известно, что вы не в состоянии купить их на собственные средства. (...)

На дружеских вечеринках позволительно перчатки заменять чёрными, прозрачными митенками, не мешающими ни работать, ни пить чай, ни играть на фортепиано”.

Сами эти вечерние собрания друзей и хороших знакомых делились на две категории: “чай” и, собственно говоря, “вечеринка”. Разница между ними заключалась в числе собравшихся и, соответственно, степени хлопот по их организации. “На чай” собиралось от 10 до 20 человек, и их приём, по утверждению современников, “...сопряжён сравнительно с небольшими издержками и хлопотами и почти нисколько не нарушает обычного порядка в доме, так как не требует никаких особенных приготовлений. Мебель, ковры и вообще вся обычная обстановка остаётся на месте. Разумеется, что в этот вечер усиливается освещение и соблюдается во всём чистота и порядок”.

При количестве гостей 25 и выше собрание считалось вечеринкой. Поскольку в обоих случаях суть мероприятия была в одном: весёлое и приятное проведение времени в кругу хороших знакомых, дальше мы будем использовать слово “вечеринка”.

В описываемую нами эпоху приглашение на вечеринку, сделанное в начале сезона, действовало на всём его протяжении. Зачастую эти домашние собрания из-за того, что они завершали собой приёмные дни, многие ещё называли их “журфиксами”.

Характер вечеринок, по мнению авторов сборника “Светская жизнь и этикет”, определяла особая атмосфера такого рода собраний, “где изгоняется церемонность и царит одно приличие, где все знают друг друга и где злословие редко находит пищу, потому что каждый думает о своём удовольствии, не заботясь о поступках других.

Вечеринки для каждого гостя, без различия пола и возраста, представляют приятный отдых после дневных трудов; здесь всякий забавляется по своему вкусу: кто умеет хорошо рассказывать, собирает вокруг себя слушателей, — каждый выражает своё мнение или горячо его отстаивает, завязывается разговор, остроумие и дар слова вступают в ожесточённую борьбу, а время летит незаметно и весело. Солидные люди любят засесть в карты, пожилые дамы (иногда с рукодельями) переливают из пустого в порожнее, в то время как молодые играют в четыре руки на рояле, танцуют вальс, польку, кадрили или мазурку или забавляются в так называемым *petis jeux* — общие игры, требующие развязности, находчивости и быстрого соображения...

Домашние игры не отличались сложностью в правилах. Главное, что требовалось от их участников, — не нарушать правила хорошего тона. Специалисты в области этикета прямо предупреждали:

“Остроумие играет большую роль в *petis jeux*, но оно никогда не должно переходить грани благоразумия и приличия, поэтому всякого сорта двусмысленности скабрезного характера не должны быть допускаемы. В особенности это должны помнить молодые девушки, которыми, прежде всего, всегда и во всём должна руководить скромность. (...)

Когда в какой-нибудь игре требуется писать остроумные ответы, старайтесь всегда составлять их так, чтобы каждая девушка или молодая женщина без смущения могла прочитать их вслух при всех гостях. Неприличные двусмысленности, как мы уже сказали выше, не должны иметь места, даже если девушка своим слишком смелым обхождением подаёт к тому повод, потому что, нанося ей, положим, даже вполне заслуженное ею оскорбление, гость в то же время в её лице оскорбляет хозяйку дома и всех присутствующих”.

Для барышень, решивших участвовать в домашних играх, следовало постороннее разъяснение того, как им следовало себя вести:

“Просим, однако, молодых девиц, не смешивать слово “скромность” со словом “жеманство”. Первое есть прекрасное качество в женщине и составляет её лучшее украшение, второе же есть ложное направление воспитания, смешное и безуспешное усилие казаться скромной.

К этому-то ошибочно понимаемому правилу (жеманству), к сожалению, иные девушки любят прибегать во время танцев или общественных игр и при каждом случае, где кавалер, опираясь на законы игры, хочет воспользоваться представляемыми ему правами, они ломаются, вскрикивают, отворачиваются и всё-таки выполняют, в конце концов, предписываемое игрой, никак не сознавая, что всеми этими кривляньями они привлекают к себе общее внимание, смех и неудовольствие”.

Вечеринки были тем хороши, что позволяли гостям вести себя естественно. Если юноши и девушки отличались красноречием, хорошо музицировали или пели, им дозволялось блеснуть во всю меру своих способностей. При отсутствии талантов или непреодолимой застенчивости, молодой человек или барышня имели полное право ограничиться ролью слушателей. Однако им не возбранялось вступать в общий разговор со своими дополнениями или разъяснениями подробностей. Они только были должны уметь доказать достоверность своего рассказа:

“Передавая какой-нибудь слух об отсутствующей, но всем известной в данном обществе особе, остерегайтесь называть, от кого вы слышали эту новость, в предупреждение неприятной сплетни. Впрочем, наш совет молодым людям обоего пола — никогда не торопиться передавать слухи о знакомых, а рассказывать только то, чему сами были свидетелями, если же случится, что вы передадите ложный слух, поднимающий иногда бурю в стакане воды, старайтесь вывернуться из этой маленькой беды шутками, обвиняя сами себя в неумышленном недоразумении, но никогда не употребляя для своей защиты имени той особы, которая передала вам ложное известие”.

На дружеских вечеринках барышни наравне со всеми гостями могли о чём-нибудь рассказывать, шутить и спорить. От них только требовалась, чтобы в разговоре они не сбивались со скромного, приличного тона, который,

по нравам того общества, “есть украшение всякой благовоспитанной женщины”. Девушке полагалось вести рассказ в сдержанно-весёлой манере, не повышая чрезмерно голос. Дурным тоном считалось, если она, без соответствующей реакции слушателей, смеялась над своей историей или передразнивала манеры и жесты лиц, о которых рассказывала.

При общении со сверстниками барышне дозволялось и вступать в споры: “Спорить также девица может только шутя, для возбуждения живости разговора, так как он весьма скоро бы прекращался, если бы все гости были постоянно одного мнения с рассказчиком, но самый этот спор должен всегда сопровождаться улыбкою, и очень смешны те молодые женщины, которые, опровергая какое-нибудь известие, позволяют себе горячиться, говорят громко, отрывисто, захлёбываются от явного желания убедить присутствующих в ложности слышанного, и в торопливости, не давая себе времени обдумывать свои слова, они нередко произносят резкие вещи, о которых впоследствии сами сожалеют”.

Кроме безусловного следования этикету, соблюдение этого правила благотворно влияло на внешность барышни:

“Если бы в эти минуты азарта такие девушки могли бы видеть себя в зеркале, мы уверены, что не только упал бы их геройский пыл, но и в будущем они сделались бы осторожнее, убеждаясь, как подобное напряжение мускулов безобразит самое хорошенькое лицо, изменяя даже его цвет, отнимая у кожи ту атласистую гладкость, которая есть одно из лучших преимуществ молодости”.

На дружеских вечеринках выбор увеселений входил в обязанность хозяйки дома. Она предлагала то или другое развлечение, а гости, проявляя учтивость, подчинялись, даже если не всем нравилось, например, принимать участие в играх. Впрочем, и от гостей требовалось проявить активность, если, скажем, собравшиеся решили устроить танцы. В данном случае этикет предписывал молодым людям, умевшим играть на фортепиано, сесть за инструмент, опередив барышень. В свою очередь девушки обязаны были их подменить, чтобы все могли повеселиться.

В отличие от балов, на вечеринках кавалеры могли танцевать со всеми барышнями без разбора. Хозяйка дома обычно вмешивалась, если замечала, что какая-нибудь девушка давно не танцует и заскучала. В таком случае она потихоньку просила хорошо ей знакомого молодого человека пригласить на танец девицу, оказавшуюся без кавалера. Даже если у юноши эта просьба не вызвала восторга, он был должен её выполнить, не показав и тени неудовольствия.

Угощение гостей на вечеринках происходило максимально просто: на стол перед диваном ставили десерт, и хозяйка приглашала всех лакомиться без церемоний. От неё не требовалось особо потчевать собравшихся, так как эта давняя московская традиция к началу XX века считалась проявлением дурного тона. Единственное, что предписывал хозяйке этикет, — она “не должна приказывать прислуге уносить поднос с десертом, пока гости не разойдутся”.

Гостям же было адресован один совет: подходя к столу с угощением, не забывать о приличиях:

“Само собою разумеется, что ни один благовоспитанный человек не станет во зло употреблять права брать лакомства и фрукты вольною рукою”.

Последнее, что требовалось участников вечеринки, — это продемонстрировать уважение и признательность хозяйке дома:

“Повторяем ещё раз, что как бы ни было приятно и весело вам в доме, в котором вы находитесь в качестве гостя, и как бы вы ни увлекались свойственною молодым людям весёлостью, не забывайте никогда, что хозяева имеют неотъемлемое право на ваше внимание предпочтительно перед всеми гостями и старайтесь в течение вечера найти хотя бы несколько минут, чтобы сказать им что-нибудь приятное и лестное”.

Итак, в дореволюционной Москве барышни могли учиться, если у них было такое желание; при определённых жизненных обстоятельствах — работать, чтобы добыть хлеб насущный; девушкам из семей, относившихся к “достаточным классам”, дозволялось просто вести светскую жизнь. Однако все они должны были в повседневной жизни соблюдать правила хорошего тона, даже если это ограничивало свободу их поведения. Таковы были господствовавшие тогда нормы морали, отступление от которых считалось открытым вызовом всему обществу.

АЛЕКСАНДР БАВИЛЬЦИН

УПРАВЛЯТЬ ГОРОДОМ ВМЕСТЕ

Новая концепция Правительства Москвы

Гражданское общество и власть, население и лидеры – их отношения сегодня оказались в центре политического процесса. От качества и интенсивности связей “верхов” и “низов” (всё меньше склонных считать себя низами) зависит работа механизмов управления и успешность решения встающих перед всеми нами задач.

Москва, как и подобает столице, мегаполису XXI века, и в этой ключевой сфере предлагает новые методы и новые возможности, существенно повышающие качество мер, принимаемых руководством города и учитывающих инициативы граждан. Для этой цели специалистами мэрии разработана программа “Информационный город”. Она призвана повысить эффективность и прозрачность городского управления, в том числе и через использование мобильных и интернет-площадок и приложений.

Городские порталы

За минувший год на портале “Наш город” было зарегистрировано более 34 тыс. пользователей и 780 тыс. посещений. На портале заработало 11 различных сервисов. Было оставлено около 15 тыс. комментариев.

От 50 до 60% обращений на портал “Наш город” составляют жалобы на текущее содержание дворов. С мая по сентябрь количество таких жалоб увеличилось в 2,5 раза.

Все 810 обращений по вопросу текущего содержания дворов были обработаны в регламентные сроки (восемь дней), 77% из них были признаны и 45% устранены в течение указанного срока.

На 90% увеличилось количество жалоб по капитальному ремонту. В сфере капитального ремонта 60% замечаний связаны с работами по ремонту подъездов, 30–40% из них устраняются в течение восьми дней. В целом количество комментариев по этому вопросу выросло в 3,5 раза.

Относительно нестационарных торговых объектов наблюдается падение числа обращений. Две трети жалоб поступают в связи с киосками и ларьками, не включенными в схему размещения нестационарных объектов торговли, 56% таких объектов убираются сразу.

По данным за сентябрь, 63% жалоб, поступающих на портал “Наш город”, признаются объективными, что в 5 раз больше по сравнению с письменными обращениями граждан. 35% обращений обрабатывается в течение восьми дней.

“Портал пользуется популярностью, и его воспринимают как рабочий инструмент, – говорит Анастасия Ракова, заместитель мэра, руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы. – По большому счету, это новая философия управления городом. Мы действительно стараемся создать систему, при которой его житель фактически работает на себя. Потому что в противном случае власть не сможет эффективно действовать. И мы это прекрасно осознаем. Очевидно, что в таком огромном мегаполисе, как Москва, крайне сложно реализовать управленческое решение без участия жителей. Грубо говоря, мы с вами не можем до конца быть объективны, решая проблему третьего человека. Только он сам знает о тех нюансах, которые следует реализовать.

Да, мы можем проследить за расходом средств. Но решить за человека, как должен выглядеть, к примеру, его подъезд, согласитесь, неправильно. К тому же невозможно проследить за работой всех подрядчиков.

Именно для этих целей – удовлетворения запросов граждан и контроля работы различных структур – власть старается стать максимально открытой. Наша задача – включить жителей в управление городом, наладить постоянный и полный контроль за работой чиновников. Без этого двигаться вперед просто нельзя”.

Популярны у москвичей и другие городские порталы. Портал “Дороги Москвы” работает в течение 10 месяцев. За это время на нем было опубликовано около 11 тыс. комментариев, а общее количество посещений составило около 300 тыс.

90% жалоб, поступающих на портал, признаются объективными, 42% нарушений устраняются сразу, а по 58% указывается срок устранения.

Большие надежды связаны с порталом “Дома Москвы”. В интервью газете “Вечерняя Москва” Анастасия Ракова утверждает: “Открытием портала мы продолжаем работу по запуску подобных интерактивных сервисов. Их функционал направлен как на открытие информации о деятельности органов власти и всей бюджетной сети, так в некоторых случаях (на примере “Дома Москвы”) – на раскрытие информации и о деятельности частных компаний. При этом нужно понимать, что тематику для того или иного портала мы, естественно, выбираем не просто так. Прежде чем запустить интернет-площадку, проводятся соцопросы, которые и показывают, какие темы у граждан вызывают наибольший отклик. Так вот вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы управления домов всегда входят в пятерку лидеров интересов горожан. Люди жалуются, что элементарно не имеют даже первичной информации о том, какие работы проводятся в их домах, каков их график, когда они закончатся, наконец, чем именно в тот или иной период времени занимается управляющая компания.

В итоге что получают горожане? Первое, мы открываем информацию, в которой житель имеет потребность. Второе, даем возможность обратить внимание на конкретные недоработки, которые связаны либо с содержанием, либо с управлением дома.

Адресный перечень всех многоквартирных домов Москвы – это более 20 тысяч домов. По каждому из них житель может узнать: год постройки, к какому типу серии он относится, в каком состоянии материалы, сколько этажей, количество лифтов, объемы жилого и нежилого фонда. То есть все данные по вашему конкретному дому. Открываем информацию и об управляющей компании – адрес, телефоны, сколько домов обслуживает, ее финансовое состояние. Теперь легко можно будет узнать, как эта компания управляет именно вашим домом. Допустим, какие плановые работы намечены на предстоящий год, их стоимость. И еще раз подчеркну, все предельно конкретизировано: не сколько в общем планируется потратить, а какое количество средств пойдет непосредственно на ваш дом.

Человек получает возможность узнать об обязательствах эксплуатирующей организации и, главное, проконтролировать их выполнение.

По постановлению федерального правительства управляющие компании обязаны раскрывать информацию. До последнего времени все это находилось в разрозненном виде. То есть где-то там что-то опубликовали... Нужно было приложить довольно много усилий, чтобы наконец докопаться хотя бы до номера телефона управляющей компании. Говорить о возможности граждан сравнить ее с конкурентами и, соответственно, сделать выбор в пользу лучшей, даже не приходилось.

На сбор всей необходимой информации о каждой из компаний, ТСЖ и ЖСК у нас ушел почти год. Прделана, без преувеличения, огромная работа. Сегодня мэрия заключила соглашение, по которому компании обязуются не только опубликовать информацию на портале “Дома Москвы”, но и постоянно ее актуализировать”.

На сайте есть специальный классификатор жалоб. Там целый перечень работ, по которым житель дома и, по сути, наниматель управляющей компании может дать свою оценку. От уборки в подъезде до его освещения, от работы лифтов и до протечки крыши. Это что касается содержания. Есть возможность следить и за управлением дома – правомерно или нет компания работает на конкретном участке, есть ли нарушения порядка пользования общим имуществом и так далее.

Главное, что жалобы не просто собираются, а обрабатываются по существу в максимально короткие сроки. Сначала сообщение попадает в единую службу модерации, независимую от любой заинтересованной структуры. Далее жалоба направляется непосредственно в управляющую компанию. Если это компания с государственным участием, то документ получает и соответствующая управа. Так или иначе, для всех управляющих компаний, и для ТСЖ, и для ЖСК открыты “личные кабинеты”, в которых они могут ответить на жалобу. На ответ отводится восемь дней. Если вопрос по существу за это время решить не удастся, то они берут на себя другой срок. Однако в любом случае определяется дата, когда работы должны быть выполнены и должен быть представлен окончательный ответ.

Копии жалоб в отношении частных ТСЖ и ЖСК отправляются в Мосжилинспекцию. Они, со своей стороны, являются хорошим дополнительным стимулом для управляющей компании. Куда выгоднее решить вопрос самим, нежели дожидаться прихода структуры, которая имеет возможность наложить довольно существенный штраф.

В итоге будет составлен рейтинг управляющих компаний, и жители, осваиваясь на нем, уже увидят наглядно, кто и как работает.

Проект “Мой офис госуслуг”

Как улучшить работу столичных многофункциональных центров (МФЦ), и что еще можно сделать для посетителей? Эти вопросы Сергей Собянин обсудил 27 августа 2014 года на встрече с активистами проекта “Мой офис госуслуг”. В начале лета дискуссия проходила в интернете. Ее участниками стали тысячи москвичей. В течение 1,5 месяца горожане предлагали собственные идеи, как можно усовершенствовать систему обслуживания, что позаимствовать из международного опыта, и как сделать процесс получения документов и справок проще. Участниками проекта было высказано более 5 тыс. идей и предложений. 25 лучших из них были отобраны для дальнейшей реализации на практике.

Каждый день в МФЦ обращаются более 40 тыс. человек. Среди новшеств обсуждается возможность появления в холлах Wi-Fi и даже доставка документов на дом.

Под одной крышей можно подать документы на загранпаспорт, записать ребенка в спортивную секцию, оформить собственность. 151 услуга доступна москвичам, вне зависимости от места проживания.

Сегодня в Москве открыто около 96 МФЦ, они выдают 248 видов документов, как городских, так и федеральных органов власти. На самые популярные услуги, например, регистрацию имущественных прав, открыта

предварительная запись. Впервые в России столичные центры работают без выходных. Недавно список услуг пополнился: теперь можно одновременно оформить все документы при рождении ребенка. В пакет входит свидетельство о рождении, полис ОМС, страховое свидетельство, регистрация по месту жительства, а также бумаги на материнский капитал.

Всего в городе работают более 3700 окон приема, более 4000 сотрудников. За 2013 год оказано 12 миллионов услуг, за первую половину 2014 года оказано более 7 миллионов услуг.

Москвичей попросили выбрать, чем стоит обеспечить центры госуслуг столицы. Большинство опрошенных посчитали, что необходимы бланки заявлений с максимально заполненными полями (30%), еще 20,5% проголосовали за размещение на стендах в залах графиков средней загрузки МФЦ по дням недели и часам, которые бы помогли сориентироваться, когда удобнее прийти за услугами. Почти 16% опрошенных предложили выпустить брошюры с полной информацией о центрах госуслуг, 14% – установить розетки для подзарядки мобильных устройств в зале, 4% – оборудовать велопарковки у каждого МФЦ.

Как отметили в ГБУ МФЦ, в сентябре на стендах появятся графики загрузки МФЦ. Брошюры для посетителей поступят до конца этого года, а розетки сделают в начале 2015 года.

Приятная новость для любителей езды на велосипедах: к концу сентября велопарковки появятся у всех центров госуслуг. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения МФЦ бланками заявлений с максимально заполненными полями.

Еще один вопрос касался получения документов. Почти 87% опрошенных решили, что стоит ввести платную курьерскую доставку готовых документов. А 78% респондентов поддержали идею об оснащении точками доступа Wi-Fi в МФЦ. Это предложение будет реализовано Департаментом информационных технологий к концу сентября. А идея о платной курьерской доставке сейчас тщательно прорабатывается специалистами.

47% пользователей мобильного приложения “Активный гражданин” ответили “да” на вопрос, нужен ли в МФЦ сотрудник, работающий в зале и оказывающий консультации по необходимому перечню документов. Почти 25% опрошенных решили, что он мог бы проверять комплектность документов, еще 22% уверены: он должен консультировать по вопросам оказания услуг.

Сейчас такие консультанты появились в МФЦ района Покровское-Стрешнево, а дальнейшем планируется, что такие специалисты будут работать во всех столичных центрах госуслуг.

По мнению мэра Москвы С. Собянина, стандарты качества обслуживания посетителей и правила поведения сотрудников многофункциональных центров предоставления госуслуг должны быть выше стандартов клиентов в коммерческих структурах. Свод правил будет обсуждаться с помощью системы электронных референдумов “Активный гражданин”.

“Мы просили активно подключиться к этому и самих сотрудников МФЦ, которые оказывают большую часть государственных услуг в Москве. Если взять все посещения людьми органов госвласти, то их было бы гораздо меньше, чем поток людей, которые каждый день приходят в многофункциональные центры”, – отметил Собянин.

“Мой офис госуслуг” – это третий краудсорсинг-проект, реализованный правительством Москвы с момента запуска соответствующей интернет-площадки. Ранее были реализованы проекты по улучшению работы портала “Наш город” и развитию наземного общественного транспорта “Наши маршруты”.

“В этом году объем услуг достигнет 15 млн в год, – уверен мэр Москвы. – Это, конечно, огромный объем – полмиллиона посетителей в месяц. Я думаю, это будет самая-самая крупная сервисная система не только в Москве, но и в мире”.

МФЦ должен быть центром, куда обращаются, когда человек не знает, как получить по-другому услугу: в электронном виде, по телефону и так далее. Поэтому задача – структурировать, систематизировать, выработать но-

вый стиль общения с людьми и дать возможность дальше развивать другие электронные услуги.

В МФЦ Тимирязевского района недавно запустили проект с инфографикой: на большом экране ликбез в картинках по пользованию услугами МФЦ. Обучение местных жителей происходит и в конференц-залах. По четвергам им рассказывают, как формируется единый платежный документ. Такие мастер-классы, говорят, очень востребованны.

Как утверждает руководитель МФЦ района Тимирязевский С. Якунин, у населения много вопросов по жилищно-коммунальным услугам. Люди интересуются, как была рассчитана та или иная услуга – за потребление горячей/холодной воды и пр. Мы объясняем, как и на основании каких документов эти расчеты проводятся, потому что многие люди вообще не знают порядок расчетов. Они видят конечную цифру, и она не всегда их устраивает. Мы пытаемся снять эту тревожную, так скажем, ноточку.

Москвичам теперь удобнее оплачивать различные услуги, оказываемые им государственными бюджетными учреждениями города. Как сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, в конце августа правительством Москвы утверждены новые правила, по которым жителям столицы при их оплате больше не потребуется заполнять никаких квитанций. Вместо бумажки, которую многие часто боятся потерять или даже теряют, жителям столицы достаточно прийти в банк и предъявить свой паспорт. Если на вас выписан какой-то платеж, новая платежная система мгновенно покажет ваш долг.

“Особенно это удобно родителям детей, которые ходят в различные платные кружки и секции, – рассказал Артем Ермолаев. – Дети, которые развивают в них свои дарования, пользуются услугами как раз бюджетных учреждений. И в каждом из них до сих пор вручали ребенку квитанцию на оплату. Он нес ее домой, и дальше кто-то из родителей должен был отправиться с ней в банк. Если папа или мама забыли квитанцию взять с собой, то платеж повисал, сроки оплаты нарушались, создавая конфликтную ситуацию. Теперь же родители безо всяких документов могут зайти в любой из 16 самых крупных банков Москвы и в любой момент оплатить занятия своего сына или дочки.

То же самое с оплатой различных штрафов. За неоплаченную парковку, нарушение Правил дорожного движения. Зашел в банк, предъявил паспорт – и плати. Не надо ждать, когда тебе пришлют счет, и опасаться, не потерялся ли он по почте”.

Пока, по словам Артема Ермолаева, к новой платежной системе подключена первая тысяча бюджетных учреждений. И уже сегодня их услуги можно оплатить прямо в банке, предъявив лишь паспорт.

В течение года-полутора, пообещал он, к ней будут подключены и все остальные 6 тысяч бюджетных учреждений, ведущих расчеты с горожанами в столице.

Охотно подключаются к новшеству и московские благотворительные фонды. Благодаря этому москвичам, которые хотят оказать какому-то из них материальную поддержку, больше не нужно искать реквизиты, расчетный счет и также заполнять квитанцию. Достаточно в банке назвать фонд и сумму, внести деньги и получить чек.

Узнать, какие именно государственные бюджетные учреждения и банки уже подключены к новой платежной системе, можно на портале госуслуг Москвы: pgu.mos.ru.

“Активный гражданин”

Мобильное приложение “Активный гражданин” для проведения голосований среди горожан было запущено 21 мая. Каждую неделю мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

С 24 июня принимать участие в электронных референдумах по важным для города темам в системе “Активный гражданин” смогут не только обладатели смартфонов, но и все жители Москвы – пользователи интернета – с помощью сайта ag.mos.ru. Интернет в Москве охватывает свыше 70% жителей от 14 до 70 лет, а значит, участвовать в голосовании имеют возможность почти все жители столицы.

В июле возможность участвовать в голосовании появилась и у тех, кто никогда не пользовался смартфоном или интернетом, – это можно сделать в многофункциональных центрах.

Проект “Активный гражданин” начался с инициативы Сергея Собянина, рассказывает Артём Ермолаев, руководитель Департамента информационных технологий. Сначала в качестве способа общения с жителями была выбрана электронная почта. Все начиналось с поздравлений с Новым годом, а затем мэр стал задавать вопросы по поводу переименования ВВЦ в ВДНХ и готовности горожан напрямую участвовать в жизни города. Отклик оказался очень высоким: 90 процентов опрошенных подтвердили, что готовы к более активному участию в жизни города.

Прямых аналогов подобного сервиса в мире не существует. Похожее решение использовалось в Лондоне, чтобы мотивировать людей не пользоваться общественным транспортом в час пик. За изменение графика перемещений по городу и поездке в часы, когда транспортная сеть менее загружена, люди получали бонусы. Похожий метод применялся на одном из экологических проектов в Австралии. Но примеров, когда глава мегаполиса выходил бы на прямой диалог с жителями, в мировой практике больше не существует.

Мы предлагаем на интерактивное обсуждение только те вопросы, которые можно реализовать. Наша задача – сделать Москву городом комфортным и удобным для москвичей. А для этого нужно учитывать пожелания людей.

В системе “Активный гражданин” зарегистрировано более 270 тысяч пользователей. Столичные власти предлагают жителям участвовать в различных опросах, а результаты голосования приходят горожанам в виде уведомлений.

Кружка с эмблемой “Активный гражданин” – именно такой приз является самым популярным у москвичей.

– Ресурс популярен, – считает Артём Ермолаев. – На сегодняшний момент действуют различные способы голосования, что облегчает доступ москвичей к portalу и дает возможность решать, каким будет наш город.

На портале “Активный гражданин” проведено свыше 3,7 миллиона опросов, касающихся жизни Москвы. Как благоустроить улицу, какой цвет трибун на стадионе “Лужники” выбрать, продлить ли работу столичных музеев или поликлиник. Тем много, и горожане на них откликаются. Несмотря на то, что система электронных референдумов существует менее полугодом, результаты виртуальных опросов подтверждаются реальными действиями властей.

В приложении “Активный гражданин” проводился опрос о целесообразности снижения максимальной скорости движения автотранспорта в пределах Бульварного кольца до 40 километров в час. Он стал одним из самых обсуждаемых с момента старта проекта. В нем приняли участие около 140 тысяч человек. Мнения разделились: 53 процента проголосовали против снижения скорости в центре города, 19,5 процента респондентов не определились с ответом. 27,5 процента – высказались “за” ограничение.

С учетом мнения большинства москвичей, участвовавших в электронном референдуме, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение сохранить в пределах Бульварного кольца существующую максимальную скорость до 60 километров в час.

В столице появились новые маршруты, которые были одобрены участниками проекта “Активный гражданин”. Четыре новых направления облегчат перемещение жителей столицы от Рижского вокзала до Трубной площади,

от Щелковского шоссе к МКАД и станции метро “Медведково”, между пятым микрорайоном Солнцево и станцией подземки “Кунцевская”, между станциями “Нагатинская” и “Каширская”.

Пользователи приложения “Активный гражданин” выбрали программу праздничных мероприятий на День города. Более ста тысяч человек выбрали из десяти вариантов мероприятий, а также предлагали свои идеи. По итогам опроса первое место занял “Фестиваль фейерверков”. Яркое впечатляющее шоу хотели бы увидеть 21,5 процента участников голосования. “Активный гражданин” свидетельствует: горожане любят свой город и интересуются его историей, ведь на втором месте опроса – Общегородской день экскурсий с историческими квестами по Москве. Третье место по популярности занял “Детский День города”.

Во время проведения фестиваля “Московское варенье” был организован опрос по работе площадок. Жители решили, что время работы площадок должно быть продлено до 22 часов вечера. За такое решение высказались более половины респондентов. Фестиваль вызвал большой интерес у горожан. Однако 20 процентов участников опроса признались, что хотели бы посетить праздник, но не имеют такой возможности из-за того, что часы проведения фестиваля совпадают с их рабочим графиком. По результатам опроса в приложении время работы продлили.

“Активным гражданам” предложили определить, какие деревья и кустарники они хотели бы видеть у себя во дворах. Листовки с результатами голосования можно увидеть на подъездах домов.

Первыми озеленят придомовые территории в Восточном, Западном, Северо-Западном, Северо-Восточном и Зеленоградском административных округах. Высадка саженцев в рамках проекта “Активный гражданин” начнется в середине сентября.

Каждую неделю к portalу “Активный гражданин” присоединяются около 15 тысяч пользователей.

Согласно статистике, самой активной категорией пользователей портала являются горожане в возрасте от 24 до 35 лет.

Бывают опросы, по результатам которых 70–80 процентов респондентов придерживаются единой точки зрения. Например, при обсуждении записи в детский сад 83 процента посчитали, что у москвичей должно быть преимущественное право, поскольку желающих из других регионов немало. Также горожане единогласно поддерживают развитие малоформатных видов торговли и транспортные инициативы о введении новых маршрутов.

Встречаются и голосования, результаты которых откровенно удивляют экспертов. Одно из них – о переводе зимнего и летнего времени. Большинство поддержало идею, заложенную в законопроекте, но при этом отрыв лидирующего ответа от других был незначительным: 30, 33 и 37 процентов. Одни голосовали за перевод часов, потому что так удобнее смотреть футбол, кому-то приятнее просыпаться зимой позднее, а третьи хотят оставить все как есть, “потому что уже привыкли”.

Несмотря на то что активнее всех голосуют люди среднего возраста, пенсионеры составляют значительную долю участников опросов.

“Недавно в поликлинике я была свидетелем беседы двух пенсионерок. Одна из них рассказывала о том, как прошла курсы компьютерной грамотности в Центре социального обслуживания и теперь помогает соседям посмотреть счета на оплату ЖКХ”, – рассказывает куратор проекта “Активный гражданин” Елена Шинкарук, начальник Контрольного управления мэра и Правительства Москвы.

На портале уже появляются новые функции, которые позволяют горожанам получить бонусы за посещение мероприятий. Баллы начисляются за введенные на сайте промокоды, которые встречаются в СМИ, соцсетях и на мероприятиях.

Активно проходило голосование по теме “Школьная жизнь” в рамках проекта “Активный гражданин”. Респондентам предлагалось высказать свое мнение по вопросам организации учебного процесса: объему домашних заданий, возможности предоставлять учащимся неограниченный доступ в интернет на уроках, открытию в школах групп дополнительного образования.

Что касается вопроса об объеме домашних заданий, то тут мнения разделились практически пополам: одни считают, что количество задаваемого учащимся велико и его надо сократить, другие предлагают этот объем сохранить. Почти 86 процентов респондентов на вопрос “Нужны ли в группах продленного дня в школах дополнительные развивающие и образовательные занятия для детей?” ответили положительно. По словам Елены Шинкарук, видимо, люди считают, что любое свободное время нужно проводить полезно, поэтому во время продленки следует заниматься с детьми развивающими играми. Еще один вопрос касался установления сроков школьных каникул. Большинство москвичей заявили, что эти сроки должны быть едиными в городе, чтобы родители и городские власти могли заранее спланировать досуг детей во время каникул.

Достаточно интересно разделились мнения респондентов, отвечающих на вопрос “Нужно ли ограничить доступ в интернет в школах?”. Треть опрошенных заявили, что нужно установить фильтр для “взрослых” сайтов. Еще одна треть посчитала необходимым ограничить все, кроме образовательных ресурсов. Остальные предложили либо не вводить ограничения, либо закрыть доступ в социальные сети и к torrent-трекерам.

“Проект “Активный гражданин” рассчитан на долгое время, поэтому есть вопросы, которые в первый опрос не были заданы, – уточнил руководитель Департамента образования города Исаак Калина. – Но многие школы сами во многом определяют свою работу. Это касается, в том числе, и выбора между пятидневной или шестидневной учебной неделей. С нового учебного года 70 процентов школ города для себя это решение приняли и перешли на пятидневную неделю. Остальные перешли на смешанную систему работы – младшие и старшие классы в субботу не учатся, а средние – учатся. До нового года мы посмотрим, как эта система работает. А уже потом, если возникнет такая необходимость, вынесем этот вопрос на обсуждение”.

Как же власти города планируют применять на практике результаты опросов? Полученные данные будут донесены до органа исполнительной власти, который данный мониторинг инициировал. Через 7–10 дней этот орган должен представить проект мер по реализации пожеланий граждан.

“Так получилось, что вопрос объема домашних заданий мы начали обсуждать еще до того, как он был вынесен на общественное обсуждение в рамках проекта “Активный гражданин”, – сказал Исаак Калина. – Сейчас методические кабинеты серьезно работают над повышением эффективности уроков. Дело ведь в том, что большой объем домашних заданий – это следствие неэффективных уроков”.

В сентябре проект “Активный гражданин” планирует запустить опрос на тему “Какой формат школьных каникул вам нравится?”. Будут предложены три варианта проведения каникул.

Москвичи поддерживают снос торговых ларьков и палаток на городских улицах. Такой вывод делают столичные власти по результатам очередного опроса. Его проводили среди участников проекта мэрии “Активный гражданин”. За то, чтобы убрать ларьки, высказались 80% опрошенных.

За три года с улиц столицы исчезли 4 тысячи нелегальных палаток. С подачи активных граждан в подземных переходах в ближайшее время появятся магазины шаговой доступности одной из крупных международных розничных сетей.

Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг г. Москвы, подвел итог: “Москвичи предпочитают видеть хорошую, нормальную архитектуру, чтобы палатки не стояли и не заужали тротуары, пешеходные пути, в общем-то, размещались там, где они действительно нужны жителям, а не там, где они выгодны предпринимательскому сообществу”.

Портал открытых данных

Популярный среди горожан “Портал открытых данных” создавался не только как универсальный справочник с широким спектром охвата тем, но и как уникальная площадка для разработчиков мобильных и web-прило-

жений. Даже “Яндекс.Такси” использует данные портала, чтобы получить информацию о наличии лицензии у таксиста, прежде чем впустить его в систему. Спектр приложений, созданных на базе опубликованных на портале данных, широк. С их помощью можно проложить веломаршрут, найти на карте социальные магазины.

Более того, портал является серьезным подспорьем для разработчиков приложений еще и потому, что обеспечивает их информационной поддержкой. Сделать хороший продукт не проблема, а вот донести его до пользователя тяжело. Портал же дает им хорошую возможность “засветиться”.

Местное самоуправление в Москве

В рамках существенной демократизации управления, составляющей суть новой концепции руководства Москвы, расширяются полномочия муниципальных депутатов.

С 1 августа 2012 года вступил в силу новый закон г. Москвы, расширяющий полномочия муниципальных депутатов.

Полномочия, переданные депутатам:

1. В сфере благоустройства и ЖКХ:

- утверждение перечней работ по благоустройству дворов, парков и скверов, по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов;
- работа в комиссиях, осуществляющих приемку работ;
- заслушивание отчета о текущей работе по содержанию дома с учетом обращения жителей руководителя УК, и по результатам – обращение в Мосжилинспекцию или префектуру для принятия мер.

2. В сфере строительства:

- согласование строительства объектов местного значения общей площадью менее 1500 кв. м и гаражей любой площади;
- согласование схемы размещения некапитальных объектов.

3. В сфере работы с кадрами:

- обсуждение кандидатуры на замещение должности главы управы (представленные префектом). Чтобы кандидатура не была принята, против должны высказаться не менее 2/3 депутатов;
- ежегодное заслушивание доклада главы управы, руководителя ГУ ИС, руководителя МФЦ, главного врача. По итогам доклада депутаты могут обратиться к префекту или в Департамент здравоохранения (главврач);
- инициирование отставки главы управы, если за это решение проголосует 2/3 депутатов.

28 августа 2012 года на заседании правительства Москвы были приняты поправки в ряд постановлений правительства Москвы, смысл которых заключается в определении механизма взаимодействия между депутатами и исполнительной властью.

В принятом ранее законе конкретные механизмы реализации переданных полномочий не были прописаны. Что, при возможном недобросовестном отношении представителей исполнительной власти позволяло бы просто игнорировать решения депутатов местного самоуправления. Это обстоятельство вызывало критику ряда депутатов. В конце августа конкретные механизмы определены. Они разрабатывались с учетом мнения самих депутатов МСУ.

Основные новации:

- указан четкий срок принятия решения о согласовании (не согласовании), достаточный для тщательного изучения всех документов;
- дан четкий перечень документов, которые должны быть предоставлены органами исполнительной власти депутатам, чтобы они могли составить мнение о необходимости согласования (не согласования) определенных работ.

Вот как оценили нововведение сами депутаты.

ЛЕОНИД ОЛЬШАНСКИЙ, депутат муниципального Собрания Внутригородского муниципального образования (ВМО) Тропарево-Никулино:

Депутатам было разъяснено, что они могут выражать недоверие чиновникам вплоть до главы управы района, и положительный эффект мы увидели на второй день! Так, вчера не давали рабочую документацию, а сегодня уже за нами бегут со всеми документами... Вчера глава управы был занят, а сегодня он с 8-ми до 10-ти вечера ждет депутатов. Вчера он был в воскресный день на даче, а сегодня он уже вместе с нами объезжает дворы и обсуждает благоустройство. Если работать добросовестно, то депутаты теперь не успевают реализовывать все те полномочия, которые на них возложены.

Теперь, по каждой дороге, по каждой вырубленной березке мнение муниципального депутата становится более весомым – для чего и создавалась эта реформа.

НИКИТА ЯНКОВОЙ, депутат муниципального Собрания ВМО Останкинское:

И до принятия данного закона я, как активный депутат, имел влияние в своем районе, как и любой активный гражданин, который может влиять на ситуацию в своем городе.

Новые полномочия добавили, скорее, больше проблем и забот, контрольных функций...

... конечно, новый закон возлагает большую ответственность именно на инициативных депутатов. Многое зависит от личных качеств человека, депутат должен быть активным и инициативным.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ, руководитель ВМО Ростокино:

Закон, безусловно, нельзя назвать формальным, он действенный, все зависит от того, как построят работу сами депутаты – насколько эффективно организуют свою деятельность, насколько ответственно будут относиться к полученным полномочиям. Конечно, ответственность возросла, забот прибавилось – объем работы значительный, но реальный!

СЕРГЕЙ КУЛИКОВ, руководитель ВМО Тропарево-Никулино:

С 2004 года депутаты постоянно выступали о необходимости расширения полномочий местного самоуправления. И вот с приходом нового мэра Москвы начался реальный процесс по перераспределению полномочий от города на местный уровень. Именно сейчас мы получили реальную возможность принимать решения по самым актуальным вопросам развития муниципальных округов. Теперь мы можем как поддержать тот или иной проект строительства, благоустройства и развития потребительского рынка территории, так и не согласовать его в интересах жителей. И без нашего согласия такой проект реализован не будет. Несомненно, для меня лично главным достижением этих изменений станет не только повышение влияния депутатского корпуса, но и расширение возможностей жителей по участию в принятии управленческих решений по развитию районов через своих избранных.

Мы уже сейчас работаем по новому закону, так, советом депутатов были рассмотрены проекты благоустройства территории района, а местная администрация по инициативе жителей в настоящее время инициирует общее собрание жильцов одного из ЖСК. Главное же, что передача дополнительных полномочий на местный уровень только началась, и, чтобы этот процесс продолжался дальше, необходимо не создавать истерию в прессе, а приступить к эффективной реализации того, что уже на сегодняшний день передано.

ИВАН ГРОМОВ, руководитель ВМО Ивановское:

Безусловно, влияния и возможностей у муниципальных депутатов в связи с расширением полномочий прибавилось. Поэтому меня удивляет, что есть мнение о формальном расширении полномочий, – на мой взгляд, это

существенный шаг вперед. Ведь дело даже не в самих полномочиях, а в их эффективной реализации. Если депутаты ответственно и по-деловому относятся к данным полномочиям, то весомость депутатов у себя в районе и их возможность влиять на жизнь в районе точно возрастет. Было бы желание работать, а поле для деятельности найдется всегда.

Я избран депутатом третий раз, и когда впервые решил избраться, прекрасно знал, на что шел. Знал, что нет ни помощников, ни зарплаты и т. д. И каждый, кто избирался, знал, на что подписывается, должен был понимать, что ты тем самым берешь на себя большую ответственность. А что касается слишком большого круга обязанностей, свалившихся на депутатов, то, конечно, ответственность депутатов сильно возрастает. Но депутатство дело добровольное, хочешь реально улучшить жизнь в районе, в котором живешь или по работе проводишь основную часть своего времени, так бери на себя ответственность и работай, не готов – уходи. Может, кто-то хотел, чтобы депутатам дали “дубинку”, с которой можно ходить по району и устанавливать свои порядки, по моему мнению, это не правильно. А возможностей для работы на население нам дали предостаточно, только успевай.

* * *

Подводя итог, можно сказать: в Москве есть множество инструментов, используя которые гражданское общество может повлиять на решение тех или иных вопросов в жизни города. Главное – это активная жизненная позиция и желание изменить свою жизнь к лучшему.



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

Ты решаешь!
Электронный референдум
ag.mos.ru

АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН

Download from
Windows Phone Store

ЗАПУСКАЕТСЯ НА
Google play

ЗАПУСКАЕТСЯ НА
App Store

© 2014 Москоминформ

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

КРЕСТЬЯНЕ И ДВОРЯНЕ

Когда говорят “русский народ”, я всегда думаю “русский крестьянин”. Да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял 80% российского народонаселения! Я, право, не знаю, кто он, богоносец ли — по Достоевскому, или свинья — по Горькому. Я знаю только, что я ему бесконечно много должен: ел его хлеб, писал и думал на его чудесном языке, и за всё это не дал ему ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но какая же это любовь без всякой надежды на взаимность?..

Александр Куприн

Юрию Байбородину посвящаю

Пролог

Испокон православного русского века род в некоем колене являл молитвенника, Богом отсуленного: церковного иерея, смиренного инока — насельника святой обители, христорадного юрода, блаженного пророка, а ино и святителя, страстотерпца, праведника, кои в дольном и горнем свете замаливали грехи своей земной родовой, чая спасения и воскрешения из мёртвых, когда в ослепительном сиянии, в громе и молнии явится Творец на Страшное Судище судить живых и мёртвых.

Неизбежно рождался в некоем колене и выразитель рода, а по дару Божию, и — русского народа: вещий боян-былинщик, изустный и письменный сказитель, художник, вместивший в душу судьбу и горную мудрость родовой и по силе искусного дарования их запечатлевший. Вот и я сподобился в очерках, повестях и сказах, сплетая былицы с небылицами, любовно изукрашивая, запечатлеть род в материнских и отеческих ветвях, но, увы, лишь бегло ведомых да живые зримых. А ныне худо-бедно дошёл до ума очерк о родове, давнишний, с летами выросший до очеркового повествования и — не столь о роде, сколь о народе, его исторической судьбе, его сословной брани и любви.

Ветлужский князь Никита Байборodin

Словно царственный листвень, подточенный инославными и доморощенными короедями, со вселенским гулом рухнула великодержавная рабоче-крестьянская власть, и в российской “образованщине”, наемни бранящей самодержавие, пенисто взыграла монархическая кровь; ошалело кинулись сыны рабочих и крестьян откапывать родовые и сословные деревья, жадно нашаривая в толще веков дворянские корни. И редкие уже, как при Советах, гордились крестьянскими, а уж тем паче — рабочими корнями.

Лишь народные писатели, подобные Распутину, Белову, остались верны сельскому роду-племени, словно свыше им было велено лелеять и оберегать в душе родовую память. Для того и явлены в русский мир, для того и отсулен дар сказовый, чтобы запечатлеть на века народную жизнь в её мучительных раздумьях, неизреченных горестях, отчаянных падениях и величавых духовных и душевных взлётах. Посреди российского окаянства, словно оттепель в крещенскую стужу, — родовые хроники народных писателей, в коих не зарисовано подлинно и кропотливо фамильное древо, но с сыновней и отеческой любовью, песенно и живописно запечатлелась жизнь рода — суть народа, — в святости и немочи, в радости и горе.

Но вокруг народных писателей — властвующее и воинствующее безродство и беспамяństwo, и глас писательский — глас вопиющего в пустыне, и не может пробиться к народу. Хотя даже суровые натуралисты, не ведающие национально-родовой гордости, не вздымающие к высокому русскому небу понурой головы, отяжелённой “безумной” дольней мудростью, и те многодумно глаголили: лишь дурак учится на своих ошибках, мудрый — на чужих, а чаще — на отцовских и дедовских. И для сего потребна память родовая. Народоведы Афанасьев и Буслаев, любовно и вдумчиво постигавшие русскую семью, настойчиво твердили: “Мудрость предков помогает избежать многих ошибок, так свойственных молодым... Отцовское проклятье иссушит, а материнское искоренит...”

Без родовой мудрости земной и небесный путь потомков — в чёрной безлунной и беззвёздной ночи широкая и гладкая дорога, ведущая “...во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов” (Мф. 8:12). Жива и поучительна древняя легенда, бродячий сюжет которой, возможно, бытовал и в славянских племенах. Согласно легенде, степное скотоводческое племя, пережив великую засуху и мор, надумало кочевать в далёкие, щедрые земли. Велел молодой вождь, жестокий варвар, обогреть жертвенной кровью дорожный посох, истребить стариков и старух, кои обуза в долгом и трудном кочевье. Так и поступили язычники и тронулись в путь... Трижды городились поперёк неизвестного пути гибельные препятствия, и никто из молодых соплеменников не мог дать вождю спасительного совета, и лишь юный кочевник трижды выручал племя. И тогда вождь спросил юношу: “Неужели ты мудрее всех в племени, хотя и молод летами?” Пал юноша в ноги вождя и покаялся, что не сгубил отца, и отче мудрыми советами трижды спас племя. Крепко задумался молодой вождь...

Но речено Иисусом Христом: “Аз пошлю к вам пророки и премудры и книжники: и вы иных убьете и распнете, и иных бьете на сонмищах ваших, и изженете из града в град” (Мф. 23:34). Словом... Нет пророка в родном Отечестве, и вчерашние пастухи и скотники, забыв деревенскую родовую, махнув рукой на мать и отца, отгордились крестьянскими корнями и прямо из коровьих стоек и прелых сеновалов, с избяных завалинок полезли в белоперчатное барское сословие.

Переживший романтизацию Красной армии, на исходе двадцатого столетия налюбования я на белогвардейскую и дворянскую романтику, здоровался за ручку с новоявленным князем N., ярым дворянским монархистом. Ложат ли у того под сукном родовые княжеские бумаги, не вем, но, бывало, увижу князя, убелённого ранней благородной сединой, церемонно, с чистопородным псом гуляющего по ангарской набережной, — увижу барина, и мужичьи ноги мои подгибаются, впору пасть на колени и возопить: “Ваше благородие, не велите казнить, велите слово молвить!...”

Смеха ради говорено: предки мои по отеческому кореню, богатые скотоводы, скотогоны, справлявшие ямщину по бескрайнему Забайкалью, не отведавшие крепостного права, аще и кланялись, рабы Божии, то лишь пред

ликами Царя Небесного и Пречистой Его Матери, пред образами святых угодников и чудотворцев, страстотерпцев и преподобных, богоносных отцов наших. Кланялись святости да гнули выи, видя попа либо государева чиновника, а дворян, коих по Сибири мало водилось, могли и осадить сибирским словом, ежели те кичились сословной породой.

Помню, в разгар фермерской суеты и маеты некий знакомец вдруг вспомнил, что он из крупнопоместных столбовых дворян, и купил за большие деньги... по слухам, наследственные, из-за бугра... землю под барскую усадьбу. И помню, я да приятель-писатель, тоже из крестьян, собравшись за дачным чаем, спорили с новоиспечённым помещиком о русских сословиях, понося дворян, лубочно вознося крестьян. Помещик хвалился: “Дворянство породило классическое искусство, науку, явило Отечеству великих полководцев и вельмож, а крестьянство – дурь и пьянство”. Мы, крестьяне, возопили, горестно всплескивая руками: мол, а двухтысячелетнее, необозримое и сверхгениальное поэтическое творчество крестьян, которому “классическое” в подмётки не годится?! Спорили до драки – чудом не вспыхнула гражданская война! – спорили до хрипоты, не внимая друг другу и не понимая, словно ревели на разных языках. И помнится, барин грозился: “Коль мы, дворяне, вновь ухватим российскую власть, то вашего брата, мужика, будем пороть нещадно, дабы не лез со свиным рылом в калашный ряд. Знай сверчок свой шесток! Три шкуры спустим. Иначе от вас, мужиков, добра не видать”.

Развернулись мы с приятелем-писателем и хлопнули дверью.

А завершилась фермерская эпопея столбового дворянина катастрофой: прогорел дотла барин, и даже получил прозвище Катастрофа, но виновным, опять же, вышел нынешний хмельной и завистливый мужик, коего, увы, не удалось высечь.

А тут еще среди моих журналистских приятелей является и финский барон Павел Хемпетти, с которым в молодые лета изрядно попили мы крепкого чайку с хлебцем. Если Паша – барон, отчего и мне не прослыть князем?..

Вот и я, деревенский катанок, выходец из забайкальских скотоводов и скотогонов, смеха ради потряс фамильное древо: вдруг свершится чудо, падёт на голову сладкий плод, и я, смерд, угожу в бояре або графья.

Взял библиотечную пыль до потолка и в словаре по ономастике академика Веселовского вызнал-таки, откуда есть пошла и что значит фамилия моя – **БАЙБОРОДИН**: “Байборода. Байбородины: Авсентий Байборода – 1406 год, Псков. Борис Байбородин, крестьянин, – 1624 год, Нижний Новгород. Байборить – болтать, пустословить. Байбора – болтун, пустомель (В. Даль). Байбора – шаль, бесценнок, дешевизна. Купить за байбору”^{*}.

Не шибко глянулось: у приятелей в древе графья да князья, а у меня только и родни – мужики одни, да к сему и пустомели... Словно крот, зарылся я глубже в родовую ниву и выкопал... Мой забайкальский земляк из старовеяров-семейских, доктор исторических наук Фирс Федосович Болонев прислал архивную выписку: “Город ли Кидиш, что во дни стародавние от *погани рати*” спасён был Ильёй Муромцем, славный ли город Покидыш, куда ездил богатый Суroveň-Суздавец гостить-пировать у ласково князя Михаила Ефиментьевича, не отсюда ли ветлужский князь Никита Байбородин чинил набеги на земли московские, пробираясь лесами до Соли Галицкой...”

Ого!.. Выяснил: князь Никита Байбородин – князь не былинный, и записи о нём были в 1350–1373 годах. Почитал о варначьих набегах лихого предка, смутился, но и тут же почуял себя князем, ибо, как река вытекает из таёжной бочажины, так и в истоке фамилии един род, пустивший бесчисленные, потерявшие родство ветви. Словом, азъ есмь князь, и моя корявая деревенская обличка обрела дворянскую статью и важность, осталось лишь завести псарню, бухарский халат, трубку с длинным чубуком, дуэльные пистолеты, а к пистолетам – даму сердца, бледную графиню, чтобы стреляться с её обветшавшим графином... Ох, “как упоительны в России вечера”: укутался в соболью доху и погнал извозчика в барский притон, где шампанское – пенистой рекой, где цыганы любодейно звенят на гитарах, где цыганки, сверкая адскими очами, сладострастно трясут плечами... Не жизнь – малина... .

А тут ещё нежданно-негаданно в архивных бумагах появляется и другой мой родич – опять же Никита Байбородин, но уже боярский сын, воевода Ир-

^{*} “Ономастика” под редакцией С. Б. Веселовского. М., Наука. 1969.

кутский (архив Академии наук СССР и ЦГИА СССР из фонда Герарда Фридриха Мюллера). В архивах семнадцатого-восемнадцатого веков – “Списки Сеуленинской и Нерчинской комиссий” – хранятся прошения и челобитные тунгусских (по иным историческим сведениям – даурских) князей Гантимуровых, перешедших в русское подданство при царе Фёдоре Иоанновиче. Одна из челобитных как раз и обращена к иркутскому воеводе, сыну боярскому Никите Байбородину, чтобы его, Алексей Гантимурова, вместо умершего отца Лариона оставили в том ранге, в коем был отец. Тунгусский князь просит “приверстать ево по Нерчинску в дворяне и привести ево Гантимурова к присяге и учинить бы ему оклад денег 40 рублей, хлеба 40 четвертей, овса тоже, вина 20 вёдер”. Боярским сыном Никитой Байбородиним “1728 года марта 12 дня сын Гантимуров к присяге приведён в Иркутске и подушная запись взята”.

На боярских радостях, не ведая, что боярский сын – суть холоп боярский, прикинул я хвост к носу: а не заглянуть ли к губернатору да и к владыке на чай, не испросить ли согласно благородного рода хлеба, овса и дюжину вёдер вина, да и портфель... не парусиновый – кожаный, а к портфелю жалование, – чай, не серая кость, сын боярский, потомок воеводы Иркутского.

Впрочем, мелю, Емеля, потехи ради, поскольку нету на руках бумаг, где чёрным по белому, с гербовым клеймом намертво начертано: ветлужский князь Никита Байбородин и боярский сын Никита Байбородин мои пра-пра-пра...; а на нет – и суда нет, без бумажки ты букашка, а уж тем паче, не князь и не боярский сын. Паши и перепаживай архивные залежи, а всё одно: отеческая и материнская родова моя, к скорби, изведенная лишь до дедова колена, – воспетые мною в повестях и бывальщинах забайкальские мужики и бабы, коих и за сладкие калачи не променяю на дворян. Мой умудрённый деревенский родич так молвил: “Оно и слава Богу, что не угодили в роду графья да князя: дворяны – смутьяны... Кичился по-французски дворянин, пока не дал ему по шее крестьянин...” “Вольнолюбивое” русское дворянство в XIX веке ослабло в православно-самодержавном духе, заразилось западноевропейским безбожием и либерализмом, засеяв в русскую землю семья грядущей кровавой смуты. Но... за что боролись, на то и напоролись: в начале XX века дворяне, подобно шаткому духовенству, кровью смыли грехи перед родным народом и всяк перед своим родом.

Колхозник граф Толстой

Смешны и грешны те, кто кичится породистым, немужицким происхождением; а праведней бы скорбеть, что не уродился мужиком. Да, русские дворяне жили жизнью, чуждой крестьянству, возвращенному в православном домострое; дворянская жизнь казалась мужикам порочной, но избранные дворяне чтили крестьянство, и великие дворянские писатели – Пушкин, Гоголь, Лесков, Толстой, Достоевский – постигали и воспевали крестьянский мир, а граф Толстой и вовсе мечтал окрестяться.

Максим Горький, навещавший Льва Николаевича в Ясной Поляне и натуралистично запечатлевший их встречи, писал: “Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновьи ноги, потягивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на неё. “Вот такими кариатидами и поддерживалось всё это великолепиие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадьями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодёжь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и её тоже немного растворяла. Это полезно”.

Помнится, на исходе прошлого века в граде Иркутском полыхало осеннее “Сияние России”, – традиционные “Дни русской духовности и культуры”; и по приглашению писателя Валентина Распутина в губернской столице гостил Владимир Толстой – прямой потомок великого писателя.

Когда мы беседовали с графом Толстым, моё бедное воображение — из мужиков же! — явило мне убогую киношную картину родового поместья: в тени вековых дубов и вязов — дом с мезонином, белыми колоннами и лепными амурами; у парадного крыльца стража — два беломраморных льва, а далее — цветочная оранжерея, где дворник подрезает розы, плетёная беседка, увитая плющом, таинственный пруд с горбатым мостиком и белыми цветами-купувами на зеленоватой водной глади и тёмные аллеи, присыпанные красным зернистым песком; а в доме — вечернее чаепитие, и камердинеры, наряженные пуше генералов, в париках и белых чулках, церемонно подают чай; бледная графиня музицирует, старый граф дремлет в креслах... За чайным столом, вообразилось, красуется и граф Владимир Ильич... В пору далёкого иркутского гостевания, молодой, с не увядшим отроческим румянцем, Владимир Ильич Толстой, праправнук Льва Николаевича, имел явные признаки благородного происхождения, как живописали дворяне в сентиментальных романах; порода, кою не утаишь и под ветхим рубищем, светилась в тонких очертаниях рта, носа и ясного, высокого, с ранними залысинами лба, и даже в плавном и чётком московском говоре, в книжно выстроенной речи; но, перво-наперво, мягкое, мудро-снисходительное, обходительное поведение с ближними, присущее истинно благородным натурам, из какого бы сословия они не вышли.

Владимира Ильича пригласили для беседы школьники городской гимназии, а я сподобился сопровождать и представлять потомка великого писателя. По-черепашьи ползли мы на крохотном автобусишке по улице Большой (язык не поворачивается назвать её улицей Карла Маркса), и я переживал: явятся ли школяры на творческую встречу? Не разбегутся ли после школьного звонка? Ибо случилось, приходили московские писатели в библиотеку, а там — шаром покати.

После встречи сподобился я толковать с Владимиром Ильичом о родовой памяти, сословной породе и дворянской спеси.

— Владимир Ильич, Ваш знаменитый предок, судя по дневникам и письмам, тяготился графским происхождением, барским положением, когда на барина пашут в поте лица крестьяне. Тяготясь барством, в коем писатель видел иждивенчество, Лев Николаевич призывал к аскетизму, опрощению, омужичиванию, и своеручно пахал землю, сеял хлебушек, учил деревенских ребят. Словом, графским происхождением сроду не кичился. В отличие, скажем, от Ивана Бунина, обнищавшего дворянина, смахивающего на разночинца, что носился с благородным происхождением, яко с писаной торбой. Думаю, и Вы, Владимир Ильич, не кичитесь графским происхождением?

— Какая может быть кичливость, — отмахнулся Владимир Ильич, — если я родился и вырос в рабоче-крестьянском государстве, если я жил романтическими идеалами той эпохи. Пел на пионерских сборах: “Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих...” И комсомол не миновал, и даже сотрудничал с комсомольским изданием в качестве журналиста. Но, не скрою, про себя всё же горжусь старинным графским родом. В конце концов, породистая собака, — скажем, гончая чистых кровей, — она всегда гончая. И ценность её благородной породы не в том лишь, что она чистокровная, а в том, что в силу этого она прекрасная охотничья собака. А посему истинный русский дворянин — это не просто порода, это не завсегда дворянских собраний и помещичьих балов, это не скачущий, модный денди, убегающий от скуки за границу; нет, истинный русский дворянин — это, перво-наперво, добрый и мудрый посредник меж государевой властью и простолюдином, как раз и отстаивающий интересы своих крестьян перед государевой властью, перед чиновниками. За это крестьяне его и содержали. Так в идеале задумывалось дворянское сословие.

Соглашаясь с графом Толстым о сословном замысле средневековой русской монархии, для подтверждения привожу мысль, вычитанную у владыки Иоанна (Снычева), митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского: “Русское сословное деление, например, имело в своём основании мысль об особенном служении каждого сословия. Сословные обязанности мыслились как религиозные, а сами сословия — как разные формы общего для всех христианского дела: спасения души. И царь Иоанн IV все силы отдал тому, чтобы “настроить” этот сословный организм Руси, как настраивают музыкальный инструмент, по камертону православного вероучения. Орудием, послужив-

шим для этой нелегкой работы, стала опричнина”. Из опричнины и рождалось служивое дворянство...

– Крепкие, ещё не развращённые дворяне, – продолжал Владимир Ильич, – похожие на описанных Львом Толстым Болконских, Пьера Безухова, Наташу Ростову, – глубоко русские по духу люди, в какой-то мере даже и романтики, почитающие за честь сложить голову за веру, царя и Отечество, любящие родной народ, мечтающие ему послужить. А коль были глубоко образованы, то и несли народу просвещение...

Отвлекаясь от монолога Владимира Ильича, вспомнил о демонизации дворянства в советской историографии и художественной литературе, что, возможно, отразилось и на моём разумении, хотя, ныне понимаю, светлые сыны дворянского сословия с отрочества мечтали о великом и жертвенном служении родному русскому народу. Свидетельством тому запись Льва Толстого в юношеском дневнике: “Если пройдёт три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя...” Но прежде чем содейть нечто полезное для людей, нужно знать, что именно им полезно, что вредно, человекоугодно, а не богоугодно, но сам порыв молодого графа прекрасен. И всю грядущую творческую жизнь Лев Николаевич посвятил служению народу, преклоняясь перед простолюдьем, кое о ту пору имело крестьянское сословное происхождение, и ярко, с сыновьей любовью, восхищённо и со-страдательно воспевая простолюдье в художественных своих произведениях.

Лишь на творческом закате писатель отходит от народно-православного миропонимания, ибо, увы, у великих – великие заблуждения. Исполинское книжное знание, глубинное постижение мировых мистических учений и дольней (земной) мудрости, что безумие для мудрости горней (божественной), смутили в душе по-детски ясный, светлый христианский дух, породили сомнения в истинности Святого Писания и Священного Предания, породили крайне неприязненное, даже брезгливое отношение к Русской Православной Церкви, что выразилось в нашумевших статьях. По суждениям снисходительного и незлопамятного духовенства, великий гений разбился о скалу великой гордыни; а Василий Розанов, отмечая высочайший христианский дух художественных произведений Толстого, скорбел: де, напрасно Лев Николаевич из художников сломя голову кинулся в проповедники, в нравственные учителя. Впрочем, в толстовском обличении духовенства таилась и доля правды: грехопадение русского народа, в том числе и духовенства, породившего еретическое обновленчество, оказалось столь велико, что породило братоубийство, – кару Господню. Писал же Иван Ильин: **“Революция есть духовная, а может быть и прямо душевная болезнь”**. Но о неприязненных отношениях Толстого и русского духовенства подробно в ином очерке; а ныне я вопрошаю Владимира Ильича:

– И как Вы и все ныне здравствующие Толстые к тому относитесь, что Ваш великий предок и по сей день отлучён от Церкви?

– Мы все молимся за него, за спасение его души. Вероятно, в последние дни своей жизни он и шёл в Оптину пустынь к старцам для покаяния. Господь ему простит...

– Конечно, вам, близким его родичам, нелегко об этом говорить... Вообще, писатели той поры очень своеобразно относились к Толстому – в том числе и сословно – и своим отношением чаще всего выражали не столь Льва Николаевича, сколь дух свой. Достоевский, признавая писательский гений Толстого, не воспринимал его “духовного учительства”, Горький – талантливый певец бичей, романтических бродяг и путаных разночинцев – в очерке о Толстом с едкой иронией развенчивал нравственное учение писателя: после моральных назиданий, поучений, гуляя в саду, старец якобы засмотрелся на дворовую бабу, подоткнувшую подол. Есенин, женившись на Толстой, постоянно угнетался культом седовласого мудреца, царящим в доме. Иван Бунин, порой заносчивый и ворчливый, брезгливо относился к романам Достоевского, хотя и ценил описания слякотного Петербурга, а по поводу творчества Толстого, коего горячо любил, скорбел: де, если бы он переписал “Анну Каренину”, то роман бы вышел живее, талантливее в художественном смысле. Бунина величают блестящим стилистом, хотя, на мой взгляд, его превосходили Гоголь, Лесков, Платонов, Шмелев, Шолохов, Куприн, дивно владевшие не только художественным образом, но и сословными разговорными стилями.

Мы ещё говорили с графом Толстым про то, как сложилась судьба детей, внуков и правнуков Льва Николаевича. Владимир Ильич поведал...

— Я родился в подмосковном селе Троицком, куда приехал из эмиграции мой дед, тоже Владимир Ильич. И работал он там в колхозе...

— ... в качестве агронома?

— ... в качестве колхозника...

— Да-а... потешно звучит: колхозник граф Толстой...

— Главным агрономом мой дед Владимир Ильич работал в Югославии, будучи эмигрантом. Там он возглавлял сельскохозяйственную общину. А уж вернувшись в Россию, так до конца жизни и отработал в колхозе... Но был знаменит тем, что заложил фруктовый сад; на нескольких гектарах земли цвели и плодоносили яблони, вишни, сливы. Прекрасный сад, который после смерти деда зачем-то вырубил. Это одно из самых мрачных впечатлений моего детства, когда яблони и груши корчевали. Дело случилось по весне, когда деревья пышно цвели. Пришли люди — воистину, чернь! — пригнали трактора с крючьями и деревья выдергивали с корнями, потом свозили в кучу. Это было тяжёлое душевное потрясение, и хотя прошло уже много лет, а душа и по сей день ноет. Землю распахали и посадили там кормовую брюкву, а потом и вовсе бросили поле, и оно заросло бурьяном. А сейчас там выросли многоэтажные коттеджи, где поселились нынешние толстосумы. Новое сословие, а как уж его величать, не ведаю... Такие коттеджи отгрохали, какие не снились даже членам Политбюро и дворянам, кроме великосветских и придворных.

“Не позазрите просторечию нашему...”

Мужик, что уж греха таить, страдал от социального неравенства, чуял, что для бар-дворян он дерёвня тёмная, недоумок, рабочая скотина, чёрная кость. И крестьяне, в свою очередь, недолюбливали дворян, а заодно и интеллигенцию, поскольку они, по мужичьему разумению, задурили от праздности, погрязли, не каюсь, в грехах и пороках, сами свихнулись от книжного учения и безбожия и народ пошли булгачить. **“Сущность катастрофы духовна. Это есть кризис русской религиозности”**, — сказал Иван Ильин. И мнение крестьян о “просвещённом” обществе совпало с мнением святых отцов русской Православной Церкви. Вспомним суровые словеса святого праведного Иоанна Кронштадтского, кстати, обличавшего ересь толстовскую: “Не стало у интеллигенции любви к Родине, и она готова продать её инородцам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям, уже не говорю о том, что не стало у неё веры в Церковь, возродившей нас для Бога и небесного отечества; нравов христианских нет, всюду безнравственность (...). По причине безбожия и нечестия многих русских так называемых интеллигентов, сбившихся с пути, отпадших от веры и поносящих её всячески, поправших все заповеди Евангелия и допускающих в жизни своей всякий разврат, — русское царство есть не Господне царство, а широкое и раздольное царство сатаны, глубоко проникшее в умы и сердца русских ложно учёных и недоучек, и всех, широко живущих по влечению своих страстей и по ложным, превратным понятиям своего забастовавшего ума, презирающего Разум Божий и откровенное Слово Божие (...). Если в России так пойдут дела, и безбожники и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стёртые правосудием Божиим с лица земли за своё безбожие и за свои беззакония (...). Держись же, Россия, твёрдо Веры своей и Церкви, если хочешь быть непоколебимой людьми неверия и безначалия и не хочешь лишиться царства православного. А если отпадёшь от своей веры, как уже отпали от неё многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью Святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга”.

Народное — суть крестьянское — искусство, коему двадцать столетий, кое, словно Вселенная, необозримо и сверхгениально, душевно и духовно вечно противостояло дворянскому искусству. Если в дворянском обезбоженном искусстве случались таланты и от демона, а нередко — мировозренческая смута, “безумная” мудрость земная, то устное народное искусство, выраженное в былинах, поэмах-плачах, мифах, преданиях, песнях, после Крещения

Руси освобождаясь от язычества и суеверий, — в любви и сострадании к брату, сестре во Христе нередко восходило к поучениям святых отцов. Впрочем, по слову родных народной поэзии и сами поучения иных русских боголюбцев и православных старцев, коль те, подобно апостолу Петру, вышли из простолюдыя и не горазды были в письменной грамоте, а посему и не писали, а рекли поучения народным, пословично-поговорочным слогом.

Есенин — по духу вечный крестьянин — поэзией и судьбой ярко выразил противостояние двух сословий. Хотя Есенин — натура предельно противоречивая, — изображая из себя аристократа, щеголяя в английских костюмах, в то же время по-мужичьи глухо презирал аристократов. Всеволод Рождественский пишет о том, как однажды крестьянские поэты Клюев и Есенин были приглашены в дом графини Клейнмихель, “представительницы одного из крайних монархических течений”: “В великолепном особняке на Сергиевской собралось общество, близкое к придворным кругам. За парадным ужином, под гул разговоров, звон посуды и лязг ножей, Есенин читал свои стихи и чувствовал себя в положении ярмарочного фигляра, которого едва достаивают высокомерным любопытством. Он сдерживал закипающую в нём злость и проклинал себя за то, что согласился сопутствовать Клюеву”.

А будучи санитаром в госпитале Царского Села, Есенин имел честь читать патристические стихи царице и царевнам, о чём опять же поминал с сословной неприязнью: “Я читаю, а они вздыхают: “Ах, это всё о народе, о великом нашем мученике-страдальце...” И платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю: что вы в этом народе понимаете?”

Иногда мужичья спесь, сословная неприязнь Есенина к аристократии обретала утробную злобу: “Посмотрим — // Кто кого возьмёт! // И вот в стихах моих // Забила // В салонный, выхолощенный // Сброд // Мочой рязанская кобыла. // Не нравится? // Да, вы правы — // Привычка к Лориган // И к розам... // Но этот хлеб, // Что жрёте вы, — // Ведь мы его того-с... // Навозом...”

Разумеется, среди аристократов случались исключения, их исключительность лишь в том и заключалась, что они пытались если и не образом жизни, то хотя бы духом посылно приблизиться к народному — суть крестьянскому духу. Величие избранных дворянских писателей и выразилось в способности, преодолевая сословные уложения, сблизиться душой и словом с духом народообразующего сословия — с крестьянством.

Пушкин лишь потому и возвысился над блистательными поэтами “золотого века”, что стал русским народным, а значит, и великим русским поэтом. Достоевский писал: **“И никогда ещё ни один русский писатель, ни прежде, ни после его не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин (...). Пушкин любил народ не за одни только страдания его. За страдания сожалеют, а сожаление так часто идёт рядом с презрением. Пушкин любил всё, что любил этот народ, чтит. Он любил природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню русскую. Это был не барин, милостивый и гуманный, жалеющий мужика за его горькую участь, это был человек, сам перевоплотившийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его...”** О душевном, поэтическом слиянии дворянина Пушкина с крестьянским миром можно судить по героям “Повестей Белкина” и даже по образу Татьяны Лариной. А уж сказки Пушкина полноправно вошли в сокровищницу письменной и устной народной поэзии — сказки, услышанные от деревенских стариков и старух, и перво-наперво — от няни Арины Родионовны, потомственной крестьянки.

Пушкин стал предтечей народной литературы двадцатого века, прозванной “деревенской”, коя по отношению к дворянской ещё по достоинству не оценена, ибо “лицом к лицу лица не увидать — большое видится на расстоянии”. Русская литература — воистину, нет худа без добра! — лишь выиграла при народной власти, отменившей сословия. Иначе и не прошиблись бы в читающий мир литературные таланты из мужичья: Есенин, Шолохов, Шергин, Абрамов, Носов, Астафьев, Шукшин, Рубцов, Белов, Распутин, Личутин. Прекрасно о величии простонародья, которому советская власть, преодолев сословные препоны, открыла все парадные подъезды, сказал Василий Шукшин: “Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в чёрной рамке, так смотришь — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так выходец, рано пошёл работать”.

Оборони Бог крестьянство царское, а паче — колхозное живописать лишь розовым цветом, рисовать лубочную идиллию с пастушком Лелем. И крестьянский мир угнетали тяжкие немочи, присущие сословию: буйные, порочные страсти, особо во хмелю; смирение, порой переходящее в холопство; календарно-бытовое “обмирщение” святых, тёмные суеверия, порой и подменяющие, искажающие веру православную. Но о сём были написаны горы книг, обличающих крестьянскую темь и дичь.

Советская Империя, упразднив дворянство, пыталась изжить и сословное понятие *крестьянин*, заменив его *колхозником*. Нарождалось и доселе неведомое сословие — **служащие**: простонародье из крестьян и рабочих, вдохновенно и азартно обретая книжную грамотность, а потом и учёность, явилось во власть и, как в искусстве и науке, превзошло дворян талантливостью и трудолюбием. И сие сословие — **служащие**, — благо, созидалось оно не по “кровному родству” и “фамильному древу”, но по дарованию и жажде **служить** России, — напоминало опричнину царя Ивана Грозного.

Словно взорванный собор, со вселенским грохотом рухнула Россия, и сникли “чада солнца”, воцарились “дети тьмы” — лукавое “сословие” мошенников-“менеджеров”, мертвотушных, но похотливых и прожорливых, сожравших народное добро, словно саранча посева. Лукавое “сословие” испокон веку на Руси водилось: то буйно плодилось, то испуганно таилось, — скажем, в эпоху Иосифа Сталина. Но лишь в нынешнем веке “лукавое сословие” воцарилось на российском престоле, вторглось — враги же! — в народные души, внушая похоти вместо любви к Вышнему и ближнему. “По причине умножения беззакония во многих охладает любовь...” (Мф. 24-12). Студеные сумерки пали на Землю Русскую... Но... сколь свиреп натиск врага рода человеческого, столь и яростна оборона: русские огоньки, мерцающие в сумерках, сияли всё ярче и ярче, словно в небе зажглись Христовы свечи, освещающая извилистую, узкую тропу к спасению.

Так уж сложилось, что нынешняя подборка писем читателей посвящена вопросам русской культуры и, в более широком смысле, — русского самосознания, которое подвергается в наше время большим угрозам, большим испытаниям. Читателей волнуют публикации нашего журнала, в первую очередь, их интересует творчество Станислава Юрьевича Куняева, нашего главного редактора, бесменно возглавляющего журнал вот уже четверть века. Эти последние четверть века, протекшие на наших глазах, были особенно тяжелы для русской культуры, для русской духовности. Но она выжила, она существует, и тем более приятно осознавать, что журнал “Наш современник” внёс свой весомый вклад в дело сохранения и развития русского слова, русского духа, русского достоинства. Подтверждение тому — мнение наших читателей.

РУССКОЕ СЛОВО И РУССКОЕ ДЕЛО

КАК СЕРДЦЕ ПИСАТЕЛЯ...

Дорогая редакция, дорогой Станислав Юрьевич!

Уже много лет я выписываю и читаю Ваш журнал, чуть ли не со школы, — а мне скоро 65 — и скажу, что без него, как без ребёнка, жить можно, а смысла жизни нет. По Вашему журналу я сверяла свои поступки. Журнал Ваш, Станислав Юрьевич, — звёздочка путеводная, думаю, для очень многих. Авторитет Ваш и доверие к Вам — безмерное. Мне даже трудно что-либо всем вам пожелать, мне кажется, у редакции Вашей всё есть: честь, совесть, ум, любимая работа, читатели, которые никогда вас не предадут. Я не могу всё высказать, но я готова молиться за всех вас в храме. Всей редакции, общественному совету, авторам и вашим читателям — МНОГАЯ ЛЕТА! Двери моего дома, как и моего сердца, для всех вас всегда открыты.

Спасибо за рубрику “Память”! Когда увидела слова, адресованные Нине Ивановне Суворовой — моей сестре, — встретила их как совершившиеся чудо... Нина любила положить голову ко мне на колени, и чтобы ей перебирали волосы. Вот незадолго до прихода Вашего журнала мне приснился именно такой сон: её голова на моих коленях. А вскоре и журнал пришёл. Ваши добрые слова из писем В. П. Астафьева о Нине я приняла как одну из знаменательных вех. Спасибо и низкий поклон! Как бы радовалась сама Нина! Она умела друзьям радоваться... Станислав Юрьевич, спасибо, что Вы есть!

У меня дома висит старинная сабля, вся в зазубринах, в середине расколота, видно, побывала не в одном бою. Нина всегда говорила, что она — как сердце В. Г. Распутина, которое истекает кровью, выступает ли он или пишет. Надо бы ему эту саблю передать!

Тамара Михайлова
г. Москва

“СЕЙЧАС ИДЁТ ВОЗРОЖДЕНИЕ...”

Здравствуйте, многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Молчание — золото для планктона. Смысл русских пословиц многомерен. Русское Слово воплощается в русское Дело. Читаю журнал “Наш современник”, прочитала несколько Ваших книг, Вадима Кожинова, Василия Белова. Хочу ус-

петь выразить благодарность за самоотверженный, титанический труд наших русских душой писателей, поэтов-деревенщиков, которые работали ради нравственного оздоровления страны, возврата к духовным истокам русского народа, торжества Русской Правды, ради спасения России!

Не случайно Русская литература всегда была одной из ветвей власти над душами и умами людей. Христосознание – её нравственная основа, принятая с Православием, но и заложенная в геноме русского народа, являющегося главным генетически-духовным наследником Гипербореи, Византии, Великодержавы, СССР. Духовным Хранителем русской национальной традиции является Святая Русь. “Наш современник” – это тоже Святая Русь, это духовный Центр России, и соратник его – Православная Церковь, как и единый народ России. Александр Проханов сказал: “Наш современник” – это алтарь, на который я буду молиться до конца своих дней”. Лучше и не выразить мысли и чувства Ваших читателей. Хочу успеть сказать спасибо Вам, Станислав Юрьевич, за то, что Вы – Хранитель этого Центра культуры и духовности! Открытие “Нашего современника” – Марина Струкова, которая затмит многих больших поэтов Серебряного века, достойных Вашей критики.

Врагам России не удастся погасить русское самосознание, заглушить “колокол на башне веховой” русской литературы в недостижимом для них духовном измерении. А души тех, кто ненавидит русский народ, они – из низшего, плотского мира, не знающего Света. Просвещение Русской Правдой медленно, но верно ведёт к Победе духовности над тёмными силами, к Победе России.

Мы знаем о борьбе с тиранией Запада ещё со времен Гипербореи. Россия сама в себе, в своих истоках, в своей истории черпает силы для борьбы с Западом в последние века. Это Россия, а потом СССР защищала малые народы от истребления их Западом. России нужны соратники, как они нужны были древней прародине евразийских народов с центром на территории Южного Урала, в Аркаиме.

Не удивительно, что сейчас идёт Возрождение. Об этом молчат, но создаются Евразийский Союз, Таможенный Союз... Об этом и пишу, может быть, что-то пригодится, ведь мы не планктон, и молчание для нас – не золото.

Тамара Нечаева

г. Усть-Каменогорск, Казахстан

ЛЮБОВЬ – ГЛАВНОЕ В ПОЭЗИИ И В ЖИЗНИ

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

Вы, наверное, получили множество отзывов от читателей на Вашу книгу “Любовь, исполненная зла”. Мой, вероятно, самый запоздалый. Но он в то же время, возможно, самый продуманный и прочувствованный. С того момента, как я получила эту книгу от Вас в подарок (за что ещё раз низкий Вам поклон и сердечная моя благодарность), я, можно сказать, не выпускаю её из рук.

Вы побудили меня совершить “глубокое погружение” в жизнь и творчество Анны Андреевны Ахматовой, и у меня сложился цикл стихотворений, ей посвящённый. Ваша книга помогла мне, как мне кажется, правильно расставить акценты, глубже понять и время, которое пришлось на долю Анны Андреевны, и её как женщину и поэта.

Талант нельзя отменить или запретить. И не надо. Напротив, надо к нему бережно относиться как к нашему несомненному достоянию. Но совершенно необходимо в нём, в его природе разобраться. И потому Ваше исследование я нахожу очень важным и своевременным, исключительно актуальным. Ведь сегодня очень остро стоит проблема нравственного чувства в поэзии, литературе в целом, наконец, в искусстве. Тенденция сейчас такова, что оказываются напрочь забыты принципы, на которых зиждется великая русская классическая литература. О чём бы ни писали наши великие предшественники, сквозь их творения непременно брезжит свет идеала. А сегодня выдаётся и превозносится то, что заслуживает быть квалифицированным как антипоэзия, антилитература, антиискусство. Это псевдоискусство стало, кажется, апологией безнравственности. Вот почему невозможно переоценить значение Вашей книги.

Вы взяли на себя неблагодарный и опасный труд: по сути, произвели вскрытие памятников Серебряного века, не убоявшись демонов, дремлющих под мра-

морными плитами. Их не устранить из нашего сознания так легко, как, скажем, костоправ вправляет вывих. Но знать о них современникам и потомкам необходимо, чтобы чётко разграничить, что в “детях страшных дней России” от Бога, а что – от дьявола. Изгонять же задним числом из них бесов – дело совершенно неэффективное. Можно только понять их.

О женской лирической поэзии уже давно пора серьёзно задуматься.

Русская литература всегда являлась нам как бы “о двух головах”, всегда на поэтическом небосклоне одной взошедшей звезде с диаметрально противоположной стороны отзывалась другая (к примеру, Юрий Кузнецов – Николай Рубцов), а вместе они дополняли друг друга, давали объёмную картину мира, показывали неисчерпаемые возможности стилистически разноплановой поэзии. С женской лирикой дело обстоит иначе, здесь нарушаются законы диалектики. Две звезды – Ахматова и Цветаева – стоят рядом и, к сожалению, однонаправлены при всей своей разнохарактерности. Между тем, в современной женской лирике, как мне представляется, если и встретишь сколько-нибудь значительное дарование, непременно это окажется или “ахматовка”, или “цветаевка” – третьего как бы и не дано. Пора бы уж каким-то образом переориентировать женскую лирику, направив её в сторону поиска того, о чём Вы пишете, – показать любовь не как страсть, игру или забаву, но как **всеобъемлющую стихию**, главную духовную субстанцию жизни. Для этого мало, конечно, одного намерения, естественно, нужен талант, равноценный ахматовскому. И не её внешняя величественность, но необходимо подлинное величие души.

Почему так долго не является нам такой талант? Возможно, он существует где-то, но остаётся неизвестным. По всей вероятности, мы не узнали бы и Николая Рубцова, если бы Вы его своевременно не заметили, не вывели к читателю его музу.

По моим наблюдениям, “Наш современник” отдаёт предпочтение гражданской патриотической тематике более, чем женской любовной лирике.

Всё это я говорю так подробно потому, что хочу объяснить Вам, насколько важным я считаю обращение к творчеству Анны Ахматовой.

По случаю её 125-летия Ставропольская краевая научная библиотека предложила мне написать статью о её жизни и творчестве для журнала “Хронограф”. Задача не из лёгких: нелегко сказать своё слово о том, кому посвящены уже целые тома. Но я, кажется, справилась с ней, в чём, опять-таки, помогла мне Ваша книга (ссылка на неё в этой работе не случайна).

Мне дорог и мой “ахматовский” цикл стихотворений, вызванный к жизни Вашей книгой.

Не буду более отвлекать Вас от Ваших дел. Восхищаюсь Вашей работоспособностью и смелостью суждений и желаю Вам так же неутомимо и плодотворно работать долгие годы на радость читателям, которые, поверьте, неравнодушны к Вашему слову. Доброго здоровья Вам и Вашим близким, Вашим собратям по журналу, благополучия и всего самого радостного. Новых Вам творческих удач!

Ещё раз огромное спасибо за Вашу книгу.

Ваша читательница и почитательница

Елена Львовна Иванова
г. Ставрополь

О ПОЭЗИИ И НЕ ТОЛЬКО

Станислав Юрьевич, здравствуйте!

Спасибо за присланную книгу “Любовь, исполненная зла...” До неё мне не попадалась подобная, в которой так называемый Серебряный век был бы так доказательно разобран. Да, в представлении большинства читателей этот период в истории отечественной культуры считался достижением высочайшим – вслед за поэзией Золотого века XIX-го. Но как теперь стало понятно для читающих и думающих людей, то был период переломный в истории нашего Отечества – переломный в целом, когда надлежало решить основные наболевшие проблемы, в том числе и в литературе, и, в частности, в поэзии. А как показывает жизнь, люди искусства, литературы более остро реагируют на проблемы, более ранимы. И отсюда, полагаю, все эти “заскоки”, “перегибы” и т. п. Но среди этого “потока” появляется, конечно, что-то дельное, запоминающееся. Как любитель поэзии, я выделил их для себя – они вошли в моё эссе “О поэзии”, вышедшее в свет в 2011 году.

“Наш современник” любим в нашей семье. И более всего за публицистику, которая так нужна в переломное время. Полученный очередной номер прочитываем залпом и передаём друзьям. Между тем, в актив себе засчитываю подписку на два номера “Нашего современника”. Вспоминаю советское время, когда за книгой “гонялись”, стояли в очередях. А сейчас? Я знаю семьи, где по 2-3 автомашины есть, но совершенно отсутствуют книги!..

Но бездуховность — она сказывается везде и во всём. Загляните в лес — он захламлён горами мусора. Недавно проехал я на поезде 1500 км от Удомли до Димитровграда в Ульяновской области. В населённых пунктах вокруг железной дороги — горы бытового мусора. Вне населённых пунктов — захламлённый лес, заваленный упавшими деревьями. Отсюда и пожары, которых раньше не было. Проезжал я по центральным областям лет 20–30 назад, в советское время, — в лесах было чисто, ухожено, как в лесопарках!.. Таково действие злополучного Лесного кодекса, принятого несколько лет назад... Но где-то наводится и чистота и порядок — это зависит от конкретного “хозяина” области.

Будьте здоровы, Станислав Юрьевич!

С уважением
Л. Подушков
г. Удомля Тверской обл.

От редакции:

Немало приходит откликов на рассказы молодой писательницы Елены Тулушевой. Особенно радует, что отклики эти идут от молодых читателей, студентов, людей неравнодушных, остро чувствующих проблематику сегодняшней жизни, правду характеров, психологию нынешней молодёжи. Мы решили обобщить эти отклики в единой подборке.

ГЛАВНЫЙ ТАЛАНТ — НЕРАВНОДУШИЕ К ГОРЮ

Уважаемый Александр Иванович!

Я с интересом прочитала рассказы молодой писательницы Елены Тулушевой, опубликованные в № 3 журнала за этот год. Мне захотелось высказать своё впечатление.

“Мамы” — так называется рассказ, с которого я открыла для себя ещё одного Человека с большой буквы — Елену Тулушеву. Мы так привыкли говорить о литературном таланте, тенденциях и особенностях творчества и так мало, так непростительно редко о том, что же такое писатель? Каким человеком должен он быть? Что есть его ответственность перед собой и перед миром?

Читаю рассказ до конца. Не отпускает, держит цепко чем-то, а чем — с первого взгляда и не поймёшь. Кусочек жизни. Чужой, другой, залитой кровью. Кусочек какой-то очень уж документальный. И прощаешь литературную негладкость за честность, за объективность — такую, что как бы и автора не видно. Стоит где-то, но как будто и нет его.

“Ну, где ты? — хочется сказать Елене. — Смотри, твой Слава (рассказ “Слава”) — он же убьёт человека! В этот раз пронесло — убьёт в другой. Он же убийца. Ну, вмешайся, сделай хоть что-нибудь! Ведь это же тобой сотворенный мир... Не жалея ты его, заставь его мучиться, заставь пожалеть о своём преступлении. Ведь и Достоевский вмешался — заставил Родиона раскаяться, так заставь и ты — Славу. Разве нам — русским и пишущим — не вменяется в прямой долг писать нравственно, разве мы можем быть просто зрителями?”

А потом — потом читаю “Мамы”. И “Виною выжившего”. И я больше не ищу Елену в созданном ею страшном мире. Я поняла. Как ей вмешаться? Это мир Славин, Маринин, Мишин. И Слава — этот накаченный протеинами мальчишка-скинхед — обладает данным ему Богом даром — свободной человеческой волей. Тем талантом, которым каждый волен распорядиться, как ему заблагорассудится. И Слава распоряжается. Он не спрашивает мать. И тем более Елену. Он проходит собственный путь, на котором ему в своё время встретится израненный Христос, в которого Слава точно так же по привычке может воткнуть нож. А может и остановиться... И даже упасть на колени. Мы не знаем его пути. Мы можем только смотреть. С болью в сердце или равнодушно. И в этом честность Елены.

Смотрю на фотографию автора. Светлое лицо. Лицо из того времени, того мира, в котором всем было не всё равно, в котором не проходят мимо.

Наверное, главный талант Елены — её равнодушие к горю. Умение воспринять чужую боль, как собственную. Чужой грех, чужую муку взять на себя так полно, как это редко кто может. Взять без капли осуждения. Того осуждения, которое заставляет нас брать за волосы наших героев и перевоспитывать.

И ещё. Сострадать — это значит помнить. Наверное, мы просто забыли, как это больно — взрослеть. Как бывает одиноко. Как за секунду рушится иногда весь твой мир. Гусеница превращается в бабочку не за один день, и цветок раскрывается не за секунду. Сколько же труднее ребёнку превратиться во взрослого, и при этом не искалечиться, не сломаться! Дети, не умея бороться со злом в обычной жизни, чувствуя себя неприспособленными, уходят туда, где есть им подобные — такие же искалеченные душевно. Где можно начать всё сначала и из неуверенного в себе подростка превратиться в грозного борца со злом, над которым никто не посмеет смеяться.

Так становятся skinхедами и так же — наркоманами. Елена пишет не для того, чтобы самовыразиться, а чтобы не забывали. Помни, и ты был когда-то ребёнком! Помни в своей благополучной и, в общем, сытой жизни: есть те, кого любить некому. И высший человеческий подвиг — идти к ним и писать про них. Зная, что если ты и не согрешил, то нет в этом твоей заслуги, потому что их вина — твоя вина. Вина несогрешившего.

С уважением
Мария-Алиса Свердлова
г. Москва

БИЛЕТ В ЛЕТО ОТ ЕЛЕНЫ ТУЛУШЕВОЙ

... Герои рассказов Елены Тулушевой застряли на полпути. Стынут на ледяном ветру у заваленной снегом остановки, всё ждут угрюмо автобуса со своим «билетами в лето» в руках. Билеты изначально выдавались на всех как гарант счастья. Однажды ребята просто перестают надеяться и покрываются ледяной коростой.

Тулушевские герои полны пустой безысходной тоски. Ребята не умеют объяснить эту боль, гулкую пустоту в себе. Не могут, но бессознательно хотят этого так сильно, что злятся. Они недоумевают, истощаются в обидном нетерпении — и бьют. Слава и Васька «бьют» словами, режут ножом и презрительным взглядом. Маленький Богдан и Марина бессильно плачут, Юля безучастна ко всему... И вдруг сам автор торопливо, из-за строя гордых беззащитных плеч и отчаянных прямых спин, пытается докричаться до нас, «благополучных»: «Посмотрите на их семьи!»

«Мысль семейная» алой нитью тянется сквозь всё творчество молодой писательницы. Завершая очерки «Юля» и «Васька», она скажет: «Что-то сломалось в человеческих отношениях, в семейных ценностях. И, как сломанный заводской механизм, выдающий брак, деструктивные семьи ломают ещё только зарождающиеся жизни». Елена делится мыслью о том, что дети вырастают в обществе безразличия; из равнодушия рождается жестокость, прежде всего, родительская. Родители тоже не знают, как можно иначе. Вся детская скопившаяся горечь — отраву прольётся позже. Без вины виноватые ударят.

Слава, герой одноименного рассказа, бунтовщик-драчун с Манежки, тяжело ранит человека в припадке радостного оголтелого бешенства; Васька, герой очерка, помогает ему. Юля проходит мимо бойни, уставшая после занятий Марина даже не замечает происходящего. И только маленький, сбжавший из дому от приёмной матери Богдан тихо и потрясённо плачет, заслоняясь ладошками. Если поместить всех героев на одно полотно — жуткий комикс выйдет. А ведь это реальные конкретные истории современных ребят.

Впечатление от первой подборки Тулушевой («Наш современник», № 3) такое: да, как автор Елена своевременна и необходима. Но мне, в школьную бытность несколько лет подряд писавшей на подобную тематику (курение, алкоголизм, наркомания), изучавшей специальную литературу, беседовавшей с наркологами районной больницы, сначала показалось это несколько раздутым, язык — суховатым. Но сейчас пришло понимание — люди обязаны знать об этих проблемах в неразрывной связи с мыслью о том, что исток проблем и неблагополучия лежит, прежде всего, в семье. Это и есть общий знаменатель подобных горьких историй.

В новой подборке («Наш современник», № 6) — «Юля», «Васька» — Тулушева приводит выдержки из дневниковых записей блокадных ленинградцев. В пер-

вом очерке — подростка Юры Рябинкина: “А я хочу так страстно жить, веровать, чувствовать!.. Я ведь умру, умру, а так хочется жить, уехать, жить, жить!”

И вот уже ты корчишься, в груди — рваная рана бездонной глубины (и откуда в тебе такое вневременное чувство?), и слезы душат, и стыдно жить бесцельно и низко в ослепительно красивом мире. А где-то в голодном страшном блокадном 42-м мальчик просто хочет жить — с такой силою, как, может быть, не хочешь сейчас ты. И ты осознаешь это. . .

История “Юля” — о равнодушной ко всему девочке, выросшей с равнодушной матерью-наркоманкой. А парень из второго очерка — Васька, приёмьш, от которого уже дважды отказались “родители”. Эти герои беспомощно бродят по ледяной пустыне. Но, может статься. . . Шум мотора и радостный восклик заставят их вздрогнуть.

Елена Тулушева — это тот самый вестовой, глашатай, объявляющий замерзающим о показавшемся на горизонте автобусе. И “билет в лето” — право на жизнь, на счастливую (хочется верить!) жизнь — не пропадёт зря.

Юлия Беззубова,
студентка

НАСТУПИТ ЛИ УТРО?

Елена Тулушева — новичок в ряду современных писателей и, вместе с тем, автор, явно выбивающийся из этого ряда. Это выделение на общем фоне обусловлено серьёзным опытом работы в области клинической психологии. Елена является старшим медицинским психологом в реабилитационном центре для подростков. Специфика деятельности обусловила тематику её произведений.

Главные герои рассказов — реальные подростки с реальными проблемами. Казалось бы, привычное и укоренившееся словосочетание — “подростковые проблемы”, но мы даже не представляем, сколько в нём глубинного смысла, горя, слёз, несбывшихся надежд, разочарований и обид. Об этом и пишет Елена Тулушева.

Тулушева не даёт читателям надежды на исправление героев, на лучшее будущее, и мы понимаем, что это вряд ли возможно. А всё потому, что в детстве их недолюбили, недоласкали, недохвалили. И во дворе под натиском нового, неизвестного, манящего они принимались ломать свои жизни, перечёркивая горизонты будущего.

Так, герой одноименного рассказа Слава, скинхед и несостоявшийся убийца, во всём винит свою мать. Он таит большую детскую обиду на неё: за “пятнадцатки в саду”, за “лагеря на все три смены”, за кадетский корпус. Ребёнок не может понимать взрослый проблем, он не в силах связать воедино постоянную занятость матери и покупку новой куртки. Он просто тянется к ней всем своим существом, к самому родному человеку, а она раз за разом отталкивает его, отправляя туда, где ему за всё необходимо бороться. И вот эта борьба за своё существование переросла у ребёнка в злобу на весь мир, стала привычкой. Он же боролся не только в школе, но и дома, во дворе, в себе, в своих мыслях. Боролся за то, чтобы не быть одиноким.

В такой ситуации человеку почти всегда нужно кого-то обвинить, “найти крайнего”, направить на него свою ненависть, злость и обиду. Такими “крайними” Слава делает мать и Бога. С Богом у него особые отношения, построенные на ревности и соперничестве за лидерство в сердце матери: “Никогда я не буду вторым, я — первый, я — лидер!” Но нельзя сказать, что Слава совсем не верит в Бога, — верит, но не признаётся в этом. В момент обыска, эмоционального всплеска, он, как запуганный зверёк, мечется по клетке и не знает, в какой угол приткнуться, у кого попросить спасения. И тут Слава вспоминает о Боге: “Где же её дорогой Бог? Что ж не поможет?” Да, со злостью, с обидой, словно признавая своё поражение в придуманной им борьбе, но вспоминает. Я думаю, что когда-то он примирится с Богом и раскается, но до этого ему предстоит пройти долгий путь переоценки себя и мира. А Елена Тулушева является спутником заблудших подростков на этом пути исправления. Очень тяжёлая и неблагодарная работа, мало кто потом скажет ей за это “спасибо”. Но Елене это и не нужно, она просто и скромно говорит, что кто-то должен быть с ними.

Кардинально противоположная ситуация описана в рассказе “Виною выжившего”. У Миши за плечами — два срока, туберкулёзный санаторий, передозировка. А до этого — профессиональные занятия скалолазанием, спортивные соревно-

вания, победы, частые похвалы, поддержка, забота, восхищение родителей. Ничто не предвещало беды, но в один миг всё оборвалось. Здесь уже всё по-другому: переоценили, перехвалили. Могу только предположить, что с правильной дороги Миша свернул из-за страха разочаровать своих восторженных почитателей, упасть со скалы, на которую он из раза в раз взбирался. Не хватило характера.

В “Виною выжившего” присутствует ещё один яркий образ – Марина, сестра Миши. Есть в ней и в Славе что-то общее... Наверное, это приставка недо-: любили, ласкали и т. д. Но у Марины это вызывает совсем другие чувства: “Ей хотелось тоже залезть высоко, ещё выше него, выше всех них, чтобы они задирала головы, чтобы увидеть её”. Это закаляет её, воспитывает характер, формирует цели, стремления. Желание переплюнуть, смотреть свысока движет её развитием: сначала школа, мечты о космосе, потом социально-психологический колледж, работа... И постепенно зависть по отношению к брату переходит в заботу, жалость: в институте она выбирает специализацию по работе с зависимыми, чтобы помочь брату, спасти его. С одной стороны, удивляешься, как обделённый в детстве вниманием ребёнок вырастает в такую сильную, волевою и отзывчивую личность, а с другой – понимаешь, что это результат самовоспитания и больших усилий над собой, что дело – в характере.

Елена Филимонова,
студентка

О ЧЁМ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ

В буфете факультета журналистики с жаром обсуждали рассказы ярко заявившей о себе писательницы, а по образованию и основной профессии психолога реабилитационного центра – Елены Тулушевой. Но сразу хотелось бы оговориться: Тулушева заявила не о себе, а о страшных социальных проблемах современности, решения которых она подсказывает, открывая нам истинную причину их появления в своих произведениях. Большинство считало: то, о чём пишет эта молодая девушка, должно оставаться в узком кругу семьи и специалистов, если таковые имеются. Описание наркомании или пьянства у многих вызывает отвращение. Они же задаются вопросом: зачем об этом писать?

Отвечу: именно для того, чтобы подобные пороки вызывали неприязнь и отчуждение как таковые у тех, кто находится в “зоне риска”; чтобы вызвать чувство соучастия к беде ближнего и дальнего; чтобы потом родные не разводили руками со словами: “Как же это мы не уследили...” (Рассказ “Виною выжившего”).

Реалистичные истории, аккуратно перенесённые Тулушевой на бумагу, получили стройную художественную форму, где присутствует свой уверенный стиль повествования. Поэтому писательницу, которой только предстоит раскрыть свой талант в полную силу, юной назвать сложно. Создаётся ощущение, что перед нами уже вполне сложившийся автор.

Рассказы Елены Тулушевой – это не пространные рассуждения о том, что хорошо, а что плохо; не школьные сочинения с порицанием отрицательных черт героев. Это небольшие, но ёмкие произведения о том, о чём нельзя молчать.

Во всех трёх рассказах (“Слава”, “Виною выжившего”, “Мамы”), вне зависимости от того, от чьего лица ведётся повествование, автору удаётся держать читателя в напряжении. Она не просто вызывает желание узнать, что же будет дальше, как развернутся события, но и заставляет нас переживать чувства героев изнутри происходящего. Мы видим, как текут по щекам Марины горькие слёзы; сидя на кухне, она оплакивает “своё будущее одиночество и это не покидающее чувство вины за свои успехи, свои планы и мечты, вины за свою жизнь, которая у неё будет, а у брата нет” (“Виною выжившего”). Мы не представляем, а именно видим эти слёзы, эти покрасневшие глаза молодой девушки. Кажется, будто мы можем подойти и обнять, успокоить и бедную Марину, и забывшегося в угол Богдана из рассказа “Мамы”...

В рассказах можно проследить одну особенность: везде автор обозначает причину обрушения молодых судеб на фоне алкоголя, наркомании или детской преступности – это неблагополучие в семье. Может, кому-то это покажется несправедливым, но, думаю, стоит довериться мнению компетентного лица (ведь героиня рассказов Елены Тулушевой – реальные люди, с которыми она долгое время работала в реабилитационном центре), да и жизненный опыт это подтверждает. На самом деле от того, какая психологическая обстановка складыва-

ется в семье, сколько времени уделяют воспитанию и заботе о детях и любят ли их, зависит их будущая жизнь, личностное становление.

Заметим, что Слава из одноименного рассказа крайне редко видел маму. Вечно занятая работой, она то оставляла его в садике с ночевкой, то отправляла в детские лагеря на все смены, а потом и вовсе “сплавил” Славу в кадетское училище. Воспитывая сына одна, Татьяна Борисовна забывала о том, что она еще и мать, а не только кормилец семьи. “Кадетку” же Слава закончил, когда уже имел вполне сформировавшееся мировоззрение, бойцовский, агрессивный характер. Тут уж за одну службу в церкви человека не переделаешь.

Читая рассказы Тулушевой, я невольно вспоминала творчество В. М. Шукшина. Возможно, этих авторов не стоит сравнивать с художественной точки зрения (хотя краткость повествования, глубокий смысл произведений и простой язык изложения – то, что их роднит), но то, какие чувства вызывают у меня деревенские рассказы Шукшина, сходны с теми, что я испытала при прочтении произведений современной писательницы.

Анастасия Хоптинская,
студентка

УЧИТЬСЯ МИЛОСЕРДИЮ

Как часто в городской суете мы закрываем глаза на то, что портит наш привычный пейзаж, рушит стройную картину пусть серых, но вполне стабильных будней. Человеческое общество потребления стало настолько эгоистичным и самовлюбленным, что готово не глядя отбросить на обочину всё, что не вписывается в рамки его собственного комфорта. Бездомные животные, люди, по каким-то причинам оставшиеся без крова и живущие на улице, подростки, не сумевшие найти себя в жизни и поэтому ступившие на кривую дорожку, – все они сегодня, как фантомы: их стараются игнорировать, не замечать, даже близкие порой исключают их из своей “благополучной” жизни. Общество словно наложило табу на обсуждение проблем детской преступности, алкоголизма и наркомании, считая, что ничего тут уже не поделаешь, мол, из этих подростков ничего путного не выйдет, и единственное, чего они заслуживают, – это осуждение.

Но не все идет таким путём. Елена Тулушева не смогла смиренно сидеть в стороне, не обращая внимания на то, как ежегодно сотни детей прощаются с солнечным миром и погружаются в пропасть наркомании, насилия и алкоголизма. Она совмещает работу старшего медицинского психолога в реабилитационном центре с писательской деятельностью, все свои физические, моральные и творческие силы отдавая борьбе с бедами подростков. В рамках проекта “Духовность для детей” Елена работала в лос-анджелесском гетто, а потом вернулась на Родину, чтобы помогать и московским подросткам. Невероятная сила духа нужна, чтобы в столь молодом возрасте не гнаться за достатком (Елена по первому образованию специалист по международному бизнесу), а предпочесть контакт с агрессивными, озлобленными и оттого очень несчастными детьми.

Рассказы Елены Тулушевой очень динамичны, живы, естественны. Проводя столько времени в стенах реабилитационного центра, она не отпускает мысли о судьбах подростков, когда садится за письменный стол. Её включённость в работу передаётся и читателям через необыкновенно реалистичные произведения.

Рассказ “Виною выжившего” переносит нас в обычную московскую квартиру. Утро выходного дня. Сладкая дремота. Нервные крики родителей за дверь. Главной героине Марине поперёк горла стоит эта жизнь, эти скандалы и бесконечные упреки. Она сквозь сон рассуждает о своей семье: “Нормальные люди... Когда-то они ещё могли бы претендовать на это звание”. Потом в её голове всплывают воспоминания о детстве, где отцовская любовь и гордость за дочку непременно ассоциировались с застольем и запахом перегара. Теперь она не нуждается ни в их понимании, ни, по сути, в них самих, ей вполне хватает своей работы и вечеров, проводимых в барах. Вот только бы ещё спокойный сон и отдельную квартиру...

Но квартиру родители подарили старшему брату Марины, которого всегда считали умнее, сильнее и перспективнее. К сожалению, он не вынес груза ответственности, который на него возложила семья. Пока Марина целыми днями пропадала на занятиях в социально-психологическом колледже, по вечерам подрабатывала и не переставала мечтать о покорении космоса или хотя бы восхищении со

стороны родителей, её брат сгибался под давлением возложенных на него надежд и медленно превращался из примерного сына в наркомана.

Образ матери в рассказе выписан очень точно и ярко, с ноткой горечи. Женщина тащила на себе двоих детей, хозяйство, стараясь совладать с мужем-алкоголиком, поэтому с течением лет стала озлобленной, чёрствой, непробиваемой. Пытаясь криком решить все проблемы, создать порядок в доме, она несёт в глубине души тяжёлый груз, терпит боль, которую крики лишь на время заглушают. Мать становится уязвимой, говоря о Мише, потому что чувствует свою вину за то, что сейчас он неуверенно балансирует на грани жизни и смерти. Так уж она привыкла быть ответственной за всё: и за детей, и за неисправные замки, и за поломанный кран. Мне кажется, что когда женщина берёт на себя слишком много, ломается её женская сущность, и она превращается в негибкий металл.

Порой так выходит, что смерть одного становится «виной выжившего». Мишу уже не спасти, он живёт от дозы к дозе, не зная, наступит ли завтра. Мать винит всех окружающих и, в первую очередь, себя в том, что сейчас в семье нет ни счастья, ни понимания. Марина с сожалением вспоминает о детских годах, но старательно бежит от этих мыслей, чтобы не плакать. Каждый потихоньку зарывает прошлое и смиренно отводит глаза от будущего, чтобы стать ещё тверже, думая, что так проще жить.

Избавиться от прошлого хотел бы и Слава, герой одноимённого рассказа Елены Тулушевой из той же подборки. Новогодние праздники молодой человек проводил в хмельном угаре вместе с такими же, как он, дерзкими, озлобленными и уверенными в собственной безнаказанности подростками-скинхедами. Они перешли все возможные границы человечности, порядочности и здравого смысла: «Перед глазами замелькали едва сохранившиеся в памяти картинки. Он выходит из дома с ножом. Просто так, весь день пил, и адреналин зашкаливает. Фил и Лось ждут у подъезда. Пьяные<...>. Им весело и хочется беситься, как в детстве, тупо громко ржать и бегать. Провал<...>. Потом картинка: убегающий мужик под их громкие улюлюкания... Жалкий трус – сбежал, бросив дружка на расправу. Его уже повалили и дубасят ногами, прыгают, довольно скалятся. Это вкус власти над чьей-то жизнью, с каждым разом он всё сильнее и сильнее<...>. Он ударил его ножом, он помнил это ощущение – раньше не знал, как это, – когда лезвие протыкает кожу, входит в мышцы, застревая меж рёбрами<...>. Что произошло дальше – никто не понял. За эти дни они ещё не успели протрезветь настолько, чтобы всё обсудить<...>. Он не орал, он хотел просто убить. – Убить, убить эту тварь, – снова застучало в голове, как в ту ночь».

Внутренние монологи поражают своей реалистичностью. Они обрывисты то ли из-за похмелья, то ли от волнения. Комок подкатывает к горлу от их хладнокровности и жестокости.

Мне кажется, что в Славе изначально не было ни животной жестокости, ни желания противопоставить себя миру и общественным устоям, но он день за днём, год за годом наблюдал, как родная мать смотрит сквозь него, не замечая. Отсюда и ненависть к «её Богу». Мальчик чувствовал, что она его, собственного сына, любит меньше, чем Бога, поэтому детская ревность переросла в юношескую одержимость уничтожением себя, окружающей жизни и всех, кого Слава уже, к сожалению, так и не сможет полюбить.

Татьяна Сочилина,
студентка

БЕЗ ПРИКРАС

В современном мире положение молодёжи в обществе остаётся крайне неустойчивым. Каждое четвёртое уголовное преступление совершается подростками, среди которых всё больше и больше алкоголиков и наркоманов. Тогда как государственные молодёжные организации, как правило, создаются в момент приближения очередных выборов, молодёжное творчество интересуется лишь узкий круг лиц, а государственные «похвалы» за него настолько ничтожны, что отнюдь не являются стимулом к деятельности. Социальные проблемы молодёжи, увы, остаются лишь её проблемами. Часто положение трудных подростков в стране просто замалчивается, «но ведь кто-то же должен быть с ними?» Именно так говорит Елена Тулушева – старший медицинский психолог детско-подросткового отделения наркодиспансера. В нём проходят реабилитацию подростки с опытом

употребления или страдающие зависимостью от алкоголя, никотина, наркотиков.

В свои 27 лет Тулушева успела поработать во Франции и Соединённых Штатах в рамках проекта “Духовность для детей”, вернуться в Россию и продолжать эту работу с молодёжью столичных окраин, причём попробовать не только помогать таким ребятам, а ещё и донести до всех нас то, что подобные проблемы крайне остро стоят в нашем современном обществе и о них нужно говорить! Говорить так, как и делает это Елена – открыто, без прикрас и сглаживания острых углов. Речь героев, поведение, внутренние монологи не то чтобы максимально приближены к реальным, а действительно таковыми и являются (“Башка раскалывается. Надо Филу набрать...”; “Славик, тебе же врачи говорили, нельзя пить столько – у тебя давление!” – скривив лицо, он спародировал мамину интонацию”). В своих рассказах автор как нельзя более точно передаёт реальную картину возможных социальных проблем среди молодёжи. Тех, с которыми она сталкивалась, работая с “трудными” подростками. И хотя писательскую деятельность Тулушева начала всего два года назад, донести то, что она считает своим долгом в публикациях, на мой взгляд, у неё получается.

Ксения Москаленко,
студентка, г. Краснодар

ЭТО ПРАВДА!

Уважаемая редакция!

Хочется поделиться с вами наболевшим. Вчера шла по улице и прочитала на заборе: “Фашизм придёт! Навсегда!” И это в городе Мытищи, рядом с Москвой, у нас в России, во время украинских событий!.. Я не очень удивилась, ведь после распада СССР холодная война сменилась информационной. Не только на Украине, но и в России, наше общество и молодёжь подвергаются оболваниванию. И я этому свидетель.

Году в 2004-м или 2005-м (это знает Швыдкой) над Москвой взорвалась бомба с фекалиями. Эта бомба называлась “2-я Московская Биенале”, навязанная нам Западом и обретающимися там художниками-эмигрантами из России. “Биенале” была открыта в нескольких музеях современного искусства Москвы, в том числе на Петровке, 25, где я тогда работала смотрителем.

На нас вылился целый ушат порнографии (а по-русски – похабщины) и экспонатов двусмысленного содержания, оскорбляющих и унижающих честь и достоинство русского человека, нашу историю и советское прошлое. Это было глумление победителей над побеждёнными. Посетители часто спрашивали нас: “Вам тут за вредность платят?”

Невозможно перечислить всю вереницу выставок, которую мне пришлось увидеть за 12 лет. Большинство из них негативно действовали на сознание и психику посетителей, особенно молодёжи.

За искусство выдаются бездуховность, пошлость, антипатриотизм, порнография и сексуальные извращения – всё гонится для растления подрастающего поколения нашей страны.

Я расскажу только о двух из многих экспонатов, картин и инсталляций, которые ранили мою душу, которые я никогда не забуду и, как русский человек, не смогу простить.

На выставке художника Кулика в музее в Ермолаевском переулке, 17 была представлена большая клетка из металлических прутьев, где в натуральную величину сидел за письменным столом Л. Н. Толстой, реалистично вылепленный из воска. А над его головой, тоже в клетке, по прутьям бегали живые куры, которые гадил в низ. К концу выставки вся фигура Льва Николаевича была залеплена помётom. Вот так “современное искусство” обгадило нашу литературу и культуру.

Не знаю, специально ли это или простое совпадение, но музей на Петровке расположен напротив православного Высоко-Петровского монастыря. Верующие даже пытались пикетировать здание нашего музея, протестуя против содержания выставок, но их быстро разогнали. Музей в Ермолаевском переулке отделён от православной епархии кладкой кирпичей. Знали бы в Патриархии, какая бесовщина иногда выставляется в музее у них за стеной!..

Ещё один эпизод из многих. Музей на Петровке, 25 взял в аренду из Третьяковской галереи картину братьев Ткачёвых “Лиховетье”. В зале она выделялась своим содержанием и художественным исполнением. В очередное моё дежурст-

во, как обычно, пришла в зал экскурсия школьников. Экскурсовод – молодая девушка с высшим образованием “авторитетно” разъясняла подросткам: “На этой картине изображена тяжёлая жизнь крестьян при Советской власти...” Она увела детей дальше, в другой зал, и ни слова не сказала об Отечественной войне и об истинном содержании картины.

Девочки, стоявшие ближе всех к картине, заметили: “А вот эта, босая – какая страшная... Ха-ха-ха...” – и заторопилась догонять свою группу.

Когда зал опустел, перед картиной остались стоять парень и девушка. Картину в жанре реализма всегда хочется рассматривать долго... Я не выдержала и подошла к ним. Они улыбались. “Ребята, разрешите, я расскажу вам настоящее содержание этой картины”. Они не возражали. “Картина называется “Лихолетье”, – продолжала я. – Вы видите перед собой русское поле ранней весной 1944 года. Красная Армия выбила фашистов из села и погнала врагов дальше. Видите, слева, на горизонте, – разорённая деревня, одинокая коровёнка, чудом уцелевшая при немцах, щиплет прошлогоднюю траву. В деревне не осталось ни мужчин – они ушли на фронт, – ни молодёжи – они угнаны в Германию, ни машин, ни лошадей, одни женщины и дети... А надо жить, пахать это поле, на котором ещё мины падаются, кормить себя и страну. Вы видите на переднем плане полураздетых женщин и детей, запряжённых в плуг. А за плугом ходит солдат-инвалид на деревянной ноге. Нам сейчас трудно даже представить себе, каково им было, как русский народ восстанавливал хозяйство после войны”, – заключила я.

Я подумала о том, что определённая прослойка нашего общества, которая кушала хлеб, замешанный на крови и поте, и слезах русского крестьянина, получив высшее образование, назвала русский народ “быдлом”. Могли бы быть и повежливее...

“Это правда?” – спросил юноша, став серьёзным. “Конечно, – ответила я. – Ведь я родилась до войны. Моя мама и её сестры почти так же работали в колхозах после войны. Сами были голодные, а кормили всю страну”.

“Спасибо!” – сказали мне ребята и пошли дальше, унося с собой Правду.

Тамара Кирилловна Неподаева,
пенсионерка, в прошлом – смотритель Музея
современного искусства на Петровке, 25
г. Москва

ОСКОРБИЛИ ПАМЯТЬ СУВОРИНА И ЧЕХОВА

Уважаемая редакция журнала “Наш современник”!

Обращаюсь к вам с просьбой довести до сведения общественности ту неприглядную картину варварства, что совершается на родине выдающегося русского литературного деятеля, известнейшего издателя и просветителя России Алексея Суворина. Прежде всего, расскажу об этом человеке.

9 сентября 2014 года исполняется 180 лет со дня рождения публициста, писателя, издателя, уроженца села Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии Алексея Сергеевича Суворина (11.9.1834–11.8.1912), который известен не только своей плодотворной издательской и общественной деятельностью, но и как ревностно заботившийся о своих земляках человек. Он часто бывал в родном селе Коршево, построил там школу, в которую подбирал лучших учителей, заботился о материальном положении крестьян. В 1892 году во время голода в Воронежской губернии он приезжал на родину вместе с Антоном Павловичем Чеховым. В этот приезд он останавливался в доме священника местной Воскресенской церкви Федотова: здесь была организована столовая для голодающих, здесь Антон Чехов лечил крестьян. Дом Федотова с тех пор хранил память об этих людях, а рядом стоящий дуб стал своеобразной Меккой для поклонников Чехова – ведь под этим деревом врач Чехов принимал крестьян.

С приближением 180-летия со дня рождения Суворина воронежцы надеялись на отдание ему должной памяти, были уверены, что вспомнят добрым словом и делом и писателя Антона Чехова (17.1.1860–2.7.1904), для которого 2014 год тоже имеет свою круглую дату: 7 июля 2014 года исполнилось 110 лет тому, как Чехов ушел в мир иной. Казалось, что благодарность потомков проявит себя.

Но случилось то, о чём я вынужден рассказать.

Начну по порядку. 8 ноября 2013 года мне позвонил давний знакомый – кра-

евед из села Коршево Александр Иванович Ляпин – и сказал: “У нас проблемы. Дом священника Федотова ломают”. Я явственно вспомнил этот просторный дом на высоком фундаменте и дуб рядом с ним, под которым несколько лет назад мы сидели на скамейке с краеведом и беседовали.

У меня похолодело на душе: “Единственное, что осталось в области в память о Чехове, – и то сносят!”. А Ляпин продолжал: “Обивают штукатурку. Теперь как первозданный вид. Видимо, кому-то под сруб понадобился”. Я не знал, что сказать. Хотел написать заявление в суд, но к кому предъявлять иск, было неясно: краевед не мог сообщить, кто ломает дом. Да и судейская тяжба затянулась бы надолго. Я несколько дней думал, что же предпринять, как снова позвонил краевед и сообщил: “Стали шифер с крыши снимать”. Тут уж ждать было нельзя. Пришли мысли, как оперативно среагировать на произвол. Я позвонил руководителю областной телерадиокомпании и рассказал ставшие мне известными факты. Тот ответил: “Давайте материал”. Я несколько дней потратил, чтобы получить из Коршево фотографии разрушаемого дома и с ними приехал в телерадиокомпанию, но с руководителем встретиться не получилось, и я изложил всё корреспонденту местных “Вестей”. Корреспондент обнадежил: “Посмотрим”. Потом созванивался с ним и слышал в ответ: “Тема в работе”. А из Коршево пришли утешительные новости. “Вроде не срывают. Дождь весь день льёт”, – говорил краевед. Я успокоился, но усомнился: “Надолго ли?”

И вот корреспондент сообщил: “Завтра выезжает группа”. У меня от сердца отлегло: “Дом Федотова спасён!” Я и сам готов был ехать с телевизионщиками в Коршево, но решил не мешать им. Хотя и закрадывалось сомнение: не обманули бы. Ведь в своей жизни я повидал столько обмана, словно он превратился в норму жизни.

Не обманули. Краевед позвонил: “Группа приезжала. Всё отсняли”. Я воспрянул: “Ну, сейчас покажут по местному каналу! Тему подхватят общероссийские телекомпании! И ударят по рукам тем, кто посягнул на память Суворина и Чехова”.

Смотрел по телевидению новости, но материала по Коршево не показывали. Прошёл день, второй, прошла неделя. Я нервничал, звонил краеведу: “Не показали? Может, я проглядел?” Тот прояснить ничего не мог. “Золотое время теряют”, – у меня сжимались зубы. Вот позвонил краевед: “Есть новости...” – “Увидели по ТВ?” – обрадовался я. “Да нет. Ну, осторожно, аккуратно сняли шифер, теперь сдирают железо”, – произнёс он. Я снова звонил в телерадиокомпанию, передавал печальные известия, просил скорее показать материал, а мне отвечали: “Да, материал есть, но найти хозяина не можем”. – “Как это? В администрацию Коршевского поселения позвоните”, – вырывалось из меня. “Кому ни позвоним, все отрещиваются”. Отрещивалась областная и местная власть, которая обязана знать, что происходит на их территории.

Показ материала откладывался. Я снова интересовался: нашли “хозяина”? Пошёл материал? Выяснял у краеведа: знает он тех, кто разбирает дом? Но он отвечал: “Мы спрашиваем у рабочих, кто вас послал ломать? А те смеются и не говорят”.

Время шло. Новый звонок Ляпина: “Рамы вынимают. Кирпичный сарай рядом разрушили”. Меня охватило ощущение, близкое к безысходности: “Что творят!”

Терзало: “Завтра уже декабрь, а началось в ноябре. И до сих пор не выяснили, кто чинит безобразие”. Внутри ныло: “Алексей Сергеевич! Антон Павлович! Что же за Вас никак не вступятся!”

5 декабря краевед позвонил: “Печь разбирают. Мы с ребятами подошли: “Что же вы делаете?” А нам: “Да это не мы, нас заставляют””. Я звонил в телерадиокомпанию, прибежал туда, требовал дать материал, но дело с места не двигалось.

Я возмущался: “Варварство!” А мне отвечали: “Что, в Воронеже это впервой? Вон дом, где останавливался Лев Толстой – раскурочили”.

От звонков на телевидение чуть не заработал нервное расстройство. Шёл Год культуры, а получалось – год разграбления.

И вот 5 июня я позвонил в Коршево. Хотелось услышать: дом оставили в покое. Спросил, между прочим: “Ну, как там?” – “А как? – смеясь, говорил краевед. – Подогнали трактора и всё разломали”.

Меня как обожгло!

Я отложил все дела и на следующий день поехал в Коршево. В средней школе нашёл Ляпина, который показал мне табличку “С. Петербургское общество страхований 1858 г.”: “Это с дома Федотова. Мы еле успели её снять!” – пояснил он. Выходило, дом застраховали. Он простоял более 150 лет! “Не спасла страховка”, – с горечью подумал я.

Я стоял перед горой обломков, которые ещё недавно были домом со славной и долгой историей. Бревна лежали сикось-накось, торчали вверх, угрожающе выпирали углами листы железа, зависали обломки стен. Ляпин залез на край кучи и стучал по дереву: “Бревна-то живые, свежие! Дуб! Звенит, как будто вчера обтесали!” Я вспомнил табличку: “Застрахован в 1858 году”.

— Надо же, как строили! — И зазвучало в душе извечное, характерное для всей России: “ломать — не строить...” Как часто у нас огульно ломают, не думая крушат. С печалью смотрел я на то, что могло бы ещё служить и служить, принести пользу, но по воле людей равнодушных предалось уничтожению.

Я озираю это печальное побоище.

“Так поступили, как будто здесь Гитлер родился”, — заключил краевед.

У меня похолодело всё внутри. А на самом деле так поступают только тогда, когда нужно уничтожить, стереть с лица земли память. Гитлер такого заслуживал, но Чехов? Суворин? Конечно, нет!

В ста метрах от дома высилась Воскресенская церковь, где служил священник Федотов. Я взобрался на колокольню и разглядывал на одной половине деревенского простора домики, где за деревья прятались кучи мусора, оставшегося от бывших строений больницы и дома Суворина, на другой — сползавший к Битюгу склон с бескрайним ковром леса до горизонта. На фоне такого безбрежья кучи мусора от строений больницы казались маленькими, но чем меньше выглядели они, тем глубже впивался в сознание ужас от всего происшедшего.

Я знал, что священника Федотова репрессировали, что в 35-м закрывали Воскресенскую церковь и в 49-м открыли вновь.

“Эх, насилие продолжается. Мало, что сажали священника, нужно ещё стереть с лица земли его дом. И всё, что с ним связано”.

Я добрался до администрации поселения, но главы на месте не оказалось. Как сказали: “Она на поселении”. Видимо, у местной власти в запасе всегда было алиби на случай приезда нежелательных гостей.

Меня одолевал вопрос: почему такое произошло? Я направил главе Коршевского поселения запрос с вопросом: почему уничтожен дом священника Федотова? И вскоре получил ответ.

“Старая больница (здания, включая дом Федотова) стояла на балансе... передана Департаменту имущественных и земельных отношений области, который 10 сентября 2013 года издал приказ о списании имущества...”

Выходило, что списали. Что осенью прошлого года, когда начали растаскивать и курочить дом, он уже был списан! Хозяйном оказалась могущественная в каждом регионе организация.

Получалось, коршевцев, краеведа, школьников, меня, телевизионщиков держали в неведении, скрывали, кто затеял это гнусное дело, водили за нос.

В приказе значился и инициатор сноса:

“...на основании обращения Департамента труда и социального развития области”...

Снова чиновники!

Эти радетели за свой карман...

В приказе значилось: “в десятидневный срок... представить... копии документов, подтверждающих... демонтаж здания...”

В приложении к приказу было записано: стоимость зданий, котельной, гаражей, подвалов — нулевая.

А я-то видел, какие там бревна, какие доски, какой стройматериал! Неспроста ещё по осени протянули к нему свои руки нувориши...

Выходило, не без участия областных и местных чиновников растаскивали шифер, снимали окна, утаскивали брёвна...

Можно зареветь белугой, осозная, как в очередной, тысячный, миллионный, миллиардный раз обманули людей, коршевцев, меня, оскорбили память Суворина, Чехова чиновники без сердца и без понятия землячества. Тайные враги жизни и культуры россиян...

А ведь на юбилей Суворина все эти чиновники соберутся, будут произносить речи в честь прославленного земляка и известного писателя, будут пить крепенькую за людской счёт, и никто и словом не обмолвится, как подло они обошлись с патриотами России.

Михаил Иванович Фёдоров,
адвокат, член Союза писателей России
г. Воронеж

КРОВЬ НЕВИННО УБИЕННЫХ...

Уважаемая редакция!

Сегодня, на глазах всего цивилизованного мира на юго-востоке Украины развернулась страшная трагедия. Идёт полномасштабный геноцид русского населения нашего региона. Нас расстреливают из всех видов вооружения, включая танки и ракетные комплексы, бомбят авиацией с воздуха. Нас уничтожают. Нас не хотят видеть живыми. Именно как русских. Раздирающий душу вой сирены противовоздушной обороны, пустые прилавки магазинов и аптек, руины жилых домов и госучреждений, воронки от снарядов и бомб, трупы убитых людей, лежащие на улицах и обочинах дорог, — всё это стало обыденным явлением для жителей городов и сёл Донецкой и Луганской областей. Гибнут десятки людей. На Юго-Востоке продолжается “антитеррористическая операция”.

Естественно, происходящие сегодня на юго-востоке Украины события не могли бы сделаться возможными без мощной поддержки Запада. Поддержки политической, финансовой, информационной. Во всю мощь работает политика двойных стандартов. Для них насильственный захват власти в Киеве фашиствующими молодчиками в феврале — это волеизъявление “свободных” граждан Украины, а вот мирные бескровные референдумы в Крыму и на Донбассе — крайне опасные для спокойствия мирового сообщества провокации, организованные “врагами порядка и законности”. Когда милиция в ноябре попыталась разогнать бесчинствующую толпу — американские и западноевропейские СМИ подняли вселенский визг: ОНИ ЖЕ ДЕТИ! Между тем, абсолютно не принималось во внимание, что “ониждети” нападают на сотрудников милиции при непосредственном исполнении их прямых служебных обязанностей. Милицию и солдат внутренних войск били палками, цепями, кидали в них камни и коктейли Молотова. А те практически не предпринимали никаких мер, соответствующих образовавшейся на Майдане ситуации. Не поступало приказа сверху. В какой стране могло произойти что-то подобное? В США? В Великобритании? Или в той же Германии? Мыслимо что-то похожее даже вообразить? Но когда сейчас на головы мирного и безоружного населения Донбасса летят бомбы и снаряды, а по густонаселённым городским кварталам “работают” ракетные установки, то же самое мировое сообщество хранит гробовое молчание, ибо, по его разумению, там идёт вполне цивилизованная “антитеррористическая операция”.

Перед телекамерами мировых средств массовой информации всю меру ответственности за проведение на территории Донбасса кровавой карательной операции взял на себя “всенародно” избранный Президент Украины Петро Порошенко. Грамотные люди давно разобрались, что Порошенко будет поступать только лишь так, как порекомендуют ему его западные друзья. Ни шагу влево, ни шагу вправо — без команды “оттуда”. Пожурчав вволю речами перед журналистами о мире, тем же часом отдаёт он приказ об артобстреле городов и сёл Донетчины и Луганщины.

По Украинскому телевидению часто показывают жителей Западной Украины, требующих от своего правительства как можно более жёстких мер по отношению к непокорному Донбассу. Несомненно, большинством из них движет мстительное чувство и, в немалой степени, страх. Ведь вначале мероприятие, именуемое АТО, навязанное извне, виделось им чуть ли не увеселительной спортивно-охотничьей прогулкой по плотно заселённой перепуганной дичью местности. А наткнувшись они на надлежавший отпор со стороны народного ополчения городов Юго-Востока. И почему-то удивились!.. Будто им было прежде невдомёк, что никакого нормального человека не горит желанием быть ограбленным, незаслуженно убитым, убитым. И на их землю сейчас пришло горе. Не редкость теперь, что в какой-нибудь квартире во Львове или под крышей белостенной хатки где-то на Волынщине раздаётся истошный крик новоиспечённой вдовы. Ежедневно с Донбасса на запад Украины отправляются гробы с телами чьих-то отцов, братьев, сыновей. И некоторые из родственников погибших в запальчивых речах требуют мести за смерти своих погибших близких. Яро. Зло. Но забывают они, между тем, что мы не звали подобных гостей к себе домой. А они пришли устанавливать СВОИ порядки на НАШЕЙ земле, пришли нас убивать. Одурманенные псевдопатриотическими речами дикторов Украинского телевидения, они забыли слова святого благоверного князя-воина Александра Невского: “Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет”. Потому-то и отправляются гробы во Львовскую и Тернопольскую область, в Ивано-Франковск и Ровно. А перед украинскими

СМИ обозначена первоочередная задача: дурачить народ, держать его в постоянно нагнетаемом воинственном психозе, чтобы не дать людям разобраться в сути происходящего сейчас на Украине. Хотя суть проста и очевидна: люди одной крови убивают друг друга, брат убивает брата.

Война пришла и на мою Родину, в Станично-Луганский район – в совсем ещё недавно цветущий край, издавна освоенный для жизни донскими казаками, радовавший глаз живописной природой, а сердце – отголосками былых времён, хранящимися в протяжных песнях коренных жителей района. Областной центр, город Луганск, находящийся от Станицы Луганской в двенадцати километрах, долгие годы привычно обеспечивался клубникой, сорванной прямо с грядок, огурцами, помидорами, выращенными в наших парниках и теплицах. Везли в город и молоко, и сметану, и творог – хозяйства у доброй половины людей содержались довольно крепкие. Народ живёт здесь работающий, умеющий и любящий трудиться. Не надеясь на шаткое “авось” и “доброе дяденьку”, делали сказку *быльё* собственными руками. Но сейчас всё поменялось. Война.

Отзвуки автоматных и пулемётных очередей, периодически раздающиеся где-то в окрестностях посёлка. Гулкие удары разрывов снарядов. Полные испуга глаза маленького мальчика. Его шёпот: “Мама, я боюсь...” И совершеннейшее бессилие молодой мамы, пытающейся защитить собственного ребёнка. Плач дряхлой старухи, едва-едва спустившейся вниз по ступеням в подвал, спасающей от бомб, падающих с неба. Вооружённые люди, патрулирующие обезлюдившие улицы некогда счастливого, весёлого поселка. Сегодняшняя жизнь его жителей – без электричества и газа, без подвоза свежих продуктов в магазины и медикаментов в аптеки. Война.

Бои возле Станицы Луганской начались в конце мая-начале июня. То затихнут, то опять возобновятся с новой силой. Обойти посёлок стороной война не может никак, поскольку он занимает стратегически важное положение. Через Станицу Луганскую проходят две дороги на столицу Луганской Народной Республики – город Луганск. По ним можно заехать напрямик в восточную часть города. На обеих дорогах перед автомобильными мостами через реку Северский Донец оборудованы блокпосты ополченцев. Надо сказать, в народном ополчении состоят в основном местные жители района. Сперва в добровольцы записались те, кто изначально не мог смириться с мыслью, что на нашу землю заявится враг и начнёт наводить свой *бандерложий* “порядок”, а потом уже к ним присоединились люди, кому надоело жить в постоянном ожидании скорой и неожиданной смерти. И воюют теперь вместе за отчую землю. Воюют, как раньше работали: умело, со смекалкой. Немало нацистских карателей нашло свою смерть в казацком краю, немало боевой техники было подбито и сгорело.

2 июля стало чёрной датой в истории Станицы Луганской. В этот день самолёты военно-воздушных сил Украины разбомбили улицу Островского. Погибло 12 человек, среди них двое детей, несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести. Более чем странный выбор цели для участников антитеррористической операции – совершенно мирные люди, никогда не бравшие в руки оружия. Трагической ошибкой этот случай не назовёшь. Какая может быть ошибка, если отряды бойцов народного ополчения к улице Островского никогда и близко не подходили? Ближайшее их месторасположение находится в нескольких километрах отсюда. Что кроется за этой трагедией? Какие цели преследуются её организаторами? Данные вопросы до сих пор остаются открытыми. Украинские власти сразу же свалили вину на ополченцев. Мол, это они произвели миномётный обстрел тихой рабочей улицы. И весь “цивилизованный мир” охотно сей басне поверил. Невзирая на то, что свидетелями данного военного преступления, направленного против гражданского населения, стали сотни людей, живущих в нашем посёлке. Но какое до них дело киевским властям? Какое им дело до слёз детей, стариков и старух, прячущихся по подвалам от артобстрелов и налётов украинской авиации? Какое им дело до гибели многого множества мирных людей, им, развязавшим эту кровавую бойню?

Кровь невинно убиенных вопиет к небесам!

Дмитрий Николаевич Юдкин,
член Межрегионального союза писателей Украины,
председатель правления литературно-исторического клуба “Русичь”
г. Луганск

О СТАЛИНЕ НЕВОЗМОЖНО НЕ ДУМАТЬ

Здравствуйте, Станислав Юрьевич!

Вашу публицистику всегда читаю с волнением, и “Жизнь. Судьбу. Россию”, и про жрецов и жертв Холокоста, и о поэтессах и поэтах Серебряного века. Во многом соглашаюсь, но иногда хочется поспорить. Хотя, может, это и не спор будет, а просто разговор – как посмотреть.

В нашей истории есть раскольные темы, раскольные фигуры – Иван Грозный, Петр I, декабристы, Колчак, Сталин, – относительно которых никак не складывается согласие даже в среде единомышленников. Вот и в 11-м номере “НС” за 2012 год Ваши дневниковые записи как раз про Сталина. Прочитала – и несколько дней ни о чём другом думать не могла. Не даёт мне покоя мысль, что так азартно защищать эту личность, безусловно, масштабную, всё-таки не надо. Я пишу это не с голоса телепропаганды, и в отношении Сванидзе и ему подобных с Вами вполне согласна, да и прогорели они со своими клеветами, потому как вызвали обратную реакцию, – я иду от семейного предания и собственных наблюдений.

К Сталину и репрессиям я отношусь примерно так же, как относился мой родственник, узник Северлага с конца 1937-го по начало 1946 года по ст. 58-2-7-11. Годы жизни: 1909–1984. Чтобы не тревожить имени, данного ему при крещении, назову его Алексеем Ивановичем. Он был реабилитирован в первую волну, в сентябре 54-го, справку получил в мае 57-го (документы есть). Когда появился “Один день Ивана Денисовича” (я училась в 7-м классе), я прочитала и спросила: “В этой книге написана правда?” Он ответил: “Да, так оно и было”. При этом ни до, ни после хрущёвских разоблачений А. И. никогда о Сталине плохо не говорил. У него даже была версия, возможно, ещё с лагеря, что репрессии конца 30-х – это происки немцев, которые готовились к войне с нами и сумели так подстроить, что наша верхушка бросилась на поиски врагов народа: учинили погром военных кадров, озлобили безвинными арестами мирное население. Он рассказывал, что когда началась война, охрану лагеря усилили – боялись, что начнутся бунты и переход эзков на сторону фашистов. Но ни один человек даже не заикнулся об этом, напротив, посыпались заявления на имя Сталина с просьбой отправить на фронт. Писали: “Кровью докажу, что не виновен” – или: “Кровью смою позор”. А. И. тоже писал, говорил, что дважды, но его не отпустили. Вскоре он был отряжен комплектовать машины для фронта. Из окрестных хозяйств стягивалась неисправная автомобильная техника, заключённые собирали из неё ходовые машины для отправки в армию.

Специальность механика спасла его, он был поставлен на паёк, была наложена бронь, да ещё за одно рацпредложение скостили срок на 2 года из 10-ти. Вообще он считал, что было у него несколько везений: и эти 2 года, и то, как хирург-еврей сделал ему удачную операцию сложного случая аппендицита (“Теперь бы зарезали”, – говорил).

Самые страшные были первые два года – работа на лесозаготовках. “Люди мёрли, как мухи”, – вспоминал он. Кормили плохо. Особенно быстро сворачивались те, кто не имел привычки к физическому труду: партийные работники, служащие, интеллигенция. Может быть, не везде было так, но было и так. А. И. не раз задумывался о числе жертв, и я помню его прикидки. Поэтому я не верю ни в меньшие, ни в большие цифры, которые теперь приводятся. Я понимаю трудности подсчёта. Даже по разнесению по статьям – уголовная, политическая, – ведь порой человека подводили под ту, которая удобнее в данный момент, есть такие свидетельства. Возможно, архивы по политзаключённым были подчищены, что вполне объяснимо: после XX съезда ещё были живы вершители расправ, и они не могли не бояться за себя – никто не знал, как далеко могут зайти разоблачения “культы”. Подчистки могли случиться даже и до съезда, сразу после смерти вождя, – те, кто подписывал расстрельные приговоры, вряд ли спали спокойно и ничего не предпринимали.

Мне разрешили в 1997 году прочитать дело А. И. в архиве ФСБ. И сразу поразила одна цифра. Из села Хаихта Куйтунского района Иркутской области в конце 1937 года было арестовано 16 человек, 16 мужиков-работников. Одним из них (не буду называть фамилию) был заявлен весь список, и это был список “участников контрреволюционной повстанческой организации”. Дальше шли показания, страшно путанные, было видно, что люди не знали, что говорить. На А. И. показывали, что он “вредительски ремонтировал трактора”. Легко было придум-

мать для механика МТС! И даже нет возмущения этими людьми – они свидетельствовали явно под прессом.

О Сталине, конечно, невозможно не думать. И я всегда хотела уяснить для себя его образ без навешивания лишних вин, но и без излишнего возвеличивания. Я читала о том, что Сталин в годы индустриализации знал если не в лицо, то по фамилии каждого директора завода. Так почему же у него не возник вопрос, куда девался в 1937 году директор иркутского авиазавода? А. И. говорил, что видел его в той самой иркутской тюрьме.

Вы называете его “православным семинаристом”... Да, но семинарист недоучившийся, исключённый, с нехристиански мстительным характером... И сколько православных священников в его правление сошло в землю... Да, он открыл церкви в годы войны, но мне кажется, народ так и не успел понять, явилось ли это отказом от воинствующего атеизма или необходимым политическим шагом. А если всё-таки началось выправление перегибов 20-х годов, на что просто не хватило жизни? Кто знает... Ведь было и такое (довелось прочитать в одной рукописи): во время войны (или сразу после войны) особо отличившимся воинам по указу Сталина выделялся кусок земли в пять гектаров на единоличное хозяйство. Однако поднять эту землю отцу автора рукописи не пришлось: не дали нищие колхозники из зависти, да и у самого хозяина, израненного в боях, да с малолетними детьми, не достало сил – ничего из этого не вышло.

Ещё черта времени – наши стройки 1930-х годов. В “НС” несколько лет назад был опубликован материал (не вспомню имя автора, но он писал тоже в защиту Сталина) о том, как строились необходимые стране заводы, особенно на Севере. Как сначала собрали вербованных, но они стали разбегаться, не выдержав холодного климата и тяжёлых условий труда. Тогда стройки были переданы в ведомство НКВД, и дело пошло. Трудно отрицать тот факт, что непосильный груз индустриализации при строительстве социализма в отдельно взятой стране лег в том числе и на плечи заключённых. Наверное, другого пути и не было в той обстановке разрухи и отставания от других стран. Но как нам разделить в подсчётах жертвы репрессий и жертвы индустриализации? Они неразрывны. Важнее осознать, что мы до сих пор пользуемся плодами их труда. Тут я совершенно согласна с Вами по поводу чередования эпох: накопление – проедание. Видимо, пульсация такая: напряжение – расслабление. Подвигам комсомольцев-добровольцев в 60–70-е годы тоже не надо принижать. Но им было легче, у них уже была техника, и они находились не на положении рабов.

Читала я о Сталине и другие свидетельства. Например, мемуары маршала А. Е. Голованова “Дальняя бомбардировочная”, опубликованные в 2000-х годах, и не доверять им у меня тоже нет оснований. Голованов возглавлял “Аэрофлот” у нас в Иркутске, а потом создавал Дальнюю авиацию. Он избежал ареста, будучи предупреждён (его должны были снять в Иркутске с самолёта на Москву, но он успел сесть на проходящий поезд, и в Москве его не тронули). Интересно начало его карьеры, если Вы читали – просто напомним.

Предложение о необходимости создания Дальней бомбардировочной авиации в начале войны первыми подали начальники повыше Голованова, он тогда ещё был молод. Но к ним не прислушались – за это их сняли с постов, во всяком случае, одного из них. Тогда этот снятый сказал Голованову: “Пиши докладную Сталину по Дальней авиации. Тебе должны поверить”. Голованов какое-то время мешкал. Тот ему снова: “Пиши”. Голованов, преодолевая страх, написал. И всё получилось. Сталин лично контролировал всю организацию этого рода авиации, и она сыграла огромную роль в разгроме врага. Каждый лётчик имел право, отбомбившись, докладывать лично Сталину по связи, что задание выполнил. Мне стало понятно выражение “сталинские соколы” – они действительно были.

В этих мемуарах меня поразило, как проводились совещания по разработке военных операций, как Сталин своей волей напрягал маршалов на настоящие мозговые атаки. Вот этот бы опыт переняли наши правители при решении жизненно важных проблем! И для меня нет вопроса, быть или не быть портрету Сталина на парадах в День Победы, – разумеется, быть, а портреты маршалов – рядом.

Современному человеку механизм репрессий до конца не понятен. Это потому, что он смотрит на 30-е годы из сегодняшнего дня, а надо смотреть из 20-х, начиная с 17-го, когда была с корнем вырвана русская аристократия, а вскоре появились принудительно-трудовые и концентрационные лагеря. Но чтобы смотреть оттуда, надо быть немножко “белым”, а в России выжили потомки “красных”. Вот почему патриоты не могут договориться по этому вопросу. Я тоже спорила с нашими монархистами. Говорила, что нельзя отбрасывать прошедшие

семьдесят лет, что на российском дворянстве лежит историческая вина, которую впоследствии белая эмиграция вынуждена была признать. Уж эти наши споры! Монархисты возражают с большевистским запалом, не осознавая, что Сталин был последним российским монархом. И меня как-то не воспламеняет довод о том, что Сталин дал бой “пятой колонне”. Прошло не так много лет, и что же? “Пятая колонна” возросла и усилилась, дух предательства проник всюду. И это не её сила – это наша слабость от утрат.

В 4-м томе “Жертв политических репрессий Иркутской области...” на букву “К” (Иркутск, 2001) перечислены имена пострадавших с короткими справками: когда, где были арестованы, по какой статье осуждены, национальность, социальное положение. Всего 3,5 тыс. имён, у всех 58-я статья с несколькими пунктами. Национальный состав разнообразен, но значительно преобладают русские. Листаю: Киселёв Александр Иванович, Киселёв Алексей Илларионович... 5 страниц Киселёвых; неполных 8 – Кузьминых; 8,5 – Козловых; 9 – Константиновых; 19,5 – Кузнецовых... По 6 имён на каждой странице. Социальное положение: большей частью крестьяне, рабочие, разнорабочие; уровень образования: неграмотные, малограмотные, с начальными классами, редко у кого семь-восемь классов. Есть и из числа руководителей, но меньше. Из 118-ти Кузнецовых 51 “подвергнут расстрелу” (указаны место и время, как правило, в Иркутской тюрьме), двое умерли в лагере, 32 получили 10 лет, один – 12, остальные 5–8 лет, 10 человек просидели от 1 м-ца до 1 года, двое высланы на север Братского района без указания срока.

Потому я к Сталину отношусь так: не хочу его судить, хочу понять, что происходило. Пока мне ясно одно: эта фигура не объединительная. Наблюдаю даже на житейском уровне: те, чьи семьи не пострадали, Сталина защищают, у кого пострадали – проклинают. Одни говорят: “Зря не посадят”, – другим обидно это слышать. Соседка по дому, с которой мы иногда перекидываемся словечком, как-то в связи с нынешними безобразиями убеждённо проговорила: “Во времена Сталина правильно всех сажали, так и надо было. Мой отец служил в НКВД, я знаю”. Я не стала с ней спорить, более того, я подумала: наверное, было бы лучше, если бы подавляющая часть общества считала именно так. Надо верить вождям своей страны, а не оплёвывать их. И я даже позлорадствовала, когда при голосовании за “Имя России” Сталин, скорее всего, занял первое место. Получайте, “демократы”! Сталина вспоминают именно из-за сегодняшней разрухи и безвластия. Да и по части жертв есть что предъявить нынешним правителям. И тюрьмы полны, и невинные сидят, а преступники живут припеваючи. Споры о цифрах за 90-е – 2000-е ещё впереди. Просто сегодня легче обвинить самого пострадавшего. Дескать, надо шевелиться, не пьянствовать, не бояться изменить свою жизнь. Опять же: кто приспособился, тот сосчитает по-своему, кто нет, тот – по-своему.

И всё-таки. Имя Сталина сегодня, помимо всего, – символ величайшего напряжения народных сил, которое повторить не захочет никто. Общие потери в людях слишком велики, причём качественные. Сужу по семьям, по выбитым поколениям. Да Вы сами по себе, Станислав Юрьевич, доказательство тому. Скажите, сколько таких, как Вы, найдём по России? Нет, Вы, конечно, один, другого просто быть не может. Но сколько подобных Вам, бесстрашных, упорных, способных одновременно драться на нескольких фронтах, умеющих выразить в слове свои убеждения? Я думаю, таких не много сможем насчитать. А моё поколение, уже послевоенное? Никто не достиг размаха Вашего поколения, успешного родиться между гражданской и репрессиями.

И я не могу согласиться с С. Михеенковым, автором в целом интересного исследования судьбы маршала Конева в романе-биографии “Солдатский маршал”, опубликованном в нескольких номерах “НС” за 2012–2013 годы, когда, называя поколение Конева, Рокоссовского, Жукова особенным, он при этом приходит к странному, на мой взгляд, утверждению: “Конечно, если бы в кровавой смуте двадцатых и тридцатых годов сгнули и они, то армиями и фронтами под Смоленском, Москвой и на Курском выступе командовали бы другие полководцы. И кто-нибудь другой не хуже Рокоссовского провёл бы Сталинградское сражение. И кто-нибудь другой, а не Жуков, а не Жуков, но с тою же непреклонной волей, граничащей с жестокостью к собственным войскам, отогнал бы немцев от Москвы. И кто-нибудь другой, а не Конев, так же блестяще завершил бы Яско-Кишинёвскую операцию...” Откуда такая уверенность?!

Нужно признать все потери, не отдавая ни одной победы. Имя Сталина нас не усилит и не объединит, даже если очистить его от наветов. Потому что история со временем становится мифом, и уже сложился миф о жестоком правителе,

создать же новый, с другим знаком невозможно. Видимо, насилие над людьми в первой половине XX века достигло такого критического состояния, когда уточнение цифр понесённых жертв общего восприятия не изменит. Сталин – в той половине и неотделим от неё. Горячая защита может как раз навредить его образу. Найдётся немало желающих в ответ Вам без конца доказывать, какой он злодей, вместо того чтобы во всём спокойно разбираться. Немало хороших людей, не принимающих его имени на дух, от Вас будут отворачиваться, а оппоненты лишней раз взбодрятся (да Вы ещё с такой удалью их поддразниваете и подзуживаете!) и всё будут и будут запугивать народ. Эти качели никогда не остановятся, к радости нынешних бесов. Полемист Вы отменный, но чуть отвлекитесь от противников и посмотрите на союзников. Зачем их раскалывать Сталиным?

Нужны имена, которые объединяют нацию. И они в истории есть. Из числа тех же военачальников, учёных, крупных организаторов производства, деятелей культуры. Пусть они приходят нам на помощь. Если патриоты будут едины, никакой враг не страшен.

P. S. Пока мы с Вами переписывались, у меня подвёлся некий итог нашему разговору. Мне кажется, тему репрессий 30-х годов пора закрыть. Снять с широкого обсуждения, оставить историкам. Не кажется ли Вам, что очередная схватка 90-х годов вернула нас к языку дискуссий тех кровавых лет? Да, не один Сталин виноват, называются имена Р. Эйхе, Н. Хрущёва – да их, наверное, немало можно назвать. Но важнее осознать, что сам язык многотысячных цифр – чудовищный, дикарский язык.

Вернусь к Алексею Ивановичу. Помню, как он ободрился, получив справку о реабилитации. Была и денежная компенсация. По нынешним меркам – крошечная. Он купил тогда зимнее пальто, приёмник “Балтику”... Но дело не в сумме – это было материальное подтверждение отмены несправедливого обвинения. Ко времени пришла и книга А. Солженицына об Иване Денисовиче. В дальнейшем А. И. в правах не ущемлялся, сам работал честно, своей пенсией по старости в 88 рублей был доволен. О прошлом вспоминал всё реже – русский человек умеет прощать.

Это правильно. Неправильно то, что на сталинском времени начались политические спекуляции. Кому нужны нынешние обличения властей 1930-х годов? Жертвы произвола и их потомки не заинтересованы в этом: им незачем беречь затаенные раны. Обществу навязана ненужная дискуссия вместо того, чтобы думать о настоящем и будущем. Обличителям пора понять, что советскую эпоху не выкрасить одним чёрным цветом хотя бы потому, что социализм строил весь народ, в том числе и те, кто пострадал, но выжил и работал на благо страны.

Однако прислушаемся к Варламу Шаламову, бывшему политзаключённому, автору “Колымских рассказов”:

“Автор “КР” считает лагерь отрицательным опытом для человека – с первого до последнего часа. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь – отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех: для начальников и заключённых, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики...”

Но растление читателей и зрителей как раз продолжается, и если беллетристика подобного содержания не всем попадётся на глаза, то с телеэкрана в каждый дом почти каждый день являются лагерные сцены со смакованием насилия и грязи. Зачем? Следовало бы признать такие зрелища заразой, превышающей санитарные нормы, и как-то обуздать нагнетаемую муть.

Истеричность во взгляде на трагедию 1930-х годов одних, ответная попытка других эту истеричность опровергнуть выливаются в итоге в бесконечную тяжбу о том, что находится за пределами добра и зла. Она, эта тяжба, не прибавит нам силы духа – ее надо черпать из других источников.

С неизменным уважением, сочувствием и надеждой на понимание
Валентина Семёнова
г. Иркутск

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

ЧЕТВЁРТЫЙ БАСТИОН

*Не может быть, чтобы при мысли,
что и вы в Севастополе,
не проникли в душу вашу чувства ка-
кого-то мужества, гордости
и чтоб кровь не стала быстрее обра-
щаться в ваших жилах...*

Лев Толстой

Вот уже 230 лет Севастополь занимает особое место в нашем жизненном пространстве. Но и задолго до его основания указом императрицы Екатерины II от 10 февраля 1784 года именно здесь наши легендарные предки соприкоснулись с великим наследием античного мира, а позднее приняли Евангельское послание, которому мы и до сих пор, правда, не всегда осознанно, следуем. Качественное своеобразие этого необычного места, обусловленное смещением земли и крови, игрой космических стихий в содружестве или противоборстве с человеческим духом, а также явным обнаружением “власти рока” в полной мере испытал на себе молодой Л. Н. Толстой, переживший в Севастополе свое второе рождение.

Льву Толстому не было и 18-ти лет, когда он включил в свои планы самосовершенствования работу над “Очерком русских нравов”, заметками “Что нужно для блага России” и “Примечаниями насчёт хозяйства”, ещё и не мечтая тогда о литературной славе. Сочинять же он начал позднее по совету своей любимой тётеньки Татьяны Александровны Ергольской, подсадившей племяннику написать роман “Четыре эпохи развития” (в духе его любимого Стерна), чем он и занялся на Кавказе, где, казалось, нашёл-таки новые ощущения. При этом он продолжал “вести беспутную жизнь” картёжника (беспрестанный картёж), испытывая “постоянное несчастье в игре”, влезая в долги и, таким образом, невольно подтверждая мнение старшего брата Сергея о нём как “самом пустяшном малом”. Литературное творчество отчасти приглушало в нём чувство недовольства собой, но было для него всё же

ВОДОЛАГИН Александр Валерьевич — доктор философских наук, профессор. Член Союза писателей России. Автор книг “Метафизическая ось евразийства” (в соавт. 1994), “Метафизика воли” (2012), “Собирание духа. Пути и беспутство русской мысли” (2013), сборника рассказов “Оливема” (2000), романа “Ворох, или играющий с огнём” (2010 — Литературная премия имени Н. В. Гоголя).

не более чем забавой. Поступление на военную службу по совету генерала А. И. Барятинского, неожиданно проснувшийся “интерес к войне” и почти “наполеоновская” жажда славы способствовали “большой нравственной перемене” и привели его, в конце концов, в действующую Крымскую армию. Помимо патриотических соображений, им двигало желание увидеть “настоящую войну и опасность”. Тогда-то, видимо, и произошёл решающий поворот в его жизни: взлелеянный в Ясной Поляне “самой гениальной женщиной в мире” (Т. А. Ергольской) *Лёва-рёва* пережил **второе рождение**, став гениальным выразителем мыслей и чувствований русского народа. Место рождения гения – Крым, Севастополь, четвёртый бастион.

26-летний подпоручик Лев Толстой прибыл в осаждённый Севастополь 7 ноября 1854 года переводом из Дунайской армии и находился в зоне боевых действий, командуя батареей, около девяти месяцев, вплоть до оставления города нашими войсками 27 августа 1855 года, после чего он ещё более двух месяцев провёл в крымской армии. Дежурство в апреле-мае 1855 года на четвёртом бастионе – опаснейшем из восьми – Лев Толстой вспоминал как “лучшее время” жизни. 28 августа, в день своего рождения, он плакал, глядя на оставленный русской армией, объятый пламенем Севастополь, видя, как над нашими бастионами взвились французские знамена. Севастопольский период стал для него решающим в духовном самоопределении: избавившись от “самого глупого тщеславия”, “желания чинов, крестов” и помыслов о военной карьере, уже добившийся признания в литературном мире писатель меняет направление своего творческого поиска, отказывается от “детского взгляда на вещи” и создаёт произведение, означающее прорыв русской литературы, оккупированной беллетристикой, из сферы *воображаемого* в поток мировой истории, – “Севастопольские рассказы”. Косвенно поддерживавший его в этом И. С. Тургенев ещё до личного знакомства с Толстым писал ему в октябре 1855 года: “Жутко мне думать о том, где Вы находитесь. Хотя, с другой стороны, я и рад для Вас всем этим новым ощущениям и испытаниям, но всему есть мера, и не нужно вводить судьбу в соблазн – она и так рада повредить нам на каждом шагу. Очень было бы хорошо, если бы Вам удалось выбраться из Крыма – Вы достаточно доказали, что Вы не трус, – а военная карьера всё-таки не Ваша. Ваше назначение – быть литератором, художником мысли и слова”*.

Толстой прислушался к мнению мастера, которому на первых порах невольно подражал, – может быть, потому, что оно совпало с его собственными предчувствиями, но не сразу перестал вполне по-лермонтовски испытывать судьбу, участвуя в рискованных “вылазках”, время от времени поворачиваясь *лицом к смерти* (в июле 1854 года Толстой перечитывал “Героя нашего времени”). Начинаящего писателя увлекала “прелесть опасности”, как и будущих его героев. Очевидно, без этих крымских испытаний не появился бы шедевр толстовской мысли и толстовского слова: “Война и мир”, не роман, как уверял автор своего издателя М. Н. Каткова, а (добавим от себя) откровение о русской судьбе, *мифопоэтическое сказание* о смысле исторического бытия России**.

“Севастопольские рассказы” – важнейшие вехи на пути Толстого к *большому искусству*, которое по своей сути есть не воплощение какого-то случайного субъективного вымысла сочинителя, а выражение *страстного искания истины*. Уже второй очерк цикла – “Севастополь в мае” – свидетельствовал о том, что его автор создавал: задача русского писателя – не сочинять (скажем, как Бальзак, которого Толстой читал в Севастополе), а просто говорить *правду*, в том числе и правду о “страшной необходимости” войны. Манифестируя этот принцип, Толстой навсегда расставался с “блеском и нищетой” беллетристики, отказывался “писать из пустого в порожнее – без мысли, и, главное, без цели”, а также по-своему испытывал возможности психологического анализа в литературе, переходя от описания *состояний сознания* несчастного одиночки (Володи – прапорщика Козельцова-второго в “Севастопо-

* Тургенев И. С. Собр. соч. в двенадцати томах. Т. 12. М., 1958. С. 193.

** В крымский же период окончательно сложилась и оригинальная толстовская метафизика воли, учение о “двойственности нашего существования” (двоеволии), которое было развёрнуто им в систему образов в “Войне и мире” (“хищный тип” с двоящейся улыбкой – зверочеловек Долохов и другие персонажи-кентавры).

ле в августе”, Оленина в “Казачьем романе”, работа над которым началась 28 августа 1853 года) к изображению духа народа как мощного фактора исторического процесса, включающегося в безумную космическую “игру жизнью и смертью”, которая оборачивается войной. Сюжетно-композиционное единство трёх толстовских очерков сформировано не столько рефлектирующим авторским “Я”, обращённым к читателю, ведущим его от одного “ужасного зрелища” к другому, иногда соскальзывающим в поверхностное морализирование, сколько по-гомеровски беспристрастным изображением главного предмета повествования — “Севастополя в различных фазах”: в декабре... в мае... в августе... — этого “странного смещения лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака”, “рокового места”, к которому с жаром “стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей”. Задолго до основания этого русского “города, достойного поклонения” (греч.) здесь побывали греки, скифы, римляне, славяне, византийцы, генуэзцы, ордынцы эмира Ногая и другие *пассионарии*. “Роковое место” в Крыму не раз притягивало к себе *людей длинной воли* — посланников динамично развивавшихся цивилизаций. А в 1854–1855 годах **Севастополь заявил о себе как о “непоколебимом враге” англо-франко-турецкой коалиции, став эпицентром мировой истории, где состоялась кровавая проба основных сил грядущих столетий** — христианской Руси, здесь же (в Херсонесе) принявшей в 988 году наследие греко-византийского мира, и антихристианского по своим скрытым целям Запада. Толстой показывает, что не все участники 349-дневной обороны Севастополя понимали суть происходящего, и меньше всех понимали её офицеры-аристократы, озабоченные карьерным ростом, движимые мелкими мотивами зависти, честолюбия и тщеславия.

Как психолога, писателя интересуют “подробности чувства”, “малейшие оттенки душевной жизни” человека, попавшего в “само место защиты” Севастополя, требующее от каждого ежеминутной “готовности к смерти”. Он детально описывает это “страшное место смерти”, превращающее того, кто считал себя трусом, в “подлинного героя”, а воображавшего себя героем — в “жалкого труса”. Непреодолимый и в иные моменты парализующий человека **страх смерти** (“врождённое чувство человеку”) описан в “Севастопольских рассказах” во всех его основных модификациях, включая беспокойство, тревогу, жуть, боязнь, испуг, робость и даже стеснительность. Всё это состояния *человека душевного*, которому в принципе неведомо **бесстрашие**. Таков, к примеру, у Толстого штабс-капитан Михайлов — “*душка человек*”. Для людей этого типа, по мысли Толстого, спасение от страха смерти — в “уничтожении сознания”. “Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много*: как не думаешь, оно тебе и ничего”, — подсказывает раненый солдат рассказчику. Возможно и иное решение проблемы: “водочки покамест хватить можно для утешения души” перед ожидаемым штурмом.

“Чувство бесстрашия” — достояние человека “с спокойным, возвысившимся духом”. Покончив с чисто психологическим разбирательством — “вечными рассуждениями о том, трус, мол, ли я или нет...”, как заметил Тургенев, — Толстой пробивается к пониманию глубинных мотивов поведения защитников Севастополя — влечения к опасности, “желания блеснуть” и прочувствовать “прелесть риска”, непреодолимой страсти к “игре жизнью и смертью” в сочетании с молчаливым бесстрашием и какой-то “высокой, невысказанной мыслью”, мыслью о родине, участь которой решается *здесь и теперь*, в декабре, мае, августе, в этом роковом и “страшном месте смерти”. Так умирает поднявший солдат в контратаку поручик Михаил Козельцов, испытавший “невыразимый восторг сознания” в преодолении “чувства страха” и исполнении того “геройского дела”, которое объединяло *простых, упрямых и твёрдых* духом защитников Севастополя. “Чудное время!.. — писал Толстой брату Сергею 20 ноября 1854 года. — Я благодарю Бога за то, что видел этих людей и живу в это славное время”*.

В “Севастопольских рассказах” Толстой-духовидец ещё не без труда подбирает слова для “невыразимого” и свою главную идею выговаривает довольно-таки невнятно. Она, как нам теперь представляется, в том, что всемирно-исторический **смысл исполняемого русским православным воинством из века в век дела — в противостоянии натиску смертоносной цивилизации**

* Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22-х томах, Т. XVII–XVIII. Москва, 1984, с 378.

Запада, в сопротивлении силам разрушения и смерти. Отсюда в “Севастопольских рассказах” — “мысль о Боге всемогущем, добром, который всё может сделать и услышит всякую молитву” русского человека, толстовское противопоставление Ангела-утешителя Ангелу смерти, парящему над местом фатального столкновения России и Запада. Отсюда же и мотив *твёрдости* русского духа, выдерживающего с Божьей помощью любой напор *западной воли к мощи*, стремящейся к установлению своего планетарного господства и осуществлению унификации человечества ценой большой крови.

В этом историософском контексте, развёрнутом позднее Толстым в “Войне и мире”, *четвёртый бастион* севастопольской обороны, где он, командуя батареей, с 1 апреля по 15 мая 1855 года не раз испытывал свою судьбу, предстаёт перед нами в качестве форпоста непобедимого русского духа, живого символа вековечного русского сопротивления гибельной для незападных народов вестернизации. Прав был молодой Толстой, утверждавший: “Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский. . .” Наш уход из Севастополя в августе 1855 года не был поражением русской армии и русского духа, как не стало таковым и оставление его в 1942 году. Тот, кто увидел подлинных защитников Севастополя в “самом месте защиты”, пережил, по словам Толстого, возвышение духа и вынес отрадное “убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа”.

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

РУССКИЙ ЛЕЛЬ

К 100-летию Виктора Бокова

Деревня Язвицы за Сергиевым Посадом упоминается в писцовых книгах с 1510 года. Сколько же поколений тружеников и песельников сменилось на этой северной подмосковной земле, чтобы в 1914 году, сразу после начала Первой мировой войны (вдумайтесь!), в золотую пору бабьего лета, появился на свет в большой семье самородок, будущий поэт от Бога и родной земли – Виктор Боков. Его дом, который ещё при жизни Виктора Фёдоровича стал Домом-музеем, стоит на берегу речушки Гордынь. Но сын крестьянина без всякой гордыни, по-свойски заходил в любую избу:

*Пойду на посиделки к девушкам,
Едва-едва открою дверь,
Никто не скажет:
— Здравствуй, дедушка!
Все встанут, крикнут:
— Здравствуй, Лель!*

Для того чтобы по праву называться сказочным Лелем, надо обладать особым песенным даром, который фольклористы объясняют так: поющий поёт о себе, а слушающий – о себе же слушает. Но этой слиянности и душевной отзывчивости достигают редкие избранники.

* * *

В тёплом августе 1974 года, ровно 40 лет назад, я поставил палатку на восточном, ненаселённом берегу валдайского озера Велье – простор плёса и безлюдье. Жену с сыном перевёз на лодке в Пабережье, куда приходит автобус из Валдая, и проводил в Москву. Догрёл до своей стоянки, проверил снасти, и как-то грустно стало. Сел на огромный пенёк у кострища, достал блокнот с записями и вспомнил, что в сентябре – юбилейный вечер Виктора Бокова в ЦДЛ. На одном дыхании написалось стихотворение:

*Шестьдесят...
А за плечами —
И разруха, и война,
И такое, брат, что нами
Не испытано сполна.*

*А смотри: в сужденьях резок
И не просится в запас.
Золотое слово — предок —
Про такого в самый раз.*

*Я смотрю, и сердце радо
За него и за себя.
Жить да жить ещё мне надо
До такого сентября.*

*Значит, сколько же осталось
Песен, схваток и дорог,
Если он покуда старость
Не пускает на порог.*

*Но при всём при оптимизме
Понимаю всё равно,
Что такое чувство жизни
С боем взято — не дано.*

В сентябре пришёл в ЦДЛ на вечер всего-то 60-летнего, молодого и неуёмного Виктора Бокова, который был в расцвете сил, в зените славы: уже были созданы многие песни, ушедшие в народ, книга выходила за книгой, записные пародисты не уставали обыгрывать самоцветные строки. На сцене был как никогда огромный президиум, все поэты и артисты рвались выступить. Помню, что дольше всех говорил и читал Евгений Евтушенко, который эгоистично никогда не умел понять, что вечер — не его, не авторский. Мог, например, на вечере в честь очередного выхода “Дня поэзии”, на котором многочисленные поэты читали по одному стихотворению, закатать поэму на полчаса. Вечер шёл часа четыре, в конце вышел Виктор Фёдорович и сказал: “Сегодня звучало много моих стихов, песен, добрых слов в мой адрес. Я спою только одну великую песню”. И проголосно запел в притихший зал: “Не шуми, мати зелёная дубравушка”. Это стало для меня потрясением и уроком: не обязательно долго мучить зал стихами или даже понимать песнями: ты соберись, выдай такое, чтобы зал замер и запомнил! Я прочитал тогда “от молодых” стихотворение, написанное на Валдае, на пеньке возле палатки.

Виктору Фёдоровичу стихи понравились: “Ты понял мою суть. Читай их всегда на совместных выступлениях, только цифру убери, сделай просто в начале: “Он поёт, а за плечами...”. Понял?”. Я так и сделал.

В 1976 году он написал в квартире возле метро “Аэропорт” предисловие к моей книге “Дань”, в следующем году она вышла в издательстве “Современник”, и по ней я был единогласно (что было тогда редкостью в многослойной приёмной комиссии) принят в Союз писателей. Боковское благословение...

* * *

Через десятилетия знакомства и совместной работы в редколлегии “Литературной России”, после сотни совместных дорог и выступлений, праздничных застолий и будничных общений хочу вспомнить, когда я впервые увидел Бокова вживую. Это было в самолёте Москва — Краснодар. В 1972 году я выступил с большим успехом на вечере студентов Литературного института в ЦДЛ, вышел с гитарой, напел свои стихи на бис. Через несколько дней позвонил легендарный директор Бюро пропаганды советской литературы Дмитрий Ефимович Ляшкевич и пригласил меня во флигель Союза писателей СССР. Сказал, что ему рекомендовали взять меня участником Дней литературы на Кубани. В самолёте со мной рядом сидела Лариса Васильева с голубой лентой в пышных волосах. Она по праву более старшей, но тоже молодой поэтессы, если сравнить с зубрами литературы, стала тихо рассказывать грудным голосом, кто есть кто: вот Вадим Кожевников с дочкой, вот директор Литфонда кабардинец Алим Кешоков. “Ну, а этого удивительного человека ты должен знать — гениальный Виктор Боков!” Он сидел близко от нас, рядом с молоденькой девушкой, что-то ей говорил. Прислушался: “Так Вы студентка? Замечательно! А я пасечник с Алтая, вот лечу на Кубань изучать, как чув-

ствуют себя наши пчёлы в условиях юга”. Девушка смотрела недоверчиво: не узнавала, но чувствовала подвох, угадывала творческую личность. Так с безобидного розыгрыша, с неожиданного зигзага боковской фантазии началось моё знакомство с поэтом.

Кстати, Лариса Васильева стала председателем комиссии по творческому наследию Виктора Бокова, ответственный секретарь – вдова его Алевтина Ивановна.

* * *

В каждой поездке Боков был неистощим на выдумки и жаден до людей, до новых знакомств. Летом прилетели на Дни литературы в Тюменскую область, выступали в Тобольском кремле перед огромным количеством людей, стоявших на ногах часа четыре! Потом поплыли от Тобольска по Оби в молодые города нефтяников – Нефтеюганск, Сургут. Боков глядел на разлив коричневатой воды до горизонта и озорно восклицал: “Люблю, Обь, твою муть!” Каламбурил постоянно:

*Лагунов объявил: “Сургут!”
Я ответил ему: “Зер гут!”*

Константин Лагунов, возглавлявший Тюменскую писательскую организацию, рассказывал нам, как вся страна, её лучшие геологи, нефтяники, строители осваивали, покоряли эти нефтеносные болота, которые тогда служили всему народу, а сегодня – избранным олигархам. Помню, на одном из выступлений Боков припозднился войти в зал: оказывается, он, заядлый садовод, увидел, как у ДК кто-то продавал яблоки – зелёные, неказистые. Виктор Фёдорович вошёл в зал с большим газетным кульком, шёл по центральному проходу и раздавал женщинам яблоки, приговаривая: “Какие есть – не юг ведь...” Потом мы читали стихи, а к выступлению Бокова в зале появилась немолодая женщина в фиолетовом забрызганном дождевике и с огромным букетом полевых цветов. Она добиралась в городок на попутках из дальнего села, чтобы увидеть автора любимых песен. Вот истинная народность поэта – и в поэтике, и в содержании, и в сердцебиении...

* * *

Отец его Фёдор Сергеевич вышел на пенсию и сам попробовал писать стихи, заражённый первыми успехами сына. Вот одно из его творений:

*Сел под липой пенсионер —
Всем трудящимся пример.*

Спросил у Виктора: “Ну как?”

– Неплохо. Только развить надо.

– А чего тут развивать? Коротко, но ясно.

А и вправду: нечего развивать. Сегодня эти строки злободневно звучат в стране, где столько бездельников и нахлебников!

Отец будущего поэта вместе со многими крестьянами из Язвиц и других сёл и деревень Выпуковской округи участвовал в строительстве военного завода. Построили его меньше чем за год – шла Первая мировая война, русской армии крайне нужны были боеприпасы. В том же 1915 году, когда Вите был всего годик, сгорел дедовский дом. И тогда отец на том же самом месте поставил новый, в котором и вырос Виктор Боков.

В так называемом нижнем посёлке строителей военного завода находилась и школа 1-й ступени, куда пошёл учиться Виктор Боков. Затем были семилетка в Загорске, педтехникум, занятия в литкружке, среди руководителей которого был и писатель Михаил Пришвин. В 1930 году в газете “Вперёд” было опубликовано первое стихотворение Виктора Бокова “Письмо к отцу”. В 1934 году по рекомендации Михаила Пришвина, жившего тогда уже в Загорске, Боков поступил в только что открытый Литинститут. Вскоре юный студент был арестован по клеветническому доносу. Таким было начало пути к всенародной любви и всесоюзной известности...

Мы были с Боковым на Пушкинском празднике поэзии “Золотое Тверское кольцо” в старинном Торжке, который ещё драматург Островский назвал красивейшим городом губернии, на шумной, заполненной песнями центральной площади мне сказал кто-то из местного партийного начальства – ну, знаете, в праздничном порыве бахвальства и беспечности: “Если частушки, как Виктор Фёдорович, собираете, то надо в село Будово ехать, там такие певуны, и даже напев свой! Приглашаем...” Я по стекольной трезвости хорошо это запомнил: дело-то было в середине 80-х, в разгар антиалкогольной компании – хозяева смущались, но даже под уху не подносили.

Боков сказал: “Я не смогу, а ты – поезжай”. Через месяц подхватился, тронулся в Торжок, пришёл в райисполком: “Ну, выполняйте обещание – везите в Будово, куда за частушкой приглашали”. Удивил начальников над культурой страшно: мало ли что, мол, на празднике – пусть и стрезва – говорится... Однако, повздыхав, выделили сопровождающую методистку Екатерину Кротову и машину. Но поехали мы сначала в село Яковлево и в расположенный по соседству рабочий посёлок Славный с Домом культуры, где по относительной многолюдности был, наверное, самый лучший коллектив художественной самодеятельности. С молодыми участниками даже! Но я-то искал не приемлемую самодеятельность, а талантливых носителей памяти народной, торжокскую самобытность, так сказать. И повели меня тогда домой к Миронихе – Александре Ивановне Мироновой – “Она у нас всех смешнее выступает!”

Худошавая женщина с несходящим, видать, загаром и улыбкой, обнажающей крупные зубы, заговорила грудным хрипловатым голосом: “Не-е, всё – покончила с самодеятельностью. Даже платье недавно отдала. С нас хватит! Старшей внучке говорю: моё-то дело на исход идёт, запиши хоть шутки-прибаутки мои, частушки, песни переделанные. Я-то, бывало, выйду, всё знаю, где мне подшутить, где посерьёзничать, где промолчать. До пяти раз на концертах вызывали. Так ведь некогда молодым да голоногим... Раньше у нас как было? – с придумками. Председатель тему даст – враз обыграем, на ходу всё сложим. “Живгазета” называлась...”

Тут я вздрогнул от образного названия – “Живая газета” – и вспомнил рассказ Виктора Бокова. Итак, в самобытном льняном да златошвейном Торжокском районе была “Живгазета”, а в некоторых краях молодой по духу, обновлённой страны даже деревенские жители выпускали “Светгазету” – то есть световую, высвечивающую все недостатки. Об этом написал Боков в давнишней книжке прозы “За рекой Истермой”. Выдающийся поэт-песельник жывал в разных краях Подмосковья, в том числе и на 101-м километре после сибирских лагерей.

Вот приехал поэт в село на выходные, идёт по селу, сочиняет шуточные стишки со школьницами. *“Девочки остаются в проулке дома. По деревне идёт Иван Архипович Омельчук. Издалека кричит:*

– Фёдорович! Привет.

Он заведует избой-читальней. Спрашиваю:

– Когда кино?

– Послезавтра.

– “Светгазету” сделаем?

– Нет.

– Почему?

– *Установок района: в праздничные дни показывать одни достижения”.*

Это читаешь сегодня с печальной улыбкой – “одни достижения”, но и с завистью, с пониманием того, что живого, меткого слова, критики снизу, народного мнения – боялись! Помните поговорку? “За ушко да на солнышко” – на безжалостный свет... А теперь – ни достижений, особенно на селе, не видать, ни живинки во взгляде и творчестве. Да и критика никого не пугает, хоть за что на солнышко тащи: мнение народа или признанного поэта не пробуждает совесть в тех, кто возымел власть над людьми. Но через много лет Боков снова храбрился на даче: “В этой новой книге я многим жару даю, президент Путин одобрил бы...” Вечная наивность глубоко русского таланта.

* * *

Виктор Фёдорович звонит мне с утра и спрашивает вдруг: “Третьим будешь?” Я недоумеваю и не знаю, что ответить. Он смеётся: “Позвонили из ЦДРИ, попросили провести вечер “Поэты трёх поколений”. Ну, старшее поколение – это я, второе – среднее – будет представлять Володя Костров, а ты – третье, молодое”. Смеюсь в ответ. Однажды Виктор Фёдорович позвонил, как всегда, рано и говорит: “У меня отличное настроение!” – “Отчего?” – “Оттого, что я вижу сны на уровне Петрарки!”

*Его звонок всегда таил подарки,
При всяком положении светил.
— Я вижу сны на уровне Петрарки. —
Однажды Боков в трубку пошутил.*

*А я хочу, как ни было б сурово,
Так сохраниться до конца пути,
Чтоб видеть сны на уровне Толстого,
Ну, может быть, Владимира Кострова,
Но только уж не Дмитрия Пригова
Иль Губермана, Господи прости...*

* * *

Виктор Боков всегда являл собой пример для нас, более молодых, образец отношения к поэзии, песне, женщине. К жизни! Помню, мы приехали выступать в Ленинград, прибыли ранним утром в гостиницу, а там – вечная пересменка. Час сидим в вестибюле, второй. Татьяна Реброва нервно закурила и вскричала: “Сколько можно тут сидеть!” На что Боков вкрадчиво сказал: “Танюша, всё равно здесь сидеть лучше, чем в тюрьме”. И залиvisto засмеялся, будто не прошёл тюрьму и Сиблаг. И сразу усталость и напряжённость – как рукой сняло.

Ко мне в Переделкино приехал из Киева друг. Мы решили пожарить шашлык за рядом деревьев прямо напротив ворот Дома творчества. Идём по аллее с красивой теледикторшей Наташей Андреевой, навстречу – Боков. “Виктор Фёдорович, пойдёте с нами!” – “С удовольствием”, – отвечает. Выпили по глотку горилки на грецких орехах, стали есть шашлык. Боков засмеялся:

– Как прекрасна и неожиданна жизнь: шёл позвонить, а попал на пир с Сашкой, да ещё с такой женщиной!

Мы все, его ученики, младшие друзья, учились у него этому вечному восторгу и вкусу жизни, выстраданному оптимизму и святому отношению к поэзии, разлитой в самом воздухе Русской равнины. Этот неиссякаемый источник бил в нём с юности, потому и получил он признание и простых слушателей вроде бесхитростных песен, и самых взыскательных читателей:

*Меня признали Пастернак и Пришвин,
Андрей Платонов, а ещё — народ.
Под веткой наклонённой старой вишни
Ко мне стучится слава у ворот.*

Бывало, идёшь от станции Переделкино в сентябрьских сумерках, видишь с моста через загубленную речку Сетунь, как светится окно боковского дома, слышишь лёгкий стук заслуженной славы у его ворот в Писательском проезде, и, даже если не заглянешь на огонёк, на чай приветливой Алевтины Ивановны, на сердце становилось теплей от ощущения близости родного, искреннего поэта.

* * *

После торжественного вечера во Дворце культуры имени Гагарина в Сергиевом Посаде, на банкете в честь 90-летнего юбиляра я спел частушку:

*Где течёт река Кунья?
Ведь не знал я ни... чего.
Ныне радую друзей:
Там, где Боковский музей.*

Этот музей мне довелось открывать, снимать для телеканалов “Московия” и “Мир”; это был замечательный подарок поэту от земляков. Боков в своих органичных и мелодичных стихах, песнях, частушках – сама народная стихия. Но стихийный талант он огранил глубоким изучением фольклора, той же частушки. В Пушкинском доме хранятся письма Бокова песельнику с Ладоги – Александру Прокофьеву, который при меньшем, я считаю, таланте стал и лауреатом Ленинской премии, и Героем Социалистического Труда. Вот что пишет Боков старшему собрату: “Я уже просмотрел и повертел с боку на бок до 15000 частушек... А вообще о частушке надо писать целую книгу открытий эстетическо-художественного порядка. Я такие вещи встречаю, что меня пот прошибает. Буквально гениальные произведения лирической поэзии, например:

*Лягу грудью на ограду,
Позову свою отраду,
Серый камень отвалю,
Встать на ноженьки велю!*

Саша, плакать хочется от восторга, что это создано простой девкой; гордишься за народ...

Ведь вот интересно, читаешь тысячу, другую, все повторяется, варьируется, сам знаю тысячи и вдруг вот сегодня подцепил книжечку “Частушки Переславль-Залесского уезда”, изд. управлением железных дорог (!) в 1921 г<оду>, и в этой книжечке вдруг нахожу жемчужину:

*Капуста, капуста,
Капустница,
Подыметя, подыметя,
Опустится.
(Плясовая)*

Так просто!.. Вот ведь рядом лежали эти слова, а не сделал же, не выдумал этой диковины, этой чудесной, полной такта, юмора погудки, с намёком, не оскорбляющим слуха, что всегда испытываешь от сюсюкающей эротики”.

Ныне интернет забит матерными куплетами, а не виртуозными частушками. Грань между солёным словцом и грязным ругательством, здоровой эротикой и пошлой порнографией всегда тонко чувствует истинный талант.

* * *

Мне посчастливилось очень много выступать вместе с Виктором Боковым от красных уголков на ферме в Ивановской области или завода шарикоподшипников в Вологде до Малой арены Лужников и парадного зала им. Чайковского, ездить с ним по стране, делить ночлег в двухместных номерах. В Ленинграде он даже написал стихи, посвящённые мне спящему, где была строчка: “И, согрешив, поэт, как ангел, спит”. Вот два памятных эпизода.

Выступаем на военном корабле одного из наших краснознаменных флотов. Кто-то из присутствующих в слух вспоминает эпиграмму, в которой говорится, что “в стихах у Бокова – ничего глубокого”. “Ладно, – суровеет лицом поэт. – Балалайка найдётся?” Начинает читать самое сокровенное, самое ударное, самое пронимающее до глубин души. Аудитория сидит не дыша. Потом, взвинченный вниманием, берёт балалайку и начинает:

*Эх, раз, что ли,
Ехали матросы.
Всех зовут Иванами,
Все курят папирсы.*

И пошло-поехало! Частушки сыплются, как из рога изобилия. Аудитория накаляется, чуть ли в пляс не рвётся. Двое с края вскочили, подхлопывая. Длинная скамейка – типа “козел” – резко накренилась, и соседи посыпались с грохотом на пол. Смех, аплодисменты.

– Вот так вот! – ничего глубокого, – удовлетворённо произнёс раскрасневшийся Боков.

Однажды сидим в Вологде в номере обкомовской гостиницы, за окном трескучий мороз, идти никуда не хочется. Перебрасываемся лениво фразами. Скучно. И вдруг Боков вспоминает: “Я ведь из этого города однажды письмо от школьника получил. Он пишет: “Я хочу, как и Вы, заниматься фольклором”. Хорошее слово придумал! – Фольклор. . .”

И сразу скуку как рукой сняло. Но во времена попсы и гламура фольклор, народная песня плохо кормят.

* * *

Всё в стихах Бокова – по-нашему и по-молодому звонко. Можно цитировать до бесконечности, но я хочу остановить внимание читателей лишь на одном феномене: на жизнелюбии и естественном патриотизме Бокова. Ведь этому балагуру, балалаечнику, шутнику пришлось хлебнуть лиха – через край. Но ни лагеря, ни семейные передряги не очерствили его певчую душу, хотя и научили мужеству. Согласитесь, ведь это не простой шаг – написать такое “Письмо в Нью-Йорк”:

*Оставил ты свои берёзы
И кроны трепетных осин.
Американские морозы
Тебе не нравятся, мой сын.*

*Твоя душа теперь во мраке,
В объятиях чужой зимы,
А я бы предпочёл бараки
И дальний холод Колымы.*

Он не считает свою молодость загубленной несправедливостью сталинских лет – он её продолжал и в нынешние, как он считал, самые трудные годы России.

* * *

Вспоминаю, как в газете, претендовавшей стать рупором созданных тогда федеральных округов, меня начали охотно печатать, но к 80-летнему юбилею народного любимца Виктора Бокова я написал статью, в которой поражаюсь не только образной свежести и неиссякаемой энергии мастера, но и тому, как напряжённо он осмысливает историю и современность, как диалектически осмысливает их. Вот неожиданные стихи о Сталине:

*Сталинский след с Мавзолея не смывает
Ни дождями, ни градом снарядным...
Он с рукой зашинельной стоит
И незыблемым, и громадным.*

*Что теперь со мной — не пойму:
От ненависти перешёл я к лояльности.
Тянет и тянет меня к нему,
К его кавказской национальности!*

Сократи журналист, готовивший материал в номер, просто это место в статье, я бы поругался, но стерпел: может, места не было, а может, спонсоры газеты думают по-другому, но молодой выпускающий номера вписал в текст моей статьи дурацкий абзац примитивного содержания: мол, просто

поэт Боков не знал про то, как ужасен был ГУЛАГ, сколько жизней унесла тоталитарная система. И, выходит, это говорю я, словно не помня, что мой учитель сам прошёл оговор, тюрьму и СибЛАГ, что он написал и опубликовал в годы гласности яростный цикл “Моё сибирское сидение”, в котором проклинал Сталина – “чёрта рябого”. Но времена менялись, Россия несла новые неисчислимы потери, появлялись культы куда более мелких личностей, и поэт поднялся выше личных обид, признался в сложных чувствах, выразив, по сути, народное мнение (ведь в проекте “Имя Россия” Сталин занял, несмотря на манипуляции, одно из первых мест, а, вернее всего, что и первое), но мне вписали: “поэт – не знал”. Такую статью, которую нельзя показать самому Бокову, профанацию текста терпеть было нельзя, и я направил главному редактору гневную отповедь с просьбой больше не беспокоить меня как автора. А платили неплохие гонорары.

* * *

У Виктора Бокова очень много стихов о зиме, о ярких и звонких праздниках в белом безмолвье, в книге избранных произведений целый раздел есть – “Снега России”. Когда я работал ещё в “Литературной России”, звоню ему, бывало: “Есть, Виктор Фёдорович, что-нибудь тепло-снежное, новогоднее?” “Диктую, только на днях написал”. Просто и не знаешь, что процитировать... Эти заметки-воспоминания мне хотелось бы закончить глубочайшими лирическими стихами, посвящёнными Алевтине Ивановне – музе и первому читателю Бокова:

*Нега белого снега,
Тихих январских полей.
Нежное прикосновенье
Рученьки белой твоей.*

*Саночками скатились
Пальцы твои по плечу.
Мне они объяснились,
Понял я и молчу...*

Дай Бог каждому человеку такой нежности и понимания близких!

* * *

В заключение хочется сказать о трёх составляющих таланта Бокова, которые и сделали его стихи истинно народными. Вот как он сам писал в книге “Три травы”:

*Как одна трава — терпенье,
А вторая — доброта,
Третья — музыка и пенье
И земная красота.*

Первая трава – терпенье в сельском трудном быту, в учёбе у заводских рабочих и волшебника слова – первого наставника поэта Михаила Пришвина, – в несправедливой доле лагерного сидельца, но и в сбережении памяти о тех, кто одарил его россыпями родной речи. “Первым моим учителем была мать Софья Алексеевна, крестьянка. Она обладала природным даром художественного слова. Что бы она ни делала, всегда говорила поэтически красиво и образно. Вот одна из моих сестёр жалуется ей на трудности, а она с улыбкой: “Вот чем удивила! Я вон вас, шестерых детей, вырастила... Я была мать, и ты теперь мать, так шей в тот же шов”. В тот же шов, что и мать, и великие предшественники, шил и сам Боков. Кстати, его песня “Оренбургский платок” – молитва о матери.

Он не просто усвоил уроки словотворчества на дорогах России, но и сам обогатил наш фольклор. Стихотворение, которое Боков написал в Чистополе в 1942 году – “Загорода”, – напоминало ритм молотьябы:

*По твоим задачам
Проходить не дам
Ни ведьме, ни лешему,
Ни конному, ни пешему.*

Услышав эти стихи, Борис Пастернак заметил: “Это у вас от природы. Цветаева шла к такой форме от рассудка, а у вас — само собой вылилось”.

Лучший комплимент для лирика — само вылилось! Боков рассказывал, что когда работал в Доме народного творчества, много ездил, собирал песни и частушки, но, конечно, сочинял и свои, внедрял их незаметно, просто писал припевки для знаменитых народных хоров — Рязанского, Омского, Северного. Делился радостью, что потом многие свои частушки слышал со сцены и в быту.

Вторая трава — природная и благоприобретённая доброта, светлое отношение к людям. Потому и называется одна из песен так требовательно: “Учись людей любить!” Сам он щедро посвящал стихи и песни дорогим сердцу людям — от любимой Алевтины до гениального Сергея Королёва и родственного по душе другого великого песельника XX века — Алексея Фатьянова.

*Не потому ли в сердце песня
Жила, как в гнёздышке своём.
У нас сегодня день воскресный,
Давай Фатьянова споём!*

Надо заметить, что Оргкомитет Фатьяновского праздника поэзии и песни одному из первых вручил Бокову в Вязниках премию “Соловьи, соловьи...” А вот Государственной премии России её певец и любимец народа так и не дождался.

Третья трава — это земная красота, явленная нам в слове, а в конце пути, когда ушли из жизни лучшие его соавторы — Григорий Пономаренко, Александр Аверкин, Николай Кутузов, — и в музыке. Он сам начал сочинять музыку к своим стихам, и снова рождались образные песни вроде раздольной: “На заре, на зорюшке”.

По иронии судьбы литературовед Ольга Фрейденберг — двоюродная сестра Бориса Пастернака, который так ценил стихи Виктора Бокова, особенно за их органичную связь с русским фольклором, в ходе дискуссии о фольклоре в Ленинграде перед войной выступила довольно агрессивно: “Мы не должны пассивно ждать изжития фольклора, а приложить все методы борьбы к его коренному уничтожению”. Но фольклор уничтожить невозможно: это исток любого народа, его песенной реки, которая сегодня мелеет мелодически и содержательно. Но творчество Виктора Бокова одаривает нас высокой надеждой:

*И всё устроится, дай Бог,
Среди теченья неглубокого,
Пока живёт реки исток,
Пока поёт Россия Бокова!*

Мы отмечаем с песней и слезой 100-летний юбилей истинно народного поэта, который успел отметить на этой прекрасной и грешной земле своё 95-летие. Есть у него замечательное стихотворение с державинским названием “Снегирь”:

*Я люблю снегиря за подобье пожара,
За его откровенную красную грудь.
Мать-Россия, моя снеговая держава,
Ты смотри, снегиря своего не забудь!*

Снеговая держава не забывает своего певца, который ушёл из жизни в октябрьский листопад 2009 года, похоронен в Переделкино, где жил в последние годы и вставал вместе с певчими птицами. Он продолжает свою “песню победу”, как писал старик Державин, благословивший Пушкина. А в нашем поэтическом поколении многих, в том числе и меня, благословил незабвенный Виктор Фёдорович.